

НОВАЯ
МИР

3

НОВАЯ
МИР

1969

3



1969

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLV

№ 3

Март, 1969 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВАСИЛЬ БЫКОВ — Круглянский мост, повесть. Перевел с белорусского автор	3
ЕВГ. ЕВТУШЕНКО — Новые стихотворения	58
М. ДЕМИДОВ — Мои армейские товарищи. Страницы давних лет. После- словие генерала армии А. В. Горбатова	67
ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ — Два стихотворения	120
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
А. ПОБОЖИЙ — Сквозь северную глушь. Окончание	122
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
П ВОЛИН — Люди и экономика	154
Н. КАМЕНЕВА — Товарищ главковерх	169
ЕФИМ ДОРОШ — Образы России	181
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ПИСЬМА В. Н. БУНИНОЙ. Публикация и комментарии Н. П. Смирнова	209
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
И. ДЕДКОВ — Страницы деревенской жизни (Полемические заметки)	231
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	247
Ф. Ефимов. Манера жить, манера писать. — И. Гитович. Пока в человеке есть достоинство... — Кирилл Ковальджи. Проблемы и их воплощение. — М. Чудакова. Михаил Зощенко и герои его книг. — Н. Наумов. Новый Пилат	
(См. на обороте)	

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	266
П. Карп. Актуальность вчерашней газеты.— Ю. Евсюков. Сознательно поддерживаемая пропорциональность.— В. Кобрин. Москвичи XVII века — о себе.— А. Каждый. Самая древняя история.— Р. Баландин. Беречь природу.	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	281
КОРОТКО О КНИГАХ — Л. И. Лопатников. Экономические эксперименты в промышленности. Р. В. Рывкина, А. В. Винокур. Социальный эксперимент.— В. А. Жданов. От «Анны Карениной» к «Воскресению».— Евг. Петряев. Впереди — огни.— М. Боброва. Джеймс Фенимор Купер	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287



ВАСИЛЬ БЫКОВ

★

КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ

Повесть

1

Проснулся Степка на рассвете. Разбудили его голоса — близкий говор людей, смех, утренний ку-рецкий кашель и бряцание пустых котелков. Еще не одолев дремоту, он понял, что это шли завтракать — рядом в ольшанике была тропинка к недалекой кухне, запах дыма от которой давно уже доносился до его ямы. Обостренным обонянием Степка улавливал соблазнительный запах жареного и тогда даже во сне не мог заглушить в себе сосущее чувство голода. Но до еды, пожалуй, было далеко. С пробуждением на него хлынул поток самых неприятных воспоминаний: перепутанные картины вчерашнего нахлынули все сразу, и он со щемящей болью в душе ощутил этот переход из сонного забытья в слишком беспокойную и нерадостную теперь для него действительность.

Больше уже не заснул.

Им снова завладела тревога, на несколько часов прерванная сном, опять потянулось ожидание, которое, однако, не предвещало ничего хорошего. Он пошевелил головой — шея по-прежнему не сильно, но как-то надоедливо тупо болела, чирьи, кажется, нарывали все больше; один, содранный вчера, наверно, присох к рубашке, и теперь, шевельнувшись, Степка почувствовал короткую острую боль в плече.

В яме было прохладно, от утренней свежести тело пробирала дрожь, зябли руки. Струхлевшая соломенная подстилка на дне отсырела, стала волглой, как скошенная завявшая трава, и не грела. Где-то, невидимое за лесом, всходило солнце; в высоком просторе неба, предвещая погожий день, белело спокойное облачко. Ниже под ним высилась усыпанная шишками вершина ели, несколько шишек лежало и в яме на утоптанной соломе, возле его босых и грязных ног.

Яма была не очень глубокая, когда-то второпях выкопанная для картошки, небольшой запас которой хранили тут до весны. С осыпавшихся земляных стен свисали еловые корни; те, что потолще, торчали из земли твердыми узловатыми обрубками. Вылезти отсюда было нетрудно даже и ребенку, но Степка вылезать не собирался, терпел и уповал на справедливость — должна же быть на земле справедливость! Теперь, понемногу успокаиваясь после вчерашнего, он начинал понимать, что погорячился, не стерпел, что не надо было доводить все до беды. Но разумные мысли обычно запаздывают, и того, что случилось, уже не исправить.

†*

Загаив дыхание, Степка начал различать какие-то невнятные звуки, которые не сразу понял, а потом стало ясно, что поблизости стругали палочку или какой-нибудь прутик: слышался тихий шорох ножа, посапывание, натужный взмах руки. Потом он расслышал и негромкое постегивание по упругой, усыпанной хвоей земле. И парню вдруг нестерпимо захотелось туда, на свободу, хоть бы оглядеться вокруг, высунуться из этой сырой, провонявшей струхлевшей соломой ямы.

Но он знал, что, пока не приедет комиссар, никто его отсюда не выпустит.

Между тем на тропинке под елями сначала едва-едва, а потом все отчетливей слышатся чьи-то широкие торопливые шаги, доносится шорох задетых ветвей, мерное позвякивание в такт шагу — оружия или чего-то в карманах. Слышно, как поблизости встает часовой, ударами ладони небрежно отряхивает полу одежды; резко шелкает ножик. Степка с опозданием догадывается: идут сюда. Может, за ним? Он ждет этого и готов уже обрадоваться, но вместо обычных в таком случае слов слышит другие.

— Ну, иди подрубай! — раздается голос довольного собой и, видно, позавтракавшего уже человека.

Неожиданно близко и хрипловато после долгого молчания откликается часовой:

— Что там? Опять ячная?

— Кулеш с салом.

— Ну и то лучше. Эта ячная уже в горло не лезет.

— Ползет. А как твой бандит? — вдруг спрашивает пришедший.

— Тихий, как мыша. Спит все.

— Тихий, говоришь...

Голоса незнакомые, наверно, кто-то из новых. Степка чувствует, что идут к нему, и, усевшись, принимает независимый вид.

Скоро над краем ямы появляются две головы — одна в шапке, другая в немецкой пилюлке, — а затем и сапоги, трофейные, подбитые шипами, — это у того, кто пришел на смену. Тот, что отстоял свое, держится поодаль, и Степка видит его только до пояса.

— Привет! — с наигранной легкостью бросает новый часовой, с любезничеством ощупывая его быстрыми глазами.

Степка медленно опускает голову — ему не до шуточек и нелепых теперь разговоров. Часовой, наверно, понимает это и сгоняет с лица улыбку:

— Ничего. Приедет комиссар, разберется. Ты из какой роты?

— А тебе что? — тихо говорит Степка, поднимая на него холодный, с укором взгляд.

— Да так.

— Что ты его допрашиваешь! — нетерпеливо перебивает другой. — Из какой бы ни был, теперь его дело труба.

— Ну почему труба? А если смягчающие обстоятельства? Пошлют на «железку», искупит вину и будет бегать! — бодро говорит часовой.

Степка прислушивается и хмуро еще взглядывается в этого человека с седоватой щетиной на щеках и морщинами у рта, который кажется ему почти пожилым, во всяком случае постарше многих. По разговору парень определяет: нездешний, наверно из окруженцев или бывшего районного начальства. Степка уже готов приободриться, но улавливает в его тоне нотки неискренности, наигрыша и опять опускает голову.

— Приедет комиссар, он ему покажет смягчающие, — недобро ворчит сменившийся.

— Ничего. Главное, не дрейфить! Если что — мол, под мухой был. А под мухой оно все возможно.

Они поворачиваются и уходят. Степка с облегчением вытягивает ноги, слушать их бодрую болтовню ему уже становилось невмочь. Что бы там ни ожидало его впереди, лишь бы скорее. Ему уже кажется, что он сидит тут бесконечно долго, и его встревоженное нетерпение то заглушается воспоминаниями, то нестерпимо обостряется. Наверно, уж лучше одному, когда никто не донимает его ни угрозами, ни бесполезным тепер утешением. Скорчившись от холода, он жмет плечом к волглой земляной стене, одну к другой сводит озябшие ступни — так вроде становится теплее.

Недалеке, наверно на кухне, рубят дрова: доносятся размеренные удары, короткий стук дерева, временами тонко отзванивает топор. Так и он рубил два дня назад, и, пожалуй, рубил бы и теперь, и завтра... И надо же было ему подвернуться в недобрый час, напроситься на это задание! Он и до сих пор не может понять, в самом ли деле подрывник Маслаков разыскивал его, чтобы взять в группу, или, может, случайно повстречал в лесу и позвал.

Впрочем, на Маслакова обиды у него нет — у того были наилучшие намерения, и его ли вина, что обстоятельства повернулись столь неожиданным образом...

2

Срубив несколько ольховых жердей, Степка возвращался на кухню. Нетолстые те жерди он сперва нес, потом тащил за шершавые, набрякшие весенним соком комли — верхушки и неровно обрубленные сушня драли прелую залежь прошлогодней листвы, цеплялись за кусты и деревья. Комли же просто отрывали руки. А тут еще винтовка, свисавшая с плеча на длинноватой веревке вместо ремня, беспрестанно путалась прикладом меж ног, мешала идти, и он, притомившись, бросил олешины, так и не дотавив до кухни. Затем, помедлив, и сам устало опустился на землю в редковатом ольшанике возле стежки. Было тепло и затишно, он угрелся, под суконным венгерским мундиром вспотела спина. Он расстегнул воротник, бросил наземь старенькую измятую шапку, от мокрой подкладки которой шел пар. Несколько минут он, сопя, отдыхал, думая, что шапка — пустяк: всю зиму носил, и еще, наверно, послужит. Так же, как и коричневый венгерский мундир, и черные, прошитые светлым кантом полицейские штаны, а вот с сапогами ему решительно не повезло — сапоги развалились. Левый уже с неделю был перевязан куском оранжевого немецкого провода, а правый невозможно было и связать: перёд сгнил почти полностью. В сапогах всегда было мокро, ноги постоянно стыли. Наверно, по этой причине Степку стали доносить чирьи: на боках, под мышками, а теперь вот еще и на шее — не повернуть головы.

Впрочем, насчет сапог он был виноват сам: мог стащить с какого-нибудь фрица (их тогда немало валялось после удачной засады) обычные солдатские, а не зариться на офицерские. Офицер этот подвернулся ему в канаве, куда Степка предварительно швырнул гранату и тут же, не теряя времени, снял с него ремень с парабеллумом и эти вот сапоги. Парабеллумом, однако, пользовался недолго — уступил новому начальнику штаба, который имел какой-то длинноствольный музейный наган. Ремень отдал взводному Бойченко, потому что ремень у Степки и старый был неплохой. На хромовые же сапоги, чересчур шикарные для лесной жизни, поменяться никто не хотел, пришлось носить самому.

Вообще в этом отряде Степке не везло всю зиму. Началось с того, что его спутали с одним партизанским связным, тоже по фамилии Толкач, который где-то выдал отрядных разведчиков и за которым охотились партизаны. Пока разбирались, Степку с неделю продержали в за-

пертой землянке. Потом его выпустили, но первое же задание за пределами лагеря едва не стало для него последним. Небольшая группа их заночевала тогда в пуньке. Степка с вечера стоял на посту и, сменившись, только задремал в сене, как на деревню налетели полицаи. Ребята огородами драпанули в лес, а его впопыхах разбудить забыли. Пришлось до полдня, не шевельнувшись, простоять у косяка за воротами в десяти шагах от пьяных бобиков, расположившихся на гумне. Когда же назавтра он пришел в отряд, все очень удивились его невероятному спасению. Какое-то время Степку подозревали, вызывали к начальству, слушали его короткое объяснение, верили и не верили. Потом, когда подозрение несколько улеглось, ему не стало отбою от Грушецкого, остряка-балагура из Полоцка, не пропускавшего случая позубоскалить над парнем. Как-то не стерпев, Степка огрел его прикладом по голове, за что тут же получил прозвище Псих — самое обидное из всех, которые он имел за свою не очень складную восемнадцатилетнюю жизнь.

В прежнем отряде имени Ворошилова жилось ему куда лучше. Там он был едва не самым старым бойцом, с партизанским стажем ненамного меньшим, чем у самого командира отряда лейтенанта Крутикова. Правда, там его тоже дразнили, но прозвища были более сносные: Белый — это за волосы и брови — и еще Здыхля, потому что худой, хотя худых в отряде и без него было немало. Но там он чувствовал себя наравне с другими, полноценным бойцом, не то что у этих чапаевцев. К сожалению, тогдашняя жизнь его оборвалась со смертью лейтенанта Крутикова, немногочисленные остатки отряда которого разбрелись по соседним лесам и бригадам.

Самое худшее, конечно, было не в смене отрядов и даже не в отношении к нему партизан. Ребята, понятно, иногда насмеялись над ним, молодым и слабосильным, но делали это не по злобе, а скорее ради потехи. А вот начальство, то шуток не знало. С начальством партизан Толкач был в давнем, застаревшем конфликте: Степка считал, что к нему придираются, а начальники держались того мнения, что Толкач — разгильдяй, к которому нужна строгость. Так говорил взводный Бойченко, когда жаловался на его самоуправство с выселковским старостой, которого Степка подстрелил по дороге с задания. За разгильдяйство ругал его начальник штаба, когда он, переведенный в хозяйственный взвод, упустил с поводка продуктовую корову штаба. Отряд тогда выходил из блокады, хозяйственники с возами пробирались какими-то овражками, на шоссе их перехватили каратели, начался обстрел трассирующими, и черная шустрая рогуля метнулась в кустарник как бешеная, только он ее и видел в сумерках. Искать было бессмысленно. Степка погоревал и, перейдя шоссе, вынужден был с оборванным поводком предстать перед начальником штаба. Думал, это для него плохо кончится. Хорошо, что вокруг было полно карателей, и партизаны таились, как мыши, боясь хрустнуть веткой.

— Толкач!

Степка от неожиданности вздрогнул и оглянулся: отстраняя рукой ветки, в кустарнике пробирался Маслаков — подрывник, кадровый красноармеец, с которым они однажды зимой ходили на «железку». Последнее время Маслаков залечивал в санчасти раненую руку и время от времени навевывался к ним в хозяйственный взвод.

С некоторым удивлением глядя на подрывника, Степка молчал, не понимая, зачем понадобился ему. Рука у Маслакова была уже без перевязи, однако двигал он ею осторожно, на ладони все еще белел замыганый бинт повязки. Подрывник выбрался из зарослей — тонкие ветки ольшаника упруго прощуршали по его зеленой расстегнутой телогрейке.

— Как жизнь, Толкач?

Степка все молчал, не зная, как отнестись к этому вопросу: кому не известно, какая жизнь в хоззвезде на кухне. Похоже было, что Маслаков шутит, хотя в его тоне и во всем виде не чувствовалось никакой шутки. Как всегда, располагающая улыбка сквозила на его смуглом округло-простодушном лице.

— Да вот, дрова запасая.

Ногой в исправном еще, намазанном салом кирзовом сапоге Маслаков тронул кривой ольховый комель — верхушка жерди, словно живая, коротко шевельнулась в траве.

— Один таскаешь?

— Ну.

— Каторжник! — сочувственно заключил Маслаков и в упор повернулся к парню. — Слушай, у меня к тебе дело.

Степка нетерпеливо снизу вверх взглянул на Маслакова. Когда тот еще только окликнул его, он почувствовал, что это не так себе, что Маслаков несет новость и что новость эта хорошая. И он во все глаза смотрел тепер на подрывника, который на минуту будто замялся в нерешительности.

— Сходим на одно дело? С музыкой.

Неизвестно почему, но Степка уже чувствовал, что будет именно такое предложение. Это было куда как соблазнительно — сходить с Маслаковым на боевое задание. А то последнее время он если и вырывался куда, так за картошкой на какой-нибудь хутор или за сеном в луга; однажды возил трофейный брезент в соседний отряд. На задания его не посылали.

Но тут же Степка вспомнил свое положение в хоззвезде и нахмурился:

— Клепец разве пустит!

— А куда денется.

— Ты говорил с ним?

— Командир поговорит. Вызовет, прикажет — и весь разговор, — без тени сомнения сказал Маслаков.

Степка уныло махнул рукой.

— Ну, командир не заступится.

Подрывник нетерпеливо переступил на месте, поддал на плече новенький, с лакированным прикладом ППШ.

— Ладно, это мое дело. Ты говори: согласен?

— Я-то согласен.

— Так потопали. А то времени мало.

Еще не веря, Степка нерешительно поднялся, подобрал винтовку, глубже за ремень засунул топор. Маслаков одною рукой подхватил две жерди и двинул в кустарник — напрямик к недалекой уже кухне. Степка поспешил следом. Вопреки своим опасениям он постепенно обретал уверенность, хотя в душе его еще не исчезло и сомнение. Степка слишком хорошо представлял себе, как встретит эту новость Клепец, которому вечно не хватает людей на кухне, и те у него всегда лодыри и разгильдяи. Однако Маслаков о том, видно, мало заботился и, оглянувшись, сказал:

— Помнишь, как мы под Фариновом грукнули?

— Ну.

— Вот я и думаю: что это Толкача на кухне коптят? Такого подрывника, с опытом.

Он взглянул на парня с такой подкупающей улыбкой, что Степка на минуту почувствовал себя счастливым. Правда, он скоро сообразил, что Маслаков, наверное, преувеличивает. какой там у него опыт!

Опыт, конечно, был небольшой, последнее время на «железку» он не ходил. Но тогда под Фариновом они в самом деле рванули неплохо. Место подобрали удобное: насыпь, поворот и к тому же спуск, впереди подмерзшее болотце. Машинист, наверно, не предвидел опасности, и как грохнуло, почти весь состав слетел с насыпи. Тогда еще с ними ходили Балашевич и Струк. Первого уже нет, а второй раненым остался где-то в Козельской пуше.

С одной жердью было удобнее; вскоре они выбрались из чащи в редколесье, и Степка немного подбежал вперед, чтобы идти рядом.

— А кто еще пойдет?

— Еще? Данила Шпак из взвода Метелкина. Пожилой такой, местный. И Бритвин. Знаешь?

— Тот, что ротным был?

— Вот-вот. Пойдет вину искупать. Как искупит, тогда, говорили, опять командиром поставят.

Что ж, это было недурно: Маслаков, Бритвин — старые, опытные партизаны, Шпак Данила — здешний человек, насквозь знает все ходы-выходы. Степка постепенно уже осваивался со своею радостью, о задании он не спрашивал, знал: придет время — разъяснят, что надо.

Они подтащили дрова к кухне, от которой уютно пахло дымком, и остановились неподалеку от пня, где была дровосека. Тут уже лежало несколько жердин, принесенных раньше, однако Степка сразу прикинул, что на обед дров было мало. Тем не менее эта забота, недавно еще занимавшая его, теперь показалась такой постылой, что не хотелось о ней и думать. Они побросали жерди, и Маслаков привычно подтолкнул на плече автомат.

— Собирайся! Через часик потопаем.

3

Однако через час не потопали: случилась заминка со взрывчаткой.

Пока Маслаков бегал по начальству, они втроем дожидались под елкой на краю прогалины, в том месте, где начиналась дорога. Бывший командир роты Бритвин, как только пришел сюда, сразу растянулся ничком на усыпанной хвоей земле и лежал так, с молчаливой сосредоточенностью положив на руки крепкий свежесбранный подбородок. Из них троих он один в шинели и суконной пилотке имел хоть сколько-нибудь воинский вид; Степка же в своем сборном обмундировании скорее походил на полиция. Что до третьего, пожилого колхозника Шпака Данилы, то во внешнем облике того вообще не было ничего воинского. Молчаливый, с заросшим черными космами лицом, в рыжем, залубеневшем от мокряди кожухе и в лаптях, он сидел, прислонясь к смолисту комлю елки, и что-то с аппетитом жевал. Рядом лежал его коротенький обреза с некрашеной самодельной ложей. Степка не сразу понял, что Данила ел бобы, которые таскал из замусоленной противогазной сумки понемножку, по паре зерен, всякий раз делая вид, что они у него последние. Тем не менее и через полчаса он все ел, избегая взглядов Степки, когда тот поворачивался к нему. Парень отлично понимал эту простодушную хитрость, но молчал, потому что давно взял за правило ничего не просить у тех, кто не хотел давать.

Он был в приподнятом, почти радостном настроении. Клепца не понадобилось и вызывать к командиру — просто Маслаков передал ему распоряжение начальника штаба, и хозяйственник, поворчав, смолк, что значило — согласился. Степка, не дожидаясь обеда, получил свой кусок хлеба, который тут же съел, и теперь пребывал во власти волнующего нетерпения, когда хотелось только одного: поскорее двинуться в путь.

Закинув за спину винтовку, он выломал прутник и, постегивая им по траве, поглядывал в сторону шалашей, откуда должен был появиться Маслаков.

— Может, мимо Озерища пойдём? Не знаете?

Ему никто не ответил. Данила был занят бобами, а Бритвин только повел на парня косым равнодушным взглядом.

— Возле Озерища легче пройти. Там вся полиция своя.

— А тебе откуда известно? — холодно спросил Бритвин.

— Мне? Такой секрет! Все знают, — с деланным безразличием сказал Степка, но внутренне насторожился: тон этого вопроса был ему слишком знаком, и он понял, что напрасно сказал так.

Бритвин после паузы с нажимом заметил:

— Ты за всех не ответчик и держи язык за зубами, если что и знаешь.

Степка поверх леса посмотрел в небо, заянудое молочной дымкой, сквозь которую с утра не могло пробиться солнце, затем перевел взгляд вниз, на шалаша за поляной — Маслакова все еще не было. Другому бы он ответил в таком же тоне, но грубить Бритвину пока воздержался. Правда, ходили слухи, что месяц назад Бритвин здорово проштрафился на задании, его сняли с роты, хотели судить, да перевели в их отряд рядовым. И тем не менее тон и весь его вид свидетельствовали, что рядовым он себя не считал. Во всяком случае в этой маленькой группе держался как старший, хотя и с небольшим, но все же заметным превосходством над ними двумя. Впрочем, это не очень беспокоило Степку, который единственным командиром признавал тут Маслакова.

Степка снял из-за спины винтовку и тоже присел несколько в стороне от тех двоих. Винтовка у него была старая, с граненым казенником, выпущенная, судя по клейму, еще до модернизации 1930 года. Вообще-то стреляла она неплохо, затвор также работал нормально, и Степка был бы вполне ею доволен, если бы не мушка. Мушка расксернилась в своем гнезде и имела обыкновение сползать в сторону от положенного ей места. Прежде чем выстрелить, надо было сдвинуть ее, чтобы совместились риски, а потом уже прицеливаться.

Степка подобрал на земле сучок, ногтями отщипнул от него щепочку и начал засовывать ее под мушку. Щепка, однако, не лезла, ломалась. На его занятие обратил внимание Данила, а затем и Бритвин, который, взглядевшись, недовольно двинул бровями:

— Ты что делаешь?

— Да вот, мушка.

Бывший ротный повернулся на бок и с требовательной уверенностью протянул руку:

— А ну!

Степка еще раз ковырнул щепкой, но опять неудачно и отдал винтовку Бритвину. Тот сел, расставив колени, привычно поклацал затвором.

— Ну и ломачина! Грязная, конечно, ржавая... У тебя кто командир? Меликьянц, да?

Степка промолчал. Разговаривать с Бритвиным у него уже пропала охота — он знал, что тот скажет дальше.

— Ладно. Давайте винтовку.

— Нет, обожди! — уклонился от его руки Бритвин. Он щелкнул курком, потрогал прицельную планку, потом взглянул на мушку. — А еще говорили, Меликьянц — строгий командир!

Степка все молчал, но под елкой подозрительно завозился Данила.

— Да он не Меликьянца — он с кухни.

— Как с кухни?

Бритвин опустил руку с винтовкой и вперил в него недоумевающий, почти возмущенный взгляд. Степка за ствол выхватил у него винтовку. Подумав про Данилу: что б ты пропал! Тянул его кто за язык, что ли? Но поправить ничего уже было нельзя, и он огрызнулся:

— А что на кухне — не люди?

Потом поднялся и закинул свою «ломачину» за плечо, готовый идти, только идти было некуда — надо было ждать. Данила с легкой усмешкой на широком лице, а Бритвин с тревожной настороженностью по-сматривали на него.

— Тебя кто в группу назначил? — спросил Бритвин, сдвинув к переносью широкие брови.

— А вам что за дело?

Все было слишком знакомо. Степка опять почувствовал себя в положении человека, действия и способности которого брались под сомнение, и это невольно толкало его на дерзость.

— Назначили! У вас не спросили.

Бритвин тем не менее, сохраняя выдержку, погасил удивление и повернулся к Даниле, который без особого внимания к ним обоим копался в глубине своей сумки.

— Дожили, нечего сказать! — проворчал бывший ротный, снова откидываясь на локте.

Степка, потоптавшись немного, сел поодаль от них возле стежки. Первая радость в нем быстро омрачалась досадой, он уже каялся, что дал Бритвину в руки винтовку, — пусть бы осматривал свою. А то достал где-то десятизарядку, и столько важности! Еще неизвестно, чья лучше возьмет — его СВТ или эта, образца 1891 года. Степка мог бы все это объяснить им, как и то, что при кухне он оказался случайно, что он не меньше других в свое время ходил на задания. Но возникшая уже неприязнь к обоим, особенно к Бритвину, брала свое, и он ничего не мог с ней поделать.

Обиженно притихнув, Степка не сразу заметил, как со стороны шалашей появился Маслаков. Под елью, шурша кожухом, начал вставать Данила, поднялся и удобнее сел Бритвин. У Степки же от чирьев ломило в шее, и, чтобы оглянуться, он вынужден был повернуться всем корпусом. Шагая через поляну, командир одной рукой нес немецкую канистру, подойдя, поставил ее на дорогу и сдвинул с потного лба армейскую шапку.

— Что это? — спросил Бритвин.

— Дымок, дымок пускать будем, — заговорил Маслаков. — Думал, сыграем — ничего не вышло. Будем дымить.

Все озадаченно глядели на канистру — Данила и Степка стоя возле нее, а Бритвин молчаливо сидя на своем месте. Разумеется, они понимали, что получилось хуже, чем предполагали: бензин — не тол, жечь всегда хуже, нежели взрывать.

— Так мы что, не на «железку»? — сдержанно спросил Бритвин, уставясь куда-то вниз, на сапоги командира.

Маслаков с неунывающей живостью в глазах окинул своих подчиненных.

— Нет, не на «железку». В другую сторону. На Кругляны.

— На Кругляны... А кто тебе группу комплектовал?

— А что, плохая группа? Сам подбирал.

Бритвин неторопливо встал, подошел ближе. Затем неожиданно повернулся и оказался лицом к лицу со Степкой.

— А этого тоже сам выбрал?

— Толкача? А что, плохой подрывник?

Бритвин исподлобья укоризненно посмотрел на командира.

— Где это он подрывал? На кухне?

— Где надо было, там и подрывал! — не стерпев, огрызнулся Степка. — Подумаешь, начальник нашелся!

— Тихо!

Наверно, Маслаков только сейчас что-то понял. Улыбка исчезла с его лица, без которой черты его сделались резкими, почти жесткими.

— Кого брал — мое дело, — сказал он. — Кто заслуживал.

— Заслуживал! Ты посмотри, какая у него винтовка! — кивнул головой Бритвин, отходя в сторону.

Маслаков повернулся к Степке:

— А ну, дай сюда!

Степка подал винтовку. Маслаков открыл затвор, резко щелкнул курком. Строго взглянул на парня:

— В чем дело?

— Да мушка немного шатается, — будто о пустяке, нарочитой скороговоркой ответил Степка и прикусил губу.

Пока Маслаков осматривал мушку, парень все больше хмурился, в душе проклиная Бритвина. Разве был он виноват, что Клепец вручил ему эту «ломачину»? С особенным сожалением он вспомнил теперь свой аккуратный трофейный автоматик, который у него отобрали, переводя в хозяйственный взвод.

Маслаков поднял глаза на Степку:

— Закернить не мог? Да?

— Так не было чем.

— Сейчас некогда — на перекуре напомнишь. Сам закреплю. Остальное в порядке?

— В порядке, — поспешно ответил Степка.

Маслаков еще раз взглянул на его тонкую, перехваченную ремешком фигуру, задержал взгляд на перевязанном проводом сапоге, но не сказал ничего.

— Держи!

Степка на лету едва успел ухватить брошенную ему винтовку и с облегчением тихонько вздохнул. Напряжение его спало, главное — обошлось, его не прогнали, остальное уже не имело большого значения.

— Так! Тогда шагом марш! — сказал Маслаков. — Канистру понесем по очереди. Кто первый?

Однако первого не объявлялось, канистра стояла на краю дорожки, над нею, ожидая охотника, стоял Маслаков. Бритвин, верный своей привычке, отошел в сторону и принял такой вид, будто его ничего тут не касалось. Данила глядел в лес, как бы не слышал, что сказал командир. Тогда Степка с угрюмой решимостью ступил на дорогу и взялся за гнутую металлическую ручку канистры.

— Да-а, — неопределенно проговорил Маслаков и вздохнул. — Ладно, начинай, Толкач.

4

Начинать было не так уж и трудно — около часа Степка, меняя руки, тащил канистру. Заброшенная лесная дорожка сначала вилась в мрачном замшелом ельнике, потом потянулась низиной, ольховым кустарником, перелесками. По черному грязному торфянику партизаны перешли хлюпкое, со стоячей водой болото, края которого всю зеленели весенней травой.

Еще в начале пути Степка намеренно приотстал, чтобы не идти рядом с Бритвиным: Степка понимал, что бывший ротный недоволен им, сомневается в его боевых качествах, а может, и вовсе считает его неподходящим для порученного им задания. Хотя, пожалуй, надо было попросить

у Свиридова автомат или хотя бы закернить эту мушку. Теперь, поразмыслив и несколько поостыв, он не считал себя во всем правым, но и не мог согласиться с тем, чтобы ему читал мораль Бритвин. Степка стерпел бы мораль от Маслакова или еще от кого-нибудь из отрядного начальства, но не от Бритвина, которого он не знал, а теперь уж и не уважал вовсе. Мало что он бывший командир, но товарищ из него никудышный. И это удручало, потому что на задании куда важнее было иметь рядом просто надежного товарища, чем придирчивого командира. В командах пока не было надобности — надо было тащить канистру.

И он тащил ее, едва не переламываясь пополам. Бензин резко вонял, заглушая лесные запахи, и с тихим плеском мерно шевелился в посуде. Со временем канистра все тяжелела. Степка начал останавливаться, отдыхая и меняясь руками, и наконец отстал. На пути их пролегал глубокий, заросший орешником овраг. Маслаков с остальными перешел по дорожке на ту сторону, а Степка остановился на краю и поставил канистру. Наверно, надо было окликнуть, чтобы подменили, но он промолчал: он не хотел при Бритвине ни о чем просить — могли догадаться сами. Остужая в воздухе натруженную ладонь, он только глядел им вслед и думал: оглянется кто или нет? Они же друг за другом лезли по склону вверх, и только выбравшись из оврага, Маслаков окликнул его. Степка, не ответив, опустил ее подле канистры. Они за оврагом тоже сели. Тогда, малость отдохнув, он поднялся и сошел в овраг.

Он думал, что они дождутся его и пойдут, однако они не вставали. На краю дороги с прежним озабоченным видом сидел Бритвин, рядом переобувался Маслаков. Данила, хватаясь руками за ветки, полез к ручью напиться. Занятые разговором, они, казалось, не обратили на Степку никакого внимания.

— Реку под Круглянами знаешь?

— Ну.

— Так вот там.

— Длинный тот, деревянный?

— Он самый.

— Вряд ли удастся, — подумав, сказал Бритвин, по своему обыкновению глядя вниз. — Там охрана.

Степка сообразил, что разговор касался задания, и исподлобья внимательно поглядывал то на Бритвина, то на командира. Маслаков, поддев носком, стянул с ноги второй свой сапог и подвернул портянку.

— Охраны нет. Вчера пришел Голенкин из разведки. На мосту пусто, — спокойно объяснил он и, надев сапог, мягко притопнул на дороге.

Степка подумал, что сжечь мост, наверно, будет непросто. Даже если и нет охраны. За пизинкой там местечко с полицией, откуда этот мост виден как на ладони. Но теперь своим несогласием с Маслаковым парень не хотел поддерживать Бритвина и молчал.

— Днем, может, и нет. А ночью? — сказал Бритвин.

— А зачем нам почь? Днем и подпалим.

— Под носом у бобиков?

— А что? Дерево сухое, вспыхнет, как порох. Только бы бензина побольше, — бодро сказал Маслаков и повернулся к Степке. — Толкач, давай драгунку.

Степка подал винтовку, командир вынул из-за голенища финку и ее черенком начал тихонько клепать у основания мушки.

— Все дело в том, как обмозговано. А обмозговал ты неважно. Хитрости мало! — недовольно говорил Бритвин.

— Какой там хитрости!

— Такой, чтоб сказал и сразу было ясно, что удастся.

— Без внезапности никакая хитрость не поможет. Внезапности нужна.

Слушая неторопливый, не очень согласный разговор, Степка забыл уже о первом невольном сомнении относительно замысла Маслакова и поднял на Бритвина обиженно-злой взгляд:

— Не такие взрывали! Только щепки летели. И не трусили!

Он преднамеренно сказал так — грубо и почти вызывающе, — чтобы задеть Бритвина. Правда, это выглядело несколько наивно и самонадеянно, но он уже ощутил в себе волнующий холодок решимости и знал, что не отступит.

Бритвин нахмурился:

— Кто это — взрывали?

— А мы!

— Гляжу, умные очень! — язвительно сказал бывший ротный.

Он заметно осторожничал, может, хитрил, утрачивая свою привычную командирскую самоуверенность, недавно еще удерживавшую Степку на расстоянии. Почувствовав это, Степка пошел направо, лишь бы досадить Бритвину:

— Да уж за свою шкуру дрожать не будем!

Из оврага, шурша в кустарнике кожухом, выбрался Данила и прислушался к разговору.

— Что ж, посмотрим! — вдруг зло сказал Бритвин.

— Смотрите.

— Ладно, будет вам! — прикрикнул Маслаков. — Придем, осмотримся, решим на месте. Держи!

Не вставая, он бросил Степке винтовку, которую тот ловко ухватил за ложу.

— Лишь бы дождя не было, — поглядел в небо Маслаков.

Остальные, кроме Бритвина, тоже подняли головы. Белесая поволока там вроде сгушалась, край неба за оврагом подозрительно синел — похоже, в самом деле собирался дождь.

— Что-то хмурится, — неопределенно сказал Данила.

Маслаков энергично встал на ноги.

— Ну, потопали! Данила, бери канистру!

5

Они выходили из Гриневичского леса. Ельник редел, видно, кончался, шире раздалось небо над головой, уже рядом была опушка. Вдруг Маслаков коротко бросил: «Постойте!» — шагнул с дороги и скрылся в сплошной чашобе молодого подлеска. Остальные остановились на краю дороги. Данила, отсапываясь, поставил канистру и сел, где стоял. Бритвин настороженно глядел в подлесок. Степка, положив на траву винтовку и опустившись на колени, принялся затягивать проводом сапог. Но не успел он завязать узел, как из ельника донеслось:

— Сюда давай!

Они встали и полезли в молодой еловый подлесок, источавший резкий смолистый запах. Раздвигая неподатливые колючие сучья, Степка через минуту вылез на более просторное место. Тут уже был край леса. Над молодой хвойной порослью, убегавшей по пригорку вниз, возвышались две толщенные, увитые прядями мха ели с разлапистыми сучьями. Возле ближней из этих елей, склонив голову стоял Маслаков.

— Давайте подправим скоренько.

В земле неглубокой впадиной наметилась несвежая, наверно прошлогодняя, могила. Небрежно накопанная земля осела, края могилы обсыпались. Маслаков начал сапогами сгребать к ней песок. Данила поставил канистру.

— Что, знакомый? — спросил Бритвин.

— Двое наших: Кудряшов и Богуш. Осенью в Староселье на засаду нарвались. Кудряшова на месте в лоб, Богуш по дороге умер.

Степка прислонил к еловому комлю винтовку и без лишних распросов подался к командиру. Грести песок сапогами он не решился, опасаясь вовсе остаться разутым, и начал руками разравнивать его по форме могилы. Данила с Бритвиным стояли поодаль.

— Ну что? — вскинул голову командир. — Давай, Данила, дерна поищи. Обложить надо.

Данила молча вытащил из ножен на ремне немецкий штык-тесак и вразвалку неохотно поплелся в заросли. Бритвин опустил под елью.

«Падла! — подумал Степка, шлепая ладонями по волглой земле. — Бойтся руки запачкать. Начальничек!»

Пока они вдвоем возились с могилой, Данила в поле кожуха принес три куска дерна, вывалил рядом. Маслаков приложил дерн к краю могилы, но его было мало. Тогда под елью нетерпеливо поднялся Бритвин.

— Дай штык! А то провозишься тут...

Данила отдал штык, и он решительным шагом двинул к опушке. Несколько помедлив, Данила пошел следом. Степка подумал, что и ему следовало бы включиться в эту работу, но прежде, чем отправиться туда, он сказал Маслакову:

— Знал бы, не пошел.

— А что?

— Да этот... Бритвин.

— Ничего, — сказал командир, помолчав. — Не обращай внимания. Придирчивый, зато головастый.

Все по разу они принесли десяток дернин, и Маслаков кое-как обложил могилу. Получилось совсем не плохо — почти как на кладбище.

— Вот и порядок! Славные ребята были, — будто оправдываясь, сказал Маслаков.

Бритвин поморщился:

— На всех славных время не хватит.

— Сколько того время? Полчаса.

— Бывает, что и полчаса дорого. Особенно на войне, — сказал Бритвин, полой шинели вытирая ладони.

Степка невзначай глянул на его руки — грубые и натруженные, с корявыми пальцами, на которых бросались в глаза толстые обломанные ногти. Уже без недавней неприязни парень подумал, что, возможно, Бритвин и не такой уж плохой, как показалось вначале. Но чувство неприязни к нему окончательно еще не исчезло.

Бритвин между тем поправил на плече свою СВТ с обшарпанной ложей и, сделав шаг, оглянулся, поджидая Маслакова.

— На диверсиях время — золото. Что-что, а это я знаю. Двенадцать поездов рота фуганула. Вон от Клепиков до Замошья под насыпью — сплошь моя работа.

— Под насыпь старо, — сказал Маслаков. — Что под насыпь пускать — в выемках надо.

Бритвин, будто отстраняя его, двинул рукой.

— Ничего, и так неплохо.

Спорить с ним Маслаков не стал. Поработав, он разогрелся и, сняв с телогрейки ремень, подпоясал им гимнастерку. Степка украдкой поглядывал на Бритвина и думал: тоже — его работа! У них в отряде еще зимой было приказано диверсии на дорогах устраивать только в выемках, потому что спущенные под откос поезда останавливали движение на полдня, не больше.

— А насчет могилы, — сказал Маслакову Бритвин, — так можно бы дядькам поручить. Дядьки бы позаботились.

— Очень нужно.

Они остановились возле канистры, за которую теперь не спешил браться Данила, и Бритвин, наверно, понял, что пришла его очередь.

— Неудобно же! Как вы ее несли? — удивился бывший ротный, приподнимая посудину. Оглянувшись вокруг, он подобрал кривоватый еловый сук и продел его в ручки канистры.

— Так будет лучше. А ну, берись, парень!

Это относилось к Степке, который, однако, не тронулся с места: дураков нет, он свое отнес. Если что, пусть берется Данила.

— Ваша очередь. Ну и несите!

— А ты попробуй!

Но Степка не хотел и попробовать, и тогда за конец палки взялся Маслаков. Правда, скоро обнаружилось, что командиру нести неудобно: сползал с плеча автомат, левой же рукой Маслаков двигал осторожно, не разгибая в локте, — наверно, еще болела. Тогда вперед вышел Данила.

— А ну дайте!

— Что, во вторую смену? Пожалуйста, — улыбнулся Маслаков.

Взяв канистру, Данила с Бритвиным пошли по склону пригорка вниз, рядом шагал командир. На опушке, едва высунувшись из леса, он остановился: впереди была деревня — за не вспаханymi еще огородами серели соломенные крыши хат, хлева, на выгоне паслись гуси, и трое ребятишек сидели верхом на изгороди. Минуту вглядевшись сквозь редкий еще кустарник, Маслаков круто повернул в сторону, в ольшаник. В ольшанике они скоро наткнулись на изрытую кротами тропинку, которая вывела их к ручью на лугу. Ручей перешли по двум хлюпким жердям. Потом опять подвернулась малоезженная полевая дорожка, приведшая их к густой стене мрачного ельника. Хотели было сразу скрыться в нем, но дорога с километр тянулась у самой опушки вдоль поля, ярко зеленевшего густыми полосками озими. Война войною, а крестьянская душа без земли не могла: в деревнях и пахали и сеяли. Маслаков непрестанно посматривал по сторонам, оглядывался. Бритвин далеко не отрывался от него, жилистый рукастый Данила неслышно шагал в своих легких на ходу лаптях. Степка, отстав, тянулся за всеми — на ногу сбилась портянка, вроде натирала пятку, в намоченных на болоте сапогах надоедливо чавкало.

Наконец дорога опять повернула в лес, под навись еловых ветвей, и у всех отлегло на душе: лес был союзник.

— Ну, больше деревень не будет, — вздохнул Маслаков. — Загораны спалены, Ковши хуторские лесом обойдем.

— Прохвичи еще, — низким, глуховатым, как из бочки, голосом отозвался Данила.

— Прохвичи останутся в стороне. За речкой.

— За речкой, ага. Племянница там замужем.

Это был намек, который таил в себе немаловажный смысл. Если у кого в деревне случались знакомые или, что еще лучше, родственники, то это обещало многое, и не для одного только лесного родича. Маслаков, конечно, понимал это не хуже других и, наверно, поэтому минуту молчал, что-то прикидывая.

— Потом. Как назад пойдем. Не теперь.

— Теперь нет. Где уж теперь, — согласно подхватил сзади Данила.

Неожиданно для себя Степка почувствовал легкое разочарование: зайти в деревню всегда было кстати, хотя и с риском наткнуться на бобышек или немцев — все равно после опостылевшей лесной жизни властно влекло к людям, немудреному домашнему уюту, которого Степка не знал

много лет. Эта тяга жила в нем с раннего детства, когда во время коллективизации он потерял родителей, не исчезла в детдоме, в школе ФЗО и особенно усилилась за войну в его бесприютных партизанских блужданиях по лесу.

Наступая на осклизлые, ободранные колесами корни елей, они обошли широкую, с застоявшейся водой лужу на дороге, и Маслаков оглянулся.

— Если управимся, ночью заскочим. Так тому и быть, — сказал он.

Данила прибавил шагу, они с Бритвиным догнали Маслакова, и Данила подхватил разговор, который явно интересовал его:

— Если управимся, то... Пасха же.

— Пасха, да. А вообще лучше не заходить, — сказал Маслаков. — Меньше беды будет.

Бритвин отчужденно молчал, а Данила и тут согласился:

— Оно так.

— Как-то зашли, едва ноги унесли, — вспомнил Маслаков. — Другие предложили, а я, дурак, и послушался.

— Как говорится, других слушай, а своим умом живи.

— Закурить нет?

— Есть малость.

— Давай подымим. Чтоб веселей жилось.

Носильщики остановились, осторожно опустили наземь канистру. Данила откинул полу кожуха и начал перебирать что-то в карманах суконных латаных-перелатаных штанов. У Бритвина тем временем нашлась и бумажка — страничка из школьного учебника по геометрии. Стоя поодаль, Степка устало глядел, как они отрывали от нее по клочку, и Данила бережно отмерил каждому щепотку самосада. Степка тоже курил, когда было что, теперь же ему не предлагали, и он не просил, зная цену табаку. Особенно для таких курильщиков, как Данила.

— Прикурим от немецкой, — объявил Маслаков, засовывая руку за пазуху. Нашував, он достал плоскую, будто пачка от иголок, бумажку со спичками, бережно отделил одну и чиркнул о терку, что почти испугало Данилу.

— Зачем?.. У меня ж кресало! — спохватился он. Но спичка уже вспыхнула, и он первым прикурил из пригоршней Маслакова. — Испортил, ай-яй!

— Ничего! На Круглянский мост хватит, — успокоил его командир.

Они с наслаждением затянулись и будто веселей даже двинули по поросшей молодой травкой дороге. Наверно, возвращаясь к прерванной мысли, Маслаков обернулся к носильщикам:

— Про комбрига Преображенского слышали?

— Того, что осенью немцы расстреляли? — не вынимая изо рта сигарки, спросил Бритвин.

— Какой осенью? Его еще летом расстреляли.

— А говорили, сам в плен сдался, — ненастойчиво возразил Бритвин.

Маслаков остановился.

— В плен! Языки бы тем повырвать, кто так болтает.

— Не знаю. Слышал, кто-то рассказывал. Я же в их отряде не был.

Маслаков бросил беглый, все замечающий взгляд вперед, куда уходила эта извилистая лесная дорога, огляделся по сторонам. В лесу везде было спокойно, лишь в ветвях возилась-потенькивала невидимая птичья мелкота да сверху на посвежевшем ветре привычно шумели верхушки елей. Внизу же, в узком кривом коридоре между деревьями, было тепло и тихо, комары еще не появлялись. Время близилось к вечеру, солнца не было видно, над лесом медленно плыла серая навесь облаков.

— Был кто в Шнурах?

Степка впервые слышал такое название, да и Бритвин, наверно, тоже. Они молчали, один лишь Данила, что-то припоминая, заморгал глазами.

— Тех, что за Лесовичами?

— Тех самых, — подтвердил командир. — Славная деревушка на горе при лесочке. Люди попались хорошие, золотые люди. Через их доброту и погорели.

6

— Всякая доброта бывает. Другая хуже злобы, — сказал Бритвин, спокойно шагая вплотную за Маслаковым. Тяжести ноши он вроде и не чувствовал, шел ровно и прямо, и Степка подивился его находчивости: на палке канистра, казалось, нисколько и не весила.

Маслаков на реплику не ответил и продолжал после паузы:

— От было, чтоб его черт! Нас-то двое выскочило, а комбрига забрали. Забрали и повели, а мы лежали, как олухи, в картошке и не знали, что и думать. На Палик тогда шли. Знаете Палик? Озеро вон за Лепелем, часть нашего отряда базировалась там. Двое суток лазили по болотам. вымокли, сухой нитки на теле не осталось. Опять же и харчишки вышли. Надо было запастись побольше, да у тех, что оставались, тоже негусто было. Думали, где-нибудь в пути перехватим...

— А много вас было?

— В том-то и дело, что мало. Трое всего.

— Ну, для троих жратва не проблема. В любой хате...

— Ага, в любой хате! Сунулись в одну деревушку — собаки такой хай подняли, что пришлось в лес повернуть. В другой полицаи свадьбу гуляют, какого-то бобика женят, — понаехало, на улицах полно, пьянка, дым коромыслом. Думали, потерпим, оставалось километров тридцать, кабы не заблудились. Заблудились, однако, в болотах, изнервничались, переругались. А тут комары жрут нещадно, вокруг то ольшаник, то трясина, камыши, и силы без жратвы уже к концу подходят. Да, значит, было нас трое: я, комбриг Преображенский и лейтенант один, тоже из кадровых, — от самой границы все возле комбрига ну вроде за адъютанта, хотя сам такой же рядовой, как и комбриг этот. Оно и неудивительно: комбриг в своей танковой бригаде был командир, а с пятью танкистами прибил в отряд — чужой, пришлый человек. Отрядик из местных, хотя были и красноармейцы, из окружений которые, командиром Барсук. Вон тот самый, что с тишковским отрядом в рейд пошел. До войны был председателем сельсовета. Не гляди, что в военном деле ни гу-гу, зато все деревни ему знакомые, а в деревнях тьма мужиков свои. А что комбриг танковых войск без войска? Всей и цены, что пистолет в кармане да граната на поясе. Правда, Преображенский и не стал кичиться, как некоторые. Барсук принял, спросил, какую комбриг должность хочет. А какая там должность в отрядике, где сорок человек? «Хоть рядовым, лишь бы немцев бить». Так и пошел рядовым в наше отделение. А я отделенным. Понижение, конечно, ведь действительную помкомвзводом служил, старший сержант был...

— Велика шишка! Я вот старшим лейтенантом был — и ничего! — Бритвин довольно оглянулся на Данилу, ища внимания. — Полгода рядовым проходил.

— Да, конечно. Но не в том дело. У меня тоже такие вояки собрались, что не стыдно и отделенным побыть: один секретарь райисполкома, милиционер из Полоцка, два лейтенанта и этот комбриг Преображенский. Сначала думал, будет пререкаться, палки в колеса ставить. Опять же, как мне, по возрасту вдвое моложе его, командовать таким? Потом ока-

залось, еще и академию в Москве окончил. Да ничего, приняхались. Был тихий, молчаливый, как всем, так и ему. Сам в очередь на посту стоял, шалаши строил. Разве что наган ему лейтенант чистил. И все-таки не ровня нам, молодым, в этом мы скоро убедились. Человеку за пятьдесят, как ни тщится-старается, а видно: силы не те. Тот раз ему особенно плохо было. Оказывается (проговорился потом уже, как в баньке лежали), радикулит донял. И правда, тянет все ногу и морщится. Тогда мы, двое помоложе, и то без ног остались, а ему где уж! Начал отставать. Лесок прошли, три раза останавливались, поджидали, а как же: отстанет, потеряется, пропадет. Лейтенант уже взял у него и сумку — больше не дает ничего. «Никакой поблажки,— говорит.— Нечего баловать тело, надо его подчинить воле, как новобранца фельдфебелю»...

— Правильно! Таков закон армии. А как же, — вставил Бритвин.

— Закон законом, а под вечер совсем плох стал наш комбриг. Я и то едва бреду перелесками. А тут еще дождь заладил. В кустарнике мокрядь. Начало смеркаться, вышли на опушку и тут — деревня. За болотцем на пригорочке хаты, дым стелется над огородами, и так вареной картошечкой пахнет...

— Знакомая картина, — усмехнулся Бритвин.

— Ну. Прислонился я к березе, молчу. Притопал комбриг с лейтенантом. Лейтенант был сильный, спортивный парень, кадровый командир, а и тот приуныл. Комбриг же дотопал и наземь — мол, подождите, ребята. Известно, человек занемог, приустал, да радикулит еще этот. А деревушка — вот она, и так дразнится дымком, теплом, уютом. Коровка, помню, замыкала, наверно, хозяйку учуяла — доить шла. Гляжу на лейтенанта, тот на комбрига, а комбриг и говорит: «Пожалуй, рискнем!» Ну, известное дело, сначала разведать — а вдруг немцы? Пошел лейтенант, недолго пробыл, вижу, возвращается бодро так и ведет двух дядьков. Один пожилой, седой, но еще в силе, такой, знаете, дед-лесовик, другой помоложе мужчина, в поддевке. Поздоровались сдержанно так, но похорошему, повели всех в село. Говорят, никого, мол, нет, сплошь свои, перекусите да посушитесь. Чувствуем, не к добру это, но больно уж опротивело на пустое брюхо по мокроте. Авось ничего не случится.

— Вот тут-то вы и прошляпили, — сказал Бритвин и повернулся к Даниле. — Давай поменяемся, а то... Ставь на дорогу.

Они поставили канистру. Бритвин, помахивая рукой, зашел с другой стороны ее. Маслаков терпеливо подождал, пока они взяли ношу.

— В том-то и дело, что тут ничего и не случилось. Люди славные оказались, дед — бывалый солдат, все про ту, германскую, рассказывал. Бабы — старуха и две молодницы — собрали на стол, не хуже, чем в праздник. Понятное дело, деревушка глуховатая, немцы пока не трогали, партизаны еще не наскучили, а главное — один сын их тоже в армии. Сняли мы все верхнее, мокрое, бабы начали сушить на печи да перед огнем. И перекусили. За стол с нами и еще трое мужиков село, дед говорит, не бойтесь, мол, все люди свои. Ну ладно, мы не боимся, осмелели. Слово за слово, разговор, конечно, про войну, про немца. Комбриг им целую лекцию прочитал. Ну, наелись, немного подсохли, комбриг и говорит: «Вздремнуть бы часок». Дед огородами отвел в баньку возле картофляника. Темно, тесно, горчит от прокуренных стен, веничком пахнет. Завалились на полки и спать. Охраны не надо, дядьки сами взяли охранять. В их честности мы не сомневались. Утречком сговорились двинуть. Показалось, только вздремнул, слышу: беда! В распахнутой двери дед: немцы! В баньке еще темно, окошко, однако, светлеет — рассвет. Подхватились мы, да в предбанник, потом за угол баньки. Да слышим, дед сзади: «И там немцы!» Окружили, значит. Куда податься? Попадали в картофляник, лежим. Картошечка уже отцвела, ботва рослая, укрывает. Воткнулся в

комбриговы сапоги, со сна ни черта не соображаю, жду... Вот черт, потухла. У тебя горит?

У Бритвина горело, они опять остановились под нависью еловых лап. Маслаков прикурил, затянулся и умолк. Остальные тоже молчали.

— Вот так! — продолжал Маслаков. — Утречком тишина, все звуки наверху, выглянуть нельзя, а так далеко слышно. На дворе крики, угрозы, плач. Мы соображаем: так просто наскочили или нас ищут? Неужто кто предал? Оно ведь так: какие бы хорошие люди ни были, а сволочь завсегда найдется. Донесла. Как потом выяснилось, баба одна. Зло за что-то имела на дедовых молодаяк, ну и слетала по ночи в местечко, привела полицаев, фельдшармов — канты на погонах крученые такие. А тут, как на беду, комбриг оборачивается и шепчет: «Гимнастерка осталась». Я чуть не обмер, но точно: комбриг в накинутой палатке, а гимнастерка в хате. Еще когда ужинали, тетка на печи расстелила: пусть, мол, к утру высохнет. Высушила на свою голову. Да, гимнастерку скоро нашли, и хотя в ней ничего не было — комбриг документы, конечно, переложил, — сообразили гады, что напали на большого начальника. Откуда узнали, черт их поймай. Может, знаки от ромбов остались. Ромбы-то комбриг давно снял, но если взглядеться, то места под ними будто примяты немного. Ну и взялись. Перевернули всю хату, сараюшки, чердаки; полчаса мы слушали, как они там грохочут, кричат, швыряют. Двое совсем близко прошли к баньке, а там дверь настежь, пусто. Попробуй догадайся, что мы в двадцати шагах в картошке лежим. Думают, наверно, в тайнике каком скрылись. Ищут тайник. Часа за два все перевернули — ни шиша. Дед отпирался, отнекивался, а как гимнастерку нашли, смолк. Кричат: «Говори, куда бандитов упрятал, иначе всех прикончим и хату огнем пустим!» А дед покорно так отвечает: «Воля ваша. Вы — сила».

Возле дороги в лесу проглянула поляна — продолговатая зазеленевшая лужайка с почерневшей копенкой сена поодаль. Маслаков, приостановясь, умолк, бегло огляделся, они быстрым шагом перешли лужайку. Все уже докурили, только командир сжимал в пальцах окурков, который давно не горел.

— Опять потухла. Что такое?

— Говорят, жена изменяет, — сказал Бритвин.

— До жены дожить надо.

На ходу командир сунул окурков за отворот шапки. Они теперь шли все вместе. Маслаков выглядел заметно моложе Бритвина, хотя ростом был его выше, да и шире в плечах, движения его отличались легкостью и сдержанной неторопливостью крепкого, уверенного в себе человека.

— Да, значит, лежим. Я как-то словчился. одним глазом выглянул из ботвы — выстроили их всех под стенкой в рядок: деда, старуху, обеих молодух и двух ребятшек. Бабы голосят: они-то не знают, куда мы из баньки шаснули, один дед знает. А дед молчит. Тогда те сволочи к бабам: «Где бандиты?» Бабы в голос: «Паночки дороженькие, да разве ж мы знаем? Были и ушли, мы не глядели куда». — «Ах, не глядели! А тайник где?» — «Нет у нас никакого тайника, хоть убейте — нет!» — «Убить просите?» — говорит один. Полицей, наверно: слышно, по-здешнему разговаривает. А может, переводчик. — Нет, мы сначала ваших щенков перебьем». И тут — бах! У меня все оборвалось внутри — что надумали, гады! Слышу, и комбриг замер, напрягся. А на дворе крик, плач. Так и есть: самую малую, самую крайнюю в шеренге. А сквозь крик опять тот же голос: «Скажешь или нет?» Потом рассказывали, подскакивает к мальчишке и пистолет ко лбу. А что ему — застрелил бы и его и всех, лишь бы выслужиться. Тем более такая добыча — комбриг. И что думаете? Вдруг комбриг подхватился и к баньке. А лежал он немного за банькой, как вставал, со двора, наверно, не видно было. «Стой, гады!» —

говорит. Мы съежились в картошке, ну, думаю, все пропало. А он этак решительно на стежку и к ним. Фрицы, рассказывали потом, во все стороны с испугу: кто за дрова, кто в хлев, а крикун тот с пистолетом раз на колено и пистолет на руку. Ну точь-в-точь как до войны в Осоавиахиме учили. Изготовился, значит. А комбриг: «За что ребенка, ироды? Я комбриг, берите!» Ну и взяли. Взяли и опять кинулись к банке — человек пять. И туда и сюда — нигде никого. Комбриг им толкует: «Зря стараетесь, остальные в лесу». Поверили. Как не поверить, если человек на такое пошел. И что думаете? Всех разогнали прикладами, деда, правда, тоже увели, но через неделю выпустили. Девочку схоронили. А комбрига, рассказывали потом, в Лепельском СД расстреляли во дворе. Даже и отправлять куда не стали.

— Да-а,— сказал Бритвин.— Сердобольный комбриг. А если бы они и его схватили, и семью прикончили? Тогда как?

— Знаешь,— подумав, сказал Маслаков,— тут дело совести. Одному хоть весь мир в тартарары, лишь бы самому выкрутиться. А другому надо, чтоб по совести было. Наверно, свою вину чувствовал перед людьми. Фактически же его гимнастерку нашли.

— При чем гимнастерка! — проговорил Бритвин, имея в мыслях что-то свое.

7

Остаток пути, заметно притомившись, шли краем ольшаника. Сквозь негустой кустарник то и дело проглядывала широкая луговая пойма, дружно и ярко зеленевшая первой весенней травой. Где-то там, петля между болотистых берегов, текла речка Круглянка. Ее, однако, не было видно отсюда, зато Кругляны показались еще издали — длинный ряд разномастных крыш на пригорке с дорогой. Чтобы попасть на мост, надо было зайти с другой стороны, и Маслаков, переговорив с Данилой, круто взял по перелеску вверх, в обход. Теперь они вдвоем шли впереди, канистру же снова несли по одному (в кустарнике с палкой было не развернуться), пронес немного Бритвин, и последнему она снова досталась Степке.

Данила, знавший здесь все тропинки, как-то странно менял направление: сперва шли ольшаником, потом, описав дугу, залезли в овраг, выбрались по его крутой стороне и скрылись в молодом густоватом березнячке, будто обрызганном нежной зеленью ранней листвы. Затем, торопливо перебежав пыльный лоскут пашни, сунулись в сухой, полный смолистых запахов сосняк. Степка с канистрой опять отстал и из последних сил упрямо продирался в зарослях, опасаясь упустить из виду товарищей.

Они взбирались на песчаный сухой пригорок. Рослый и густоватый на опушке молодой сосняк выше измельчал и редковато рассыпался по склону вперемешку с березками и можжевельником. В этом соснячке Степка и догнал их. Поскидав шапки, развалясь, все трое устало расселись на склоне.

— Ну, дотащил? — улыбочиво жмурясь, спросил Маслаков. — А боялся.

— Чего мне бояться? Пусть фрицы боятся, — сказал Степка, плашмя кладя на землю канистру.

У него от усталости подкашивались ноги, но он заставил себя сдержаться, снял из-за спины и бережно положил наземь винтовку, расстегнул пропотевший мундир — восемь пуговиц от воротника до пояса — и затем уже, выбрав помягче местечко, присел.

— Ну, давай, дави ухо. А я понаблюдаю, как там мост. Только тихо чтоб!

Маслаков встал, взял свой автомат с завидно новенькой лакированной ложей и развалисто пошел вверх.

Оставшись без командира, трое его подчиненных почувствовали себя будто свободней. Данила, став на колени, распоясался, стащил с плеч кожух и блаженно развалился на нем, предусмотрительно вздев на руку ремень куцевого обреза. Степка также откинулся на здоровый, без чирьев бок, задрав голову, поглядел в небо. Там по-прежнему громоздилась туманная мешанина облаков, временами повевал свежаватый, с сыростью ветер — похоже было, погода всерьез портилась. Где-то в стороне, наверно, на недалекой дороге, едва слышно простучала колесами и умолкла повозка. Было тихо. Правда, в кустарнике неподалеку, хлопая крыльями, долго и неуклюже усаживалась на сосенке ворона. Кажется, там были и еще: в зарослях слышалась тихая, но настойчивая птичья возня. Данила как будто спал, прикрыв шапкой волосатое лицо, глубоко и спокойно посапывая. Бритвин, недолго посидев рядом, поднялся и с унылой озабоченностью на сухом лице пошел вверх, к Маслакову.

Степка полежал немного и сел. Все настойчивей начала напоминать о себе гнетущая пустота в желудке: хотелось есть. Замусоленная сумка Данилы лежала в трех шагах от него, наверняка там было что-то съестное, и парень отвел глаза в сторону, чтобы не смотреть на нее. Он только подумал, что было бы здорово пустить дымом тот мост и завалиться куда-либо в деревню — столько вокруг знакомых жителей, было где поест куличей, яиц, да и выпить. Как бы там ни было, а все-таки пасха, деревни празднуют, как праздновали пять и пятьдесят лет назад; только вот им, лесным бродягам, не до того: задание, дорога, проклятая эта канистра, резко и противно вонявшая рядом. Впрочем, на кого пенять? Пошел сам, никто не просил; с первой военной весны убежал в лес, прихватив чужой карабин, повстречал окруженцев, и началась его беспокойная лесная жизнь. Жалел только, что перед уходом не прихлопнул негодяя Володьку. Сколько Степка наслушался от него угроз, потерпел унижений и издевательств, сколько перетаскал ему самогона! Сам полицей был трусоват, далеко из местечка выходить боялся, а его, безбатьковича, приبلудного чужака, аккурат и присмотрел для такого дела.

Вспоминая то время, Степка всякий раз приходил в волнение от давней, застаревшей обиды, как бы снова переживая страшную зиму своего бесправного существования — без документов, на подозрении, среди чужих людей. Но и в Витебске жить было невозможно — завод закрылся, общежитие молодых строителей реквизиrowали под немецкое учреждение, и, чтобы не пропасть с голоду, он отправился в деревню под Лепель, где, помнил, была какая-то родственница, полузабытая тетка Степанида. Идти пришлось все время пешком, в конце поздней ненастной осени; его парусиновые туфли скоро разлезлись, он простыл и однажды, заночевав в крайней от оврага хатенке с обмазанными глиной углами, так и не поднялся утром. Участливая к чужой беде бабка Устинка выходила его, отогрела под кожушком на печи, отпоила липовым наваром, и он дальше уже не пошел, волей-неволей застрял в этом местечке над голым нечистым оврагом, куда сливали помои и сбрасывали перестрелянных полицейями собак. Поправившись, чтобы не быть постылым нахлебником, надевал бабкины развалюхи-сапоги, кожушок, брал у соседей санки и ездил через поле в лесок за хворостом, а то за кусок хлеба носил местечковцам воду, добывал из буртов картошку, которой тогда немало зазимовало в поле. Так кормился сам и кормил бабку Устинку. А по соседству, через три двора, отъедался в примаках бывший лейтенант Володька, который, просидев зиму у сельмаговской продавщицы,

по весне записался в полицию и начал шутя и всерьез придирааться к Степке. Он все донимал парня его незаконным жительство, тем, что у того не было документов, то и дело напоминая, что таких, как он, приказано собирать по деревням и отправлять в район. И если он, Володька, не арестовывает его, так лишь по своей доброте, которая, однако, не бесконечна. Полицей вымогал у Степки множество разных услуг: то сходить к инвалиду-соседу что-нибудь выведать, то утречком покараулить дорогу на выезде из местечка, напилить дров и почти каждый день добывать самогон. Степка опасался Володьки и до поры до времени подчинялся, хотя так возненавидел его, что этой его ненависти не осилила и острая жалость к Устинке. Однажды, пока полицей после ночного дежурства умывался на дворе у порога, Степка взял со скамейки его заряженный карабин и вылез через дыру в сенах, чтобы никогда больше сюда не возвращаться.

...Маслаков с Бритвиным задерживались, не шли и не звали, Данила вроде уже и похрапывал под шапкой. Степка ногой раза два тихонько толкнул его лапоть — Данила прохвятился, в сонном недоумении глянул туда-сюда и, успокоясь, снова лег на спину.

Степка подкрутил на сапоге провод, поковырял щепкой землю, потом занялся винтовкой. Сначала приоткрыл затвор — рукоятка упруго и беззвучно повернулась на скосе, — из щели магазинной коробки с готовностью выглянули острые носки пуль. Не досылая их в патронник, Степка осторожно задвинул затвор. Потом достал сточенный довоенный сельповский ножик с плоским металлическим черенком и от нечего делать поскреб ложу. Из-под грязи, остатков счерневшего лака и смазки полосами засветилось крепкое сухое дерево, и Степка почти с увлечением взялся скоблить-обновлять грязный почерневший приклад.

Бритвина все не было, а Данила, оказывается, больше не спал — полежал несколько минут и сказал глухо:

— Чего они там?

— Кто?

— Да воронье. Сходить: может, люди...

Действительно, все в том же месте в чаще слышалась птичья возня, по временам долетало короткое лопотанье тяжелых вороньих крыльев, где-то там стрекотала сорока — верный признак лесной тревоги. Степка поднялся и с винтовкой наготове осторожно полез в чаще.

Еще издали в кустарнике чувствовалось присутствие, кроме воронья, и еще кого-то, хотя вряд ли тут мог быть кто-либо живой. А вороны все копошились, одни взлетали на вершины сосенок, другие оттуда решительно опадали вниз; издали слышалась характерная трупная вонь. Степка сухой палкой швырнул в птичий грай:

— Кыш вы!

Вороны нехотя поднялись с земли, захлопав в ветвях крыльями, но далеко не полетели: одни начали кружить над опушкой, другие, недовольно прокаркав, шумно рассаживались на сосенках поблизости. Сорока застрекотала сильнее и беспокойнее, но это уже на него. Степка раздвинул сосновые лапки и остановился, охваченный не страхом, а какой-то брезгливой нерешительностью.

Между сосенок на усыпанной хвоей земле, из которой кое-где пробивались желтые искорки курслепы, лежал человек: почерневшие босые стопы, согнутые в локтях иссохшие руки, пыльные серые лохмотья одежды — все какое-то приплющенное, слежавшееся, давно неживое. На том месте, где предполагалось лицо, восседал огромный плечистый ворон.

— Кыш!

Ворон оглянулся, нехотя переступил и, легко оттолкнувшись жилистыми ногами, взмахнул крыльями.

Кар-р-р, кар-р-р-р...

Затаив дыхание, Степка подошел ближе: труп был давний, возможно, зимний или даже осенний, неестественно плоский, будто втоптаный в землю. Одежда на нем как будто истлела. «Свой или чужой?» — подумал Степка, как вдруг увидел под ногами в траве серо-зеленый лоскут. Это была красноармейская пилотка, сухая и даже пыльная с одной и сыроватая с другой, от земли, стороны. Вся она стала уже никудышной, кроме разве красной эмалевой звездочки, под которой расплылось небольшое пятно ржавчины. Превозмогая брезгливость, Степка отвернул клапан и нашел там воткнутую в подкладку проржавевшую иголку, обмотанную ниткой; рядом можно было различить выведенные чернильным карандашом инициалы владельца. Вырвав звездочку, пилотку он швырнул в кусты.

Возвращаясь к Даниле, он думал, что звездочку надо хорошенько почистить, и тогда неплохо будет приколоть ее к шапке, а то за год партизанства он так и не добыл для себя никаких военных отличий. Впрочем, их немного было и у других; разве что у командиров, бывших армейцев, изредка попадались такие вот или чаще зеленые, а также самодельные жестяные звездочки.

Данила сидел на своем кожухе и, наверно, ждал, вглядываясь в его сторону. Степка, подойдя, небрежно махнул рукой (мол, убитый) и показал находку. Данила протянул широкую с узловатыми пальцами руку:

— А ну...

— Целенькая. Командирская, наверно.

Бережно взяв звездочку, Данила с любопытством повертел ее в руках.

— Да, это самое... Хороша.

И ничего не сказав больше, на глазах у парня сунул ее в карман своих латаных суконных штанов.

— Это ж моя! — почти растерянно выкрикнул Степка.

Данила ослабил длинные прокуренные зубы:

— Гы! Была твоя, стала моя.

— Ты что? Отдавай!

Данила, однако, неподвижно сидел на кожухе и только нагло вато ухмылялся.

— Давай!

— А не кричи! Вон командир идет.

Невдалеке закачались растопыренные ветви сосенок, и между ними появилась голова Маслакова.

— Толкач, ко мне!

— Давай! — с последней решимостью вполголоса потребовал Степка, но тут же поняв, что напрасно, подался к Маслакову. — Ну, погоди!

Маслаков повернулся, чтобы идти, как сзади, сгребая длинными ручищами кожух, сумку и обрез, подхватился Данила:

— Товарищ командир!..

Не понимая, в чем дело, командир остановился, потом сошел к партизану ниже. Когда Степка, немного подождав, тоже вернулся к нему, Маслаков уже прикалывал к шапке его звездочку.

— Ну, спасибо. Где взял?

— Вон Толкач подарил, — щуря глазки, с притворной невинностью сказал Данила.

«Вот падла!» — отходя, думал Степка. Для Маслакова звездочки было не жаль — Маслакову он отдал бы и шапку. И тем не менее ему стало почему-то неловко, будто даже обидно.

В сосняке заметно темнело, небо сплошь застилало облака, несколько капель холодом обожгли шею и руки — вот-вот начинался дождь. Первый весенний дождь, не холодный и не ветреный, ему, помнил Степка, когда-то радовались люди, потому что после все наперегонки зеленело, кустилось, пускаясь в рост.

Теперь же дождь не только не радовал, но даже встревожил их командира группы. Все в том же сосняке они взобрались на самую вершину пригорка и следом за Маслаковым опустились под крайней от поляны сосенкой. Тут же сидел Бритвин, неподвижно смотревший между сосновых ветвей вдаль.

Там были дорога и мост.

— Ну что? — озабоченно спросил Маслаков. — Не видать?

— Ни черта не разберешь. Если бы бинокль.

Все настороженно затаились, вглядываясь в ту сторону, где песчаная лента дороги, выскочив из леска чужь в стороне от этого пригорка, направлялась по насыпи к мосту — длинному неуклюжему сооружению из бревен, напоминавшему отсюда огромную длинноногую гусеницу, сползшую в реку.

— Надо идти, — сказал Маслаков.

— Теперь? — насторожился Бритвин, не отрывая взгляда от притуманенной непогодой вечерней дали.

— Ну а когда же? Пока дождь не разошелся. А то намочит — не разожгешь.

— Ну уж нет! — сухо сказал Бритвин. — Сейчас я не пойду.

— Можешь не идти! — начиная нервничать, бросил Маслаков и поднялся. — Шпак!

Данила привстал на коленях.

— Так у меня обрез!

— Ну и что?

— Так на двадцать шагов, не больше. И опять же мушки нет, — заговорил он каким-то не своим, будто виноватым, сразу заглохшим голосом.

Маслаков тихо, про себя, выругался и ухватил канистру.

— Толкач, айда!

Степка с готовностью встал, не скрывая неприязни, взглянул на сразу утратившего недавнюю наглость Данилу. Он отлично представлял ту опасность, которая подстерегала их еще засветло на голой дороге, но больше всего не хотел, чтобы его опасение увидели другие.

На ходу он забрал у командира канистру, они сошли ниже, прорвались сквозь густые заросли опушки и оказались на краю луга.

Дождик все сыпал, мелкий, но спорый, пространство за рекой застлало туманом, в нем почти неприметно растворились мост, луговая пойма и весь берег с Круглянами. Это было неплохо: издали на мосту их не увидят, только бы загорелось дерево.

Оставив Бритвина и Данилу на опушке возле дороги, они скорым шагом пустились по обочине. На ходу Маслаков несколько раз оглянулся, и во взглядах его Степка уловил тревогу. Получалось не так, как задумано, риск увеличился, шансы на успех уменьшались. Впрочем, явной опасности пока не чувствовалось, ненастье неплохо укрывало их. Откладывать же вряд ли было разумно: если разойдется дождь, сколько понадобится ждать, пока мост высохнет. Опять-таки должна пособить и паша: полицаи ведь тоже не прочь попраздновать.

Степка едва поспевал за Маслаковым, оба они почти уже бежали, командир то и дело оглядывался, но на дороге вроде никого не было.

— Аккурат время такое, понимаешь? Днем охраны нет, а на ночь еще не выставили. Кабы не дождь, еще было бы светло...

Они все срывались на бег, но Маслаков намеренно сдерживался, видно, чтобы не отрываться от Степки или не вызвать подозрения, если кто появится навстречу. Автомат свой он держал наготове прикладом под мышкой. Степка винтовку нес на плече, веревка ее где-то на лопатке стягивала кожу, причиняя боль, но он не мог приостановиться, чтобы взять в другую руку канистру.

— Ты поверху, а я вниз. Польешь, а я подожгу. Только аккуратно, чтоб на землю не лилось. По бревнам старайся.

— Знаю.

— Крайнюю от воды опору. Загорится! Должна загореться. И поглядывай за мост. Чтоб из Круглян кто не нарвался.

— Ну.

В разорванный сапог Степки набилось песку, ногу опять стало тереть, он прихрамывал. Соснычок уже остался далеко сзади. Они были одни на пустой дороге, дождик упруго стучал по дорожной пыли, которая затхло воняла, занимаясь сверху мокрой опсатовой коркой.

Мост был уже близко. По сторонам уже видны стали его перила, одно, обломанное с конца, свешивалось над водой. Насыпь стала выше, дорога на ней потвердела, и Степка на ходу потряс сапогом, высыпая песок. Наверно, из предосторожности Маслаков перебежал на другую сторону. Ему уже пора было спускаться с насыпи, но командир медлил, сквозь дождик во все глаза приглядываясь к мосту.

И вдруг в дождливом тумане на совершенно безлюдном за секунду до того мосту невесть откуда появилась фигура.

Маслаков будто споткнулся, тотчас замедлив шаг. Степка также пошел медленней, ноги его наливались непонятной тяжестью и слегка подрагивали в коленях. Тусклый силуэт человека — не понять было издали — то ли стоял, то ли, едва шевелясь, двигался вдоль перил. Неужто кто-нибудь из поздних прохожих или, не дай бог, — охрана? Если охрана, то дело их дрянь. Они шли, катастрофически быстро приближаясь к мосту, потому что укрыться тут было негде, а бежать поздно: их уже увидели.

Тот, на мосту, вроде остановился возле сломанных перил и — это отчетливо передалось обоим — сквозь сумрак внимательно поглядел на дорогу. Они также пристально следили за ним, готовые схватиться за оружие, как тот вдруг вскрикнул и упал. Они остановились — показалось, он спрыгнул под мост или странным образом провалился под настил. Но тут же в сумерках остро сверкнуло — эхо винтовочного выстрела гулко всколыхнуло простор.

Это была наихудшая из неожиданностей, и они разом метнулись с дороги — Степка по одну, а Маслаков по другую сторону насыпи. Степка впопыхах сильно ушибся бедром о канистру и на боку сполз до половины скоса. Тут же он схватился за винтовку и только передернул затвором, как в двух шагах от него, брызнув песком, в насыпь ударилась пуля. Со стороны моста стреляли — торопливо и опасно, но того, кто стрелял, не было видно. Над дорогой лишь пронзительно дигало — наверно, пули прошивали воздух по ту сторону насыпи, где скрылся Маслаков. Но Маслаков там молчал, и Степка тоже замер, не решаясь до поры обнаруживать себя, и напряженно глядел в сторону моста. Он ждал момента, когда побегут, чтобы ударить в упор, наверняка.

Однако оттуда никто не показывался. После десятка выстрелов стрельба прекратилась, эхо заглохло за лесом, и все вокруг смолкло. Степка полежал еще, прижимаясь грудью к откосу, и вдруг подумал, что, наверно, он тут один, и это испугало его. Вряд ли Маслаков так

долго оставался на той стороне — пожалуй, отбежал к лесу. Но тогда и ему надо подаваться назад. Мост, судя по всему, придется отложить — к мосту теперь не подступиться.

Вскочив на колени, Степка одной рукой ухватил канистру, другой винтовку и, скользя на мокрой траве, побежал за насыпь. Он ждал выстрелов, и они действительно раздались, опять часто и оглушительно: бах — диу-у-у-у, бах — диу-у-у... Но он скоро определил, что стреляли не по нему, и он упал, загнанно дыша, оглянулся. Насыпь тут стала вроде бы ниже, чем у моста, он увидел поодаль на дороге пригнувшийся силуэт — кто-то, будто крадучись, бежал, падал и тут же посылал в его сторону выстрел за выстрелом. Но полет пуль он перестал слышать, и это прорвалось в нем новым беспокойством: он уже понял, что полицией стрелял в Маслакова. Значит, Маслаков там.

Но почему он не отвечает на выстрелы?

Степка бросил канистру и, почти не целясь, грохнул торопливым выстрелом навстречу фигуре. Было темно, совсем почти смеркалось, и фигура снова исчезла: упала или, может, скрылась за насыпью. После трех выстрелов Степка дослал в патронник четвертый патрон, но стрелять не стал, а вскочил и, пригнув голову, в три прыжка перемахнул дорогу.

В канаве он снова упал и затаился. Сзади, взбитое сапогами, поплыло облако вонючей пыли, в грудь и бока больно впились какие-то колючки, по шапке и спине легонько лопотал дождь. Но Маслакова и здесь не было видно ни сзади, ни спереди. Разве что командир успел уже уйти из-под обстрела? И все же какое-то подсознательное чувство подсказывало, что он у моста. Немного отдышавшись, Степка также подался туда.

Внимание его теперь раздвоилось: он ждал выстрелов, чтобы сразу упасть под насыпь, и, напрягая зрение, силился различить в темноте Маслакова. Он начинал понимать, что с командиром плохо, что ему наверняка попало. Но в таком случае он просто не знал, чем можно помочь ему и как его спасти тут, под носом у охраны. Боясь самого худшего, Степка, однако, надеялся еще, что, может, Маслаков притаился и он его скоро увидит.

И правда, он скоро заметил его — в сгустившихся дождливых сумерках командир неподвижно распростерся под насыпью. Еще издали Степка понял, что его подстрелили. Похоже было, Маслаков свалился еще на скосе и сполз до низа. Он так и лежал теперь, закинув вверх руки, неестественно вывернув в коленях ноги. Телогрейка на нем завернулась, рубаха тоже. С разбегу Степка растянулся подле и замер. Он не стал ни тормозить его, ни ощупывать — для этого не было времени, на дороге вот-вот могли появиться полицаи. Он только выдернул из-под лежащего ремень автомата и опять притих в ожидании. Внутри у него все мелко дрожало от усталости и напряжения.

Вокруг было безлюдно и тихо, дождик ровненько сыпал по траве, дороге. Полицаи что-то медлили — не бежали сюда и не стреляли. Степка оглянулся и, приподнявшись, перевалил Маслакова на бок. Затем, не сводя взгляда с дороги, вздел на руку ремень автомата, взял винтовку и, напрягая все свои силы, взвалил на себя страшно тяжелое теперь тело. Придавленный на земле его тяжестью, он испугался, что не поднимется, от натуги в глазах блеснули и поплыли разноцветные пятна, но он все же встал на ноги и, согнувшись и раскачиваясь, будто пьяный, побрел под насыпью...

Он упал, немного не дойдя до опушки. В светловатом небе маячили вершины сосенок, но у него уже не хватило сил заползти в лес, ноги подломились, и он мягко лег со своей ношей на бок. Он ждал, что из

лесу выбегут те двое, втроем они уже смогли бы унести командира и отбиться. Минут пять он задыхался от усталости, прижатое к земле, гулко стучало его сердце, все на нем было мокрым от дождя и пота. Неизвестно, сколько времени будто в беспамятстве он пролежал на молодой траве, но никто к нему не бежал ни навстречу, ни сзади. Хотя он ничего не видел вокруг — он только слушал,— но ни шагов, ни выстрелов не было слышно.

Самое худшее состояло в том, что он не обнаруживал в Маслакове ни малейших признаков жизни: похоже, гот был уже мертв. Но как бы то ни было, даже мертвого он бы его не оставил, хотя все в нем отчаянно протестовало против этой беды, виновником которой, наверно, был сам Маслаков. Теперь вдобавок ко всему положение Степки усугублялось новой неожиданностью. Чем ровнее становилось его дыхание, тем сильнее его дожимала обида на тех двоих, которые черт знает где запропастились, когда так дорога была каждая секунда. А может, и совсем удрали? Это уже возмущало до слез, он готов был и заплакать, хотя на это у него просто не хватало силы, а главное, не было времени — снова надо было вставать и нести.

И он встал, как-то взвалил на себя бесчувственное тело Маслакова. Лишь когда поднимался с колен, не удержал равновесия и опять повалился на бок. Не давая себе передышки, начал подниматься снова и, сильно согнувшись, опираясь о землю рукой, все-таки встал.

Разумнее было бы скрыться в лесу, но на опушке в темноте он напоролся на какое-то жесткое колючее сучье и оцарапал лицо. Наверно, тут была непролазная чаща, и он, не решившись лезть в нее, опять пошел краем луга. От слабости его водило, как пьяного, изо всех сил он старался не упасть. Налитый тугой тяжестью Маслаков все время полз книзу, парень едва удерживал его за руки и сильно клонился вперед — так легко было держать его на спине.

Все время мешало оружие, цеплялось за землю и путалось в ногах, но он не мог бросить даже винтовку. Ему она была не нужна, но он помнил на этот счет строгий приказ по бригаде и знал, как там ценилось все, из чего можно было стрелять.

Через какую-нибудь полсотню шагов он зацепился за что-то ногой и упал, больно ударившись плечом, повернулся на бок, застонал от боли, но тут же подавил в себе этот стон: сзади послышались шаги. Степка схватился за автомат, однако скоро понял, что автомат не понадобится,— на фоне светловатого неба появилась знакомая в кожане фигура Данилы. Остановившись, тот глуховато бросил, наверно Бритвину:

— Вот он!

Степка поднялся и сел рядом с распростертым на земле командиром. Данила подбежал первым, за ним в редком морозящем дожде показались Бритвин. Завидев на земле Маслакова, он негромко воскликнул:

— Ранили, да?

Степка не ответил, лишь потрогал мокрую, без шапки голову раненого. Затем его руки наткнулись на липкую мокроту, густо пропитавшую телогрейку; он сообразил, что это кровь, и только сейчас почувствовал ее запах — пугающий запах людской беды. Но тут уже за раненого ухватился Данила, и Бритвин, громко дыша, закомандовал:

— Так! Потом... Понесли!..

Двоем они взяли из его рук Маслакова. Данила молча присел, напрыгав, принял раненого на спину и круто свернул в мокрую чащу.

На дороге тем временем послышалось движение, приглушенные расстоянием голоса; на мосту что-то звякнуло, и по настилу глухо за-

стучали копыта. Степка встал, подобрал с земли автомат, винтовку и едва сдержался, чтобы не заплакать от горя и острого чувства несправимой беды.

9

Они бесконечно долго продирались в темноте сквозь мокрый густой кустарник, набрали на тропинку, но скоро потеряли ее в лесу, перешли полосу мрачного, тягуче шумевшего на ветру ельника и очутились в каком-то широком лесном овраге. Данила, все время тащивший на себе Маслакова, поскользнулся на мокрой траве, упал и свалил его наземь.

— Фу, уморился!..

— Ладно,— остановился впереди Бритвин.— Отдохнем.

Он подошел ближе и тоже опустился наземь на неширокой, обросшей кустарником поляне. Где-то поблизости ровно журчал ручей, небо вверху недобро мрачнело, но дождь перестал. В лесной глухомани царилла ночная тишь, нарушаемая лишь падением холодных капель в кустах. Усталым от долгой ходьбы людям, однако, было тепло, даже душно.

Пока Данила отсапывался, Степка ощупал все еще не приходящего в сознание Маслакова. Тот был жив, сердце его, было слышно, билось слабыми неровными толчками. В груди, если прислушаться, что-то хлопотало-хлюпало, и это особенно пугало Степку — казалось, Маслаков кончается. Сделанная из сорочки перевязка, наспех наложенная ими в пути, перекрутилась, сползла на живот. Вдвоем с Данилой они начали поправлять ее. Поодаль, ссутулясь, уныло сидел Бритвин.

— А канистра где? — вдруг спросил он.

— На дороге,— буркнул Степка.

— Подождли, называется!..

Двое других молчали, возясь с раненым, и Бритвин неожиданно зло выругался.

— Вроде бы опытный подрывник, а такую тюху-матюху упорол!

Данила развязал концы окровавленного куска сорочки, Степка придержал их и, глотая слезы от жалости к Маслакову, не мог возразить ротному. Как он ни был настроен против Бритвина, но теперь не мог не признать, что тот прав. Было совершенно очевидно, что Маслаков просчитался и сам же поплатился за это. Недавняя неприязнь Степки к Бритвину сама по себе сходила на нет, впрочем, как и к Даниле — все его прошлые обиды на них теперь становились ничтожно малыми перед огромностью свалившегося на них несчастья.

— Что тут у него делается! — ворчал Данила, ковыряясь под завернутой мокрой гимнастеркой.

Рана кровоточила, надо было поправить повязку. Ночь выдалась темная, без луны, а в этом овраге и под самым носом ни черта нельзя было разобрать.

— Спички где-то у него были,— вспомнил Степка.— Посмотрь-ка в карманах.

— Держи.

Степка зажал концы повязки, а Данила принялся шарить по мокрым карманам раненого, которые, как и у всех, были набиты различной обиходной мелочью. Вытаскивая оттуда, что попадало под руки, Данила глухо приговаривал:

— Нож. Тряпка какая-то. Книжка или бумаги...

— Дай сюда,— протянул руку Бритвин.

— Патроны. Моток проволоки... Карандаш... Хотя запал будто? Натс, посмотрите там.

Бритвин без особого любопытства взял у него что-то и, ощутив, скоро определил:

— Бикфордов шнур, а не проволока. И взрыватель вроде. Ну да, взрыватель. Только взрывать нечего.

— Вот спички.

— А зачем спички? — начал раздражаться Бритвин. — Что ты ему, операцию будешь делать? Подводу надо искать!

Данила на минуту смешался от этого почти начальственного окрика, молча уставясь на тусклую во мраке фигуру Бритвина. Как-то так получилось, что тот теперь брал над ними двумя старшинство, хотя прямого разговора о том еще не было.

— Подвода, говорю, нужна. Не торчать же тут, пока полицаи зашучат. Деревня далеко?

Данила оглядел в темноте мрачные лесистые склоны, будто там можно было что-либо увидеть.

— Вологовка тут должна быть. И хутора. Хутора, может, ближе.

— Где, в какую сторону?

Не очень уверенно Данила показал рукой вдаль:

— Будто туда, как по оврагу. Может, левее немного.

— Так! — живо прикинул Бритвин. — Ты, как фамилия?

Степка не сразу понял, что тот обращался к нему, и промолчал, зато Данила подсказал с охотой:

— Толкач.

— Толкач, а ну за подводой! А то поздно будет. Понял?

Степка с готовностью встал, чувствуя, что это правда. То, что его посылали невесть куда в ночь, теперь не обидело парня, хотя он подумал: почему не Данилу, который тут знал все ходы-выходы? Но Данила столько тащил раненого на себе по лесу. Подобрав автомат, Степка встал и, не мешкая, полез в мокрый кустарник.

Ветки обдавали его дождем, как он ни остерегался задевать их, хотя и без того давно уже промок, особенно рукава и ноги. На склоне в мокрой траве к тому же было скользко. Степка несколько раз упал, поднялся и наконец сошел пониже, к ручью. Но и здесь было не легче, он долго пробирался сквозь густой мокрый ольшаник, обошел поляну, непролазно заваленную сухим хворостом. В промокших его сапогах привычно чавкало, сползшая портянка все терла ногу, жесткие стебли прошлогоднего папоротника стегали по его голым, высунувшимся из сапога пальцам. Не останавливаясь, то и дело натываясь на сучья, он торопливо продирался в зарослях, заботясь лишь о том, как бы найти подводу и не опоздать к раненому. Но сначала надо было найти деревню. Не первый раз он ходил вот так, ночью, и, в общем, умел ориентироваться: откладывал в памяти весь путь вниз, вверх и все повороты тоже.

Спустя некоторое время лесной кустарник вокруг осел ниже, вверху шире разлеглось тусклое небо, на котором в двух-трех местах слабо блеснули редкие звезды, — овраг оставался сзади. С ним окончились и заросли ольшаника. Степка очутился в голой ложбине, взяв правее, взобрался по склону на горку. Идти стало легче, мокрые его сапоги ровно стегали в густой рослой озими; впереди высились какие-то беловатые кучки, казалось — люди. Но людей тут не могло быть, это зацветали на обмезжках груши-дички. Степка невольно забирал в сторону — какая-то инстинктивная осмотрительность вынуждала его к осторожности в ночном поле. Временами он ловил себя на том, что сворачивает то вправо, то влево — самое наилучшее в пути без дороги.

Но вот шорох озими под ногами стих, Степка оказался на чем-то голым и твердом, не сразу поняв, что это дорога. Он взглянул в один ее конец, в другой — в какую сторону лучше было свернуть, он не знал. Он

прошел по дороге десяток шагов влево, подумал и повернул назад, все время напряженно вглядываясь в сумеречное пространство ночи, таившей что-то неопределенное, загадочно-пугающее.

Дорогой он шел долго, полагая, что должна же она наконец привести к деревне. Сразу очутиться на деревенской улице не входило в его намерения — лучше будет из огорода пробраться в какой-нибудь двор и потихоньку разузнать обо всем. Но впереди его опять ждал лес — черная зубчатая стена совершенно закрыла собой и без того застланный темнотой горизонт. Степка замедлил шаг, автомат на плече передвинул под мышку, готовый каждую секунду дернуть за коротенькую рукоятку затвора. Но он еще не дошел до этой стены деревьев, как услышал невдалеке вроде бы знакомый, хотя и не сразу понятый им звук, напоминавший глухой стук о землю. Степка остановился, отчетливее расслышав несколько ударов, догадался, что это вбивали кол. Да, именно кол, особенно если камнем — несколько тяжеловесных глухих ударов отдалось в земле.

Он свернул с дороги и тихонько, крадучись пошел на этот стук, который почему-то вдруг прекратился. Тогда он присел, снизу вверх осмотрел светловатый край неба — близости как будто ничего подозрительного не было. Мягко, почти неслышно ступая, он прошел еще шагов двести и снова, пригнувшись, огляделся. Опять ничего вокруг не было видно, лишь поодаль чернели кусты лозняка, между которых кое-где высились редкие олешины. Под ногами становилось все мягче, сапоги зачавкали в траве — начиналось болото. Он уже хотел было повернуть в обход, как рядом и так близко, что он содрогнулся, неожиданно увидел коня. Заслышав человека, конь встревоженно взмахнул головой и замер. Степка остановился, присел и, никого не обнаружив поблизости, осторожно, чтобы не испугать животное, начал приближаться к нему.

Конь по-прежнему тихо стоял, настороженно повернув голову в его сторону, и, словно недоумевая, ждал его приближения.

— Кось-кось, — ласковым шепотом позвал Степка, протягивая руку, как будто держа в ней угощение. Затем этой же рукой он нащупал под ногами веревку и низенький конец колка, вбитого в землю, который тут же, поднатужась, вырвал. Оставалось, не вспугнув коня, взобраться на него.

Степка закинул за спину автомат и, перебирая в руках веревку, помалу потянул ею за уздечку. Конь повел мордой, но не пошел. Тогда он сам двинулся к нему, держа веревку, но еще не дошел, как конь, вдруг пугливо всхрапнув, заржал.

Степка во второй раз вздрогнул и выругался, в сердцах сильно дернув за уздечку. Он уже был рядом и ухватился рукой за жесткую гриву, но конь, не даваясь, решительно метнулся от него задом.

— Ах ты падла! — вырвалось у Степки. Не выпуская веревки, он сделал и вторую попытку ухватиться за его мокрый загривок, но конь опять испуганно шархнул в сторону.

И в тот момент сзади послышались чьи-то глуховатые шаги.

— Кто это? — раздалось в ночи испуганно и угрожающе одновременно. — Что ты делаешь?

Степка отпрянул от коня и, не выпуская веревки, правой рукой рванул из-за спины автомат. Тут же, однако, понял, что испугался напрасно, — к нему бежал кто-то один, низенький, в распахнутой одежде и босой, как это он сразу определил по его тонким, в засученных штанах ногам. Замерев, Степка ждал, пока тот, замедляя шаг, нерешительно подходил ближе.

— Куда вы? Это мой конь!

Негромкий голос его окончательно убедил Степку, что это подросток, и парень снова почувствовал себя спокойно и уверенно. Он уже знал, что

вблизи вид его и особенно оружие дадут этому мальчишке понять все без расспросов.

— А ты кто? А ну, поди ближе!

Парнишка не очень решительно подошел и остановился в пяти шагах. Конь с высоко вскинутой головой внимательно глядел на хозяина, будто стараясь понять, что здесь происходит.

— Это мой конь! Не берите, дядька, моего коня!

Степка потянул за веревку, конь нехотя переступил, и он подошел ближе к мальчишке.

— Где повозка?

— Повозка? Дома.

— А дом где?

— Дом? Вон за оселицей.

— А кто дома есть?

— Дома мама и бабка.

— А полицан у вас есть?

— Ну есть.

Наверно, он что-то уже понял и тихо стоял в намокшем, с чужого плеча пиджачке, покорно ожидая новых вопросов. Степка подумал, что от телеги, пожалуй, надо отказаться. Присмотревшись, куда показывал подросток, Степка догадался, что черная гряда вдальеке, которую он принял за лес, была деревней: хаты, саран, сады; на краю близко отсюда угадывалось светловатое пятно — наверно, новая крыша какой-то постройки.

— Коня отдадим, — сказал он. — Через пару дней только.

Парень, видно, тоже осмелел и, ступив на шаг ближе, сказал:

— Нельзя мне без коня. Я молоко вожу.

— Ну, знаешь! Ты молоко возишь, а нам человека спасать надо! — повысил голос Степка. — А ну, поддержи своего огольца!

— Не берите, дядька! Ей-богу, не вру: нельзя мне без коня, — залепетал подросток, однако взял коня за уздечку и придержал.

Степка грудью вскочил на лошадиный загривок, перекинул сапог и с приятностью обхватил ногами теплые конские бока.

— Дядька, партизаны не делают так!

Степка тузанул было за веревчатый повод, конь послушно повернул в сторону, да вдруг прорвавшийся в последней фразе парня упрек что-то тронул в душе у Степки.

— Вот что! — сказал он. — Айда с нами. Отвезем, куда надо, и отдадим твою клячу. Завтра дома будешь.

10

По лесу они пробирались пешком, ведя на поводу коня. Здешние места подростку были знакомы, он сразу нашел тропинку на краю оврага и, раздвигая руками мокрые ветви, уверенно вел Степку.

По-видимому, было за полночь. Ночь стала еще глуше, лес замер, насторожился, даже перестал слышаться стук капель в листве, лишь ровно топали сзади лошадиные копыта да в чаще, захлопав крыльями, кидалась прочь какая-нибудь вспугнутая ими птица. Вокруг по-прежнему было мокро, неуютно и тревожно; знобящая сырость невидимым промозглым туманом ползла между кустов.

Степка настойчиво тянул за повод, конь, однако, не очень охотно шел за чужим. Конечно, коня лучше бы передать подростку, но кто знал, что у того на уме. К тому же Степка учуял в кустарнике запах дыма, и это обеспокоило его. Хорошо, если жгли Бритвин с Данилой, а если кто-либо чужой? Он тревожно вглядывался в сумрак оврага, чтобы не

прозевать огонь, и скоро увидел его — сквозь заросли коротенько блеснуло красноватым отсветом. На секунду остановившись, Степка подумал, что, кажется, это свои.

Вскоре они подошли ближе и увидели, что на краю поляны возле ручья поблескивал небольшой костерок, у которого пошевеливалась сутуловатая фигура в накинутом на плечи ватнике. Заслышав их наверху, человек круто обернулся и на минуту замер, глядя в темь. Но они уже лезли по склону в овраг. Степка негромко понукал коня, который боязливо полз на согнутых задних ногах, бороздя копытами землю. Оба они с подростком придерживали его под узду, пока тот не сбежал вниз, едва не угодив в костер.

Бритвин поправил на плечах телогрейку и отступил в сторону, поводя по кустам шаткою черной тенью.

— Вот конь, — сказал Степка. — Повозки нет.

Он ждал, что Бритвин или выскажет удовлетворение оттого, что удалось найти коня, или будет ругать, почему без повозки. Однако бывший ротный бегло взглянул на подростка, скромно стоявшего возле коня, и с полным безразличием ко всему опустил у огня. Рядом, распятая на палках, сушилась его шинель.

— Напрасно старался.

Степка, не поняв, вопросительно поглядел на Бритвина, который, протянув руки к огню, не проронил больше ни слова. Костер медленно разгорался, дым серыми клубами валил вверх и ел глаза. И тогда Степка, почувствовав недоброе, услышал непонятную возню в другой стороне поляны. Туда же косил настороженным взглядом конь. В неясном мелькании теней под кустами можно было различить согнутую спину Данилы, который, стоя на коленях, с усилием ковырял в земле. Степка подался к нему, но тут же остановился, наткнувшись на что-то прикрытое на земле кожухом. Из-под овчинной полы высовывались две босые, неестественно белые во мраке стопы...

Все было ясно.

Степка опустился возле этих босых, близко сведенных ступней, по которым гуляли слабые отблески костра, и понял, что самое страшное, чего он боялся, случилось. И не с ним, слабаком и неудачником, не с недотепой Данилой и даже не с Бритвиным, а с самым лучшим, самым для него дорогим человеком в отряде — Маслаковым.

Вконец обессилов, Степка оцепенело застыл возле этих мертвенно-белых ступней, и перед его глазами постепенно выплывал из тумана тот увиденный им в сосняке серый, поклеванный вороньем труп. Но там был неизвестный, совершенно безразличный ему человек, а это же ведь Маслаков. И все же какой-то общий итог уже соединил обоих, он пугал, отталкивал и своей нелепой несправедливостью совершенно сокрушал Степку.

Он сидел так долго, раздавленный обидой за командира, а может, и за себя тоже — на жизнь, на войну, а больше на коварство слепого слухая, который чаще, чем что другое, властвовал над их судьбами.

— Не подвода — лопата нужна. Лопаты нет? — спросил Бритвин.

Степка не отозвался, и подросток, наверно, дал знать, что лопаты у них нет, потому что Бритвин больше не спрашивал. Конь постоял, глядя в Данилу, и, успокоясь, принялся щипать траву. Степка же все сидел, ни о чем не думая, безразличный ко всему и прежде всего к самому себе. Он здорово озяб от ночной свежести, тело его все чаще вздрагивало под волглым сукном мундира. Бритвин, заметив это, сказал:

— Хватит мандражить. Ступай, подмени Бороду.

Степке было безразлично, что делать, главное для него уже минова-

ло, а все остальное не имело смысла. Он покорно встал и побрел через поляну.

— Что тут подменять! Было бы чем, — проворчал Данила, но вылез из неглубокой, по колено, ямки и протянул парню отполированный землей тесак.

Степка уныло стоял на темной накопанной земле. Не поднимая взгляда, взял у Данилы тесак и, когда тот уже шагнул от него, услышал, или, может, почувствовал, что шаг его вроде изменился. И тогда он заметил, что Данила уже в сапогах. На Бритвине справная телогрейка, у этого сапоги — все уже поделено. Ну что ж! Это было слишком обычно в их жизни: вещи, как всегда на войне, переживали людей, потому как, наверно, обретали большую, чем люди, ценность.

Он спрыгнул в могилу и начал драть и рубить тесаком тугие и крепкие, как ремни, лесные корни, которыми тут была густо и беспорядочно переплетена насквозь вся земля. Нарубив, руками выгребал мягкую сырую труху и брался за тесак снова. Однако все это он делал словно во сне. Мысли его беспорядочно сновали в голове, иногда задерживаясь на чем-то далеком, второстепенном и необязательном для такого момента, то и дело обрываясь и перескакивая на другое. Иногда они исчезали вообще, и тогда становился слышным близкий разговор там, у костра. С нарочитой строгостью в голосе, как малому, Бритвин говорил подростку:

— От так! Побудешь, пока захороним. А потом шагом марш на все четыре стороны. Ясно?

— Ясно, — тихо отвечал парень.

— Ежели ясно, то и весь разговор, — заключил Бритвин, но, помолчав, вдруг спросил: — Тебе сколько лет?

— Пятнадцать.

— Батька есть?

— Есть, но...

— На войне, наверно?

— Не, — сказал парень, вздохнув. Голос его стал какой-то неуверенный, едва слышный.

— Что, в полиции? — догадался Бритвин.

— В полиции, — тихо подтвердил подросток.

Степка несколько даже удивился, заинтересованный и неприятно задетый одновременно. Называется, нашел помощника. Пожалуй, про батьку надо было спросить раньше, а то еще надумал вести с собой в Гриневичский лес — вот был бы скандал! С неприятным чувством виноватости Степка подумал, что Бритвин, наверно, сейчас задаст ему перцу, чего он теперь, по-видимому, заслуживал.

— Ну а ты что же, значит, батьке помогаешь? — спрашивал бывший ротный.

— Я не помогаю, — сказал парень. — Я в партизаны пойду.

— Ого!

Слышно было, Бритвин с хрустом разломал хворостину и сунул ее в огонь — мигающие отблески на кустах ненадолго сгасли, потом, понемногу оживая, запрыгали снова. Подросток, отчужденно насупясь, молчал.

— Ничего не выйдет! — сказал Бритвин. — Таких в партизаны не берут. Чтоб в партизаны пойти, заслужить надо.

— А я заслужу.

— Это как же?

Паренек не ответил, по-видимому, тая в мыслях что-то слишком серьезное, чтобы так запросто доверить его этому лесному незнакомцу. Степке это понравилось. Он выглянул из ямы — маленькая тщедушная фигурка в обвислом поношенном пиджаке стояла у костра. Рядом на коленах возился Данила, подкладывая в огонь валежник.

— От так! — сказал Бритвин. — Мы пойдем, а ты посидишь. Как рассветет, поедешь. Понял? Не раньше. А что не спал, так завтра выступишься.

— Мне утром молоко на сепаратор везти.

— Успеется твое молоко. — Бритвин ткнул палкой в огонь: в дымной круговерти взметнулся рой искр.

Пламя весело разгоралось, на поляне стало светлее, дым в тишине столбом валил вверх и багровым облаком исчезал в ночном небе. Бритвин отодвинулся от жары подальше. Вдруг, будто вспомнив что-то, он спохватился:

— Да, а куда ты молоко возишь?

— В местечко, куда же, — с явным недовольством сказал парень, и Степка подумал, что полицаев сынок, кажется, попался с характером.

— В Кругляны?

— Ну.

Бритвин с каким-то новым смыслом поглядел на парня, потом на Данилу. Тот, откинувшись на бок, неподвижно смотрел в огонь.

— Через мост едешь?

— Через мост, а где же.

— Ага! И вчера ездил?

— Ездил. Только приехал поздно. Партизаны постового убили, так не пускали долго.

— Так-так, — удовлетворенно сказал Бритвин, усаживаясь поудобнее и рукой придерживая на плечах телогрейку. — Значит, у них охрана?

— Днем не было, а на ночь ставить начали. Два полицаи из Круглян.

— Гляди-ка, все знаешь! Молодец! А ну, поди ближе. Садись вот, грейся.

Парень степенно обошел костер и опустился на корточки. Данила, видно, заинтересовавшись новым обстоятельством, приподнялся и сел прямо, заслонив огонь; на поляне пролегла его широкая длинная тень. В могиле сделалось темно, и Степка стал на колени, чтобы удобнее было копать. Больше он туда уже не глядел, только слушал.

— Вот так. Сушись. Тоже ведь мокрый. Как тебя звать?

— Митька.

— Дмитрий, значит. Хорошее имя. У меня был друг Дмитрий, геройский парень, — оживленно говорил Бритвин. — Так, говоришь, партизаны полицаи ухлопали?

— Ну. Вечером подкрались и застрелили. Ровба его фамилия. До войны в маслопроме работал.

Выдирая из земли спутанные корни, Степка тихо порадовался: это уж его работа. Удивительно только, как удалось попасть, не целясь. Становилось понятно, почему их не догоняли — наверно, вытаскивали убитого и упустили его с Маслаковым.

— Так-так, — что-то живо прикинул про себя Бритвин. — Вижу, ты парень хороший. Пожалуй, мы тебя примем. Только... — Не договорив, он повернулся в сторону: — Данила, а ну по секрету.

Оба поднялись от костра и отошли на несколько шагов в сторону. Степка выпрямился, переводя дыхание и вслушиваясь. Бритвин тронул за рукав Данилу:

— Ты говорил про тол. Где это?

Данила тягуче вздохнул, неопределенно поглядел в кустарник.

— Был. А тепер есть или нет, кто знает.

— Это где? В Фроловщине?

— Ну.

— Слушай, надо подскочить.

Не отвечая, Данила громко высморкался в траву, пятерней отер нос и бороду.

— Так темно. А там болото, лихо на него... И неизвестно, швагер дома или нет, — начал он невеселым, совершенно глухим голосом, который всегда выдавал его неохоту.

— Ничего. Садись на коня и скачи.

Они повернулись к костру, в котором теперь задумчиво ковырялся Митя. Данила на ходу громче сказал:

— Так что, если у меня обрез этот...

— Бери винтарь!

— Что винтарь! Если б автомат.

Бритвин остановился.

— Бери автомат. Толкач, дай автомат!

— Ну да! Пусть с винтовкой едет, — недовольно отозвался Степка.

Бритвин строго прикрикнул:

— Говорю, дай автомат!

Степка с силой вогнал в землю тесак и тихо, про себя, выругался. Больше всего на свете он не хотел теперь отдавать автомат. Но приказ Бритвина прозвучал так категорично, что спорить было бесполезно, и он поднял с земли свой ППШ. Бритвин нетерпеливо обернулся к Даниле:

— И давай скачи! Два часа тебе сроку. Фроловщина недалеко, знаю.

Данила еще недолго помешкал, явно не спеша исполнять задание, к которому у него не лежала душа.

— Кожух мокрый. Если б вы ватовку дали.

— На! На и ватовку! — решительно рванул с плеч телогрейку Бритвин. — И не тяни резину!

С молчаливой неторопливостью Данила оделся, подпоясался, взял на краю поляны коня и полез из оврага.

11

Бритвин больше не садился к костру — там теперь хозяйничал Митя, — постоял на полянке и, как только топот коня затих наверху, подошел к Степке:

— Ну, ты долге тут ковыряться будешь?

Степка выпрямился — могила была еще мелковата, ему до пояса, но Бритвин, прикинув, решил:

— Хватит! Давай закапывать.

Он так и сказал — не «хоронить», а именно «закапывать», и от этого слова Степке опять стало не по себе. Пересилив себя, он подумал, что могилку надо углубить — земля пошла сухая и мягкая. Но Бритвин уже направился к покойнику.

— Давай сюда! Дмитрий, а ну пособи!

Митя с готовностью вскочил на ноги, но поняв, что от него требуется, оробело остановился поодаль. Не спеша выбрался из могилы Степка.

— Подождите! Так и закапывать...

Он вытер о траву тесак и, оглядевшись в мигающих сумерках, подошел к молодой елочке, ветви которой высывались из темноты на полянку.

Нарубив лапнику, он снова спрыгнул в могилу и кое-как выложил им дно, из нескольких веток устроил возвышение под голову — будто стелил Маслакову постель.

— Ну, готово там? — поторопил Бритвин. — Давайте сюда!

Отбросив мокрый кожух, они вдвоем со Степкой взяли под мышки покойника.

— Дмитрий, бери за ноги, — распорядился Бритвин.

Митя с боязливой нерешительностью взялся за босые стопы ног.

— Взяли!

За время, минувшее после кончины, Маслаков, казалось, стал еще тяжелее: втроем они с усилием подняли его прогнутое в пояснице, еще не застывшее тело и тяжело понесли к яме. Там, разворотив сапогами свежую землю, повернулись вдоль узкой могилы и начали опускать. Это было неудобно, тело всей своей тяжестью стремилось в яму. Степка придерживал его за холодную, плохо разгибающуюся руку. Опуская, перебрал пальцами до кисти, по-прежнему перевязанной грязным бинтом, и, ухватившись за нее, испугался: показалось, причинил боль. Тут же понял нелепость своего испуга, но за перевязанную кисть больше не взялся — став на колени, опускал тело все ниже, пока не почувствовал, как оно мягко легло на пружинящий слой хвоя.

— Ну вот! — Бритвин разогнулся. — Давай зарывать.

— Подождите!

Нагнувшись, Степка одной рукой запихал в могилу остатки еловых ветвей, стараясь прикрыть лицо покойника, и потом они с непонятым облегчением начали дружно грести землю. Степка работал руками, Бритвин сапогом, Митя, стоя на коленях, обеими руками выгребал из травы остатки накопанной земли. Костер их уже догорал, мелкие язычки огня на угольях едва мерцали на краю поляны.

— Ну так! Доканчивай, а мы в огонь подкинем, — вытирая о траву ладони, сказал Бритвин. — Дмитрий, ну-ка поищи дровишек!

Митя подался на склон оврага. Степка тем временем завершил могилу.

На поляне стало тихо и пусто, она будто попросторнела теперь — без коня, покойника, с небольшим костерком на краю обрыва. Сделав все, что требовалось, Степка почувствовал себя таким одиноким, таким несчастно-нужным на этом свете, каким, пожалуй, не чувствовал никогда. Единственное, что тут еще привлекало его, был костер, и парень подошел к Бритвину:

— Что, до утра тут будем?

— Побудем, да.

— А потом?

— А потом попробуем грохнуть, — невозмутимо сказал Бритвин, стоя на корточках и сгребая на земле обгорелые концы хвороста, которые он бросал в огонь. Скоро между углей весело забегали огоньки, осветив вблизи сухое, будто просмоленное лицо ротного.

— Как это грохнуть?

— Посмотришь как. План один есть.

Степка выждал минуту, не спрашивая, думал, что скажет сам. Но тот не сказал, и Степка смолчал, не зная еще, можно ли принимать всерьез слова Бритвина.

— Такой план имею, что ахнешь. Если выгорит, конечно.

Митя что-то долго возился с хворостом, какое-то время было слышно его шастание над оврагом, а потом и оно стихло. Степка вслушался и немного обеспокоенно сказал:

— Не сбежал бы...

— Куда он сбежит! Теперь он к нам как привязанный.

Степка недоверчиво подумал: так уж и привязан! Впрочем, без коня он вряд ли от них уйдет. И действительно, скоро наверху затрещало, задыгалось, и из темноты показался сам Митя, тащивший огромную, связанную веревкой охапку хвороста. Бритвин с несвойственным ему оживлением вскочил у костра:

— Целый воз! Вот здорово!

Митя был явно польщен похвалой — низенький и с виду слабосильный для своих пятнадцати лет, он в то же время оказался удивительно проворным в работе. Любо было смотреть, как он по-хозяйски упорядковал возле костра кучу хвороста и аккуратно смотал веревку.

— На коня я воз вот такой кладу.— Он поднял повыше себя руку.

— Хорошо! Хорошо! А коня как звать?

— Коня? Рослик. Двухлеток он, молодой еще, а так ладный коник. А умный какой!..

— Ну?

— Ей-богу. Отъедешь куда, спрячешься, крикнешь: Рослик! И уже мчится. А то как заржет!

— Гляди-ка! Дрессированный.

— Да ну, кто его дрессировал? Это я все ухаживаю за ним: и кормлю, и на выпас. В ночное тем летом водил. Тогда его у меня немцы отобрали. Утречком еду из Круглянского леса—навстречу трое. Ну и отобрали. Думал, все: пропал мой Рослик. Нет, примчался. Слышу, ночью хрустит кто-то, выхожу: ходит по двору, траву скубет. И повод порван.

— Да, замечательный конь, — согласился Бритвин.

— Только стрельбы очень боится. Мчит тогда как бешеный.

— Да? Ну хватит возиться — иди погрейся.

Бритвин снял с палок подсохшую уже шинель и разостлал ее на земле.

— Садись вот рядом.

Митя охотно опустился на полу шинели, протянув к огню мокрые руки. Костер хорошо горел, брызгая искрами, вблизи стало жарко, мокрые рукава Мити скоро задымились паром. Усталый, приунывший Степка тихо сидел рядом, слушая подростка. С виду тот казался едва повзрослевшим ребенком с маленьким неулыбчивым лицом, на котором по-детски торчал вздернутый носик. На тонкой худой шее его из-под пиджачка высовывался холстинный воротник нижней сорочки.

— Слушай, а ты давно молоко возишь? — заинтересованно спросил Бритвин.

— С весны. Как лед сошел. Сначала дед Кузьма возил, пока в полицию не забрали.

— За что забрали?

— Кто его знает. В чем-то провинился.

— А те, что на мосту, тебя знают?

— Полицаи? Знают, а как же. Все пристают: «Водки привези». Особенно тот Ровба, которого убили. Проходу не давал.

— Водки, значит?— задумчиво переспросил Бритвин.— На водку они охотники. А молоком не интересуются?

— Молоком? Не-а,— сказал Митя и сделал робкую попытку улыбнуться.— Я в то молоко курячее дерьмо сыплю.

— Да ну? Для жирности, наверно? Молодец!

Бритвин сел, сдвинул на затылок пилотку. И вдруг сказал:

— Слушай, Митя! Хочешь мост взорвать?

Степка от удивления раскрыл рот, но тут же подумал: а в самом деле! Ведь парень мог бы чем-то помочь. Митя, внешне нисколько не удивившись вопросу, ответил просто:

— Хочу. Если б было чем.

— Ну, это не твоя забота. Это мы придумаем. Удастся — тебе первым делом автомат. Тот, с которым Борода поехал. Потом правительственную награду. Ну и в отряд, разумеется. С ходу. Я сам рекомендую.

Внимательно и вполне серьезно выслушав Бритвина, Митя озабоченно сказал:

— Мне главное, чтоб в партизаны. Потому что дома уже нельзя.

— Это почему?

— Да батька у меня... Ну, хлопцы в деревне и цепляются. Уже невмочь стало.

— Понятно. Ну, за отряд я ручаюсь. Теперь слушай мой план. Просто и ясно,— сказал Бритвин, но вдруг осекся и задумчиво поглядел в огонь.— Хотя ладно. Пусть Данила приедет.

«Ну что ж, пусть приедет. Когда только он приедет?» — разочарованно подумал Степка, собравшийся было услышать план Бритвина. Но разговор на этом прервался, стало тихо. От неподвижности Степку начала одолевать дремота, костер припекал грудь и лицо, а спина стыла в тени. Наверно, натертые мокрым мундиром на шею, разболелись чирьи. Он подумал, что надо бы перевязать шею, да нечем было. Сапоги и колени его были перепачканы грязью, руки тоже. Чтобы не заснуть тут, у костра, он поднялся.

— Ты куда?— сквозь дым глянул на него Бритвин.

— Руки помыть.

Внизу, в глухом мраке ольшаника, говорливо бежал ручей. Выглядывая подходящее для спуска место, Степка пошел краем поляны, пока не наткнулся на свежую, сиротливо приютившуюся под кустами могилку. От неожиданности он остановился, все еще не понимая чего-то, не в силах принять эту нелепую смерть. Происшедшее сегодня казалось ему дурным сном. Хотелось думать, что минет ночь и все станет по-прежнему — он встретит веселого живого Маслакова, который с незлобивой шуткой опять позовет его на какое-нибудь задание.

Хватаясь за ветки, Степка спустился к ручью. Тут было сыро и прохладно. Неширокий поток воды шумно бурлил меж скользких камней. Вытянув ногу, парень нащупал один из них и склонился.

Нет, Бритвин не такой. Он жесткий, недобрый, но, похоже, дело свое знает неплохо. «Этот не оплошает»,— думал Степка, погружая в холодную воду руки. Ему очень хотелось теперь удачи, после пережитого он готов был на любой риск и любые испытания, лишь бы расквитаться за Маслакова.

12

Данила приехал утром, когда над оврагом прояснилось небо и в кустарнике вовсю началась птичья возня — цвирканье, цоканье, пересвист. На краю поляны в серой куче углей едва теплился огонь, стало холодновато, все они сидя подремали немного. Однако лошадиный всхрап над оврагом сразу прогнал дремоту, наверху зашуршало, донеслось глухое:

— Стой ты, х-холера!

Разрывая ногами землю, из серых утренних сумерек на поляну сунулся рыжий запаренный Рослик.

Митя первым вскочил навстречу коню, начал ласкать его, оглаживая потную шею. Рослик удовлетворенно застриг ушами и скосил блестящим глазом на Степку. Степка, однако, глядел на овражный склон, как, впрочем, и Бритвин: в утреннем сумраке там тяжело спускался Данила. Сперва они не поняли, почему он отстал, но вскоре увидели какую-то ношу в его руках.

Спустившись по склону вниз, Данила бросил на землю почти под завязку набитый чем-то мешок.

— Вот! Насилу доез, холера. Мокрый, что ли?

— Как мокрый?

Бритвин был уже рядом, оба они склонились над мешком. Данила опустил на колени и начал распутывать тонкую веревочку завязки. Степка и Митя, от которого не отходил Рослик, стояли напротив.

Тем временем уже без костра стала видна вся поляна — серая, как и все вокруг в этот рассветный час, с расплывчато-тусклыми тенями людей, коня; ночной мрак медленно отползал в чашу, к ручью; небо вверху все больше светлело чистой, без туч синевой — утро обещало быть солнечным.

Данила развязал мешок.

— Что такое?— с недоумением вырвалось у Бритвина. Запустив руку внутрь, он вытащил из мешка горсть каких-то желтоватых комков, взгляделся, даже понюхал. Выражение его лица было на грани растерянности.— Что ты привез?

— Так это самое... Тол. Или как его?

— Какой, в хрена, тол? Аммонит? — раздраженно спросил Бритвин, шире раздвигая края мешка.

— Ну. Аммонит будто. Кажись, так называли.

— Дерьмо! Я думал, тол. А этим что — рыбу глушить?

Данила виновато почесал за воротом, потом под телогрейкой за пазухой.

— Говорили, бахает. Корчи им на делянках рвали. Верно, какую-никакую силу имеет.

С явным недоверием Бритвин молча исследовал взрывчатку: отломал кусочек от комка, растер в пальцах, опять понюхал и сморщился.

— Подмоченный? Ну да. Слежался, как глина. Эх ты, голова колматая! Купал ты его, что ли?— Бритвин оглянулся и что-то поискал взглядом.— А ну, дай шинель!

Митя послушно метнулся к костру за шинелью, и Бритвин широким движением растелил ее на поляне.

— Высыпай!

Данила вывалил все из мешка — на шинели оказалась куча желтой комковатой муки, которая курилась вонючей сернистой пылью. Все четверо обступили шинель, Степка также пощупал несколько сыроватых комков, легко раскрошившихся в пальцах.

— Ладно, сушить надо, — спокойнее решил Бритвин.— Давай, Дмитрий, садись на коня и дуй за молоком. Дорога где?

— Какая дорога?— не понял Митя.

— Дорога, по которой возишь. Где, далеко отсюда?

— Не очень. Можно проехать по кустикам.

— Давай!— поторопил Бритвин.— Мы ждем. Что и как — потом договоримся.

— Хорошо.

— Только смотри, чтоб никто ни-ни! Понял?

— Ну.

— Чтоб ни одна душа и во сне не видела. А то...

— Знаю. Что я, не понимаю!— с обидой сказал Митя.

Пошевеливая поводком, низенький и подвижный, он повел за собой из оврага Рослика, который, трудно хакая, в который уже раз одолел высокий крутой склон. Вскоре кустарник скрыл их, где-то там послышалось негромкое «тпру», потом затихающий топот копыт по стежке. Бритвин обернулся к Степке:

— Давай за хворостом! Побольше хворосту! Сушить будем.

— Как сушить?— заморгал глазами Данила.— У огня?

— На огне! — отрезал Бритвин.

Данила на минуту остолбенел, с пугливым недоумением уставясь на бывшего ротного.

— А это самое... Не взорвется?

— Не бойсь! А взорвется — не большая беда. Или очень жить хочется?

Вместо ответа Данила смущенно переступил с ноги на ногу и сдвинул вперед свою противогазную сумку. В ней что-то тугими комками выпирало из боков, натянутый ремешок был застегнут на последнюю дырку. Отстегнув его, Данила вытащил ладную горбушку хлеба.

— О, это молодец! Догадливый!

— И еще,— удовлетворенно буркнул Данила, двинув сумкой, из которой тут же выглянуло горлышко бутылки с самодельной бумажной затычкой.

— Отлично! Только потом. Сейчас давай больше хворосту! Все за хворостом!— бодро распорядился Бритвин.

Степка слотнул слюну, на всю глубину ощутив унылую пустоту в животе, и с неохотой оторвал взгляд от Даниловой сумки, которую тот снял и бережно положил в сторонке. Автомат он вроде не собирался отдавать, даже не снимал его из-за спины.

— Ты, давай автомат!

Данила обернулся, взглянул на парня, затем, будто ища поддержки, на Бритвина.

— Ну что смотришь? Снимай, говорю!

— Ладно, отдай,— примирительно сказал Бритвин, и Данила с неохотой стащил через голову автомат, скинув на траву шапку.

Оба они полезли из оврага. Так как поблизости все было подобрано за ночь, сушняк надо было искать дальше. Данила в аккуратной, хотя и подпачканной кровью телогрейке и сапогах выглядел совсем не похожим на себя прежнего — в крестьянской одежде и лаптях. Обретя какой-то несвойственный ему, почти воинский вид, он будто помолодел даже, хотя косматое лицо его по-прежнему не теряло пугающе-диковатого выражения.

Они вылезли из оврага, Степка обиженно молчал, Данила, наверно, почувствовав это и отдышавшись, спросил:

— Мину тот хлопец повезет?

— А я откуда знаю.

— Бритвин не говорил?

— Мне не говорил,— буркнул Степка, не испытывая желаний разговаривать с этим человеком.

Данила добродушно поддакнул:

— Ага, этот не скажет. Но я вижу...

«Видишь, ну и ладно»,— подумал Степка, забирая в сторону.

Они разошлись по кустарнику. Лес стал суше и приветливей, хотя холодные капли с веток нет-нет да и обжигали за воротом кожу. Местами тут росли ели, но главным образом вперемежку с березками рос омытый дождем ольшаник; кое-где зеленели колючие кусты можжевельника. Хворосту-сушняку хватало. Степка скоро насобирав охапку, подцепил за сук срубленную сухую елочку, потащил с собой.

Тем временем в овраге на середине поляны всюду похлахал новый костер, в который Бритвин подкладывал принесенный Данилой хворост. Данила еловыми лапками, как помелом, разметал затухшие угли их ночного костра.

— Давай сюда!— остановил парня Бритвин.— Бери и подкладывай, чтоб земля грелась. Будем аммонит жарить.

Хлопоча у огня, Степка с любопытством поглядывал, как они там, на выгоревшей черной плещи, расстелили распоротый вдоль мешок и высыпали на него раскрошенные комья аммонита. Пригревшись, аммонит закурился коричневым дымом, на поляне потянуло резкой, удушливой вонью. Данила зажмурился, а потом, бросив все, двумя руками начал панически тереть глаза. Бритвин издали грубовато подбадривал:

— Ничего, ничего! Жив будешь. Разве что вши подохнут.

— А чтоб его... Все равно как хрен.

— Вот-вот.

По оврагу широко поползла сернистая вонь, хорошо еще, утренний ветерок гнал ее, как и дым, по ручью низом; на противоположном краю поляны можно было терпеть. Пока взрывчатка сохла на горячем поду, Бритвин с Данилой отошли в сторону, и Данила взялся за сумку.

— Ты, иди сюда!— позвал Бритвин.

Степка сделал вид, что занят костром, и еще подложил в огонь, хотя опять мучительно сглотнул слюну. Тогда Бритвин с деланным недовольством окликнул громче:

— Ну что, просить надо?

Нарочно не торопясь, будто с неохотой Степка подошел к ним и получил из Даниловых рук твердый кусок с горбушкой.

— И давай жги! Этот остынет — на тот переложим. А то скоро пацан примчит.

Вернувшись к костру, Степка за минуту проглотил все — хлеб оказался таким вкусным, что можно было съесть и краюху. Аммонит на мешке как будто понемногу сох, или, может, они притерпелись, но вроде и вонял уже меньше. Данила то и дело помешивал его палкой. Бритвин стоял поблизости и, двигая челюстями, говорил:

— Мы им устроим салют! Парень — находка. А ну давай, поворочай середку!

— Ай-яй, чтоб он сгорел!— застонал Данила, отворачиваясь и смешно морща толстый картофелеподобный нос. От желтых комков аммонита опять заструился вонючий коричневый дым.

— Ничего, не смертельно. Зато грохнет, как бомба.

— Хотя бы уж грохнуло!

Данила отбросил палку и обеими руками принялся тереть глаза.

— Грохнет, не сомневайся. Это вам не банка бензина! Смешно, канистрой бензина надумали мост сжечь! А еще говорили, что Маслаков опытный подрывник. Побегал, как дурак, засветло! На что рассчитывал? Без поддержки, без опоры на местных! Без местных, брат, не много сделаешь. Это точно.

— А может, он не хотел никем рисковать!— отозвался издали Степка.

— Рисковать? Знаешь ты, умник, что такое война? Сплошь риск, вот что. Риск людьми. Кто больше рискует, тот и побеждает. А кто в разные там принципы играет, тот вон где!— Бритвин указал на поляну. Покрасневшее его лицо стало жестким, и Степка пожалел, что не смолчал.— Ты зеленый еще, так я тебе скажу: слушать старших надо!— помолчав, сказал Бритвин.

13

Бритвин отошел на три шага от костра и сел, скрестив перед собой ноги.

— Терпеть не могу этих умников. Просто зло берет, когда услышу, как который вылупляется. Надо дело делать, а он рассуждает: так или не так, правильно—неправильно. Не дай бог невинному пострадать! При чем невинный — война! Много немцы виноватых ищут? Они знай бьют. Страхом берут. А мы рассуждаем: хорошо, нехорошо. Был один такой. У Копылова. Может, кто помнит, все в очках ходил?

— В немецкой шинели? Худой такой, ага?— обернулся от костра Данила.

— Да, худой. Дохловатый такой человек, не очень молодой, учитель, кажется. Нет, не учитель — инспектор районо. Вот забыл фамилию: не то Ляхович, не то Левкович. Еще осенью котелок ему трофейный давал — своего же не имел, конечно. Помню, очки у него на проволоч-

ках вместо дужек, одно стекло треснувши. И то слепой. Прежде чем что увидеть, долго вглядывается. Глаза выкатит и смотрит, смотрит. Как-то послали его в Гумилево какого-то местного прислужника ликвидировать. Почему его? Да знакомые там у него были, связи. Вообще в тех местах связи у него были богатые, тут ничего не скажешь! В каждой деревне свои. И к нему неплохо относились: никто не выдал нигде, пока сам не вскочил. Но это потом уже, зимой. А тот раз пошел с напарником—напарником был Суров, окруженец. Решительный парень, но немного того, за галстук любил закинуть. Потом он вернулся и отказался с этим ходить. «Дурной, говорит, или контуженный». Тогда этот Ляхович так удачно всех обошел (женщина там одна помогла), что к этому предателю прямо на дом явился. В кармане парабел, две гранаты, охраны во дворе никакой. Напротив на скамейке Суров сидит, семечки лузгает—страхует, чтоб не помешали. И что думаете: минут через пятнадцать вываливается и шепчет: не вышло, мол. В лесу уже рассказал что и как. Оказывается, ребенок помешал. Вы понимаете: полицию провели, СД, гестапо, бабу его (тоже сука, в управе работала), а ребенок помешал. И ребенку тому два года. Оправдывается: продажник тот, мол, с ребенком на кровати сидел, кормил, что ли, и этот дурак не решился в него пулю всадить. Ну это же надо! Вы слышали такое?

Нет, наверно, они такого еще не слышали и, уж конечно, не видели. Тем не менее то, что возмущало Бритвина, не вызвало в Степке никакого особенного чувства к этому Ляховичу. Чем-то он даже показался ему симпатичным.

— И во второй раз тоже конфуз вышел,—вспоминал Бритвин.— Ходили на «железку», да неудачно. Наскочили на фрицев, едва из засады выбрались. Дали доброго кругая, вышли на дорогу, все злые, как черти, ну понятно — неудача. И тут миновали одну деревушку, уже в партизанской зоне, слышим: гергечут в кустах. Присмотрелись: немцы машину из грязи толкают. Огромная такая машина, крытая, бгуксует, а штук пять фрицев вперлись в борта, пихают, по сторонам не глядят. Ну, ребята, конечно, тут как тут, говорят: ударим! Ляхович этот — он старшим был — осмотрелся, подумал. «Нет, говорит, нельзя. Деревня близко». Мол, машину уничтожим — деревню сожгут. Так и не дал команды. Немцы выволокли машину, сели и — здоровеньки булы. Ну не охламон?

Слушатели молчали. Отстраняясь от вонючего дыма, Данила все морщил раскрасневшееся лицо, одним глазом посматривая на взрывчатку. Степка же старательно нажигал землю, ровной окружностью раскинув на поляне костер. Однако костер догорал: кончался хворост.

Встав со своего места, к нему подошел Бритвин. Без ремня, в сапогах и ладных, хотя и потертых темно-синих комсоставских бриджах он выглядел теперь, как настоящий кадровый командир, разве что без знаков различия. На замусоленном воротнике гимнастерки темнели два пятна от споротых петлиц.

— Ну, пожалуй, нагрелся. Давай отгребай. Борода, неси остатки. Подбери по краям, что посырее.

Степка ветками тщательно отmel в сторону угли, затоптал их, и они насыпали на горячую выгарину нетолстый слой аммонита.

— Так, пусть греется. И помешивай, помешивай, нечего глядеть.

Настала Степкина очередь задыхаться и плакать от вонючей гари: раза два, не стерпев, он даже отбежал подальше, чтобы глотнуть чистого воздуха. Бритвин, отойдя в наветренную сторону, опять уселся на своей помятой шинели.

— Это что! — сказал он, опять возвращаясь к воспоминаниям.— Это что! Вот он в круглянкой полиции выкинул фокус. Это уж действительно дурь. Самая безголовая.

— Говорили, это самое... Повесили будто? — спросил Данила.

— Да, повесили. Пропал ни за что. А Шустик, который с ним вместе влопался, тот и теперь у Егорова бегаёт. Пустили. Сначала думали: врет. Думали, завербован. Проверили через своих людей — нет, правда. Шустика пустили, а Ляховича повесили. И думаешь, за что? За принцип!

— Да ну? — не поверил Степка.

— Вот те и ну... Слапали их в Прокоповичах на ночлеге. Как это случилось, не знаю. Факт: утром привезли в местечко в санях и сдали в полицию. А начальником полиции там был приبلуда один, из белогвардейцев, что ли. Снюхался где-то, ну и служил, хотя и с партизанами заигрывал — конечно, свои расчёты имел. И еще пил здорово. Рассказывают, хоть шнапсу, хоть чемергесу — кружку опрокинет и никакой закуски. А пистолет вынет и за двадцать шагов курицу — тюк! Голова прочь, и резать не надо. Так этот полицай, наверно, сразу смикитил, кто такие, но виду не подал, повел к шефу. А шеф был старый уже немец, седой и, похоже, с придурью — все баб кошачьим криком пугал. Бабы наутек, а он хохочет. Считали его блажным, но когда дело доходило до расправы, не плоховал. Зверствовал наравне с другими. Ну и вот, этот Ляхович с Шустиком, как их брали, оружие свое где-то припрятали, назвались окруженцами: по деревням, мол, ходили, на хлеб зарабатывали. Неизвестно, что этот беляк шефу доложил, но тот отнесся не строго, Шустика только огрел палкой по горбу. Полицай и говорит: «Кланяйтесь и просите пана шефа, может, простит». Шустик, рассказывают, не дожидаясь уговоров, сразу немцу в ноги, лбом так врезал об пол, что шишка вскочила. Полицаи — их несколько человек было — улыбаются, немец хохочет. «Признаешь власть великого фюрера?» — «Признаю, паночку, как не признать, если весь мир признает». Это понравилось, немец указывает на Ляховича: а ты, мол, тоже признаешь? Полицай переводит, а Ляхович молчит. Молчал, молчал, а потом и говорит: «К сожалению, я не могу этого признать. Это не так». Немец не понимает, поглядывает на русского: что он говорит? Полицай не переводит, обозлился, шипит: «Не признаешь — умрешь сегодня!» — «Возможно, — отвечает. — Но умру человеком. А ты будешь жить скотом». Хлестко, конечно, красиво, как в кино, но немец без перевода смекнул, о чем разговор, и как крикнет: одного вэк¹, мол, а другого на вяз. На вязу том вешали. Повесили и Ляховича. Ну, скажете, не дурак?

14

Резкость Бритвина в осуждении Ляховича чем-то понравилась Степке, который тоже не терпел всяких там условностей по отношению к немцам. Он подумал, что Бритвин, кажется, не добряк Маслаков, этот войну понимает правильно. Видно, пойдет сам и погонит их всех на мост, Митю тоже. Но что ж, надо — так надо. Вполне возможно, что им еще предстоит хлебнуть лиха, но пусть! Только бы удалось.

Стоя на корточках, Степка тщательно перемешивал аммонит, который хотя и вонял до тошноты, но как будто сох. Взяв комочек из тех, что были сырее, парень, остуживая, перекинул с ладони на ладонь, попробовал растереть — где там, затвердел, как камень.

— Высох уже.

— Ладно, пусть полежит, — сказал Бритвин. — Все равно мальчика нет.

Над оврагом поднялось солнце; склон, край поляны и кустарник над ней ярко засияли в солнечном свете, постепенно стало теплеть. Бритвин в сонной истоме растянулся на шинели, посмотрел в высокое, с редкими облаками небо.

¹ W e g — прочь, вон (нем.).

— Значит, так,— вдруг сказал он и сел.— Эй, Борода, еще храпеть начнешь!

Он толкнул ногой заплатанное колено Данилы, тот расплющил сонные глаза и, лениво задвигавшись, тоже поднялся на траве.

— Значит, так. Кому-то надо подобраться к мосту. Кустики там возле речки, я видел вчера, подход хороший. Задача: в случае чего подержать огнем. Кто пойдет?

Данила молча вперил в землю выжидательный взгляд. Степка тоже молчал: зачем напрашиваться самому? Дело это, по-видимому, не очень веселое, кого пошлют, тот и пойдет.

— Так,— сказал Бритвин.— Ну тогда ты, Толкач. Подкрадешься и замри. Понял?

Степка не ответил. Он был готов, если это выпало на его долю, хотя то, что Бритвин обратился именно к нему, слегка задело его. Но не подав виду, он подавил в себе неприятное чувство, будто и не имел ничего против. И все же Бритвин вроде что-то заметил.

— Потому как у тебя автомат. Или, может, автомат Бороде отдашь? Тогда он пойдет.

— Нет, не отдам.

Они еще посидели минут пятнадцать. Аммонит, наверно, начал уже остывать, когда Бритвин вскинул голову — на овражном склоне появился Митя. Хватаясь за ветви, парень быстро скатился вниз. Бритвин вскочил с тревогой на лице, но Митя, оживленный и вспотевший, все в том же черном пиджачке, успокоил:

— Ну, все готово.

— Молодец,— сказал Бритвин.— Где подвода?

— Тут, в кустиках. Припозднился малость, но ничего.

— Так! — Бритвин оглянулся.— Толкач, марш к возу, из одного бидона молоко взк, бидон сюда. Сколько у тебя бидонов?

— Три.

— Двух хватит. Один под мину пойдет.

Все было ясно, оставалось принести бидон, но Митя с неловкостью переступил босыми ногами.

— Тут вот... Поесть вам.

Обеими руками он вытащил из тугого кармана какой-то тряпичный сверток, передал Бритвину.

— Молодец! Просто герой! Ну, добро. На, Борода, в твою сумку.

Данила принялся запихивать в сумку завтрак, а Степка с Митей то-ропливо полезли на склон.

Митя взбирался первым. Его босые потрескавшиеся пятки быстро мелькали в росистой траве, небольшая голова в черной засаленной кепчонке, будто у вороненка, туда-сюда вертелась на худой шее — сквозь редковатый кустарник было видно далеко. Степка, однако, привык уже за ночь к этому оврагу и склону и, как это бывает на знакомой местности, почти перестал ощущать опасность.

Он думал над тем, что сказал Бритвин,— старался понять его план, но понял не много. Бывший ротный что-то хитрил, намекал только, а по существу скрывал от них свой замысел — ради секретности, что ли? Если Степку они посылают на прикрытие, так получается, сами поедут на мост. Но хватит ли их двоих, чтобы сладить с охраной, которая после вчерашнего случая станет еще бдительней? Наверно, полиция увидят повозку издали, и хотя знают Митю, других могут заподозрить и не подпустить близко. Что тогда делать?

Этот план Бритвина с молоковозом в самом начале вызывал ряд сомнений и казался все менее убедительным.

Рослик стоял неподалеку, забившись в орешник вместе с повозкой, в которой, увязанные веревкой, блестели бока трех бидонов. Видно, где-то поблизости была дорога, потому Митя тихонько поласкал привязанного за куст коня и молча вскочил в повозку. Вдвоем они с трудом сняли крайний бидон на землю. Под руками тяжело плескалось, сильно запахло парным молоком, стадом и хлебом. Откинув крышку, Степка смешался: столько молока надо было вылить на землю!

— Пей! Хочешь? — предложил Митя.

Пить Степке совсем не хотелось — хотелось есть, но, став на колено, он все же наглотался, сколько вместил его пустой живот. Особенного наслаждения, однако, не почувствовал — другое дело, если бы был хлеб.

— Ну что? Выливаем?

— Давай!

Наклонив посудину и обливая белыми брызгами ноги, они пустили по траве душистый молочный ручей. Подняв на себе сухую листву, ветки, разный лесной мусор, молоко широко растеклось в кустарнике, образовав большую грязную лужу.

Пустой бидон показался довольно легким. Оберегая больную шею, Степка вскинул его на плечо и двинул к оврагу. Митя бежал рядом.

— А сколько в нем патронов?

— Где? — не понял Степка.

— Ну, в автомате этом.

— Семьдесят в одном магазине.

— Ого! Это семьдесят человек можно уложить?

Вокм пробираясь в орешнике, Степка терпеливо разъяснил:

— Семьдесят, это если одиночными стрелять. И то если попадать всеми. А если очередями, то дай бог десяток.

— А остальные что, мимо?

— Ну. А ты думал! Немцы тоже не дураки: мух ловить не будут.

— Надо лучше целиться, — смекнул Митя. — А в винтовке пять только?

— Да.

Идя впереди, он оглянулся и услужливо отстранил с пути ветку, пропуская Степку.

— А у этого, командира вашего, самозарядка, да?

— У Бритвина? Самозарядка.

— Хорошая винтовка?

— Когда исправная. А как заест, кидай и бери палку.

— А автомат не заедает?

— Когда как, — неопределенно сказал Степка, поправляя на плече ношу. Дотошные расспросы этого парня начали надоедать.

Разговор на том прекратился, они спустились в овраг, и Степка с глухим бряком бросил бидон перед Бритвиным.

— Порядок! Борода, взрывчатку!

Снаряжать мину Бритвин принялся сам. Рядом на шинели уже лежал найденный ночью у Маслакова полуметровый обрезок бикфордова шнура и желтый цилиндрок взрывателя.

Впрочем, начинить мину было несложно. Спустя десять минут Бритвин засыпал полбидона аммонитом, бережно укрепил в его середине взрыватель, конец шнура выпустил через край.

— Гореть будет ровно пятьдесят секунд. Значит, надо поджечь, метров тридцать не доезжая моста.

Наверно, для лучшей детонации, что ли, он вытащил из кармана гранату — желтое немецкое «яичко» с пояском — и тоже укрепил ее в середине. Потом по самую крышку набил бидон аммонитом.

— Вот и готово! На середине моста с воза — вэк! И кнутом по коню. Пока полицаи опомнятся, рванет за милую душу.

— А кто повезет? — спросил Степка, стоя возле полного таинственного внимания Мити.

— Как кто? — с деланным непониманием переспросил Бритвин. И вдруг почти закричал: — Ты еще не пошел? А ну бегом! Куда я сказал. Понял?

— Я-то понял.

— Ну и давай! Мы тоже сейчас едем. А то вишь солнце где?

Степка поддал на плече автомат и выбрался из оврага.

Прежде чем скрыться в лесу, он обернулся. Внизу сквозь кустарник проглянул зеленый квадрат их полянки с двумя серыми пятнами от костров и раскопанной землей под ольшаником. Три небольшие с высоты фигуры стояли над белым бидоном, также готовые вскоре покинуть полянку, чтобы никогда больше сюда не вернуться.

15

Дождавшись за ольховым кустом, когда часовой повернет в другой конец моста, Степка пулей метнулся дальше и упал под едва не последней жидковатой олешиной — в какой-нибудь сотне шагов от насыпи.

Несколько минут он трудно дышал, распластавшись на черной и голдой, еще не поросшей травой земле, и во все глаза смотрел на дорогу.

Самое худшее, кажется, миновало. Степка подобрался к мосту, как будто его не заметили. Правда, за версту отсюда на пойме он ненароком наткнулся на какого-то дядьку по ту сторону речки — наверно, там была стежка, — тот появился неожиданно, в серой суконной поддевке, с кнутом в руке. Разделенные неширокой речушкой, они встретились взглядом, оба вздрогнули от неожиданности, но Степка молча проскочил мимо в редковатый прибрежный кустарник, который скоро и заслонил его. Человек также ни о чем не спросил, видно, подавил в себе удивление, а может, и испуг, и быстро зашагал берегом. Наверно, надо было проследить за ним, но не было времени — Степка и без того боялся опоздать с выходом к мосту и стремился вперед, хотя и чувствовал, что в такой спешке очень просто нарваться на немцев. Однако все обошлось, сзади никого не было видно.

Мост отсюда, казалось, был так близко, что становилось страшно. Степка уже мог кромсануть по нему из автомата, хотя, конечно, теперь лучше бы иметь винтовку: из нее гораздо удобнее было бы снять часового, который между тем лениво слонялся туда-сюда вдоль перил. На середине он ненадолго остановился, посмотрел вниз, сплюнул и с ребячьим любопытством проследил, как плевков плюхнулся в воду. На плече полицаия висел немецкий карабин, который он то и дело поправлял свободной рукой. Когда он отворачивался, Степка видел его спину в черной тесноватой куртке и стриженный светлый затылок под черной с кантом пилоткой. Был он гонковат, молод, наверно, ненамного старше Степки.

Этого часового Степка увидел еще издали, из кустарника, и подумал сначала, что он тут один. Но спустя какое-то время послышался тихий разговор на дороге, долетел звяк лопаты о камень — похоже, в том конце моста за насыпью копали. Ему отсюда не видно было, сколько их там, он слышал только обрывки разговора, иногда невысоко над дорогой взлетали комья земли. Спустя четверть часа из-за насыпи на дорогу вылез обнаженный до пояса полицаив в зеленых штанах и черной пилотке, недалеко прошелся обочиной, нагнулся, что-то подобрал с земли и опять пошел туда, где копали.

От долгого бега Степка согрелся, вспотел, но теперь, поглощенный мостом, не догадался даже расстегнуть мундир да снять шапку. Полежав с полчаса, он понял, что, наверно, придется проваляться тут долго: на дороге в сосняке еще никого не было видно. Зато со стороны местечка скоро показалась повозка, которая быстро катила к мосту. Спустя какое-то время можно было различить, что это бричка; запряженный в нее справный буланый коник размашисто кидал копытами, картинно сгибая красивую, с коротко подстриженной гривой шею. Степка догадался, что это кто-то из начальства. Бричка ненадолго остановилась возле тех, что копали, там же оказался и часовой; не слезая с сиденья, человек в сером пальто, размахивая руками, что-то заговорил, другой сидел подле молча. Вскоре он шевельнул вожжами, и бричка с негромким стуком покати-лась по дощатому настилу.

Степка плотнее припал к земле, затаил дыхание. Они проехали совсем близко от него, но даже не взглянули в его сторону, и парень облегченно вздохнул.

Опять потянулось время. Солнце над лесом медленно поднималось в небе, было уже, наверно, часов около десяти. Теперь Степка чаще, нежели на мост, стал оглядываться назад, на дорогу, все с большим нетерпением ожидая увидеть там повозку с Росликом. Но там долго никого не было, и парня исподволь начала одолевать тревога: не случилось ли что с миной?

Часовой раза три прошелся туда-сюда по мосту и опять повернулся в этот его конец. Правой рукой он высоко, возле плеча, перехватил ремень, а левой, заложив ее за спину, держался за ложку карабина, который, наверно, уже натрудил за смену его худое плечо. Потом, неторопливо проковыляв по мосту, остановился возле сломанных перил, и Степка подумал, что сейчас повернет назад. Но он почему-то не поворачивал. Он даже вынул левую руку из-за спины и тоже перенес ее на ремень карабина, как бы для того, чтобы снять его с плеча. Уловив в поведении полицая что-то новое, Степка оглянулся: с горки в сосняке быстро и даже весело катил вниз Рослик с повозкой.

Степка подвинул поближе к себе автомат, удобнее уперся локтями в черную мякоть земли; он заволновался, предчувствуя, что вот-вот произойдет самое важное. Правда, скоро его напряжение сменилось удивлением, когда он увидел в повозке одного только Митю: ни Данилы, ни Бритвина там не было. Не видно их было и сзади и нигде поблизости. Неужели они отправили Митю одного? А может, там что случилось? Но строить догадки не было времени, повозка скоро приближалась, а полицай стоял у въезда на мост, и у Степки медленно холодело внутри от мысли: а вдруг остановит? Если полицай задержат повозку, тогда все пропало.

Припав к земле и неудобно поджав свернутые набок ноги, Степка сквозь ветви поглядывал то на дорогу с повозкой, то на мост, где в угрожающей неподвижности застыл часовой. И тогда в голове его мелькнула совсем уж паническая мысль: а вдруг прошлой ночью караул сменили, поставили новый, и полицейский впервые видит этого молоковоза? Тогда он его, безусловно, задержит. Но ведь Митя где-то поблизости от моста должен поджечь шнур — что же тогда будет?

Между тем повозка приближалась. Митя высоко сидел на одном из бидонов, внешне он выглядел спокойным. Правда, эта его высокая посадка казалась несколько необычной, разве что так ловчее было столкнуть бидон-мину. И опять ни на повозке, ни поблизости от нее не было никого больше. «Неужто Бритвин с Данилой остались в лесу или с ними стряслось что плохое?» — недоумевал Степка. Конечно, он прикроет Митю, коль на то послан, но для чего же тогда они?

И тут Степка заметил над повозкой дым. Парень удивился, даже испугался, но вскоре понял, что это дымил папироской Митя. Делал он это, однако, неумело, слишком усердно и часто — непонятно было, то ли собираясь поджечь шнур, то ли для того, чтобы уже замаскировать его горение. В то же время Рослик побежал быстрее, и повозка, минуя кустарник, на несколько секунд скрылась за нависшей листвой.

У Степки от волнения противно задрожало сердце, вспотели ладони, он подвинулся немного в сторону, направляя ствол автомата на часового. Как на беду, свежаватый утренний ветер замельтешил перед лицом молодыми ветвями, которые то открывали, то совершенно закрывали собой полицаю. Но вот тот шагнул навстречу повозке и, что-то негромко крикнув, снял карабин. Митя соскочил на дорогу.

Повозка остановилась в каких-нибудь десяти шагах от моста. Рослик, слегка выставив вперед ногу, принялся теревить ее зубами. Степка в ольшанике весь сжался от напряжения, плохо соображая, что происходит. Он чувствовал только, что план Бритвина рушится, что дело оборачивается самым неожиданным образом и что теперь, судя по всему, настала его очередь.

Он не знал, поджег ли Митя шнур (должен был поджечь), но если шнур уже загорелся, то полицаей, как только подойдет к повозке, поймет все с первого взгляда. Тогда независимо от того, будет взрыв или нет, парень погибнет. Чтобы спасти хотя бы Митю, Степка вскинул над насыпью автомат и надавил на спуск.

Тр-р-р-р-р-рт!

Что произошло дальше, он понял не сразу. Он увидел только, как рванул с места Рослик; кажется, сбив полицаю, конь с возом поскакал по мосту вперед, попав на выбоину, повозка подскочила, качнулись, загрохотали перевязанные веревкой бидоны. Полицаей где-то исчез, на дороге остался лишь Митя, он бросился было за повозкой, но в какой-то непонятной растерянности вдруг остановился, раскинув в стороны руки.

Степка вскочил, чтобы бежать, но взгляд его в последнее мгновение наткнулся на эту растерянную фигурку Мити, и он снова присел за кустом. Только он хотел крикнуть, чтобы тот спасался, как Митя дернулся, будто в испуге, от того невидимого, что в этот момент случилось на мосту. Степка быстро и тревожно выглянул сквозь листву — Рослик, упав в оглоблях на передние ноги, бился коленями о настил, пытается подняться, высоко и немощно махал головой. В то же мгновение откуда-то сбоку, как будто издали, с опозданием донеслось негромкое «бах-х!». Степке показалось, что это выстрелил полицаей из-за насыпи, и он снова рванул к плечу автомат.

Но выстрелить он не успел.

Митя сорвался с места и, размахивая лапами своего пиджачка, бросился за повозкой. «Что ты делаешь?!» — взвопил протестующий голос в Степке. С того конца моста к повозке уже мчались три полицаей. Рослик скреб копытами настил, тщетно пытаясь встать, повозка перекосилась, упершись задним колесом в перила...

Степка на коленях подался из-за ветвей в сторону, лоя на мушку тех, что бежали. Ему не хватило какой-то секунды, чтобы совместить ее с прорезью, как мощная сила взрыва бросила парня наземь. На всю глубь содрогнулась пойма, от теплой вонючей волны пригнулись вершины деревьев. Оглушенный Степка какою-то частичкой чувств уловил, как что-то тяжелое ударилось поблизости о землю. Он тут же вскочил, сглотив горькую слюну, нашупал подле себя автомат. Клубы едкого желтого дыма быстро катились от моста на кустарник; глаза его заплаыли слезами, в следующее мгновение, споткнувшись о что-то твердое, он опять по-

летел наземь — под ногами косо торчал из земли обломанный брус от перил.

Степка побежал краем ольшаника — подальше от моста и дороги, потом по луговой пойме свернул к знакомому сосняку. По нему не стреляли, сотрясенное взрывом, все вокруг замерло. Исподволь он совладал со своею растерянностью и впервые оглянулся: аккурат на середине моста зиял огромный пролом, из которого беспорядочно торчали в стороны обломки брусьев, бревен и досок. Там же что-то горело — сизый, негустой еще дым стлался над речкой и лугом.

На мосту и возле него не было ни одной живой души.

16

Загребая сапогами в мелкой траве, Степка отяжелело бежал к недалекой уже сосновой опушке. Провод на сапоге порвался или, может, сполз, подошва наполовину отвалилась и на каждом шагу надоедливо хлопала. На бегу он то и дело оглядывался: дорога из местечка уже закурила пылью — несколько верховых мчались в сторону моста.

Но вряд ли они успеют догнать его: уже совсем близко лес, кустарник, а позади речка с топкими, в тростниках берегами — пусть попробуют перебраться через нее с лошадьми. Правда, они могли настичь его тут огнем, но все равно он перешел на шаг: не хватало уже силы бежать, лихорадочное дыхание распирало грудь, горячий соленый пот заливал глаза.

— Скорей! Скорей ты! Бегом!!

Степка поднял разгоряченное лицо — на опушке среди сосновых ветвей шевельнулась знакомая голова в пилотке. Бритвин махал рукой и с приглушенной злостью требовал теперь от него:

— Бегом!!

Степка обессиленно затрусил, несколько свернув с прежнего своего направления туда, где был Бритвин, и спустя минуту, раздвигая грудью колючие ветки, втиснулся в сосняк. Сзади так и не выстрелили ни разу, и он не оглядывался больше — где была в то время погоня, он не видел. Он стремился теперь скорее присоединиться к своим, о которых уже перестал и думать, и теперь, завидев их живыми, почувствовал безотчетную минутную радость. Правда, те не очень ждали его — поодаль в сосняке мелькнула зеленая, в телогрейке спина Данилы, — не теряя времени, они через пригорок бежали дальше.

Тяжело топая по мягкой, усыпанной хвоей земле, обдирая в чаще лицо и руки, Степка вылез на вершину пригорка и с облегчением победил вниз. Тут он опять увидел их: Бритвин был уже на опушке, коротко оглянулся, взмахнул рукой («скорей!») и выскочил на вспаханную полосу нивы.

Кажется, они оторвались от погони, во всяком случае скрылись с ее глаз и стали недосягаемы для ее огня. Можно было бы вздохнуть с облегчением, нервное напряжение спало. Как ни удивительно, Степка только здесь, в сосняке, понял, что они сделали. Мост взорван, было чему радоваться. Но радость не приходила: не было Маслакова, который все это начал, вел их, первым пошел на самое опасное, и теперь вот они победили, но без него. К тому же еще и Митя. Разумеется, Митя — эпизод, парнишка на один день, сколько таких появлялось на его партизанском пути и исчезало — какое ему до них дело? Но этот подросток что-то затронул в нем, что-то непроясненное, только почувствованное унес с собой из жизни, оставив Степке лишь недоуменный вопрос: как же так?

Когда Степка выскочил на опушку, те двое, пыля сапогами, уже бежали по ниве — впереди Бритвин, а позади в десяти шагах от него

Данила. Они снова не подождали парня, а он все больше отставал: склон тут кончался, начиналось ровное место, бежать по которому у него просто не было сил.

И все-таки он бежал, горячно дыша раскрытым ртом. Автомат придерживал рукой под мышкой, не давая тому бить диском о бок. Степка совсем выдыхался, и чем меньше у него оставалось сил, тем все большее раздражение поднималось внутри — будто его нарочно хотел кто обидеть. Однако он знал, что не нарочно, что в самом деле надо было как можно скорее смываться, но не мог сладить со своею досадой и, вдруг остановившись, крикнул:

— Да стойте вы!

Они оглянулись, замедлили шаг и, достигнув кустарника, нерешительно остановились. Бритвин, видно тоже не сдержав злости, раздраженно прикрикнул:

— Давай скорей! Ну что ты гребешься, как баба?!

Усталым шагом Степка наконец догнал их. Неприязненно избегая их взглядов, увидел вспотевшее лицо Бритвина, оживленное риском и азартом.

— Не смотрел, не догоняли? — спросил Бритвин, когда он подошел ближе.

Степка нарочно не ответил — он просто не мог разговаривать с ними и даже избегал взглянуть им в глаза, его мучил вопрос: где они были? Он чувствовал себя совершенно одураченным: ведь он почти уже поверил в Бритвина, в его волевою решимость и боевой опыт и уже склонялся в душе к тому, чтобы отдать ему предпочтение над Маслаковым.

Наконец все вместе они сунулись в негустой мелкий орешник. Под ногами шастала прелая листва да похрустывали опавшие ветки. Через минуту Бритвин снова обернулся к Степке:

— Контузило, что ли?

— Ничего не контузило!

Не останавливаясь, Бритвин на секунду задержал на нем свой придирчивый взгляд и скрылся за кустом. Выскочив по другую его сторону, заговорил с напускной лихостью:

— Здорово, а? Грохнуло, что, наверно, в Круглянах стекла выскочили.

Данила на бегу повернул к ним свое косматое, с простовато-радостной ухмылкой лицо.

— Ну.

— Порядок в танковых войсках!

Они радовались — что ж, было чему. Среди бела дня, под носом у немцев рванули мост — разве не причина для радости? Особенно для Бритвина, да и Данилы тоже.

Вскоре Бритвин перешел на шаг, тем более что впереди начиналось полное воды лесное болото, которое надо было обойти. Данила теперь не выбирал пути, держа напрямик, лишь бы подальше от Круглян, глубже в лесную глушь. Так было всегда: главное — как можно дальше отойти от того места, куда должны были кинуться полицай.

Степка давно уже хотел остановиться, перевести дыхание да что-то сделать со своим сапогом, потому что на каждом шагу цепляться подошвой стало мукой. На правой ноге к тому же сильно болела пятка, наверно, стер до кости. Опустившись наземь, он с усилием стащил с ноги развалившийся сапог и, не зная, как сладить с подошвой, со злостью швырнул его в ольшаник. Затем то же сделал и с правым, который отбросил в другую сторону. Дырявые, созревшие портянки, когда-то отодранные на хуторе от полосатого рядна, поднявшись, раскидал ногами.

Впереди с винтовкой на плече недоуменно оглянулся Данила.

— Гы! Ты что надумал?

Степка закинул за плечо автомат. Босым ногам стало куда как легко и неожиданно холодно с непривычки на сыром непрогретом мху, трава щекотно заколола подошвы, но не беда. «Давно бы так», — подумал он с невеселым облегчением.

Данила с Бритвиным, однако, молча стояли, уставясь на него. Бородатый партизан был явно озадачен его поступком.

— Сдурел, что ли? Зачем ты кинул?

— Иди, подбери!

И Данила действительно полез в кустарник, нашел его левый, более справный, сапог и по-хозяйски, с интересом ощупал подошву.

— Так хороший сапог! Если союзки новые... Бросает, ха!

— Ты зачем это? — нахмурился Бритвин.

— Рваные же. Не видели?

Данила, однако, слазал в болото и за другим сапогом. Подошва в нем совершенно отвалилась и висела, ощерив ряд проржавевших, густо набитых гвоздей.

— Починить если, так носить да носить.

Аккуратно сложив сапоги голенищами, он начал запикивать их за широкий немецкий ремень. Степка исподлобья бросал неприязненные взгляды на его ладные маслаковские кирзачи и телогрейку, почти новенькую, правда, с подсохшим пятном на груди.

— А ну сейчас же надень сапоги! Ты что? — со строгостью напустился на него Бритвин, наверно, уже совсем чувствуя себя командиром.— Через час слезами заплачешь. Тогда что, понесем тебя?

— Не бойтесь, не понесете. Его заставите.

Наверно, что-то почувствовав в голосе Степки, Бритвин смерил парня подозрительным взглядом, что-то прикинул в уме, будто вслушиваясь в тихий шум ветра. Степка подумал, что поскольку дело уже сделано, то тут и начнутся командирская мораль, ругань и угрозы. Но Бритвин в последний момент будто переменял свое намерение, лишь уколол его злым взглядом и пошагал через кустарник.

17

Далеко уже отойдя от Круглян, в густом ельнике они набрали на тропинку. Кажется, неподалеку должен был начинаться Гриневичский лес — знакомые безопасные места, их партизанская вотчина. Стало спокойнее, о погоне уже не думали. В лесу стоял крепкий, почти спиртовой настой волглой весенней прели и смолы; на влажной мшистой земле лежали пестрые от солнечных бликов тени; разлапистые ветви елок, сонно покачиваясь, тягуче шумели вверх.

Едва заметная в моховище тропинка вывела их на старую заброшенную делянку с когда-то наготовленным да так и не вывезенным кругляком — с краю широкой поляны расположилось несколько длинных приземистых штабелей обросшей мохом рудстойки. Сопревшая кора на чурбаках разлезлась, в потемневших от времени торцах желтели выдолбленные дятлами ямки.

На делянке пригревало солнце, они все вспотели, и Бритвин, несший перекинутую через плечо шинель, решительно бросил ее под ноги.

— Привал!

— Фу, тепло! — согласно отозвался Данила и как был, толстоватый и неуклюжий по такому теплу в телогрейке, задом сунулся в тень под штабелем. Бритвин снял ремень, расстегнул пуговицы на гимнастерке, затем плюхнулся на шинель и, сопя, стянул сапоги.

Степка, помедлив, тоже присел под штабель.

— Далеко еще топать? — спросил Бритвин.

— Не так чтоб далеко. Немного пройдем до Ляховина, потом еще лесничество миновать, — начал прикидывать разомлевший Данила.

— Так сколько километров? Пять, десять?

— Это... Если Ляховино по правую руку оставить, чтоб крюка не дать. Но как оставить: мост там...

— Так сколько все-таки километров?

— Километров? Чтоб не солгать... Не так много осталось.

Бритвин осуждающе повертел головой.

— Ну и арифметика у тебя! Много, немного... Давай сумку да перекусим.

Данила с подчеркнутой готовностью перекинул через голову скрученную лямку сумки и сразу же вынул оттуда бутылку с бумажной затычкой. Осторожно укрепил ее на неровной мшистой земле между собой и Бритвиным. Степка старался не смотреть туда — делал вид, что занят пальцем на ноге, до крови сбитым о корень. Есть ему расхотелось, на жаре донимала жажда, и он думал, что, передохнув, первым делом надо поискать ручей.

— Ну что ж, тогда дернем! — с воодушевлением сказал Бритвин.

— Заработали, — ухмыльнулся в бороду Данила.

Бритвин потянул сумку.

— А там же и закусь была. А ну доставай, что наготовил полицаев сынок.

Степка легонько вздрогнул — так просто и буднично было сказано это. Он недоуменно вскинул голову, ожидая что-то увидеть на лице Бритвина. Однако на упругом, тронутом свежей щетиной лице того было лишь сдержанное выражение удовольствия от предстоящей закуски с выпивкой.

Данила вынул самодельный, с деревянным черенком ножик, развернул белую холстинную тряпицу. Толстый ломоть домашнего хлеба, кусок мяса и четыре крашеных пасхальных яйца заставили их украдкой сглотнуть слюну. Они уже не могли оторвать взглядов от больших рук Данилы, который принялся делить закуску: разрезал на три части хлеб, мясо, разложил яйца, два из которых оказались сильно помятыми, наверно, в дороге. Бритвин одной рукой сразу же взял бутылку, другой сгреб свою порцию закуски.

— Ну, а Толкач что? Не проголодался?

Степка слегка нахмурился: слова Бритвина прозвучали таким тоном, что стало понятно: если он откажется, они упрашивать не будут. Именно по этой причине он решительно встал и, вразвалку подойдя ближе, забрал оставшуюся на сумке пайку — вторая была уже в руках у Данилы.

Бритвин тем временем сделал несколько поспешных глотков из бутылки, поморщился.

— Отрава! И как ее полицаи пьют?

— А пьют. И полицаи и партизаны. И ничего. Говорят, пользительно, — заулыбался Данила, перенимая бутылку.

Последнее время он стал разговорчив, не то что вчера, и Степка подумал: с чего бы это? Данила тоже выпил. Может, и не столько, как Бритвин, но также не мало — едва не всю. Подняв бутылку, посмотрел, сколько осталось.

— Ну а тебе не надо. Мал еще, — сказал он Степке как будто шутя, но и в самом деле отставил бутылку в сторону.

Степка перестал жевать.

— Кто малый, а кто старый. Дай-ка сюда!

— Сопьешься еще. Пьяницей станешь.

— Не твое дело. Дай бутылку!

— Это пусть командиру,— вдруг осклабился Данила.— Командир, он голова. Смотри, как все устроил!

— Ладно, дай и ему! — с полным ртом великодушно позволил Бритвин.

Данила еще раз прикинул, сколько в бутылке — там было не больше чем с полстакана,— и отдал. Степка хотя и не испытывал к водке большой охоты, теперь, наверно со зла, вытянул все до капли.

— Гляди ты! — удивился Данила.— А-я-я, вот молодежь пошла.

Энергично работая челюстями, Бритвин с каким-то затаенным смыслом косил на него глазами, а Степка, полуотвернувшись, сосредоточенно ел. Мяса ему досталось немного, он скоро проглотил его, оставался кусок хлеба и маленькое, словно голубиное, слегка надтреснутое на боку пасхальное яичко, которое он приберегал на потом. Ему было наплевать, что о нем думали эти двое, он не уважал их и не чувствовал никакой благодарности за выпивку. Он едва сдерживал растущее в себе негодование, все определеннее сознавая, что в этой довольно удачной истории с мостом они все-таки сподличали. То, что всю дорогу и теперь Бритвин упрямо обходил в разговоре Маслакова и Митю, только укрепляло его подозрение, и это не могло не отозваться в нем прежней неприязнью к ротному.

— Ни уважения тебе, ни уступки! Вот молодежь! — ворчал между тем Данила.— Раньше было не так.

— Что бы вы делали без этой молодежи? — резко сказал Степка, почувствовав, как с катастрофической неизбежностью в нем нарастает гнев.— Блох по хатам плодили?

Обычно сдержанный, флегматичный Данила в этот раз из-под нависших бровей недобро нацелил в него узенькие щелочки глаз.

— А ты нам не указ! Не командир, значит, чтоб указывать!

— Очень ты командиров любишь! Все чтоб командовали! Небось без команды и в лес не пошел! Ждал, пока с печи стащат!

— Мое дело! Не тебе упрекать старших. Сопляк еще!

— Будет, не заедайтесь! — прикрикнул Бритвин.— Толкач хоть и злой, но смелый. Молодец!

Степка внимательно посмотрел на Бритвина, но тот невозмутимо выдержал его взгляд. Степка улыбнулся одними губами — нет, на такую дешевую приманку его не возьмут.

— Хваляте? Как и его хвалили?

— Это кого?

— Митю, кого!

Бритвин неопределенно хмыкнул.

— Ну, знаешь! Надо было, так и хвалил.

— А теперь не надо? Теперь меня надо? — отрывисто спрашивал Степка и перестал жевать. Кусок хлеба во рту жестко выпирал за его щекой.

Бритвин нахмурился.

— А ты что, недоволен?

— Доволен!

— Слава богу! А то я подумал: в обиде. Оттого, что, как вчера Маслаков, на мост не погнал.

«Ах вот что!» — мелькнуло в голове у Степки. Может, Бритвин еще начнет упрекать его за неблагодарность? Действительно, на мост не погнал, дело сделали, и все наилучшим образом. Даже взрывчатку для отряда сэкономили — на стороне достали. И все-таки до Маслакова ему далеко.

— Маслаков не гнал! — срываясь, выкрикнул Степка.— Маслаков вел. Это ты гнал!

— Кого это я гнал?
— А Митю! Вспомни!

Распоясанный босой Бритвин вдруг вскочил на ноги, придерживая руками сползавшие темно-синие бриджи.

— Ах ты сопляк! Оговорить хочешь! У меня вон свидетель! А ну, пусть скажет: гнал я или он сам?

— Сам, сам! — охотно подтвердил Данила. — Просил Христом богом. Чтоб, значит, за батьку оправдаться.

— Понял? Полицая сынок к тому же! Учти!

Степка молчал, несколько растерявшись от столь неожиданного поворота ссоры. Да, тут они правы. Просился, это верно. И что сын полицейского — тоже правда. Но что же тогда получается?

— Выходит тогда, что сын полицая мост взорвал? А не мы? Так?

— Нет, не так! — твердо сказал, как обрубил, Бритвин. — Мы взорвали. Мы организовали и руководили. Я руководил. Или ты не согласен с этим?

Он не знал почему, но с этим он действительно был не согласен, хотя и ругать больше не стал. Что-то в его захмелевшей голове перепуталось — не разобраться. Только какой-то самой упрямой и самой ясной частицей души он чувствовал, что все-таки Бритвин не прав, и он никак не мог примириться с ним.

Данила желтыми редкими зубами драл кусок мяса и с полным ртом говорил:

— Это самое... Если бы не они, — кивком бороды он показал на Бритвина, — если бы не они, все бы пропало.

Степка поднял голову и, почувствовав что-то загадочно-важное в этих словах, поглядел на Данилу.

— Ага. Когда конь подбрыкнул на мост, они бабахнули — и готово. Аккурат посреди моста.

— Кого? Коня?

— Ну. Того Рослика. Вот снайпер, а-яй! — низким голосом невозмутимо гудел Данила.

В шумной и шаткой голове Степки блеснула запоздавшая догадка. Слепленный ею, он минуту не мог произнести ни слова и только переводил ошеломленный взгляд с Бритвина на Данилу и обратно. Но мало-помалу все становилось на свои места, и он совершенно определенно понял, почему не побежал с моста Митя — подросток бросился спасать Рослика. А ему, дураку, показалось тогда, что в коня стрелял полицай.

— Сволочь! — уже не сдерживаясь, выкрикнул Степка. — Ты — сволочь! Понял?

Почти не владея собой, Степка вскочил на ноги, его сжатые в кулаки руки дрожали, он задыхался от возмущения. Бритвин минуту сидел, обхватив колени, будто сбитый с толку его словами.

— Ах вот как! — наконец произнес он и тотчас вскочил на шинели. — Сдать автомат!

На этот раз опешил Степка.

— Автомат? А ты мне его давал?

Бритвин угрожающе шагнул к Степке, но тот, опередив его, с нетерпеливой уверенностью нагнул и, подняв свой новенький, с лаковой ложей ППШ, закинул его за плечо.

— Сдать автомат! — гневно потребовал Бритвин.

— А хрена вот!

— Ты что, сопляк! Выпил, так бунтовать?! Против командиров идти?!

— Ты не командир! Ты жулик!

— Ах так!

Из-под штабеля с испугом на лице торопливо и неловко поднимался Данила. Бритвин, выждав секунду, молча повернулся и решительно схватил прислоненную к бревну свою трехлинейку. С ней он уверенно шагнул к Степке.

— Не подходи! — крикнул Степка и вдоль штабеля отступил на один шаг.

Но Бритвин и еще шагнул, перехватив винтовку прикладом вперед, — озлобленный, ловкий и решительный.

— Не подходи, говорю! — с дрожью в голосе предупредил Степка и рванул с плеча автомат. От бешенства и волнения он трудно, устало дышал, заходясь в обиде оттого, что их двое против него одного.

Бритвин остановился, сомкнул насупленные брови, с недобрый блеском в суженных глазах, но вдруг прыгнул вперед и оказался напротив. Степка дернул рукоятку — затвор легко шелкнул в тишине, став на боевой взвод. Обдирая о бревна спину, Степка прижался к штабелю.

В озверевших глазах Бритвина скользнула нерешительность, но тут же они вспыхнули новым гневом, он сделал резкий выпад вперед и взмахнул винтовкой. Степка пригнулся, но неудачно — боль электрическим ударом пронизала его от шеи до пят. Парень едва не уронил автомат и сжал зубы. Нестерпимая обида захлестнула его, не своим голосом он крикнул: «Сволочь!» — и, задохнувшись, ткнул от себя автоматом. Коротенькая, в три пули очередь упруго треснула в лесной тишине.

Выронив винтовку, Бритвин согнулся, обеими руками схватился за живот и, шатко переступая, начал клониться к земле.

В гневе и горячке парень едва понял, что случилось, как на штабеле сзади что-то хакнуло, и широкие чужие руки сомкнулись на его груди. Степка рванулся, стараясь освободиться от наседавшей на него тяжести, но силы были неравны. Он понял это и, дергаясь и слабея, все ниже оседал на коленях, пока не воткнулся лицом в мшистую мякоть земли.

— Сопляк! Стрелять? Ах ты!..

— Вяжи его! Руки вяжи! — надрывался где-то плаксивый голос.

Данила уже без надобности крутанул его на земле, выше заломил руки, коленом мстительно нул в ребра ниже лопатки — в глазах у Степки блеснул и расплылся желто-огненный круг. Но он смолчал, не запросился, изо всех сил сдерживая боль и задыхаясь от удушливо-кислой, разрывающей его грудь вони...

Наткнувшиеся на них хлопцы из разведки к вечеру принесли Бритвина в отряд.

Степку со связанными руками пригнал под автоматом Данила.

А теперь вот сиди.

Солнце из-за еловых вершин ярко высвечивает одну сторону ямы — становится теплее. Лес вокруг всюю уже полнится звуками: слышно, переговариваясь, строится невдалеке группа партизан, наверно, на очередное задание; кто-то из посыльных, громко окликакая по пути знакомых, разыскивает начальника хозяйства Клепца; в другой стороне отпрягают коня — грохают брошенные на землю оглобли, слышится тихий перезвон удил и скрип сбруи. Новый часовой нет-нет да и подойдет к яме, заглянет в нее — на земляные комья тогда ложится его резкая изломанная тень и тут же исчезает. Хотя он и утешал Степку, но, по-видимому, разговаривать с арестованным у него нет больше желания, и парень чувствует это. Какая-то пугающая отчужденность уже обособила его от других, вчерашних его товарищей по отряду и поставила в особое положение — обидное и угрожающее. Но что ж, наверно, он виноват.

Наверху, судя по звукам, ничего особенного не происходит, там с полным безразличием к нему идет повседневная отрядная жизнь. И потому неожиданно донесшийся знакомый голос заставляет его съежиться.

— Вот где они! А я искал, искал...

— Чего искать? Вон кухня.

Степка сразу догадывается, что это за ним. Но почему Данила?

— Ну, где он? Сидит?

В земле гулко отдаются шаги, оба с часовым они идут к яме, и вскоре Степка видит над собой знакомые взъерошенные космыли Данилы. Ну, что ему еще надобно?

— Во посадили! Как волка, а? На, поесть принес.

В яму свешивается на проволочной дужке переделанный из какой-то жестянки котелок, на краю его свежий, едва подсохший потек кулеша. Запах съестного сразу забывает все другие, затхлые запахи ямы. Степка, ощутив минутную радость, перенимает котелок, зажимает его между колен.

— Ложка, наверно, есть?

Ложка у него есть, он тут же достает ее из кармана — свою давнюю алюминиевую кормилицу с коротко обрезанным черенком, — отирает пальцами сор и начинает есть. Данила садится на краю ямы. Рядом стоит часовая.

— Знаю я этого Бритвина, — говорит часовая. — Занудливый, не дай бог. Вон зимой Маланчука в Подосиновиках застрелил. Будто за нарушение дисциплины. Подлый он.

— Подлый, да, — легко соглашается Данила, и Степка поперхается от удивления: смотри, как быстро переменял мнение! Он коротко поглядывает снизу вверх: Данила не спеша крутит папироску, его черное заросшее лицо сегодня непроницаемо.

— Говорят, подрались? — спрашивает часовая.

— Было, — неопределенно отвечает Данила. Судя по его настроению, рассказывать, как и что произошло вчера, он не намерен.

— На этой проклятой войне все бывает. Ты, может, на закурку богат?

— Где там! Мусор собрал.

— Так бычка оставишь. А то два дня не курил — уши опухли. С такими, как этот Бритвин, лучше не задиаться. Ну их! Что нам, больше всех надо? Делают, как знают, черт с ними.

— Ну, — коротко подтверждает Данила, напустив в яму дыма.

Разговор не клеится, часовая ждет бычка, и Данила с жадной поспешностью дотягивает папироску.

— На, кури.

Кончиками пальцев часовая берет у Данилы окурочек и отходит. Данила молча и тяжело смотрит, как Степка выскребывает котелок.

— Ну, поел?

Степка молчит: что ему разговаривать с человеком, от которого неизвестно чего ожидать.

— Бритвину операцию делать будут. Сказал, чтоб тебя привел.

Еще чего не хватало! Что ему делать у Бритвина — ругаться разве? Но ругань уже окончена. Теперь дело за начальством, оно все и решит. В его руках судьба Степки Толкача.

— Доктор говорит: плохо целил, — продолжает между тем Данила. — Еще бы на сантиметр — и конец!

Черт с ним! Это сообщение Степку ни радует, ни печалит. Совсем он не целил. Если бы целил, то доктор, наверно, не понадобился.

— И это самое... — Данила почему-то оглядывается, хотя рядом никого нет, и немного тише гудит над ямой: — Говорил, на тебя не обижа-

ется. Ну, выпили, понятное дело... Если по-хорошему, так можно договориться.

Степка поднимает голову; он не может скрыть удивления.

— Это как?

— А так, значит. Сказать, что ненароком. Случайно, мол, автомат выстрелил. А про Митю того молчок. Взорвали, и все.

— Ну уж нет! Пошел он в одно место!

— Это самое... Нехорошо ты,— настойчиво ворчит Данила.— О себе подумай. А то придет комиссар...

— Пусть едет!

Данила сверху внимательно, будто даже в недоумении, смотрит в яму. Степка встает и ставит порожний котелок возле его сапог.

— Пусть едет! Я не боюсь.

Данила крутит головой, вздыхает. Весь его озабоченный вид свидетельствует, что он не одобряет парня.

Молча посидев, он поднимается, обрушивая в яму землю, потом подбирает котелок, поправляет на плече оружие. И Степка только сейчас видит у него свой ППШ. Значит, уже и вооружился! Степка садится на прежнее место. Что-то твердое и спокойно-уверенное уже овладело им и не исчезает.

— Нехорошо ты удумал. Жалеть будешь,— ворчит Данила.

— За меня не бойсь.

— Да мне что!.. Вот только отпуск обещали. На трое суток. А теперь...

Он не договаривает, озабоченно смотрит в сторону, наверно на часового поблизости, и Степка догадывается, что он имеет в виду. Теперь, когда они не сговорились, отпуск у Данилы наверняка сорвется.

И правильно, что сорвется.

«Отпуск — за что? Кто действительно заслужил его, тех уже нет. А этому за какие заслуги?» — думает Степка. Нет, ничего у них с Бритвиным не выйдет. Степка виноват, его безусловно накажут, но прежде он расскажет, как все это случилось, и назовет Митю.

Комиссар разберется.

Не может того быть, чтобы не разобрался.

Пусть едет комиссар!

Перевел с белорусского автор.



ЕВГ. ЕВТУШЕНКО

★

НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

1. За Пиренеями

БАРСЕЛОНСКИЕ УЛОЧКИ

В Барселоне улочки узки,
как зрочки кошачьи у тоски.

Кто любовью занят, кто расправой —
все напротив слышится в окне.
Если кто-то режет лук на правой,
плачут все на левой стороне.

Женщины в безумье чернооком
то к соседке выплеснут ушат,
то друг дружке, вывалясь из окон,
в воздухе прически потрошат.

И, на подоконниках ликуя,
вниз горшки цветочные свалив,
дети перекрещивают струи
розовых брандспойтиков своих.

Бой идет! У всех мужья рогаты!
Всех распутниц бездны поглотят!
И над головами, как ракеты,
рыбы, морды вытянув, летят.

..Я иду внизу, посередине,
только середина тем шатка,
что в разгар схлопочет по сардине
правая и левая щека.

Я воспел бы жизненную прозу
за одну нечаянную розу
(даже при насмешливом шипе),
если бы хлестнула по щеке.

Хочется, конечно, доброты,
но на мой пиджак, что шит по моде,
справа — низвергаются помои,
слева — мрачно рушатся коты.

Где-то рядом обыски, допросы,
в тюрьмах стонут чьи-то голоса,
ну а здесь — грозятся купоросом
вытравить сопернице глаза.

И пока фашистская цензура
топит мысли, как котят в мешке,
кто-то на жену кричит: «Цыц, дура!» —
правда, на испанском языке.

Люди так устали. Людям туго.
Все, срывая злость на мелочах,
палачами стали друг для друга,
позабыв о главных палачах.

Мир грозитя метлами, ножами.
Обнял бы я мир, да вот те на! —
рук не распахнуть никак! Зажали
правая и левая стена.

...В Барселоне улочки узкí,
как зрочки кошачьи у тоски.

КОГДА УБИЛИ ЛОРКУ

Когда убили Лорку,—
а ведь его убили! —
жандарм дразнил молодку,
красуясь на кобыле.

Когда убили Лорку,—
а ведь его убили! —
сограждане ни ложку,
ни миску не забыли.

Поубивавшись малость,
Кармен в наряде модном
с живыми обнималась:
ведь спать не ляжешь с мертвым.

Знакомая гадалка
слонялась по халупам.
Ей Лорку было жалко,
но не гадают трупам.

Жизнь оставалась жизнью —
и запивохи рожа,
и свиньи в желтой жиже,
и за корсажем роза.

Остались юность, старость,
и нищие и лорды.
На свете все осталось —
лишь не осталось Лорки.

И только в пыльной лавке
стояли, словно роты,
не веря смерти Лорки,
игрушки-донкихоты.

Пускай царят невежды
и льстивые гадалки.
А ты живи надеждой,
игрушечный гидальго.

Средь сувенирной швали
они, вздымая горько
смешные крошки-шпаги,
кричали: «Где ты, Лорка?»

Тебя ни вяз, ни ива
не скинули со счетов,
ведь ты бессмертен, ибо
из нас, из донкихотов!»

И пели травы ломко,
и журавли трубили,
что не убили Лорку,
когда его убили.

Мадрид—Москва.

ЧЕРНЫЕ БАНДЕРИЛЬИ

По правилам корриды трусливому
быку вместо обычных — розовых — в
знак презрения всаживают черные
бандерильи.

Цвет боевого торо — траур, с рожденья приросший.
Путь боевого торо — арена, а после весы.
Если ты к смерти от шпаги приговорен природой,
помни — быку не по чину хитрая трусость лисы.
Выхода нет, дружище. Надо погибнуть прилично.
Надо погибнуть отлично на устрашение врагам.
Ведь все равно после боя кто-то напишет привычно
краткий некролог мелом: «Столько-то килограмм».
Туша идет в килограммах. Меряют в граммах смелость.
Туша идет на мясо. Смелость идет на рожон.

хрустят при движении неосторожном.
 А рядом идет напомаженный парень,
 в пиджачную черную пару запаян,
 в подъятой руке,
 словно кожаный идол,
 бурдюк из ягненка,
 который отпрыгал,
 и гордо торчат с напряжением трудным
 три зубчика белых
 в кармане нагрудном.
 Я знаю,
 тихонечко стоя в сторонке,
 что зубчики эти
 пришиты к картонке.
 Платок покупать —
 это слишком накладно.
 Снаружи картонку не видно,
 и ладно.
 Что счастье?
 Два шара земных у девчонки,
 три зубчика белых,
 пришитых к картонке...
 да малость вина
 в этом бывшем ягненке...

Севилья—Москва.

РЕВЮ СТАРИКОВ

В том барселонском знаменитом кабаке
 встал дыбом зал, как будто шерсть на кабане,
 и на эстраде два луча, как два клыка,
 всадил с усмешкой осветитель в старика.

Весь нарумяненный, едва стоит старик,
 и черным коршуном на лысине парик.
 Бедняга дедушка, затянутый в корсет.
 «Мы труппа трупов!» — начинает он концерт.

А зал хохочет, оценив словесный трюк,
 поскольку очень уж смешное слово — «труп»,
 когда сидишь и пьешь, вполне здоров и жив.
 девчонке руку на колено положив.

Конферансье по-мefистofельски носят,
 нам представляет человекий зоосад:
 «Объявляю первый номер!
 Тот певец, который помер
 двадцать пять, пожалуй, лет назад...»

И вот выходит хилый дедушка другой,
 убого шаркнув своей немощной ногой,
 и челюсть юную неверную моля,
 чтобы не выпала она на ноте «ля».

Старик, фальшивя, тянет старое танго,
а зал всю ему гогочет: «Иго-го!»
Старик пускает, надрываясь, петуха,
а зал в ответ ему пускает: «Ха-ха-ха!»

Опять хрипит конферансье, едва живой:
«Наш танцевальный номер — номер огневой!
Ножки — персики в сиропе!
Ножки — лучшие в Европе,
но, не скрою — лишь до первой мировой!»

И вот идет со штукатуркой на щеках
прабабка в сетчатых игривеньких чулках.
На красных туфлях в лживых блестящих мишуры
я вижу старческие тяжкие бугры.

А зал защелкнулся, как будто бы капкан.
А зал зашелся от слюны: «Канкан! Канкан!»
Юнец прыщавый и зеленый, как шпинат,
ей лихорадочно шипит: «Шпагат! Шпагат!»

Вот в гранд-батман идет со скрежетом нога,
а зал скабрезным диким стадом: «Га-га-га...»

...Я от стыда не поднимаю головы,
ну а вокруг меня сплошное «гы-гы-гы...»

О, кто ты, зал? Какой такой жестокий зверь?
Ведь невозможно быть еще подлей и злей.
И вас когда-нибудь грядущий юный гад
еще заставит делать, милые, шпагат.

А я бреду по Барселоне, как чумной.
И призрак старости моей идет за мной.
Мы с ним пока еще идем отдельно, но
где, на каком углу сольемся мы в одно?

Да, я жалею стариков. Я ретроград.
Хватаю за руки прохожих у оград:
«Объявляю новый номер!
Я поэт, который помер,
но не помню, сколько лет назад...»

Барселона.

БЫВШИЙ БОЦМАН

Хромой Мигель — строитель кораблей.
Он строит их внутри пустых бутылок,
и к лысине, прозрачной, как обмылок,
прилипли щепки, ниточки и клей.

Старик берет прилежный свой пинцет
и в горлышко бутылки вводит мачту.
Пльви хоть на Таити, хоть на Мальту!
Но не уплыть. В бутылке моря нет.

Старик отплавал. Время истекло.
Наивно, что рукой полубезумной
под кораблем бумагою лазурной
обклеено бесстрастное стекло.

Но в трепетно бессмысленном труде
упорствует старик чудаковато
и прикрепляет дым из черной ваты
к уже готовой крошечной трубе.

Потом он пьет. Он тяжело, мрачно пьет.
Но тяжесть вдруг уходит из затылка,
когда пустая новая бутылка
перед лицом навытяжку встает.

И снова месяцами строит он,
дыша, как алкоголем, лжепространством,
и труд его несчастный, схожий с пьянством,
в стеклянных стенах с четырех сторон.

...Когда он пьет от горя, от стыда,
внутри пустых бутылок, в фальшпросторах
те корабли он строит, на которых
не уплывет никто и никогда.

Барселона.

2. Из лирики

ВОЗРАСТНАЯ БОЛЕЗНЬ

Я заболел болезнью возрастной.
Не знаю, как такое получилось,
но все, что ни случается со мной,
мне кажется — давно уже случилось.

Приелись и объятья и грызня.
Надеюсь, это временно. Надеюсь,
что я внезапно вылуплю глаза
на нечто, как на небоскреб индеец.

Я в опыте как будто бы в броне,
и пуля, корча из себя пилюлю,
наткнется, как на медальон, на пулю,
давно уже сидящую во мне.

И радость, залетев на огонек,
в отчаянье сбивая с крыльев блестки,
о душу, как о лампу мотылек,
броней прозрачной замкнутую, бьется.

Попробуй сам себя восстанови!
Переболела плоть, перелюбила,

и жуть берет от холода в крови,
от ошущенья — это было, было.

Вот я иду сквозь тот же самый век,
ступая по тому же силуэту,
и снег летит, шипя, на сигарету,
на ту же сигарету тот же снег.

И женщины, как будто города,
похожие на нежные капканы,
в которых я уже бывал когда-то,
хотя не помню в точности когда.

Я еще жив! Я чувствовать хочу,
мир видеть, как впервые,— в каждой капле,
но повторяюсь, если ввысь лечу,
и повторяюсь — мордой в кровь о камни.

Неужто не взорвусь, как аммонал,
а восприму, неслышно растворяясь,
что я уже однажды умирал
и умираю — то есть повторяюсь?

ТИХИЕ ПРИКАЗЫ

Есть зычные приказы
полку и кораблю.
Они вполне прекрасны,
но тихие люблю.

Восходит под Рязанью
избушек мирный дым.
Живу по приказанью,
подписанному им.

Те избы, словно штабы
работы и семьи,
где заседают бабы,
как маршалы мои.

Вот вижу — степь клокочет.
Ветра идут войной.
Но каждый колокольчик,
как рупор потайной.

И где-то под Сарептой,
прожилит и ребрист,
инструкцией секретной
летит осенний лист.

Березы, словно стяги,
и струи в вышине,
как провода из Ставки
протянуты ко мне.

Открытою мишенью
я поднимаюсь в рост,
чтоб выполнить решение
военсовета звезд.

И днем и ночью темной,
в болоте и в степи
вся родина — огромный
приказ: «Не отступи!»

И сердце не по-штатски —
задира из задир,
как пишмашинка в штабе,
стучит на целый мир.

И ко всему пристрастно,
мне не давая спать,
печатает приказы,
как надо поступать.



М. ДЕМИДОВ

★

МОИ АРМЕЙСКИЕ ТОВАРИЩИ

Страницы давних лет

Михаил Иванович Демидов—полковник в отставке, кандидат военных наук, участник гражданской и Великой Отечественной войн. В 1958 году Военное издательство выпустило его книгу «Записки красноармейца»—воспоминания о годах гражданской войны. В «Моих армейских товарищах» М. И. Демидов рассказывает о своей военной службе в годы, последовавшие непосредственно за гражданской войной, когда закладывались основы строительства Советских Вооруженных Сил в мирных условиях. Перед читателем встанут картины армейских будней 44-й стрелковой дивизии, овеянной славой боев, которые она вела под командованием Н. А. Щорса, а затем И. Н. Дубового.

* * *

С тучат колеса старенькой, выдавшей виды теплушки. «Красная Армия ждет вас!» — лозунг, написанный мелом на ее промерзшей стене, которая покрывается все более толстым слоем инея. Круглосуточно топим «буржуйку», установленную посредине вагона, но дров мало, а кизяк безбожно чадит. На остановках дружно вываливаемся из теплушки, бегаем по платформе, греемся, ищем топлива и чего-нибудь поесть.

В степи бушует вьюга, а на больших станциях — стихия вступавшего в свои права нэпа. Все уже можно купить на привокзальном базарчике: хлеб, спички, соль и даже мешок муки — были бы только деньги, а нет, так стаскивай с себя рубаху.

Снежные заносы не пугают нас — берем лопаты, расчищаем путь и едем дальше. Но как смести с нашего пути нэповскую нечисть?

Ленин призывал коммунистов учиться торговать, но «торговля» пугала нас. Мы уже знали, как легко коммунисту споткнуться в торговле.

Уманский уездный Совет передал в распоряжение наших политкурсов большой фруктовый сад бывшего помещичьего имения. Все лето курсанты ухаживали за садом, караулили его. Урожай собрали хороший, и, чтобы он не пропал, кто-то предложил организовать повидловарение. Нашли помещение, специалиста, оборудование, тару, и работа закипела. Новое предприятие возглавил один из наших лекторов. Только успел он вывеску на воротах повесить — «Социалистическое повидло», как пришла беда: милиция на базаре задержала спекулянта с нашим повидлом. Оказалось, что специалист, приглашенный для повидловарения, бывший торговец, первым делом нашел дорогу на базар. Производство прекратили, а его организатору за потерю классовой бдительности вынесли строгое партийное взыскание.

Мы ехали из Умани в Житомир — коммунисты, окончившие трехмесячные дивизионные политкурсы.

— Моя жизнь простая, самая рабоче-крестьянская, — весело рассказывал о себе Трофимов, старшина нашей теплушки. — Родился в де-

ревне, а в пятнадцатом году ушел в Питер, задумал кошелек набить деньгами. И местишко нашел подходящее, на Невском в ресторан устроился. Пилил и колол дрова, топил плиту и печи, помои таскал и все думал, как бы попасть в зал, в половые. Говорили, что хозяин ресторана сам был половым, а потом разбогател на чаевых. Вот я и приставал к старшему повару дяде Феде, чтобы он за меня похлопотал. Он согласился: «Ладно. Но сначала экзамен учиню тебе. А ну-ка читай, чем сегодня будешь гостей угощать», — и подал мне ресторанный меню. От радости чертики запрыгали в глазах, и я перековеркал все названия. «Эх ты, деревенщина! — сказал дядя Федя. — Цена тебе та же, что газете «Копейка». Радуйся, что на кухню попал». До самой Октябрьской революции таскал я помой. А в Октябре дядя Федя налил ведро супа и сказал: «Отнеси к Троицкому мосту, там красногвардейцы мост охраняют, да не пролей, может, через этот суп человеком станешь». Так и случилось — понес ведро с супом к Троицкому мосту и там с красногвардейцами подружился и пошел с ними белых бить...

Весело, с разговором и песнями, ехали мы, но иногда и задумывались. Помню, один застенчивый паренек, который всю дорогу лежал на нарах и тихо напевал незнакомые мне украинские песни, как-то подсел к нам с Трофимовым и вздохнул:

— Гарно бы служить рядовым червоноармейцем, а як политруком, а мабуть, и комиссаром назначать, що ж тоди я буду робыты?

Ох, как хорошо я понимал его!

Нас с Трофимовым назначили политруками рот в дивизионную школу 44-й дивизии — ту знаменитую школу, которая была создана Щорсом здесь же, в Житомире, в 1919 году, когда он командовал этой дивизией. Теперь военкомом 44-й дивизии был Шмидт Исай Павлович. В 1920 году я видел его однажды на полковом митинге, происходившем в каком-то большом селе на Подольщине. Я служил тогда в 45-й дивизии Якира рядовым бойцом. Выступая с трибуны, которой служил стол, поставленный в дверях клуни, Шмидт говорил, что в Таврии Красная Армия громит Врангеля, а мы тут, в Подолии, должны быстро покончить с остатками петлюровских банд.

В Житомире, когда мы с вокзала пришли всей гурьбой в политотдел дивизии, я узнал Шмидта по высокому росту и длинной каштановой бороде — узнал и вспомнил, как он, кончая речь на том митинге в полку, сказал:

— С честью выполним свой боевой долг, порадуем товарища Ленина!

В политотделе разговор с нами вел военком школы Алексеев Александр Васильевич. Он смотрел на нас улыбающимися глазами и медленно, так, будто, прежде чем произнести слово, ощупывал его во рту, говорил о том, что надо сделать политрука центральной фигурой в воспитании курсанта, но как это сделать, он и сам пока не знает.

— Расскажите о себе, — обратился он ко мне.

Я волновался, чувствовал, что лицо горит, мышцы напряжены, как при тяжелой физической работе, — боялся, что не под силу мне быть такой центральной фигурой. Все мое образование — три класса сельской школы и трехмесячные дивизионные политкурсы. И в партии я новичок — только три недели назад принят в члены.

Как во сне услышал голос военкома:

— Не знаю, где ваш уезд, волость, деревня, покажите на карте.

Наша глухая волость и деревня не нанесены ни на одну карту мира, но, подойдя к висевшей на стене потрепанной карте европейской части

России, я нашел свою Архангельскую губернию, Каргопольский уезд, озеро Лача, реку Свидь и смело ткнул пальцем туда, где должна была быть Хотеновская волость, деревня Терехово.

— Спасибо. Буду знать, откуда вы родом,— улыбаясь, сказал военком.

Он проверял, умею ли я пользоваться географической картой. А закончился разговор с военкомом тем, что он предупредил меня:

— У вас, конечно, будут свои трудности. Командир вашей роты Лунцов — преданный советской власти человек, но недооценивает, по-видимому, политрабугу. За прошлый год в роте сменилось три политрука, вы четвертый.

Во время этого разговора Шмидт стоял у стола, чуть склонив голову, молча слушал, а потом спросил, кто в каком полку служил, и сказал:

— Мы с вами были в прославленной дивизии Якира, а теперь будем служить в дивизии, которой командовал Щорс.— И пожелал нам успеха в работе.

Получив назначения, мы с Трофимовым пошли искать квартиру замначальника полготдела дивизии Каменского, пригласившего нас на ночлег, и долго плутали в сумерках по заваленным снежными сугробами улицам и переулкам большого чужого города, пока добрались до того одноэтажного домика, где он жил на квартире. В плохо освещенной прихожей нас встретила женщина с ведром и тряпкой.

— Поздненько пол мосшь,— вместо приветствия весело сказал Трофимов.

— Не знала, что придете, вымыла бы раньше,— в тон ему ответила женщина.

— Мы денешу отправили, ожидали торжественной встречи, а вы, оказывается, и не знали. Почта, наверное, подвела. Мы на постой к вам по добросердию товарища Каменского. Можно видеть его хозяйку?

Женщина молча прополоскала тряпку в ведре; отжимая ее, сказала:

— Наверное, денешу вашу на волах отправили, а хозяйка — я, прошу любить и жаловать, зовусь Леной, а для анкеты — Елена Михайловна Куканова.

Даже находчивый Трофимов на время потерял дар речи.

— Ей-богу, не думал, что жена большого начальника умеет пол мыть.

— Представьте, не только умею пол мыть, но и подметать, печку топить, обед готовить, есть, пить и даже смотреться в зеркало!

Елена Куканова, как мы потом узнали, с 1918 года добровольно служит в Красной Армии, была храбрым бойцом, не раз удивляла отвагой своих боевых товарищей. После войны она работала библиотекарем школы краскомов.

— В печке чугунок с пшенной кашей, ешьте на здоровье, спать ложитесь на диван, а мне надо в школу,— сказала она, когда мы разделись, и, домыв пол, ушла.

Оставшись одни в чистой и теплой квартире, мы погрелись у печки и, ополовинив чугунок каши, вспомнили теплушку, в которой ехали в Житомир, гадая, как нас там встретят.

— Нам повезло, спасибо Каменским. Да простят меня эти добрые люди, что я буду их называть одной фамилией,— поглаживая живот, говорил Трофимов.— Вот нам пример, как надо быть коммунистами, помогать своим товарищам. Давай спать. Завтра будет для нас трудный день: новая работа, незнакомые люди.— Он разделся, лег, повернулся к стене и скоро уснул безмятежным сном праведника.

Лег и я, но уснуть не мог — волновал предстоящий завтра день.

Давно ли был я крестьянским паренком, рядовым бойцом, курсантом, а завтра буду политруком, воспитателем курсантов. Мне казалось, что завтра все будет другое и сам я должен стать другим, новым каким-то. Но каким? Я попытался представить завтрашний день, свои новые обязанности и с ужасом обнаружил — из памяти вылетело все, чему меня учили на курсах.

Вернувшиеся домой Каменские осторожно прошли на кухню и стали ужинать. Хотелось пойти к ним и рассказать об охвативших меня сомнениях. Я взял гимнастерку и стал было одеваться, но в это время услышал усталый голос Каменского и из его разговора с женой понял, что у него сегодня был очень грудной день. Это меня остановило — неудобным показалось беспокоить уставшего человека.

Утром, когда мы встали, Каменского уже не было дома. Жена его вскипятила самовар, сварила картошку.

— Позавтракайте, а не удастся пообедать в школе — каша будет в печке.

Торопливо позавтракав, мы пошли в школу.

* * *

Парадный вход в школу был завален снегом. Мы вошли в нее с черного хода. Там у дверей сидел старичок. Увидев нас, он проворно поднялся с места.

— Кто такие и по какому делу? — спросил он.

— Пришли проверить тебя, как несешь государственную службу, — сказал Трофимов с напускной строгостью.

Старичок испуганно заморгал глазами.

Мне стало неловко за Трофимова, и я сказал:

— Дедушка, мы политруками назначены: он в первую роту, а я в пятую.

— Так бы сразу и говорили. Тоже мне проверщики нашлись, — пробурчал старик и мотнул головой: — В первую роту — вверх по лестнице на третий этаж, а в пятую — пройти по коридору до второй лестницы и тоже на третий этаж.

Пожелав друг другу ни пуха, ни пера, мы с Трофимовым расстались: он быстро зашагал вверх по своей лестнице, а я пошел искать свою и шел все медленнее и медленнее, чтобы хоть на минуту отсрочить встречу с тем, что меня ожидало в пятой роте. Но вот последний пролет лестницы, последняя ступень, и я на площадке против двери с надписью: «Пятая рота». С отчаянно бившимся сердцем открыл я эту дверь, вошел в казарму и увидел четыре ряда одинаковых кроватей, покрытых разноцветными старыми одеялами, с набитыми соломой подушками.

В казарме никого не было. Три больших окна с улицы запущены снегом. В противоположном конце помещения — пирамида с винтовками.

Я подошел к пирамиде и стал разглядывать винтовки. Они были разных систем: тульские, кавалерийские карабины, английские — тяжелые, с большими, похожими на кухонные ножи штыками — и японские — легкие, изящные.

Рядом была дверь в какое-то внутреннее помещение. Из нее вышел курсант в шлеме с малиновой звездой и с тремя нашитыми на груди малиновыми полосами — «разговорами». Вскользь взглянув на мою старую шинель, подпоясанную брезентовым ремнем, и, очевидно, приняв меня за посетителя, вздумавшего навестить кого-нибудь из товарищей, сообщил:

— Курсанты на занятиях.

— Я к командиру роты Лунцову.

— Обождите, у него совещание.

Из-за двери, оставшейся полуоткрытой, донесся чей-то властный голос:

— Никаких бесед! Присяга — закон, а законы не обсуждают. Выучить с курсантами текст присяги и громче, чем в других ротах, повторять его — вот вся ваша задача. Вы свободны, можете идти.

Из канцелярии вышли трое командиров с нашивками на груди и квадратиками на нарукавных погонах с большой красной звездой — командиры взводов. Заглянув в дверь и увидев сидевшего за столом командира роты, я вошел и доложил ему, что назначен в роту политруком.

Быстро окинув меня взглядом, он сказал:

— Что за ерунда! Кто вас назначил? Тут какая-то ошибка. Где приказ о назначении?

— Приказ будет, я вчера только прибыл.

— Может, будет, а может, нет. Пока вы для меня посторонний человек, а с посторонними мне некогда разговаривать.

Лунцов встал, позвал дневального, громко приказал:

— Проводите товарища! Он ошибся, не сюда попал.

Я ко всему был готов, но мне не приходило в голову, что окажусь посторонним человеком, выпровоженным из роты вон. Молча проследовав за дневальным, я как во сне вышел на занесенную снегом улицу. Интересно, что бы предпринял Лунцов, если бы я не ушел из роты?

Конечно, приказ был подписан, и я в тот же день вернулся в роту.

В учебных классах курсанты разучивали текст присяги — вслед за командирами повторяли его хором. Взвод со взводом соревновался, у кого присяга прозвучит громче и дружнее.

— Кричите так, чтобы сам Керзон услышал и затрепетал, — поучал взводный командир Потанин.

И курсанты не жалели горла.

После ужина по расписанию значилась самоподготовка, но курсанты не намеревались заниматься — ходили из угла в угол, толпились кучками, болтали, пересмеивались. Когда я велел всем собраться в один из классов, курсанты стали с любопытством рассматривать меня со всех сторон. Заметив, что я одет хуже всех — выгоревшая гимнастерка без знаков различия, залатанные ботинки, узкие, с обсыпавшимися нитками обмотки, — я почувствовал себя неловко и замешкался. Воспользовавшись этим, кто-то вполголоса запел:

Сегодня знакомство и,
может, любовь...

Чей-то голос присоединился:

Потом будут муки,
муки разлуки...—

и два голоса протяжно закончили:

И нас вы покинете вновь.

Поднялся веселый шум.

На курсах нас учили: «Придете в роту — познакомьтесь прежде всего с коммунистами и комсомольцами — это будет ваша опора». Как же я забыл добрый совет своих преподавателей! Горько подсадовал я, крутя головой и не зная, на кого же мне сейчас опереться, кто из окружавших меня ста тридцати шести курсантов коммунист Волошин или комсомолец Цибулько, которых назвал мне военком школы как единст-

венных представителей партийно-комсомольской прослойки среди курсантов роты.

Опять отчаяние охватило меня, беспомощно стоял я у столика, пока наконец курсанты не сжалились надо мною. Шум постепенно стал затихать.

— Я политруком назначен,— с трудом выдавил я.

— Знаем, что политрук!

— Вы не первый у нас!

— Надолго ли?

Снова поднявшийся шум разозлил меня, и я, неожиданно для себя с силой ударив кулаком по столу, каким-то незнакомым высоким голосом скорее крикнул, чем скомандовал:

— Замолчать!

К моему удивлению, шум мгновенно замер. Курсанты, как по команде, встали и приняли положение «смирно». Чтобы разрядить обстановку, я извиняюще, мягко сказал:

— Зачем же встали, садитесь...

Но курсанты продолжали стоять. И тут я заметил, что взгляды их направлены куда-то в сторону от меня. Повернув голову в том направлении, я все понял: у двери класса стоял Лунцов.

— Что здесь происходит, почему не докладываете?..— Насладившись моей растерянностью, он скомандовал: — Приступить к самостоятельной подготовке!

Класс мгновенно опустел. Мы с Лунцовым остались одни.

— По какому праву сорвали самоподготовку курсантов? — обрушился он на меня.

Стараясь быть спокойным, я ответил:

— Никакой самоподготовки не было, базар был.

Лунцов густо покраснел, губы у него дрожали. Топая ногой и показывая рукой на дверь, он зло кричал:

— Вон! Вон из моей роты, чтобы духу вашего не было, я не потерплю самозванца!

Как ни странно, крик и топот Лунцова успокоили меня.

Ничего не говоря, я подал ему выписку из приказа о назначении и сел за стол. Это удивило Лунцова. В глазах у него мелькнуло недоумение. Он прочел выписку и нервно зашагал по классу, подходил к двери, открывал ее, снова закрывал и возвращался, а потом как будто что-то вспомнил, прокричал:

— Мы еще посмотрим, что вы за политрук! Знайте, что время самоподготовки утверждено командованием школы, и вы оплатите за самоуправство! — С шумом рванув дверь, быстро вышел.

Я остался один, погруженный в тяжелые размышления.

В коридоре казармы раздалась команда:

— На вечернюю прогулку становись!

В открытую дверь я видел, как курсанты занимали свои места, равнялись, потом четко повернулись и пошли на прогулку. Я вышел из опустевшей казармы и долго стоял на безлюдной улице, глядя на созвездие Большой Медведицы. От нее взгляд мой невольно поднялся к Полярной звезде, и я подумал, как бы хорошо сейчас оказаться в своем родном северном краю, в своей деревеньке, среди родных людей — сразу же забыл бы пятую роту, сердитого Лунцова, обиды и огорчения. Вспомнилось мне, как мать провожала меня осенью в 1918 году на допризывную подготовку...

В поле мы вспугнули большую стаю журавлей. Они смешно бежали на длинных тонких ногах, неуклюже размахивая крыльями, неохотно, медленно отрываясь от земли, недовольно курлыкали.

— Журавлям, как и людям, не хочется покидать свой дом,— грустно сказала мать, показывая на улетающих птиц.

Думая о матери, братьях и сестрах — как они там живут в своей глухой деревне,— я бесцельно ходил по улицам незнакомого города и вдруг услышал песню: курсанты возвращались с вечерней прогулки. Рота шла за ротой, и все с песнями. Было темно, я не знал, какие идут роты, но одна из них шла более четко, слитно, пела лучше других, и я позавидовал политруку в этой роте. Должно быть, дружно работает с командиром, решил я и тут же узнал голос старшины пятой роты. Выходит, что пятая рота — хорошая, а Лунцов — способный командир, боится, наверное, что я буду мешать его работе, подумал я, и от этого на душе стало еще тяжелее.

Вечером Трофимов, сняв своей озорной улыбкой, хвастался, как хорошо его встретил командир — построил роту и сказал: «Вот наш новый политрук, с вопросами касаясь политики и домашних дел обращайтесь к нему».

Какой он счастливый человек! Все-то у него идет гладко. А мне стыдно рассказывать... Я с ужасом думал, что завтра снова надо идти в роту. Ничего не поделаешь, надо идти — я политрук...

И утром я вошел в казарму пятой роты сам не свой. Курсанты, не обращая на меня внимания, заправляли койки, бегали умываться, приводили себя в порядок, пока не раздалась команда:

— На утренний осмотр становись!

Я, как чужой, одиноко стоял в углу казармы. После переключки старшина проверил внешний вид курсантов и объявил распорядок дня:

— Первый урок — политчас.

У меня отлегло от сердца — оказывается, не забыли, что я тут, помнят. И я несколько не обиделся на командира роты, назначившего мои занятия, не предупредив меня об этом. Достал из кармана ученическую тетрадку с планом беседы о международном положении, полистал ее и смело вошел в класс, где вчера так конфузно начал свое знакомство с курсантами. Старшина скомандовал:

— Встать! Смирно! — и громко доложил, что рота прибыла на политчас.

Это было так неожиданно для меня, что я долго стоял молча, не зная, что ответить вытянувшемуся в струнку старшине роты, а потом, увидев, что курсанты все еще стоят в положении «смирно», смущенно сказал:

— Садитесь, пожалуйста.

Мой растерянный вид развеселил курсантов.

— Тихо! — крикнул старшина, и класс замер.

Первая моя политбеседа! С каким волнением говорил я о капиталистическом окружении, о мировой буржуазии, которая хочет воспользоваться случившейся у нас бедой — голодом в Поволжье — и ищет случая; чтобы напасть на нас. И мне очень хотелось, чтобы пытливые глывшие на меня курсанты были так же взволнованы моей беседой, как я сам.

Но вот зазвенел звонок. Мой первый политчас окончен. Курсанты выходили из класса и громко переговаривались, несколько не стесняясь меня.

— Насчет Генуи и международных дел новый политрук разбирается.

— А строевого устава не знает!

— Зачем ему устав, он политрук!

— Не говори так, и политруки должны знать уставы.

Кажется, это было в тот же день. Вечером, в часы самоподготовки,

я вошел в один из классов. В углу у печки несколько курсантов под громкий смех товарищей угощали друг друга щелчками в лоб. Мое появление нарушило эту «самоподготовку». Курсанты сгрудились у стола, на котором стоял пулемет «максим». Крышка пулемета была в вертикальном положении, а замок лежал на столе. Один из курсантов обратился ко мне:

— Товарищ политрук, замок из пулемета вынули, а обратно положить не можем, помогите.

Я обрадовался, что могу помочь курсантам: в гражданскую войну мне приходилось иметь дело с «максимом», материальную часть его я знал. Подойдя к столу, я взял замок, поставил его на место, закрыл крышку пулемета. Курсанты удивленно наблюдали за мной, они, очевидно, не предполагали, что я знаком с устройством пулемета, а потом тот же курсант попросил:

— Товарищ политрук, выручите — отнесите пулемет в каптерку. Очередь моя, а у меня, как на грех, живот разболелся. — И он сделал страдальческую гримасу, вызвавшую веселый смех курсантов.

И тут я только понял — он смеется надо мной, потешая себя и других. Чтобы выиграть время, я молча взял пулемет, приподнял его и снова положил на стол.

— Почему же не выручить больного человека, — сказал я. — Но сначала надо оказать вам помощь. Ваша болезнь тяжелая, опасная, легко можете заразить других. Хорошо бы вам перед сном выпить полстакана дегтю со скипидаром.

Общий смех курсантов подбодрил меня.

— А вы разве не политрук, а лекарь? — спросил хитрец.

— Я политрук, но и болезни — по рецепту видите, — как ваша, лечить умею, — ответил я под одобрительный хохот курсантов.

Теперь я мог свободно вздохнуть полной грудью. Много ли нужно человеку в двадцать лет, чтобы у него выросли крылья. Помню, как я летел на них в тот вечер, возвращаясь из казармы, радуясь первому проблеску казавшегося успеха.

Однако радость моя была преждевременной. Шли дни, я намечал уйму мероприятий, суетился, но дело не клеилось. Похоже было, что я попал в большой водоворот и беспомощно барахтаюсь в нем. Нас учили, что у политрука вся жизнь курсантов должна быть как на ладони, а я о курсантах почти ничего не знал, они были закрыты от моего неопытного глаза. Когда меня охватывало отчаяние, я шел к комиссару, рассказывал ему о своих бедах, о своей беспомощности.

— Создавайте актив, — советовал он каждый раз одно и то же. — У вас есть коммунист Волошин, комсомолец Цибулько, привлекайте их.

Хорошо ему советовать, думал я, попробуй-ка слово вытянуть из Волошина. Это был красивый, рослый парень, отлично учился, но очень застенчивый, молчаливый. Цибулько — бойкий, горячий, при первом же разговоре со мной сразу пошел в атаку на меня:

— Почему нас кормят одними лекциями? Конечно, нам надо знать, как жили люди при феодализме, но курсантов больше интересует пролог и закон о земле, о нэпе. Почему так получается, что мой батька, отец красного курсанта, должен батрачить на кулака, разве есть такие законы у советской власти? Или возьмем присягу — это же не «отче наш», чтобы ее, как молитву, учить. Дерем горло, а все еще мало — за это взыскания получаем от комроты. Курсанты ругаются.

Однажды, когда я снова пришел к комиссару поговорить с ним о своих бедах, он задумался — должен быть, не знал уже, что сказать, — а потом вынул из ящика стола и дал мне билет на заседание партийных и советских организаций города.

— Калинин и Петровский будут выступать. Пойди послушай,— сказал он.

И вот я сижу в зале партийного клуба в нескольких шагах от Калинина и Петровского, занимающих свои места в президиуме, и, не обращая внимания на протянутую руку председателя, который тшкетно призывает к тишине, изо всех сил бью в ладоши вне себя от счастья, что рядом со мной находятся представители высшей советской власти.

И Калинин и Петровский говорили о голоде в Поволжье — об опасности, которой подвергаются двадцать два миллиона крестьян Советской республики, и что Волынская губерния сделала еще мало для помощи голодающим — может и должна сделать гораздо больше. Заседание кончилось поздно вечером, и оно оставило у меня такое чувство, словно теперь я наравне с самим Калининным и Петровским несу полную ответственность и за голодающих крестьян, и за советскую власть. Вернувшись домой, я сейчас же взялся за бумагу и всю ночь просидел за столом, записывая все, что услышал и о чем завтра надо будет всем рассказать.

На другой день, рассказав о городском собрании Волошину и Цибулько, я попросил их побеседовать с курсантами и выступить на собрании с призывом сделать добавочные отчисления от своего пайка в пользу голодающих Поволжья.

— Выступлю, раз надо,— решительно заявил Цибулько.

А Волошин замялся:

— С ребятами поговорить могу, а на собрании выступать не умею.. Народу много, президиум...

Вечером, когда я сидел в канцелярии у керосиновой лампы, готовясь к ротному собранию, до меня донесся из полуоткрытой двери происходивший за стенкой разговор. Сначала я услышал голос Волошина:

— Калинин и Петровский приехали в наш город. Ленин сказал товарищу Калинин: «Поезжай на Украину к Петровскому да погляди, как там идут дела насчет советской власти, нэпа и помощи голодающим».

— У Калинина своей работы много,— перебил его кто-то.

— Конечно,— согласился Волошин,— должность у него трудная, приходится заниматься с наркомками да совдепами и с послами-иностранцами. И мужик идет к нему, не стесняется, как говорится, сапог не вытирает. Рабочие, они более сознательные, чем крестьяне, зря человека от работы не отрывают, но тоже Калинина не забывают. А сколько декретов ему написать надо, напечатать, разослать по всем городам и деревням. Но сейчас главное — хлеб. Поэтому Ленин и направил товарища Калинина на Украину.

— Говорят, Калинин с Лениным в одной канцелярии сидят,— сказал кто-то.

— Эх ты, «канцелярия»! — раздался голос Цибулько.— Разве Ленин в канцелярии сидит?! Понимать надо, какая у него должность — вождь мирового пролетариата! Он, братцы, с кремлевских стен все видит, что есть в нашем государстве, как охраняется советская граница и что затевает мировая контра, глаза-то у него ленинские, зоркие.

— Это ты верно говоришь,— поддержал Цибулько курсант Нечипасов и стал рассказывать, как однажды стоял он часовым у пулеметных тачанок, возле лавки няпмана, и хозяин ее, уходя домой, подsunул ему завернутый в газету сверток с харчишками: поешь, мол, на здоровье и присмотри за лавчонкой.

— Развернул я сверток, а в нем краюха белого хлеба и кусок сала,— говорил Нечипасов.— Есть так хотелось, что слюнки потекли. И съел бы, да тут на газете увидел портрет Ленина: лицо усталое, а гла-

за смотрят на меня с укором. Совестно мне стало, что позарился на харчи нэпмана, забыл, что на посту стою, и бросил я через забор хлеб и сало.

На всю жизнь запомнился мне этот разговор. Каждый своим путем идет к Ленину, подумал я и порадовался: вот они, мои помощники, мой актив.

Кроме меня и Волошина, в роте был еще один коммунист — командир взвода Валежников. С ним у меня долго не налаживались отношения.

— Новый политрук? — спросил он при нашем первом знакомстве. — Зря пошел к нам в роту. Парень ты, видно, смиренный, а работать с Лунцовым — надо быть зубром. Он мужик с характером и не любит вашего брата. А как насчет ораторства? Наверно, слабачок? Вот бы мне в политруки, да не люблю уговаривать людей. Другое дело на митинге или на собрании выступить, это я могу — с огоньком, с перчиком, задиристо. Меня сам Шмидт похвалил: «Ты да Березкин — лучшие ораторы в дивизии». — Он оглядел меня с ног до головы и снисходительно успокоил: — Ты не бойся, я тебе не помеха. В своей роте не выступаю и в политруки идти не собираюсь.

Валежников жил в казарме с курсантами. Койка его стояла в углу, а рядом на широком подоконнике лежали газеты и книжка, на обложке которой я прочитал: А. Богданов, «Политическая экономия».

— Курсанты по ней учатся, но мне сия книга не нравится, — сказал Валежников. — Ерунда. О каком-то матриархате пишет человек, а о том, как мы били белых гадов, о товарище Ленине, о мировой революции — ни слова. Перелистал ее и швырнул на подоконник, пусть лежит себе. Курсантов по ней спрашивают, как капитализм эксплуатирует рабочих, откуда он получает прибыль. Зачем нам все это знать? Ведь мы капитализм-то прихлопнули и все эти матриархаты и феодализмы вместе с ним. Вообще я тебе скажу, что книги туманят жизнь, а она ясная. Правда, торговлю нэпманы захватили, но это только до мировой революции, а там им по шапке дадим.

Я поинтересовался, бывает ли он на лекциях по политической экономии. Валежников усмехнулся:

— Эва чего захотел! Зачем это я пойду на лекции? Товарищи засмеют, скажут: каков оратор Валежников — речи произносит, учит нас, а сам втихаря на чужие лекции ходит ума набираться. Нет, брат, ша-лишь, я своим авторитетом дорожу.

Валежникова как оратора я впервые услышал в годовщину Красной Армии, когда в городском оперном театре с докладом выступал инструктор политотдела дивизии Березкин, о котором как об отличном ораторе говорил Валежников. В президиуме сидит Шмидт, его называли «второй бородой» дивизии. Он и командир дивизии Дубовой, хотя им вместе было, наверно, не больше пятидесяти, носили широкие каштановые бороды. «Третьей бородой» был отец комдива — Наум Дубовой, седой старик богатырского сложения. Эти три бородача непременно избирались во все президиумы собраний, митингов и конференций города.

Свой доклад Березкин начал с того, что пропел плаксивым речитативом:

— «Я, ни-же-под-пи-сав-ший-ся...»

Зал замер от такого неожиданного начала, и тогда докладчик объявил:

— Так начиналась присяга солдата в старой царской армии. — Затем, сделав паузу, он произнес громовым голосом: — «Я, сын трудового народа и гражданин Советской Социалистической Республики...»

И перед нами как бы прошли два солдата: один — раб, другой — хозяин.

Валежников, первым взявший слово после докладчика, вдохновенно развивал его мысль, рубя кулаками воздух:

— Старый солдат был слеп и темен. Царю присягал, его холоум присягал. Им понукали, издевались над ним, посылали на расправу с рабочими и крестьянами. А кто такие красноармейцы? Ваши дети, ваши братья, товарищи. Они присягают Советам, Ленину, Коминтерну и мировой революции! Вам присягают — рабочим и крестьянам! И если кто-либо будет плохо служить — накажите, как своих детей, шлепком ли, ремнем ли, веревкой, а кто изменит — голову топором отрубите.

Речь Валежникова имела большой успех.

После собрания комиссар сказал мне:

— Вот видите, какие у вас в роте есть ораторы, а вы не пользуетесь этим.

На другой день я попросил Валежникова провести с курсантами беседу об изъятии церковных ценностей. Он удивленно посмотрел на меня:

— Пойми, мил человек, рота — не мой масштаб, я только на больших собраниях загораюсь. Там у меня слова сами текут, их будто кто-то лопатой подбрасывает на язык. А когда народу мало, говорить неохота, слова в горле застывают, язык к небу прилипает, скучно, неинтересно. Я курсантов знаю, они меня тоже, можно сказать, надоели друг другу.

Помня совет комиссара, я не раз еще убеждал Валежникова выступить перед курсантами роты, но он твердил одно:

— Нет, брат, не уговаривай, рота — не мой масштаб.

Медленно входил я в жизнь роты.

Как-то комиссар показал мне рапорт командира взвода Лисина с просьбой о демобилизации и спросил:

— Чем объясняется это?

Я ничего не знал о рапорте Лисина.

— Плохо людей изучаем, — огорченно сказал комиссар. — Поговорите, узнайте причину и доложите.

Я пошел к Лисину. Он жил на окраине города, снимал комнату в частном домике.

В тесной кухоньке женщина стирала гимнастерку, а над плитой висела пара красноармейского белья с завязками вместо пуговиц. Возле женщины толклись два малыша, мальчик и девочка.

— Ой, как напугали меня, — улыбаясь, сказала женщина, — думала, хозяева пришли, а я тут у них на кухне расположилась.

— Я к товарищу Лисину.

— Муж ушел в школу, — смущенно почему-то проговорила женщина.

— Вот и неправда, папка дома, — хлопая в ладоши, закричал мальчик и, уцепившись за полу шинели, потащил меня в комнату.

Женщина еще больше смутилась:

— Простите, не знала, что муж вернулся.

В комнате было полутемно — маленькое оконце завешано газетой. У стены, занимая половину комнаты, стояла большая деревянная кровать, застланная стареньким, с ситцевым верхом одеялом с торчавшими ключьями почерневшей ваты. Рядом с кроватью — стол, покрытый самокной деревянной скатертью.

Лисин сидел у стола в накиннутой на плечи шинели.

Когда я сказал о цели своего прихода, он подошел к окну и стал

молча смотреть на улицу, хотя ничего не мог увидеть, так как окно было завешано газетой.

— Нужда заставила подать рапорт,— заговорил он наконец, обернувшись.— Жалованьем и пайком, сами знаете, не прокормишься. Ходим с женой на станцию вагоны разгружать. Дети в лохмотьях, жалко смотреть на них. Жена донашивает одежонку, привезенную из деревни.

— А папка в мамкиной рубахе! — очевидно, решив помочь отцу, крикнул мальчик и поднял подол отцовской шинели.

— Не говори глупостей,— сердито сказал Лисин, отстраняя сына и опуская подол шинели, из-под которой виднелась длинная женская самотканая, в клеточку рубаха.— Вчера уголь разгружали, и пришлось жене в срочном порядке стирать мои наряды. Один костюм у меня, в нем на службу, на парад и уголь выгружать. Стыдно говорить, а сынишка прав — в моем хозяйстве одна пара белья, и, когда стирают ее, приходится надевать рубаху жены. Замучила жизнь,— вздохнул он.— Уголь иду разгружать — о курсантах думаю, не сделали бы без меня чего худого. На службу иду с опаской, чувствую себя виноватым — время у службы украл. Казнишь себя, даешь зарок не ходить больше на уголь, а придешь домой — дров нет, хлеба мало... Так и кручусь. Жаль уходить из армии, но сил больше нет.

Потом мы долго сидели с ним молча. Я чувствовал, что ему действительно не хочется уходить из армии, но не знал, что посоветовать.

В комнату вошла его жена, поставила на стол тарелку с тонко нарезанными кусочками черного хлеба. Я собрался уходить.

— Оставайтесь обедать,— пригласила она.

Я не пообедал еще, мне зверски хотелось есть, но сесть за стол с ними посоветился. В расстроенных чувствах, простившись с Лисиными, я прямо от них пошел к комиссару.

— К сожалению, не один Лисин, а большинство наших семейных командиров плохо живут,— выслушав меня, сказал он, а потом открыл тетрадку, посмотрел в нее, взял клочок бумаги и написал записку завхозу школы, чтобы тот выдал Лисину из шефских подарков пару белья, пять аршин ситца и два фунта сушеных яблок.

— Вот все, чем могу помочь,— подавая записку, сказал он.

Прибывав обратно к Лисину, я вручил ему эту записку как драгоценность. Он был страшно растроган и на другой день взял свой рапорт назад.

Я ликовал, но не все командиры разделяли мою радость. Командир взвода Потанин — бывший кавалерист, носивший меховую венгерку, широкое галифе с ляжи, кубанку из белого каракуля, с ярким малиновым верхом, сапоги со шпорами, а в руках стек,— считал себя военным талантом и на всех смотрел с точки зрения военной жилки: есть она — человек достоин уважения, нет — личность неполноценная.

Исходя из этого, он даже пренебрегал проверкой успеваемости курсантов.

— У кого военная жилка, тот все, что надо для войны, сам усвоит. А у кого «борона» в голове, того и спрашивать бесполезно, попусту время потеряешь. Хотите убедиться? — И он вызывал курсанта с «военной жилкой», а затем того, у кого «борона» в голове, и заставлял отвечать на одни и те же вопросы.

— Убедились? — торжествовал Потанин.

Ни у одного из командиров взводов нашей роты он не находил этой жилки. Валежникова презрительно называл «школьным оратором», а Лисина — «негром», годным только для тяжелой работы. На меня же он смотрел с сожалением, так как я не только не обладал этой жилкой, но и не понимал, что это за жилка.

Из дневника

Трудно мне работать с Лунцовым. По моим просьбам он снисходительно выделяет время для внешкольных мероприятий в роте, но всячески подчеркивает, что все это ерунда, главное — железная дисциплина, а чтоб она была железной, нужно только строго придерживаться выработанной им таблицы. В ней перечислены всевозможные проступки и положенные за них наказания. Гордый своей таблицей, Лунцов послал ее в Уставную комиссию в надежде, что включат в Устав. А курсанты называют его таблицу «разверсткой взысканий». Выговор именуют «пронеси, господи», наряд вне очереди — «медаль благоразумия», арест — «крест «география».

— По-моему, — говорю я, — в воинской дисциплине на первом плане должно быть сознание бойца, а страх наказания — на втором.

— А я думаю наоборот: без страха наказания не может быть дисциплины. Только в страхе человек повинуется беспрекословно. Сознание в армии — вещь второстепенная, — говорит Лунцов.

— Меня тревожит, что в нашей роте очень много дисциплинарных взысканий.

— Пусть это вас не тревожит, — успокаивает он. — Когда курсанты убедятся, что их проступки не останутся безнаказанными, они не будут совершать их. Дисциплина позысится, а взыскания уменьшатся. Занимайтесь своим делом, разъясняйте курсантам политику, а с дисциплиной я и без вас справлюсь.

Ну что мне с ним делать? Он убежден в своей правоте и моих доводов не принимает в расчет, смеется надо мной.

На днях поместили в ротной газете заметку курсанга о лекторе по тактике, который вместо лекции читает какую-то старую книжку о том, как царская армия воевала с японцами. Конечно, это интересно, но нам хочется знать, как наша Красная Армия била белогвардейцев, воевала против Антанты.

Я спросил Лунцова его мнение о заметке.

— Вредная писанина, подрывает авторитет преподавателя, — ответил он.

Однако командование школы заинтересовалось заметкой. Военком и начальник пришли на лекцию преподавателя, которого критиковали в газете. У лектора, как на грех, не было ни тезисов, ни плана лекции. Говорил он сбивчиво. Хватался за все, что в память приходило. Потом стал читать примеры из книги. Поясняя прочитанное, нервничал, а когда снова стал читать, не мог найти место, где остановился, и еще больше заволновался. Крупные капли пота текли по его лицу. Он растерянно вытирал пот ладонью и рукавом гимнастерки.

После звонка комиссар сказал в канцелярии роты:

— Военкор прав, лектор читает плохо.

— Он растерялся, а может, расстроился из-за стенгазеты, — заметил Лунцов.

На мою беду, командование школы отстранило этого преподавателя от чтения лекций. Лунцов воспринял это как личную обиду и сейчас не разговаривает со мной.

Преодолевая трудности, связанные с голодом в Поволжье, советская власть принимает меры по подъему сельского хозяйства. Разработана программа занятий по сельскому хозяйству для красноармейцев и командиров, демобилизующихся из армии. Занятия проводятся в вечернее время. Лунцову они не по душе. Он всячески мешает проведению их. В часы занятий по сельскому хозяйству поднимает роту по тревоге, устраивает осмотры оружия, обмундирования, придумывает дополни-

тельные занятия по военным предметам. Сегодня я спросил Лунцова, почему он фактически срывает занятия по сельскому хозяйству. Мы с ним были вдвоем в канцелярии.

— Потому что я команду ротой, а не огородниками,— ответил он с усмешкой.

Я сказал, что мы должны решать одновременно две задачи: готовить младших командиров и дать им знания по сельскому хозяйству.

— Стране нужен хлеб. Борьба за хлеб — борьба за социализм, как учит Ленин. Давайте дружно работать, чтоб выполнить обе задачи,— предложил я.

Лунцов посмотрел на меня с таким огорчением, словно теперь он окончательно убедился, что толковать со мной бесполезно.

— За выращивание хлеба мы не отвечаем, а если плохо научим курсантов военному делу и по их вине прольется в бою лишняя кровь, с нас за это спросит советская власть,— сказал он и, помолчав, добавил: — Пора бы уже вам это понимать и самому стать солдатом.

Сегодня, придя в роту, я узнал, что пропало два одеяла, из питьевого бачка вывинчен кран и сорван замок с двери черного хода. Лунцов успел уже произвести дознание и отправил на гауптвахту дневального и дежурного по роте.

— Полюбуйтесь, как будущие командиры укрепляют свой дом — красную казарму,— сердито глядя на меня, бросил Лунцов, будто во всем этом виноват я.

— Украл кто-нибудь один, нельзя же в этом обвинять всю роту,— ответил я.

Лунцов выскочил из-за стола и нервно заходил по канцелярии; остановившись против меня, сказал:

— Раньше воровство в роте объясняли отсутствием политрука, теперь же политрук есть, а воровство не исчезло.

Воровство огорчает меня не меньше, чем Лунцова. Видно, я где-то что-то проглядел, кого-то плохо знаю. А может быть, всплыла старая история? Мне рассказывали, что при переходе школы на казарменное положение некоторые курсанты били стекла в окнах, ломали двери, замки, печи, пытаюсь этим заставить командование вернуть школу на частные квартиры? Может быть, не просто воровство, а повторяется та же история. Есть еще враги казарм и не только среди рядового состава. Они говорят, что с казармами возвращается старый режим, что не нужно отделять армию от народа — пусть красноармейцы живут под одной крышей с рабочими и крестьянами, пьют и едят из одной чашки.

Опять беда: у Волошина пропала простыня. Лунцов посадил его на гауптвахту за халатное отношение к казенному имуществу.

Это возмутило всю роту. Волошин теперь у нас редактор стенгазеты, и курсанты уважают его. В знак протеста они выделили ему дополнительный паек хлеба, сахар и отнесли на гауптвахту.

— Плохо работаете, политрук,— упрекнул меня Лунцов.— Я Волошина арестовал за халатность, а курсанты сделали из него героя,носят передачу, как политкаторжанину.

— Потому что несправедливо арестовали,— сказал я.— Во время пропажи простыни он был в гарнизонном наряде.

— Вы мне не указывайте! — возмутился Лунцов.— В роте орудует вор, а вы какую-то дурацкую справедливость ищите!

Снова неприятность. Курсант нашей роты Бутусов приставал к публике, идущей в оперный театр:

— Граждане нэпманы, в театр хочется, а грошей нема, дайте, кто сколько может.

Курсантов возмутил поступок Бутусова, и мы пристыдили попрошайку в стенгазете. Лунцов накинулся на меня:

— На каком основании порочите моих курсантов? Я не позволю вам выставлять их попрошайками!

Секретарь нашей партийной ячейки политрук Павел Скляр поднял на собрании вопрос о борьбе с руганью как пережитком рабства. Первым по этому вопросу взял слово Трофимов. Он предложил создать в ротах комиссии по борьбе с руганью и выбрать в состав этих комиссий самых заядлых матерщинников.

— Успех гарантирую,— сказал он под общий хохот.

Политрук Кормелюк внес другое предложение:

— Поскольку с нэпом входит в силу рубль, давайте бить матерщинников рублем. На штрафы газеты будем выписывать.

Наш шеф, представитель деревообделочной фабрики, сказал, что они уже пробовали это, не помогает: на собранные штрафы можно уже дом построить, но ругаются еще больше.

После дискуссии решили: в ротах и командах школы провести собрания, на которых создать комиссии по борьбе с руганью.

Я сказал об этом решении Лунцову.

— М-да,— протянул он,— значит, и ругаться уже нельзя. Но ведь боец есть боец, а не красная девица. Без ругани в бою, как без патронов.

Собрание роты проходило бурно. Многие говорили, что если красноармейцу запретить ругаться, то никакой разницы не будет между красноармейцем и бабой.

— Мат — это силища,— говорил один из курсантов,— он и врага устрашает, разную там контру, и, как песня, прибавляет человеку силы и храбрости. Смотришь, человечиска так себе, щупленький, как заяц, всего боится, а как прикрикнут на него да обложат словечками погуще да этажами повыше — человек становится другой, уже и дерется, как лев.

Защитников мата собрание награждало дружными аплодисментами, но комиссию по борьбе с руганью все-таки решили выбрать и проголосовали за нее единогласно. К моему удивлению, Лунцов первым поднял руку.

Немало уже времени прошло, а я все никак не мог установить делового контакта с Лунцовым. Иногда вдруг он становился покладистым, а потом снова ни с того ни с сего взрывался. Однажды я проводил беседу, которая вызвала общий разговор: курсанты задавали вопросы не только мне, но и друг другу. Во время беседы в класс вошел Лунцов. Курсанты без команды встали и приняли положение «смирно».

— Почему сидя задавали вопросы? — спросил Лунцов у одного курсанта.

— Я думал, мы на беседе.

— За то, что вы думали и забыли про дисциплину, получите наряд вне очереди,— сказал Лунцов.

Дня не обходилось без пререканий. Он грозил подать рапорт начальнику школы, а я обещал доложить военкому, что он срывает политработу, но оба мы только этим и ограничивались.

И грянул гром. Трое курсантов подали рапорты с просьбой об откомандировании их из роты. «Буду служить где угодно, только не в пятой роте»,— писал один из них. Рапорты курсантов вызвали большой

шум в школе. В роту пришел военком, поговорил с курсантами, подавшими рапорты, а потом в канцелярии, выслушав Лунцова и меня, сказал:

— У вас в роте неправильная дисциплинарная практика.

— Прикажете ослабить дисциплину? — вызывающе спросил Лунцов.

— Нет, дисциплину надо укреплять, а вы с политруком расшатываете ее, пререкаясь друг с другом. Если в ближайшее время не прекратите разнобой, обоим не место в школе.

Об этом же через несколько дней комиссар предупредил меня на совещании политруков.

— Не пререкаться с Лунцовым надо, а найти ключ к нему.

Всегда он говорил со мной с улыбкой, на этот раз с раздражением.

Возвращаясь с совещания, я пошел на берег Тетерева. Вечер был ясный, теплый, шумела только что очистившаяся от льда река, кое-где пробивалась свежая трава — весна, а я чувствовал себя подавленным и разбитым. Я считал, что виноват Лунцов, а комиссар повернул дело так, словно я сам во всем виноват.

Как и где я найду ключ к Лунцову, если он терпеть меня не может? — спрашивал я себя. И снова меня одолели сомнения — не зря ли я после войны остался на военной службе. Не выйдет, видно, из меня политрук, а для командира взвода знаний не хватает и этой самой военной жилки, без которой, как говорит Потанин, в армии человек — ничто. Так не лучше ли вернуться в деревню и взяться за свое хозяйство?

Подумав о деревне, я вспомнил Глашу.

...Мы познакомились с ней в церкви в великий пост. Неподалеку от меня стояла старуха, усердно отвешивавшая низкие поклоны, а рядом с ней — девушка в новой дубленой шубке, верхний борт которой и обшлага рукавов были расшиты блестящими полосками сафьяна. Голова ее была повязана разноцветным, с длинными кистями, кашемировым платком, а обута она была в белоснежные валенки. Вдруг девушка повернулась и посмотрела на меня. Взгляды наши встретились.

Окончилась служба. Девушка со старухой вышли из церкви. Я пошел за ними.

— Бабушка, пойдем по насту, ближе будет, — сказала Глаша.

В ту зиму наст был такой крепкий, что по нему ходили без дорог, но за день солнце нагрело его, и наст не выдержал — старуха провалилась в сугроб и потеряла в снегу валенок.

— Бабушка, какая ты тяжелая, — сказала Глаша и, увидев меня, остановившегося поодаль, попросила: — Вытащи катанок.

Я быстро достал валенок, помог бабушке надеть его и вывел на дорогу.

— Спасибо, парень, — сказала старуха, и они пошли домой.

Долго смотрел я на уходящую девушку.

Глаша жила далеко от нас, но крыша их большого нового дома была видна из нашей деревни. Хозяйство у ее отца было хорошее, и это меня огорчало, так как наше хозяйство было бедное, дом старый, в передней стене вывалилось сгнившее бревно.

Второй раз с Глашей я встретился на пасхе. Она была с подругами, и я боялся подойти к ней, думал, что она забыла меня, но, взглянув на нее, я понял, что она ждала встречи со мной. В этом я окончательно убедился, когда сказал, что завтра ухожу в бурлаки.

— На все лето? — спросила она.

Вечером, уходя с подружками домой, она сказала мне на ухо:

-- Не забывай меня.

На другой день я ушел в бурлаки. Долго, очень долго тянулось это лето. Осенью я вернулся и в покров день встретил Глашу. Она показала мне еще красивее. Я подошел к ней, мучаясь страшным сомнением, не забыла ли она меня.

— Пришел! — воскликнула она, протягивая руку.

Весь праздник мы с Глашей были вместе. Смотрели, как пляшут, сами ходили в кадрили, гуляли по деревне.

Зимой мы встречались только в праздники, на гостбищах — когда девушки приглашают к себе подруг в просторные избы, прыдут, поют песни, а парни приходят к ним в гости, подсаживаются к девушкам за прялки и весь вечер шепчутся.

«Они чепчутся», — говорили и про нас с Глашей, что означало — любят друг друга, но мы с ней не говорили про свою любовь.

Весной я снова ушел в бурлаки и только зимой, в николин день, встретился с Глашей. Катались на санях, пели песни, танцевали, а после гуляния я поехал проводить ее домой. Был сильный мороз. Я укрыл Глашу и ее подружку своим тулупом, и, когда мы приехали, она сказала:

— Пойдем в избу, погрейся, нам тулуп отдал, а сам, наверно, замерз.

Вышел отец Глаши, посмотрел на нас и сердито сказал:

— Зачем чужих девок возишь, пришли бы пешком, не барыни, — и, повернувшись, пошел домой.

— Не сердись на отца, он добрый, — тихо сказала Глаша, быстро подошла ко мне, поцеловала в щеку и скрылась в сенях.

Долго стоял я, надеясь, что она еще выйдет на улицу. Но она не вышла, с тех пор я больше не видел Глашу. Вскоре меня призвали в Красную Армию, и я уехал, не сумев с ней проститься. С тех пор прошло около трех лет — помнит ли она еще меня? Я часто вспоминал Глашу, но писать ей не решался — боялся, что мои письма принесут ей худую славу.

Долго стоял я на берегу шумевшей в полноводье реки Тетерев, все более и более склоняясь к мысли, что придется, видимо, возвращаться в деревню, а потом вдруг подумал, что, прежде чем подавать рапорт, надо сходить посоветоваться к секретарю нашей партийной ячейки Скляру. Говорили, что он человек задушевный, помогает малограмотным красноармейцам писать письма не только тяткам да мамкам, но и зазнобушкам, и об этом — никому ни слова.

Политрук Скляр жил с женой, учительницей, в небольшой комнатке с односпальной, по-солдатски заправленной кроватью, столиком и двумя табуретками. Над кроватью висела зажженная лампада.

— Керосину нема, бачите, освещаемся божьим светом, — пошутил Скляр, когда я пришел к нему.

Это был высокий, худой, очень бледный человек с большими голубыми, пытливо глядевшими глазами и удивительно тихим голосом. Даже на собраниях он говорил чуть не шепотом, медленно и очень коротко. Налив мне стакан чая, он заговорил о своей жене, которая еще не вернулась с работы, как ей трудно приходится, какие у нее там сложные взаимоотношения с учителями и с родителями, — словно одно это его только и беспокоило. Он сегодня был на совещании, слышал, как меня отчитывал комиссар, но похоже было, что и заподозрить не мог, что я зашел к нему по этому поводу и что мне сейчас совсем не до разговоров о его жене. Но когда я сказал Скляру о том, что меня мучает, он все понял с полуслова.

— А вы думаете, Лунцов не переживает? — сказал он и заговорил о том, что не один Лунцов, а очень многие командиры сначала непра-

вильно поняли переход армии на единоначалие: решили, что раз теперь командир единоначальник, то зачем в роте политрук, и принимали назначение политрука как выражение недоверия себе; но теперь Лунцов, наверно, уже понял свою ошибку, и только гордость не позволяет ему признаться в этом.

— Да он и сейчас говорит, что в роте должен остаться он или политрук,— сказал я.

— Мало ли что может ляпнуть человек сгоряча, ляпнул, а потом, может быть, сам ругал себя за это мальчишкой.— Скляр посмотрел на меня со смущенной улыбкой, чего-то вдруг застеснялся, немного помолчал, а потом заговорил еще более тихо, чем обычно, совсем шепотом, точно в комнате, кроме нас, был еще кто-то, кто не должен был слышать этого:— Вот и вы, наверно, сгоряча решили уже, что вам не остается ничего больше, как подать рапорт о демобилизации. Не правда ли?

Я признался, что был недалеко от этого.

— Ну и глупость бы сделали. Говорите, ключ к сердцу человека не найдете. Человек часто сам не знает, на какой ключ его закрыл. Лунцов сейчас в смятении. Ему надо помочь.

Пришла жена Скляра и сейчас же с возмущением стала рассказывать:

— Приходят сегодня матери школьников и спрашивают, почему я ребят не учу молитвам. «Теперь в школе закону божьему не обучают»,— отвечаю им. «А мы и не просим, говорят, изучать закон божий, научите только ребят молитвам».— «В школе и молитвам учить не будем», говорю. «А почему Иван Ксенофонтович в своем классе учит ребят молитвам?»— спрашивают. Пошла к заведующему, рассказала об этом. А он мне в ответ: «Не обращайтесь на то, что женщины говорят, а то вас будут называть ябедой».

— Видите, у каждого у нас сейчас свои трудности и смятения,— сказал мне Скляр с веселой улыбкой.

Уйдя от него, я бродил по улицам города и все думал, как бы скорее наладить взаимоотношения с Лунцовым. Была ночь, когда я зашел в роту и увидел Цибулько, вернувшегося из увольнения с опозданием, в окровавленной гимнастерке, со свежими ссадинами на лице.

В то время в Житомире на перекрестках улиц появились красивые светло-желтые будки-ларьки акционерного общества «Ларек» с рекламной надписью: «Покупай товар в «Ларьке», дешевле, лучше, чем везде». А по соседству с этими ларьками появились одновременно милицейские будки, окрашенные черно-белыми полосами, как караульные будки старых царских казарм. Кое-кому те и другие будки не нравились, и случилось, что их громили. Так случилось и в тот вечер. Цибулько, возвращаясь из увольнения, увидел, что какие-то люди опрокинули милицейскую будку и избивают милиционера. Он бросился к нему на помощь, потом подоспел ночной патруль, и напавшие на милиционера разбежались в темноте. Милиционер лежал с разбитой головой. Цибулько пришлось помочь патрульному отнести его в больницу. Об этом он написал рапорт на имя командира роты и передал мне.

Утром я зашел в больницу, проверил достоверность происшествия, а потом пошел на квартиру командира роты и передал ему рапорт Цибулько.

Он прочитал его и сказал с досадой:

— Вечно лезут не в свое дело. Гулять пошел и гуляй, а дерутся пусть другие.

— А если бы вы увидели, что бандиты напали на милиционера, разве вы не помогли бы ему?— спросил я.

— Если бы, если бы...— передразнил меня Лунцов и обещал всыпать Цибулько за опоздание.

Нет, подумал я, что бы там ни говорил Скляр, не сработаться мне с Лунцовым.

А на другой день, к моему удивлению и большой радости, Лунцов перед строем роты объявил Цибулько благодарность за помощь милиционеру. Это был первый случай, когда он отклонился от своей таблицы взысканий.

Медленно, трудно, преодолевая свой тяжелый характер, перестраивался Лунцов, а вот Валежников, наш записной оратор, перестроился с завидной быстротой, как по команде.

В школу приехала комиссия Киевского военного округа по проверке политической подготовки курсантов и командного состава. Курсанты отвечали на вопросы членов комиссии неплохо, а с командирами в нашей роте получился конфуз.

Потанин не смог ответить ни на один вопрос. Бравирюя своим политическим невежеством, он заявил комиссии:

— Я не политрук, зачем мне забивать голову политикой?

Мы надеялись, что Валежников-то не ударит лицом в грязь.

— Когда и кем был организован Первый Интернационал? — спросил его председатель.

— Его организовали буржуи и меньшевики — предатели рабочих и крестьян, — не задумываясь, громко выпалил он.

Потом он долго ругал предателей-меньшевиков, международную контрреволюцию и, как на митинге, с жаром окончил:

— Да здравствует Третий Интернационал! Да здравствует вождь мировой революции товарищ Ленин!

— Очень хорошо, — похвалил его председатель. — Но вы так и не ответили на поставленный вам вопрос.

Валежников недоуменно посмотрел на него и развел руками, а когда председатель сказал, что организатором Первого Интернационала были не меньшевики, а Карл Маркс, он с жаром воскликнул:

— Не может быть!

Мы уже вышли из класса, а Валежников все еще недоумевал. Поняв, наконец, что зверски засыпался, схватился за голову:

— На всю дивизию опозорился — как же теперь жить дальше?

Однако горевал он не больше минуты, а потом заговорщически подмигнул мне:

— Учи меня, политрук!

Подстегнутый проверочной комиссией, Валежников с жадностью набросился на рекомендованную ему литературу — все вечера стал просиживать в казарме у керосиновой лампы, стоявшей на подоконнике возле его койки.

— Ну, как двигаешься? — спрашивал я его.

— Матриархат уже прошел, к феодализму подхожу, — отвечал он.

Как-то я снова решил попросить его провести беседу с курсантами и предложил вместе составить план беседы. На этот раз от беседы он не отказался, но план составлять вместе со мною не пожелал, сказал, что сделает это сам.

Когда я потом спросил, как он провел беседу, Валежников ответил, что все хорошо: поругал Антанту, белополяков, прошелся малость по кулакам, насчет их мироедства и контрреволюции, прочитал декрет о льготах семьям красноармейцев по продналогу, а после спросил, нет ли у кого вопросов, и тут аж жарко стало.

— На больших собраниях лучше, вопросы задают записочками.

А с ними легче: знаешь — ответишь, не знаешь — в карман положишь и помалкиваешь, будто она до тебя не дошла.— Он порылся в карманах, достал несколько листков и передал мне их.— Вот почитай, что родные из деревни пишут. Курсанты спрашивают, что ответить, а я откуда знаю.

У меня сохранились эти письма. «Дорогой сынок! — писал отец одному из наших курсантов.— Шлю тебе низкий поклон и свое родительское благословение. Мы все здоровы, как сами, так и скотина. Только с хлебом плохо. Зимой заняли у Ивана Афанасьевича до осени два мешка ржи, а он просит ему возратить сейчас. Где же я могу взять эту рожь? Вот он за это и угнал из стада к себе нашу корову Чернуху. Ходил я жаловаться на него в волость, а там ответили: Иван Афанасьевич — середняк, обижать его не имеем права, а раз рожь взяли, надо отдать ее. Пришлось идти на поклон к нему. Он яровые посеет нам, и осенью урожаем пополам поделим. Вот как худо обернулось, сынок, снова своего хлеба на год не хватит».

Другому курсанту родные писали: «А новостей у нас одна. Землю снова перedelали. Теперь полосы нарезали поперек к прежним и получается, что соха идет, как по волнам, разрезая старые полосы поперек, а в старых бороздах земли нет, аж горько смотреть. Земля любит хозяина, а теперь мужик на ней как постоялец: поковыряет — и снова перedel. Мужикам, которые в бедняках, землю дают получше, да и к деревне поближе. Теперь по декрету бедняк землю в аренду отдать может, а арендует богатый. Вот и выходит, что им снова поблажка — землю берут поближе к деревне и получше. А наш брат середняк от этого страдает, земли хотя и не убавляется, но она хуже, родит меньше, а удобрять нет смысла, потому что при переделе в следующем году снова придется покинуть свои полосы. Спроси ваших комиссаров, будет ли декрет против ежегодных переделов земли?»

И еще одно из этих случайно сохранившихся у меня писем:

«Жизнь наша снова пошла в гору. Петро вернулся из армии. Женили его на Дуне Захаровой. Работница в доме прибавилась, но все же своей силой с уборкой хлеба не справимся. Может, приедешь, пособишь, а мы тебе телеграмму насчет причины пришлем — вон бабка третий год умирать собирается. Хотели брать работника, да дорого, и в кулаки записать могут, а нам этого не хочется, лучше в середняках ходить будем. Ты спроси у начальников, может, есть такое право, что семья курсанта работника наймет и останется в середняках?»

Надо признаться, что в таких случаях мне тоже часто становилось жарко. Нелегко было разобраться во всех вопросах, которые ставила перед нами деревня.

Чуть свет приходил я в казарму. Проводил беседы, читки, вечера вопросов и ответов, помогал редактировать стенную газету — работы хватало до позднего вечера. Лунцов притих, не мешал мне работать, и я старался не задевать его самолюбия. На совещании политсостава школы военком похвалил успехи в боевой и политической подготовке нашей роты. И вдруг опять грянула беда: на соревнованиях по стрельбе из винтовок рота с первого места отскочила на последнее.

Это случилось после того, как рота, вооруженная раньше старыми русскими винтовками и трофейными — английскими и японскими, — получила в награду за хорошую стрельбу новые отечественные винтовки с клеймом «РСФСР».

Вручение оружия происходило в присутствии командира дивизии Дубового и военкомдыва Шмидта. Построен был весь личный состав школы. На правом фланге — знамена, оркестр. Адъютант школы за-

читал приказ. Лунцов повел роту перед строем школы и лихо скомандовал:

— На руку!

Рота, дружно ошетилившись штыками, стальным косяком шла мимо командования дивизии.

Вручал винтовки курсантам сам комдив Дубовой.

Все было очень торжественно. А через два дня, стреляя из новых винтовок, наша рота оказалась на последнем месте. Курсанты оправдывались:

— Новые винтовки плохие, старые и иностранные лучше были.

И пошла гулять эта фраза. Мне обидно было за наши новые, пахнувшие свежей краской винтовки, и я говорил, что виноваты не они, а мы сами — плохо стреляли на этот раз.

— Стреляли, как раньше. Все дело в винтовках, — утверждали курсанты.

Комиссар вызвал меня, потребовал объяснений, и я мялся, не зная, что сказать.

Мы с ним сидели на скамейке около домика, в котором он жил, под кустом начавшей распускаться сирени. Комиссар что-то чертил прутиком на влажной земле, потом он бросил прутик, повернулся ко мне, положил руку на мое плечо и сказал:

— Не отчаивайтесь, в любой работе могут быть неудачи. Идите и во что бы то ни стало найдите причины плохой стрельбы.

Долго ломали мы головы — в чем дело? И вдруг Лисин, листавший в уединении какую-то книжонку, обрадовал нас.

— Все ясно! — сказал он, чертя на бумаге траекторию полета пули, и стал объяснять, какие ошибки могут быть при стрельбе, если винтовки не пристреляны.

— Выходит, что не винтовки виноваты, а мы сами?

— Конечно, любая непристрелянная винтовка будет плохо стрелять.

— Почему же их не пристреляли?

Оказалось, что никто из командиров взводов толком не знал, как пристрелка влияет на меткость стрельбы, а Лунцов понадеялся, что винтовки пристреляны на заводе.

Мы с Трофимовым все еще жили у Каменских. Они помогали нам советами в работе и делились с нами своим скромным ужином — неизменная пшенная каша в чугушке, чай с сахарином и черный хлеб.

Когда Лена заболела гриппом, нас пригласил жить к себе политрук Скляр.

В его тесной каморке мы с Трофимовым спали на полу. Под головы вместо подушки Скляр дал нам свою шинель.

— Бросим жребий, чью шинель постелим, а чьей укроемся, — предложил Трофимов.

Мы с ним только что получили новые шинели, и было жалко стелить их на пол. Трофимов взял прутик, переломил его надвое, сжал в руке и сказал:

— Тяни. Длинный — на пол, короткий — наверх.

Мне повезло. Трофимов, постелив свою шинель на пол, предупредил:

— Только не больно крутись, а то сильно помнешь.

Спали, вытянув ноги под стол, чтобы хозяевам оставить проход. Пожив так несколько дней, решили, что надо искать другое жилье — и самим неудобно, и Скляра с женой стесняем.

Начхоз дал нам ордер на большую комнату с тремя окнами, но без

стекло, с пустыми, заклеенными газетной бумагой рамами. Посмотрели мы на нее — комната пустая, ни стола, ни стула, ни кровати — и решили, что квартира хорошая, но не для нас, поблагодарили начхоза за ордер, вернули его и сняли в частном доме небольшую комнату с деревянной кроватью, на которой, к нашей радости, лежал хоть и продырявленный, но пружинный матрац. Одно только было тут неудобно — в свою светелку нам приходилось проходить через комнаты хозяек, заставленные кроватями и разной мебельной рухлядью. Даже днем трудно было пройти, чтобы не опрокинуть что-нибудь, а вечером, когда хозяйки спали, мы, добираясь до своей постели, подымали невероятный шум.

Наши хозяйки — две старушки польки — величали нас панамн.

Как-то в воскресный день одна из них постучалась к нам.

— Простите, паны красноармейцы, придет ли сегодня к вам пан Литвак? — спросила она.

К нам иногда заходил политрук Арнольд Литвак.

— А что такое?

— Может, он порекомендует, к кому лучше отнести наши вещи для продажи. Мы очень нуждаемся.

Мы объяснили старушке, что вещи для продажи носят к нэпманам, а наш Арнольд не имеет к ним никакого отношения.

— Он же еврей, они друг другу помогают, — не унималась она.

В тот же день мы с Трофимовым зашли к Арнольду.

— Наши старушки просят тебя помочь пролать им барахлишко, — смеясь, сказал ему Трофимов.

Литвак нахмурился:

— Что за шутки?

— Какие там шутки. Старушки от любви к тебе обращаются за помощью, — продолжал Трофимов в том же духе.

Арнольд взорвался, а потом достал из кармана несколько записок и подал Трофимову. Мы с ним вместе прочли: «Товарищ политрук, Литвак, что торгует красным товаром, ваш родственник?», «Товарищ политрук, почему все евреи торгуют?», «Говорят, что вы сын нэпмана».

— Где ты набрал этой гадости? — удивился Трофимов.

— В ротном ящике для вопросов, — ответил Литвак.

Мы втроем пошли к военкому школы, показали ему записки.

— Ответили? — спросил он Арнольда.

— Нет, мне стыдно было говорить об этом.

— Нэпманы Литваки ваши родственники?

— Конечно, нет.

— Так почему же не ответили? Кого испугались? — Комиссар разгневанно заходил по комнате, потом спросил у Литвака: — Где и когда ваш отец работал?

— всю жизнь в Таганроге на кожевенном заводе.

— Вот так же и скажите на первом же вечере вопросов и ответов, да погромче, стесняться нечего. Я приду и послушаю. А потом, если найдутся желающие, сводим их к нашим шефам на деревообделочную фабрику. Пусть поглядят там, как евреи работают.

Надо сказать, что после очередного вечера, на котором Литвак ответил на полученные им анонимные записки, желающие пойти на фабрику нашлись, и многие из них потом громко выражали свое удивление тем, что, как оказалось, большинство наших шефов — евреи и что они отлично умеют строгать, долбить, клеить.

Ни одна книга не запомнилась мне так, как книга «Электрификация РСФСР», которую по совету военкома изучали все наши комму-

нисты. По вечерам мы по очереди читали ее. В маленьких кружочках электростанций мне чудилась такая сказочная сила, что дух захватывало. Вот она — гробовая крышка всем нашим нэпманам и всей мировой буржуазии, думал я.

С этого и начал я свой доклад о ленинском плане электрификации на открытом собрании ротной партийной ячейки, к которому готовились, как к празднику, и даже достали где-то графин с водой, стакан, а в солдатский котелок поставили букетик весенних цветов.

На открытые партсобрания обычно приходило пятнадцать — двадцать беспартийных курсантов, а на это собрание пришла вся рота, все командиры взводов и даже сам Лунцов, чего еще не случилось. Я так волновался, что у меня указка в руке дрожала, когда показывал на карте, где будут строиться электростанции. Мне казалось, что не только я, но и все присутствующие — участники чего-то такого огромного, что можно сравнить только с сотворением мира.

После доклада все дружно аплодировали, а потом стали задавать вопросы, которых я никак не ожидал.

Курсантов интересовало, как вырабатывается электричество и что это за штука. Почему горит электрическая лампочка и ни убавить, ни прибавить ей свега нельзя? Сколько каждая станция может зажечь электрических лампочек и на каком расстоянии? Когда печь топится, она накаляется докрасна, но почему лампочка краснеет? Понятно, когда электростанция топится углем или дровами, лампочки могут по проводам нагреваться, а как же вода нагревает их?

А что я мог сказать об электричестве, кроме того, что у нас в городе оно очень редко горит?

Когда начались выступления по докладу, на собрании снова воцарилось торжественное настроение. Много было сказано горячих слов об электрификации. И вдруг...

— Электричество, конечно, дело хорошее, — заговорил: один курсант, — но и без него можно жить, был бы хлеб, красный товар да керосин. А то говорим об электричестве, а керосину не достанешь, хоть лучину зажигай.

— С хлебом и красным товаром и при лучине жить можно, мужик к этому привык.

Разгорелся спор, все стали выступать, не прося слова, перебивая друг друга.

— Лучину мы знаем, это наша бедность, а электрификация — это огонь по бедности и по всем врагам советской власти.

— А где возьмешь капиталы на электрификацию? Нэпман не даст, а у рабочих, сами знаете, шиш в кармане. Остается мужик. А у него карман тоже дырявый, придется увеличить продналог, а может, и продразверстку ввести снова, все брать у мужика под метелку.

Не думал я, что у кого-нибудь из курсантов могут возникнуть такие сомнения, не подготовился к этому и не знал, что ответить, но, на мое счастье, один из курсантов, Нечинасов, как бы в ответ маловаерам заявил о своем желании вступить в партию, чтобы бороться с буржуями, которые будут нам на костылях, и собрание закончилось на этом дружными аплодисментами.

С целью изучения жизни и настроения командного состава политотдел дивизии предложил нам заполнить анкету со следующими вопросами: квартирные условия, состав семьи и средства для жизни, как проводите время вне службы, что читаете, является ли служба в армии вашей профессией.

— Пишите правду и только правду, это очень важно,— предупредили нас.

Анкета была анонимной, но командиры взводов заполняли ее вместе, считая, что у них не должно быть секретов друг от друга. За ротным канцелярским столом началась настоящая конференция. Главенствовал на ней Валежников.

— Вот мой ответ на вопрос, в каком дворце живу,—весело разглагольствовал он.— Живу в казарме, сплю на деревянном топчане. Вместо стола — подоконник. Почему не живу на частной квартире? Потому что не хочу беспокоиться насчет дров и освещения.

— «Живу на частной квартире,— читал Лисин,— в маленькой комнате. Хозяин дал стол, кровать и табуретку, ребята спяг на столе. Очень холодно, трудно достать дрова, освещение — керосин или свечи».

— Нашли чем хвастать,— стыдил Потанин своих товарищей.— Я вот живу, как подобает жить командиру: в чистой, теплой, уютной комнате с отличной мебелью. Хозяин квартиры, нэпман, заискивает передо мной.

— Нашел чем похвалиться!

— Не волнуйтесь. Своему нэпману потачки я не даю. Он человек случайный в нашем обществе.

— На второй вопрос,— продолжал Валежников,— отвечаю так: живу, яко перст, один, не женат.

— «Моя семья: жена, двое ребят и мать,— читал Лисин.— Мать живет в деревне, ко мне просится, но взять не могу — жить негде и с питанием трудно».

— «Живу один,— диктовал себе Потанин,— жениться не собираюсь, не хочу обременять службу житейскими делами».

— Самое тяжелое — быт зафиксирован, ответим о культуре,— скомандовал Валежников и, заполняя анкету, читал вслух: — «Хожу в гарнизонный клуб, играю на балалайке, читаю рекомендованную литературу, посещаю кружок по изучению математики».

— «Сижу дома,— продолжал Лисин,— к товарищам не хожу, и ко мне никто не ходит, этому причина — нет свободного времени, да и обстановка убогая».

— «В театры и в кино редко хожу,— писал Потанин,— любовь, ревность, обман и разные душщипательные драмы меня не интересуют. Люблю читать военно-историческую литературу, мечтаю об академии».

— Самый трудный вопрос,— объявил Валежников,— остаемся ли служить в Красной Армии на всю жизнь?

После окончания гражданской войны демобилизация нас не коснулась — по годам срок службы не вышел. А теперь мы отслужили свой срок, и можно было уже подавать рапорт о демобилизации. Некоторые наши однолетки уже подали, другие собирались подать, плакались, что при нэпе трудно стало командному составу: жалование маленькое и выдают его с опозданием на два-три месяца, когда на эти деньги уже ничего не купишь — цену потеряли.

— Ну так как, товарищи, решаете? — вопрошал Валежников.

Я твердо решил остаться в армии, но все же поставленный в анкете вопрос: «Является ли служба в армии вашей профессией?» — заставил меня задуматься. Задумались и Лисин и Валежников. Не считали мы тогда военную службу своей постоянной профессией. Думали, послушим в армии во мировой революции, а после нее — конец всем войнам и всем армиям.

Один Потанин, минутки не раздумывая, написал и прочел с пафосом:

— «Без армии нет жизни для меня; мой дом — казарма и поля сражений».

Но у него была та жилка, которая, как он считал, не у каждого есть, а нам, Валежникову, Лисину и мне, пришлось подумать, прежде чем окончательно решить, что останемся в армии на всю жизнь.

— Понимаете, какая штука,— рассуждал вслух Валежников,— соблазнительно вернуться на завод — комнату обещают,— и невеста ждет, но неудобно уходить из армии — надо же кому-то служить.— И наконец, сбросив с себя груз сомнений, он решительно сел за стол, взял ручку, обмакнул перо в чернила и объявил: — В Красной Армии остаюсь на всю жизнь. Так велит партия.

Лисин и я ответили на анкетный вопрос теми же словами, а потом, как предложил Валежников, встали и закрепили свои слова громкой клятвой. И сейчас этот будничнейший день я вспоминаю, как праздник.

Нам с Трофимовым выдали хлопчатобумажные костюмы. Мы, как и весь комсостав школы, были теперь в новом обмундировании. От старой красноармейской формы остались только ботинки с обмотками. Хотелось поскорее расстаться с ними, и мы решили, что будем экономить на всем, пока не купим крой на сапоги. Долго экономили, не ходили ни в театр, ни в кино, копили деньги, сначала на вытяжки, потом на подошвы, подклейки, стельки и на остальной набор. Наконец-то цель достигнута: сапожник сшил нам ладные, так хорошо пахнувшие кожей хромовые сапоги. Мы тут же, у него в мастерской, переобулись. Выйдя на улицу, то и дело отставали друг от друга, чтобы посмотреть, как выглядим в своей новой обуви.

День был воскресный, но мы пошли не домой, а в казарму, в свои роты,— не терпелось показаться там в сапогах.

Несколько курсантов, стоявших у классной доски, о чем-то спорили. Один из них подошел ко мне.

— Решали задачу: одна седьмая плюс одна двенадцатая, но по ответу не сходится; может, вы, товарищ политрук, найдете нашу ошибку.

Сразу же померк свет дня, стыдно стало — щеголяю в хромовых сапогах, а дробей не знаю, тайна за семью печатями для меня.

Много неприятных минут пережил я из-за дробей и процентов: и на стрельбище, когда подымался спор о процентах попадания, и в поле на глазомерной съемке, когда заходила речь о масштабах, я быстренько уходил в сторону, чтобы не выдать своего невежества.

Трофимов тоже плохо разбирался в дробях и процентах. Давно собирались мы с ним заняться математикой, но никак не могли выкроить на нее время. На этот раз Трофимов решительно сказал:

— Придется нам идти с тобой на поклон к нашим генералам.

Были у нас такие. Мы услышали о них от Кукановой сразу же, как приехали в Житомир. «В школе есть два бывших царских генерала, большой и маленький, по совместительству заведуют командирской столовой,— идите к ним, они вас оформят на довольствие»,— сказала она.

Мы пошли в столовую, и там Трофимов спросил:

— Где у вас тут обитают генералы?

— Вон комната,— показала девушка на дверь с надписью: «Коллегия столовой».

В маленькой комнате за столом сидели друг прогив друга два толстых военных человека — большой толстый и маленький худой. На столе — бутылка, тарелки с закуской и пепельница с окурками. Один из сидевших за столом «коллег» держал рюмку и, не обращая на нас никакого внимания, говорил что-то своему собутыльнику.

На наше покашливание он обернулся и сказал:

— Не мешайте, у нас семейное торжество — пятидесятилетний юбилей товарища Карпенко. — А потом, внимательно посмотрев на нас, сказал вдруг: — Садитесь-ка с нами и поздравьте Владимира Николаевича с юбилеем. Пусть в этот день за столом прозвучит слово молодых! — Он подошел к висевшему на стене шкафчику, открыл его, достал две рюмки и наполнил их.

— Спасибо, но пить не будем, нам нельзя — мы политруки, — сказал Трофимов.

— Окажите нам честь, — не унимался большой, — с генералами, хотя и бывшими, политрукам выпить не зазорно.

Трофимов взял рюмку.

— Будьте здоровы, желаю вам успехов, многих лет жизни и работы в Красной Армии не за страх, а за совесть.

— Люблю за прямотой, — похвалил его большой, — но страху у нас давно уже нет, дорогой товарищ, нам никто не угрожает.

Так невзначай завязалось у нас знакомство с этими бывшими генералами, Масловым и Карпенко. Как потом оказалось, маленький Карпенко по совместительству не только хозяйничал в столовой, но и давал уроки математики командирам, готовившимся в военные школы.

— Язык у вас подвешен бойко, а алгебры, наверное, и не нюхали? — спросил он у Трофимова.

— С вашей помощью, может быть, и понюхаем, — сказал Трофимов.

— Ну что ж, приходите, помогу, — ответил юбиляр.

И вот мы пришли к маленькому генералу, объявили ему, что хотим заниматься алгеброй, но прежде всего нам надо одолеть дроби.

— Ну что ж, — сказал он, — попутно одолеем и дроби.

Три раза в неделю ходили мы к Карпенко на уроки и дома каждый день вечером постигали загадочные иксы, игреки и зеты, вслух, как стихи, заучивали формулы и были страшно горды этим — не что-нибудь, а алгебру изучаем!

Однажды к нам на занятия пришел Маслов.

— Ну, как успехи, товарищи скубенты? — спросил он, будучи уже навеселе.

Мы сказали, что вот с помощью Владимира Николаевича осиливаем алгебру, спасибо ему за это.

— Из «спасибо» шубу не сошьешь, каждый труд должен оплачиваться, — укорил нас Маслов.

И хотя Карпенко просил Маслова прекратить разговор о деньгах, Трофимов после занятия сказал мне:

— Маслов прав, надо как-то расплатиться с Карпенко.

Мы долго обсуждали, где взять деньги, и решили, что загоним сапоги, — походим еще в обмотках, не привыкать.

Грустно было расставаться с новенькими сапогами, на которые мы так долго копили деньги, но ничего не поделаешь — за учебу надо платить.

— Молодцы, правильно решили задачу с одним неизвестным, — одобрил нас Маслов, когда мы попросили его передать Карпенко деньги, вырученные нашей квартирной хозяйкой на толкучке за сапоги.

Из дневника

Переселились в лагерь. Школа прошла по городу под веселый марш оркестра. Идя в строю рядом с Лунцовым, я споткнулся на какой-то неровности и сбился с ноги.

— Не срамите роту, возьмите ногу под музыку!— презрительно заметил Лунцов.

Обозлившись, я ответил:

— Сами не споткнитесь, поддерживать больше не буду.

На первомайском параде, когда наша рота шла мимо трибуны, Лунцов тоже на чем-то споткнулся, и я едва удержал его. Не стоило напоминать ему об этом — он ничего не сказал, но густо покраснел и прикусил губу.

Переправились на правый берег реки Тетерев, и перед нами вырос в сосновом бору дачный поселок — лагерь школы. Наша рота разместилась в большой даче из восьми комнат, с двумя верандами. Железная крыша дачи, украшенная четырьмя стеклянными куполами, ярко блестит на солнце.

Всем нравится новое жилье, только Потанин ходит с недовольным видом.

— Это жилье для старых барынь, а не для солдат,— говорит он.

Может, он и прав, но у нас нет палаток, и приходится жить под крышами барских дач.

Вчера было собрание комячейки школы. Военком сообщил, что к нам приедет замначпура Киевского военного округа. Сегодня на утреннем осмотре Лунцов выкинул новый трюк — приказал курсантам убрать помещение, разуться и ждать замначпура босиком, но в обмотках. Меня это возмутило, и я сказал ему:

— У всех курсантов есть ботинки, зачем вы хотите показывать их босиком?

— Ботинки старые, драные, а курсанты должны ходить в новеньких, как было раньше в учебных командах.

— Как будто замначпура увидит босиком наших курсантов и сейчас же вытащит из своего кармана каждому по паре ботинок,— сказал я Лунцову.

Из ответа его я понял, что эту «идею» подсказал ему начальник школы. Это удивило меня еще больше.

По случаю приезда начальства обед был обильный: сало, мясной борщ, мясо с макаронами, по куску белого хлеба, а черного — ешь, сколько хочешь. Что же это такое? В Поволжье народ с голоду умирает, а мы ради приезда большого начальника съели несколько сот фунтов лишнего хлеба!

Замначпура присхал после обеда. Вся школа собралась на большой полянке. Он сделал доклад о Генуэзской конференции.

— В Генуе нас хотели принудить реставрировать капитализм, а мы прорвали фронт империалистической дипломатии и заключили с Германней Раппальский договор,— говорил он, высоко взмахивая рукой, и почему-то смотрел не на людей, а на небо, как будто что-то заметил там.

Сытный обед в честь приезда замначпура обернулся против нас. В эти дни с нас удерживают съеденный хлеб, и мы сидим полуголодные. Сегодня Трофимов долго уговаривал Литвака, технического секретаря комячейки, взять в долг из партвзносов на бутылку молока.

Литвак упирался, но потом принес конверт с партийной кассой и отсчитал из него на одну бутылку молока на троих. Трофимов, выпив

свою порцию, стал просить Литвака одолжить до завтра на вторую бутылку.

Они долго пререкались. Трофимов шутил, а Литвак по-настоящему сердился. В конце концов он уступил, и мы распили вторую бутылку молока, а потом втроем пошли на реку, взяли лодку и до позднего вечера катались. Рыбаки сердились, ругали нас, что мы пугаем рыбу. На школьной полянке горел костер. Около него сидели голодные курсанты и жарили собранные днем какие-то неизвестные для меня ранее грибы.

Начальник школы на совещании командного и политического состава объявил:

— У курсантов школы появилось резкое малокровие на почве большой учебной нагрузки и плохого питания. Пока отчисляем из своего пайка голодающим Поволжья и подшефному детскому дому, улучшить питание нет возможности, и мы с военкомом решили направить курсантов в деревню попитаться у крестьян. Завтра выступят вторая, третья и пятая роты, они пробудут в деревнях семь-восемь дней, а затем пойдут другие.

Лунцов шумит, кипит, возмущается:

— Мы потеряем неделю учебного времени, да и дисциплина упадет.

— Почему она должна упасть?— сказал я.

— Вы не политрук, а младенец,— ответил он.— Вот разойдутся курсанты по селу да натворят разных безобразий — и тогда поймете.

За курсантов я не боюсь. Меня беспокоит только, что мы идем по-прошайничать.

От села к селу шла наша рота в течение недели очень красивыми местами — широкая степь, дубовые рощи, тихие речки, паровые поля, зеленая рожь. На дневках объедались с голодухи борщами, салом, выпивали по крынке молока, а если случалось, что предлагали чарочку самогона, деликатно отказывались, как это было строго наказано комиссаром. По вечерам танцевали, пели песни под гармонь, вели беседы и споры с мужиками. Главный вопрос о земле — навсегда ли отдадут землю тем, кто пашет и удобряет ее? Некоторые спрашивали, почему у кулаков не отбирают большие дома и не отдают их беднякам. Были и подковыристые вопросы, и тогда все курсанты дружно приходили на помощь мне. Чтоб нас не сочли за попрошаек, пришлось и поработать. В одном селе отремонтировали разбитое крыльцо школы, две рамы, поправили дымоход, оштукатурили печку, в другом селе наложили несколько заплат на соломенные крыши бедняков.

Я больше всего рад, что во время похода мне ни разу не пришлось вступать в пререкания с Лунцовым. Сначала, когда крестьяне задавали вопросы, он пытался сам отвечать на них, но потом стал всех отсылать ко мне:

— Спрашивайте политрука, он лучше меня объяснит вам.

Прихожу домой и вижу, что Трофимов сидит за столом над топографической картой-верстовкой.

— Вот,— говорит,— изучаю условные знаки. Прямые линии — дороги, крест — церковь, прямоугольники — деревни. Кажется, все просто и ясно, а когда не знаешь, смотришь на карту, как баран на новые ворота.

Все мы, политруки, засели за карты, решаем тактические задачи. Военком организовал для нас десятидневные занятия по военным предметам. Лекции читают бывшие генералы Маслов и Карпенко, с которым мы расплатились за учебу своими сапогами.

Досадно все же, что пришлось с ними расстаться; обещают отпуск,

скоро поеду к себе в деревню — парни будут смеяться: «Из дому уехал в сапогах, а из армии вернулся в обмотках». Глаше стыдно будет на глаза показаться. Что отец ее скажет?

Сегодня, решая тактическую задачу «Действие стрелкового батальона в сторожевом охранении» и нанося местность на кроки, ходил я по полю, глядел, как колышутся и переливаются тучные хлеба, и все не мог отогнать от себя мысли о своей родной деревне. Прошел пассажирский поезд, кто-то помахал мне рукой из окна, и я подумал, что скоро тоже сяду на поезд, доеду до станции Няндомы и оттуда потопаю домой пешком — вот обрадуется-то мать, третий год ждет. На железной дороге работали девушки. Одна из них крикнула мне: «Чего один ходишь, иди до нас, веселее будет!» — и я стал думать о Глаше, как-то она встретит меня. Потом, искупавшись в Тетереве, посмотрел на свои кроки и пришел в ужас — грязная, измятая бумажка, как я покажу ее генералу? Маслов посмеивается надо мной, говорит:

— Это вам не политграмота, тут работа тонкая, соображать надо.

Мы с Трофимовым ехали уже в поезде, а мне все еще не верилось, что получил отпуск и через несколько дней увижу свое милое Терехово.

На станциях и полустанках бродило много беспризорных ребят. Грязные, босые, в лохмотьях, подходили они к вагонам, просили хлеба, табаку.

В Конотопе один беспризорник на ходу поезда уцепился за дверь нашей теплушки. Мы втащили его в вагон. Он забился в угол и, как заправленный зверек, сердито смотрел на пассажиров.

— Куда, старина, путь держишь? — спросил его Трофимов.

Он ничего не ответил.

— Да ты не бойся, из вагона мы тебя не выслем, только скажи, куда едешь, чтоб станции твоей не проспать.

Он все молчал. Мы дали ему хлеба, яйцо. Он с жадностью схватил и быстро съел, но и после этого ни на один вопрос не отвечал — то ли не хотел, то ли глухонемой был. Около трех суток ехали мы до Москвы, и он всю дорогу слова не преронил. Дашь кусок хлеба — схватит и забьется в угол. Подъезжая к Москве, мы не заметили, как он спрыгнул на ходу.

С Трофимовым я расстался на Ярославском вокзале. Мне нужно было ехать архангельским поездом, а ему ярославским, уходящим раньше. На прощанье напились чаю, разделили продукты.

— Первый раз делимся, — сказал он.

На станции Няндомы я сошел с поезда вместе со встретившимся в пути земляком, который тоже возвращался из армии. Восемьдесят пять километров мы шли с ним пешком лесной каргопольской дорогой. Как и раньше, редко кто проедет тут на телеге — медвежий край. Только к концу второго дня дорога вывела нас из лесов на берег красавицы Онеги, разукрашенной множеством цветных куполов древних церквей Каргополя. От города надо было ехать сорок километров озером Лача, которое всегда напоминало мне об утонувшем в нем дедушке Федоре. Пароход не ходил, и мы поехали с попутчиками на большой парусной лодке. Ветер быстро гнал ее по бурному озеру, свинцовые волны с белыми гребнями хлестали об лодку, обливая нас с ног до головы. Один беспокойный пассажир, уцепившись за борт, то и дело с ужасом кричал рулевому:

— Кум, кум, держи!

Много людей тут тонуло, но мы благополучно пересекли открытое озеро, вошли в тростню, где волны уменьшились, а затем въехали в

устье речки Пилемки, быть может, самой маленькой на всем белом свете, никому не известной, но самой дорогой и милой мне.

Мои спутники разошлись по своим деревням. Мне надо было идти дальше всех по родной земле нашей глухой волости. Моросил мелкий теплый дождичек. Когда я подошел к своей деревне, у въезда в которую на покосившемся столбе когда-то висела доска с надписью: «Деревня Терехово, одиннадцать дворов, тринадцать ревизских душ», уже стемнело. Издали увидел я свет огонька в нашей избе, наверно, зажженный рукой матери. С сильно забившимся сердцем я постучал в дверь и услышал ее голос:

— Кто там?

— Мама! — В горле комок, а из глаз текут слезы.

Радость обмывалась слезами. Объятиям и восклицаниям не было конца.

В деревне все то же, что было, — те же поля, те же постройки, та же дорога и знакомые тропинки, только лес отодвинулся немного дальше. А в нашей семье я узнал две новости. Мой старший брат Александр, в позапрошлом году вернувшийся из Красной Армии, недавно избран председателем волисполкома. Он возвращается домой поздно вечером, принося с собой папку с бумагами, сейчас же садится за стол и начинает разбирать их.

— В исполкоме не успеваю, постоянно люди и уйма всяких дел, — пожаловался он.

Ему трудно. Он окончил только два класса сельской школы, летом ходил на отхожие заработки, а зимой работал у портного в учениках. Шесть зим длилось обучение, пока отец не купил для него в рассрочку швейную машину «Зингер», и тогда брат стал портняжничать дома.

Второй новостью было то, что моя сестра Шура, недавно окончившая ликбез, вступила в комсомол и помогла продотряду найти припрятанный кулаками хлеб.

— Жалко было продотрядцев, — рассказывала она, выйдя со мной в поле показать, где сейчас, после передела, отведена нам земля. — Целыми днями ходят по деревне, но мало что находят. А тут еще наш комсомольский секретарь говорит: «Советская власть голодает, у товарища Ленина обмороки от недоедания». Ну, я и не выдержала, сказала, что видела, как люди тайком таскали ночью хлеб в часовню.

Стояли мы посреди поля, где я с покойным отцом пахал землю, сеял рожь, лен, овес, ячмень, и Шура жаловалась мне, что много еще темноты в деревне, — недавно сама ходила на ликбез как на принудилровку.

Далеко от нашей волости не было ни заводов, ни фабрик. Бескрайние леса, озера, реки и болота. Все большое, огромное, только деревни нашей волости маленькие, с высокими избами. За избами на задворках — бани, около дорог — гумна. Редко у кого перед домом посажена рябина, черемуха или одинокая береза. Дома не огорожены. У нас в Хотеновской волости люди боялись только волков, которые частенько забегали в деревни, особенно зимой, да разной нечистой силы, паводнявшей дворы, гумна и бани. Люди жили открыто, на виду друг у друга. Все знали, у кого радость, у кого горе, кто кого любит, кто кого ненавидит, кто на ком должен жениться, кто за кого пойдет замуж. Как и во всем мире, богатые женились на богатых, бедные на бедных. Имущество главенствовало во всем.

Так было до революции. Что же изменилось в деревне теперь? Земля переделана по едокам, но зажиточные живут зажиточно, середняки — середняками, а бедняки — бедняками.

Осталось имущественное различие и между нашим хозяйством и хозяйством родителей Глаши.

Деревни, мимо которых я шел к ней вечером, после собрания в волюсти, на которое затащил меня брат, были окутаны легким туманом и казались большими причудливыми кораблями, плавающими в темноте, то появляясь, то снова исчезая. То тут, то там плескались песни, играли гармошки, лаяли собаки. Раньше я легко узнавал по слуху не только в какой деревне поют песни, но и кто играет на гармошке, чей голос запекает. Я вспомнил одну из любимых частушек Глаши:

Ты не лай, не лай, собачка,
Подоконна лаечка,
Дай повслушать, собачка,
Чья поет тальяночка.

Теперь я не узнавал ни голосов, поющих песни, ни гармонистов — чужим уже стал здесь, и от этого было грустно.

Вот и деревня Глаши. Глупое мое сердце радуется предстоящей встрече с ней и тревожится, что наша встреча может быть последней. Словно во сне приближался я к освещенным окнам Глашиной избы. Вдруг меня кто-то взял под руку. В темноте я не сразу узнал Аннушку, подружку Глаши. Она, видимо, поджидала меня тут.

— Прозеваешь Глашу, уйдет она за другого, — сказала Аннушка.

Во мне словно оборвалось что-то, разбилось, замерло. Я стоял и бессмысленно смотрел в темноту. Аннушка подтолкнула меня:

— Иди, иди же, она ждет тебя.

Я вошел в избу, молча поздоровался со всеми за руку, не глядя никому в глаза, чуть коснулся мягкой дрожавшей ладони Глаши. Мать ее первой нарушила общее молчание.

— Живые приходят, а наш Николаюшко сложил свою головушку и никогда не воротится, — запричитала она.

— Глафира, поставь самовар, — приказал отец.

Глаша молча взяла самовар и вышла в сени. Затем она вернулась, взяла лампу и снова вышла. Мы остались в избе, освещенной светом висевшей под образами лампы. По дороге я много думал о том, что сказать Глаше и ее родителям. Теперь же вдруг вылетели все приготовленные слова, и я в отчаянии выпалил:

— Отдайте за меня Глашу.

Отец и мать молчали. Слышно было, как в сенях Глаша наливала воду в самовар.

— Что же сам пришел сватать дочь? — спросил наконец отец. — У хороших людей сватать приходят родители или же дядья, а не сам жених.

— Теперь все по-новому, может, мать-то и не знает, что сын хочет жениться, — укоризненно заметила мать Глаши.

— Обожди, — перебил ее муж. — Сначала спросим о главном. Скажи, где будешь жить, в деревне или в городе?

— Служу в армии, и жить придется в городе, — ответил я.

— Тогда и невесту в городе себе ищи. Наша Глаша тебе не пара.

— Я люблю Глашу.

— Зачем она тебе в городе, где у тебя ни дома, ни лома? Глашка, кроме деревенской работы, ничего не умеет.

— Она у нас одна. Коленку на войне убили. В город мы ее к самому царю не пустим, не только к вам, — заголосила мать.

— Знаю, нашей девке ты по сердцу, оставайся в деревне — отдадим за тебя, — сказал отец.

— И венчаться в церкви, как положено у православных, — добавила мать.

В избу вошла Глаша с лампой, молча поставила ее на стол и ушла в темный угол.

— Жених сватает тебя, хочет в город увезти, барыней сделать, говори, согласна ли? — спросил отец Глашу.

— Ваша воля, как решите, так и будет.

Долго продолжался наш разговор. Я говорил, что не могу уйти из армии и, как коммунист, не могу венчаться в церкви, а родители Глаши твердили одно: хочешь жениться на нашей дочери — уходи из армии и венчайся. Не можешь жить в деревне — ищи себе жену в городе. И когда отец еще раз спросил, что скажет Глаша, она тихо, но твердо ответила:

— В город не поеду.

Всю ночь бродил я по полям, злился и на Глашу и на себя, на свою беспомощность, строил разные планы, но все они тут же разлетались. На утренней заре промокшие от росы ноги сами привели меня на заросшую травой могилу отца. Стоя у почерневшего креста, я еще раз подтвердил свое решение остаться в армии на всю жизнь и через день или два, еще задолго до окончания отпуска, на горе матери и к огорчению своих родных, отправился в обратный путь, чтоб скорее забыть о Глаше.

Мне было до слез жаль свою мать и свою деревню, с которой, мне казалось, я прощаюсь теперь навсегда, казалось, но...

Прошло немного времени. Вскоре после возвращения из отпуска я получил отрез сукна на шинель. Старик портной, снимая с меня мерку, спросил, как шить шинель — посвободнее или потуже. Я не знал этих тонкостей и поставил только одно неперемное условие, очень удивившее портного:

— Шейте шинель без разреза сзади.

В детстве я видел у старого солдата армяк, сшитый из шинели. Сзади у него был большой шов, портивший армяк, — след разреза шинели. Поэтому-то я и хотел избавиться от разреза: а вдруг придется перешивать шинель на армяк?

Мысль об этом еще не раз приходила мне в голову, особенно после того, как в связи с военной реформой началось сокращение армии и меня могли демобилизовать в любой момент.

Закончился учебный год в нашей дивизионной школе. На выпускном вечере, когда после концерта начались танцы, ко мне подошел Лунцов, так же, как и я, не умевший танцевать.

— Им вот весело, ноги не стоят на месте, кто не умеет, и тот танцует, — сказал он с удивившей меня, совсем несвойственной ему грустью и заговорил о том, что вот вкладываешь в людей душу, а вспомнят ли они о тебе добрым словом, не знаешь. Может быть, смеяться будут, рассказывать о тебе анекдоты.

Когда оркестр заиграл «русского», курсанты все до одного пошли в пляс.

— Ишь какие умельцы! — глядя на пляску, сказал Лунцов. — А спроси, кто их научил этому танцу, — не ответят, плечами только пожмут. — Помолчав, он заговорил о предстоящем наборе новых курсантов и вздохнул: — Снова все сначала начнется, и так всю жизнь.

Не пришлось нам с Лунцовым набирать в роту новых курсантов — был объявлен приказ о реорганизации школы: вместо рот оставались взводы, наши должности сокращались.

Лунцов получил направление на курсы усовершенствования, Валежникова, Лисина и Потанина назначили в территориальную дивизию, а нас с Трофимовым — в разные полки своей дивизии.

Несмотря на все неприятности, которые мне пришлось перенести, работая вместе с Лунцовым в роте, расставаться с ним мне было так же жаль, как и с другими товарищами. Все-таки я многому научился у Лунцова и понял, что служба в армии была для него выше всего. Когда он уезжал в Москву, я пошел проводить его на поезд, хотя все его имущество состояло из одного старенького чемоданчика и небольшой связки книг.

— Прости, политрук. Я часто был несправедлив к тебе, — сказал он, прощаясь, и неожиданно для меня обнял, чмокнул в щеку, отвернулся и быстро вошел в вагон.

Пошел четвертый год, как меня призвали в Красную Армию. Позади — запасной полк, война с белополяками и петлюровцами, пулеметная команда и команда пеших разведчиков, политкурсы и год службы политруком в дивизионной школе. Впереди — 130-й Богунский полк.

Уложив свой скарб в плетеную корзинку и распростившись с товарищами, я пешком направился к месту своей новой службы. Да, все опять придется начинать сначала, как сказал Лунцов, думал я, шагая жарким, душным днем по Новоград-Волынскому шоссе. Выйдя на окраину Житомира, я поставил корзинку на землю и долго смотрел на оставшуюся позади огромную расстилающуюся массу города. Еще не так давно он был чужой, пугавший меня, а сейчас стал своим, словно я прожил в нем долгие годы. Что-то ждет меня на новом месте службы? Опять неизвестность пугала, холодила сердце, хотя пора было бы уже привыкнуть к неизбежной для военного человека перемене места.

На окраине города шоссе круто повернуло влево, резко опустилось вниз к речке Каменке и, прорезая большой сосновый бор, уходило на Новоград-Волынский. Правее шоссе на берегу Каменки стоял военный городок Врангелевка — старые казармы, в которых разместился 130-й Богунский полк, мое новое место службы.

Некоторые из этих казарм во время гражданской войны сгорели, другие были разрушены — долго стояли без окон, дверей, печей, с выломанными полами, — и только недавно, когда Красная Армия стала переходить на казарменное положение, их восстановили.

Дневальный, стоявший у ворот городка, показал мне, как пройти в штаб полка. В штабе на одной из дверей висела надпись: «Военком». Я открыл эту дверь и, оторопев, увидел человека с длинными светлыми волосами, гладко зачесанными назад, — так похож он показался на одного моего боевого товарища, обучавшего меня на фронте пулеметному делу. Я готов был уже кинуться к нему с распростертыми объятиями, но, заметив у него во рту два золотых зуба, как-то сразу понял, что обознался. Военком, вероятно, догадался, отчего я пришел в смятение. Когда я, придя в себя, представился ему, он поднялся из-за стола и, подавая мне руку, сказал с улыбкой:

— Вот теперь будем знакомы — Тодулевич Казимир Иванович. Садитесь и расскажите о себе.

Выслушав меня, Тодулевич заторопился — он должен был ехать в город на совещание к комдиву. Вызвав дежурного по штабу, комиссар приказал ему проводить меня на квартиру, а мне велел завтра утром зайти за назначением.

— Пока присмотритесь к обстановке, — сказал он.

Дежурный привел меня на квартиру, состоящую из двух комнат, одну из которых занимал ответственный пропагандист полка Бахмаров. Другая, предназначенная мне, пустовала. Тут стоял только топчан с валиком и табуретка. Сунув под топчан свою корзинку, я пошел осматривать военный городок. Прошелся по улице, поглядел на казармы, дома

комсосгава, клуб, помещавшийся в бывшем офицерском собрании, околоток, полковую кухню, конюшни и складские помещения, побывал в тире и на речке. Обстановка оказалась много беднее, чем в дивизионной школе, но мне понравилось то, что тут не слышно шума городских улиц, нет посторонних зевак, что никто не отвлекает людей от занятий. Особенно понравилась речка, в которой кавалеристы поили и мыли лошадей.

Вечером, вернувшись к себе на квартиру, я познакомился со своим соседом Бахмаровым. Это был рослый, очень подвижной и громкоголосый человек с сократовским лбом. Мы сидели с ним в его комнате, он курил сигарку за сигаркой и, энергично жестикулируя, рассказывал мне, какой у них в полку собрался боевой и дружный народ: и командир полка, и комиссар, и командиры батальонов, рот, и большинство командиров взводов — участники гражданской войны, соратники Щорса и Дубового.

На улице прозвучал сигнал вечерней поверки, прогремели команды, прошел гомон переключки, сыграли отбой, гарнизон затих, только за стеной играл граммофон и чей-то женский голос надрывно пел:

Любила меня мать, обожала,
А я, ненаглядная дочь,
За милым дружком убежала
В осеннюю темную ночь.

А Бахмаров рассказывал мне о своих однополчанах-богунцах, громивших на Украине немецких оккупантов, петлюровцев, деникинцев и белополяков.

— Повезло, брат, тебе, что к нам в полк попал, с богунцами не пропадешь, высоко свое знамя держат,— говорил он, пуская мне в лицо клубы едкого дыма.

На другой день Тодулевич спросил меня:

— Познакомился с обстановкой?

Я сказал, что познакомился.

В это время в открытое окно ворвалась веселая песня:

Вдоль да по речке,
Вдоль да по Казанке
Серый селезень плывет.

Тодулевич подошел к окну.

— Вот ваша рота идет. Командир роты — Замировский, любит службу, с огоньком работает,— сказал он.

Но случилось так, что я недолго прослужил политруком в этой роте. Когда наступили осенние холода, зашел как-то вечером ко мне комиссар полка, сел на табуретку, зябко поежился, посмотрел на мой топчан и спросил:

— Одеяла нет?

— Нету,— ответил я.

— Плохо. Надо обзавестись, временно возьмите на складе.

— Не у всех красноармейцев есть одеяло, неудобно просить.

— Знаю, что еще некоторые укрываются шинелями, но в казарме теплее, чем здесь.— Он вырвал листок, написал записку и сказал: — Завтра же получите.

Признаюсь, что у меня чуть не навернулись слезы на глазах. Вспомнились детские годы, когда я ходил в школу за две версты от нашей деревни. Зимний день на Севере короткий, занятия кончатся — темно уже. На улице бушевала пурга. Сильный ветер сбивал с ног. Дорогу замело, и я то и дело проваливался в глубокий снег. Добрался до дому едва живой. Не хотелось ни есть, ни пить; раздевшись, я свернулся калачиком и сразу уснул.

— Спит, жару нет,— услышал я голос матери, укрывавшей меня дубленой шубой, а потом чей-то другой, будто знакомый, но не узнаю:

— Не заметил, как он ушел из школы, выбежал на улицу — нет уже его. В такую погоду и взрослому идти опасно. Взял у Степана Катаева лошадь и поехал. Надо, думаю, проверить, пришел ли Миша домой.

Потом я узнал этот голос: так это же наш учитель, Александр Трифонович! И мне стало так хорошо, радостно, что я лежу укрытый теплой шубой и что учитель сидит у нас в избе. «Вот полежу еще немного, встану и буду решать задачи»,— подумал я.

Мог ли Тодулевич догадаться, что и сейчас, когда он дал мне записку на одеяло, у меня стало на душе так же тепло, как тогда в детстве.

На подоконнике лежало несколько книг, рекомендованных мне в Житомире нашими преподавателями по военным предметам. Комиссар взял одну, другую, полистал и, положив обратно аккуратной стопочкой, спросил:

— Самообразованием занимаетесь? Это хорошо. Может быть, в военную школу готовитесь?

— Хотелось бы,— признался я в своей тайной мечте.

— Что ж, желание законное,— сказал он.— Только сначала вам надо взводом покомандовать.

Прошло несколько дней, и я был назначен командиром взвода. Назначение это и обрадовало и испугало: справлюсь ли?

Ротой командовал Канонихин — низкорослый, остриженный под машинку человек с изъеденным оспой лицом и монгольским разрезом глаз, отличавшийся поразительной неряшливостью: гимнастерка и брюки всегда засаленные, сапоги нечищенные, фуражка сплюснута блином. Командование постоянно журило его за это, товарищи подсмеивались, а он говорил:

— Грязное обмундирование земли не боится.

Он был ветераном полка, и ему многое пришлось за храбрость на войне и за старательность в учении. Он учился на вечернем рабфаке, ежедневно в любую погоду после занятий в роте ходил пешком в город — десять километров туда и назад. На приготовление уроков ловил каждую свободную минуту, даже на совещаниях и в столовой сидел, уткнувшись в книгу. В полку считалось, что учиться на рабфаке — дело такое ответственное, что его можно сравнить только с выполнением боевого задания, и Канонихин не щадил себя, ожесточенно грызя гранит науки.

Когда я явился к нему в роту, он сидел за столом в канцелярии и решал какую-то задачу. Я представился. Он был явно недоволен, что ему помешали, взглянул на меня колючим взглядом, молча достал из ящика стола книгу со списком роты и, подавая ее, сказал:

— Будете командовать третьим взводом, перепишите своих людей, а расписание занятий висит на стенке,— и снова углубился в решение задачи.

Рота была в карауле. Я вошел в пустую казарму, в левом углу которой размещался мой взвод. Сплошные нары, занимаемые им, были застланы тюфяками, набитыми соломой, в изголовьях лежали засаленные подушки. Постели выглядели неодинаково: одни тюфяки аккуратно уложены, а другие заправлены так, будто их хозяева ушли по тревоге. Солома в тюфяках перемолота, под нарами — белесый слой соломенной пыли.

Не порадовала меня и пирамида. Наклеенные рядом с гнездами винтовок ярлычки с фамилиями красноармейцев были затерты и замазаны маслом.

Вечером я был на совещании комсостава полка, слушал речи и не

понимал, о чем говорят, так как все время думал о своем взводе — с чего мне начать разговор с ним?

Совешание кончилось поздно. Я стремглав побежал в казармы. Красноармейцы уже спали, укрывшись своими шинелями. Одни свернулись калачиком, натянув полы шинели на головы, у других из-под шинели торчали грязные ноги. У одного красноармейца шинель сползла на пол. Спинай он плотно прижался к своему соседу по нарам, коленки подтянул к животу, а подбородок — к груди. Наверно, ему было холодно. Я поднял с пола шинель и укрыл его. Он открыл глаза, сонно взглянул на меня и снова уснул.

В пирамиде все винтовки были наспех и густо смазаны. По граням штыков, по дульным накладкам, по затворам и прикладам текли желтые капли ружейного масла. Цифры на прицельных рамках покрыты волокнами ветоши. Стволы винтовок смазаны еще гуще, по принципу: мажь, чтобы текло.

Вернувшись на квартиру, я взял описание винтовки и несколько раз прочитал раздел «Чистка и уход за винтовкой». На первом занятии со взводом я решил показать бойцам, как надо чистить и смазывать ее. Засыпая, думал, как они будут выглядеть в пирамиде, однообразно вычищенные и смазанные.

Утром, не заходя в столовую завтракать, я пошел к командиру роты, чтобы попросить разрешения провести занятие со взводом по чистке и бережению оружия. В ротной канцелярии никого не было. Я зажег лампу и прочитал расписание занятий: «Суббота: уборка помещений и поход в баню».

В казарме старшина роты производил утренний осмотр. После окончания его я приказал оставить третий взвод в строю, поздоровался с ним, сделал переключку, вызывая бойцов по фамилии, а затем позвал младших командиров к нарам.

— Посмотрим, какое из отделений лучше заправляет свои постели,— сказал я.

Мой помощник Лаврик смущенно доложил:

— Во взводе спят не по отделениям, а по дружбе.

В дивизионной школе у изголовья каждой койки висела дощечка с надписью: фамилия, взвод и отделение. Не только курсанты размещались в таком порядке, но и их оружие в пирамиде. Командиры взводов и отделений могли с завязанными глазами показать место каждого бойца и его оружие. Мне нравился этот порядок, и я велел Лаврику разместить взвод по отделениям.

На одном из тюфяков я заметил вошь. Оказалось, что вшивость в роте — дело не новое. В полку для бойцов не хватает нательного и постельного белья, редко выдается мыло, нет своей бани.

Никого из среднего комсостава в роте не было, кроме меня, и я, решив, что чистоту можно навести своей властью, приказал вынести тюфяки на улицу, вымыть нары и пол горячей водой, сходил к начхозу полка и получил разрешение набить тюфяки свежей соломой. Потом я повел роту в городскую баню, и там нам удалось продезинфицировать все обмундирование красноармейцев.

Вернувшись в роту, я был очень доволен собой. В казарме было чисто и пахло свежей соломой. На нарах возвышались туго набитые тюфяки.

Поужинав и вернувшись в роту, я застал в канцелярии Канонихина и политрука.

— Кто просил вас искать вшей, мыть нары, набивать матрацы соломой и водить роту в баню? — раздраженно спросил меня Канонихин и, не дожидаясь ответа, запальчиво поднял голос: — Кто вы? Командир

роты или взвода? Хотите выслужиться перед начальством, показать, какой вы хороший — не успели прийти и уже порядок навели.

Это было для меня так неожиданно, что я не смог ничего ответить. А Канонихин гремел:

— Вошь не медведь, горло солдату не перегрызет. Сколько их было в гражданскую, но это не помешало нам громить белую контру. А вы нашли одну всшь в роте и ну трубить по всему полку. А это еще что придумали — заставляете людей спать по ранжиру. Над головами таблички вешаете, словно во взводе не бойцы, а лошади. Если я — Канонихин, товарищи знают это и без таблички над кроватью.

— Говорите тише, красноармейцы слышат, — попросил его политрук.

— А что он во взводе канцелярию разводит!

— Вошь и грязь — плохие союзники бойца, — как бы про себя заметил политрук.

— Правильно, — подтвердил Канонихин, — это всем известно. Нашел вошь — убей ее тихонько, ну накажи бойца, допустившего такое безобразие, но не выставляй всю роту на позор! — Поутихнув, он вышел из-за стола и сказал: — Вы слышите — никаких табличек, красноармейцы не лошади! И впредь занимайтесь только своим взводом. Помните — третий взвод, и ни шагу дальше.

Так и не поняв, чем вызвано его возмущение, я спросил:

— Товарищ командир роты, разрешите завтра провести со взводом занятие о правилах чистки и хранения оружия.

— Это еще что за новость? — искренне удивился Канонихин. — Занимайтесь по расписанию. — Он подошел к доске, где висело расписание, и громко прочитал: — «Понедельник. Политчас, строевые занятия (перестроение взвода) и обязанности часового». — И, повернувшись ко мне, сощурился: — Может, строевых команд не знаете? Командовать взводом — это вам не вшей гонять. Можете идти.

Я молча приложил руку к головному убору, повернулся кругом и вышел из канцелярии с горькой мыслью, что, видно, зря я, не окончив военной школы, согласился перейти на командную должность.

Придя в свою холодную, неуютную комнату, я долго не мог уснуть — вспоминал, как мне трудно было сработаться с Лунцовым, и думал, что Канонихин за первую же неправильно поданную команду выгонит меня из роты.

Все воскресенье эта мысль не выходила у меня из головы. Я любил строй, заранее угадывал в строю, какую команду подаст командир, и на своем солдатском опыте знал, что каждый командует по-своему. У одних команды тяжелые, подавляющие, гипнотизирующие, у других они звучат веселой музыкой, у третьих — вялые, безразличные, нагоняющие скуку. А бывают и такие команды, что вызывают улыбки и даже смех.

Одиноко шагая по заметенному снегом Новоград-Волынскому шоссе, я сам себе подавал строевые команды — готовился к завтрашним строевым занятиям — и, прислушиваясь к звучанию своего голоса, не узнавал его. Он казался мне чужим, то слишком громким, то слишком тихим. Мои собственные команды или пугали меня, или наводили тоску. Сильно повысив голос, я вдруг услышал, что хриплю, и меня охватил ужас: как же я буду завтра командовать?

В это время позади зазвенели колокольчики. Обернувшись, я увидел свадебный поезд: гривы лошадей, уздечки, дуги были украшены разноцветными ленточками. Когда шумный санный поезд с усатыми дядьками и девушками в разноцветных платках поравнялся со мной, одна красавица задорно крикнула мне:

— Товарищ командир, сидайте с нами в сани да попидэмо на свадьбу, мабуть, и вас оженим!

— А ты ему скамандуй, тогда вин сядет! — крикнула другая девица.

— Скамандую, а вдруг не так?

— Та хибя не чула, як камандують: «Смирно!», «Шагом марш!», «Стой!» Ось и вся их наука.

Позавидовав беззаботному веселью девушек, я долго шел по следам свадебного поезда и все думал и думал о завтрашнем дне.

Этот понедельник мне запомнился как один из самых трудных дней в моей жизни. Встал я рано и еще раз просмотрел план предстоящих занятий, но не в этом было дело: я хорошо знал все, чем надо будет заниматься со взводом, только людей взвода не знал, а они, наверное, уже знали, что я еще не командовал, был до сих пор политруком и что в субботу командир роты отчитал меня.

Чуть брезжил рассвет, низко плыли облака, по земле гулял холодный ветер, наметая узорчатые сугробы. В окнах квартир комсостава вспыхивали огоньки — зажигались керосиновые лампы. Казармы полка тускло желтели слабо освещенными окнами. Я зашел в столовую, выпил стакан чая и поспешил в роту.

Около казармы нашего батальона был большой плац для строевых занятий. Ночью его замело снегом. Меня это обрадовало, так как теперь я мог увести свой взвод на строевые занятия куда-нибудь подальше от чужих глаз, где если и сяду в калошу, то никто не увидит этого.

В казарме было пусто — рота ушла на завтрак. Подойдя к нарам своего взвода, я увидел аккуратно сложенные по краю в ряд шинели с шлемами наверху. На нарах между отделениями оставлены небольшие интервалы, а у изголовья первой постели на низкой стойке прибита дощечка с номером отделения.

Что же делать? — подумал я, вспомнив, что командир роты сказал — никаких табличек! Взвод выполнил мое первое приказание, разместился по отделениям, постели приведены в порядок, кто-то очень любовно сделал дощечки с надписями — неужели надо снимать их? И самому стыдно, и людей обидишь. Нет, решил я, попрошу командира роты посмотреть — может быть, ему все-таки понравится такой порядок.

В канцелярии роты я дождался Канонихина. Он сухо поздоровался со мной, молча сел за стол. Я доложил, что строевые занятия буду проводить на шоссе, и попросил разрешения не снимать уже вывешенные таблички на нарах.

— Кажется, я ясно приказал — никаких табличек! Немедленно снимите, а за невыполнение моего приказа объявляю вам выговор.

Рота вернулась с завтрака, слышны были голоса бойцов, а я стоял в канцелярии в полной растерянности. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы, на мое счастье, в казарме не прогремела команда «смирно». Канонихин быстро встал из-за стола и пошел в казарму. Последовав за ним, я увидел нашего комбата Виноградова.

Он шел от одного взвода к другому, на ходу делая замечания неопрятно одетым бойцам. Подойдя к расположению моего взвода, комбат посмотрел на табличку первого отделения, покрутил головой и спросил у отделенного:

— Вы написали?

— Нет, помощник командира взвода товарищ Лаврик, — ответил командир отделения.

Комбат прошел вдоль нар взвода, постоял у каждой таблички и, повернувшись лицом к командиру роты, громко и весело сказал:

— А ведь хорошо, простые таблички заставили людей подтянуться, лучше заправить койки и аккуратно уложить шинели. Молодец товарищ Лаврик. За инициативу объявляю вам благодарность. Такие таблички надо будет завести во всем батальоне.

Ну как не вспомнить мне было о Лунцове с чувством благодарности — ведь у него заимствовал я этот порядок.

После окончания политчаса, когда первый, а за ним и второй взвод вышли на строевые занятия, я со страшным напряжением голоса отдал много раз мысленно прорепетированные команды:

— Третий взвод, становись!.. Направо равняйся! Смирно! Шагом марш!

На занятии во мне как будто жило три человека: один подсказывал, какую подать команду, второй командовал, а третий стоял в стороне, придирался и высмеивал меня. Но иногда все трое сбивались в кучу, и тогда у меня голова кругом шла, как это случилось, когда я на подходе к занесенному снегом мосту скомандовал:

— Взвод! Левое плечо вперед, шагом марш!

Поистине слово не воробей, выпустишь его — не поймашь. Взвод шел, а я подал команду «шагом марш». Я тогда так растерялся, что забыл скомандовать «прямо», и со страхом глядел, как взвод, продолжая захождение левым плечом, крутится на одном месте, — долго не мог сообразить, как же сделать, чтобы он шел вперед.

Мороз был, но к концу занятий я обливался потом и, когда возвращались в казарму, понуро плелся позади взвода, чувствуя себя одиноким, выбившимся из сил человеком. И вдруг услышал громкий голос:

— Товарищ командир! Разрешите песню спеть.

Этот голос словно мостик перебросил между мною и взводом.

— Запевай! — скомандовал я, ободрившись.

Грянула песня:

Мы — кузнецы, и дух наш молод,
Куюм мы счастья ключи...

Я не знал, кого мне благодарить, кому пожать руку, обнять, расцеловать.

А в роте меня растрогал Канонихин.

— Вы не сердитесь, — сказал он, пригласив меня в канцелярию. — Я тогда погорячился насчет табличек. — И заговорил о том, как ему трудно совмещать службу с учебой на рабфаке.

— Вся надежда на командиров взводов. В третьем взводе долго не было командира. Я просил дать мне опытного строевика, а дали бывшего политрука, который никогда не командовал. Это меня и взорвало.

Оказалось, что Канонихин совсем не тот человек, за которого я его принял сначала. Он откровенно признался мне, что после гражданской войны остался на военной службе временно, чтобы получить общее образование.

— Окончу рабфак, демобилизуюсь и поступлю в железнодорожный институт, — сказал он, — буду прокладывать дороги и строить мосты.

Прошли первые испытания и волнения, связанные с переходом на командную должность, — начались будни с повседневными радостями и огорчениями, и тут на помощь мне пришел опыт моей прежней работы политруком.

Чем больше присматривался я к бойцам своего взвода, тем больше убеждался, что и для командира самое главное — найти подход к каждому человеку в отдельности.

С какими только людскими странностями не приходилось сталкиваться!

Рядом стоят в строю два красноармейца, Галынин и Мазов. Галынин вне строя выглядит неуклюжим увальнем — тяжелая, раскачивающаяся походка, голова опущена, словно ищет что-то на земле. А в строю его не узнать: подтянутый, собранный, идет легко, свободно, словно

играет, поворачивается с каким-то особым изяществом, ружейные приемы выполняет так непринужденно и ловко, что заглядишься. А Мазов, лучший в роте плясун, выкидывающий такие колена, что диву даешься, наоборот, становясь в строй, сразу скисает, будто взваливает себе на плечи непосильный груз. От напряжения у него даже лицо становится старообразным. Он постоянно сбивается с ноги, запаздывает исполнить команду.

Все объясняли это нерадивостью Мазова. И когда он подал заявление в комсомол, ему отказали — «нельзя принять — пляшет хорошо, а в строю ходит плохо».

После этого он признался мне:

— Пугаюсь чего-то. Как только услышу команду, меня точно кто-то за горло берет и начинает душить.

Я посоветовал ему пойти в лес и покомандовать самим собой громким голосом. Сначала он обиделся — подумал, что я смеюсь над ним, — но потом все-таки воспользовался моим советом, и он ему помог.

Очень огорчил меня красноармеец Кирьянов. Исправный боец был и вдруг подал рапорт с просьбой отпустить его домой, и не в отпуск, а навсегда.

— Дома у меня хана: Федька, мой младший брат, вздумал жениться. А раз женится, захочет отделиться, и хозяйство наше обеднеет. Вернусь из армии — хорошая девка замуж за меня не пойдет, — сказал он и пообещал: — А ежели будет тревога какая, нападение или еще что, я немедля обратно вернусь в полк.

Тщетны были все мои старания убедить его, что женитьба брата не довод для демобилизации. Немало дней прошло, а он все ходил повесив голову, сам не свой, пока однажды не объявил вдруг:

— А шут с ним, с Федькой. Ежели все уедут жениться, то и служить некому будет.

Пришлось повозиться мне и с красноармейцем Загнибедой. Старательный был боец. Читал газеты, интересовался политикой, а на занятиях спросишь его — встанет, переминается с ноги на ногу, шевелит губами, а рта раскрыть не может. Как-то он признался:

— Як сижу, усе знаю, а як встал, так и забувся.

Я разрешил ему отвечать сидя, но он и сидя не мог слова сказать.

А вот на тактических занятиях в поле инициативнее его бойца не было. Никто не мог так примениться к местности, как он. Пойдет выполнять задание и исчезнет из глаз, словно шапку-невидимку надел. Однажды при наступлении на «обороняющегося противника» я послал его с группой бойцов для обозначения вражеской обороны. На занятиях, как обычно, присутствовал наш комбат Виноградов, большой любитель тактической подготовки, не пропускавший ни одного выхода в поле, хотя бы выходил только один взвод. Все шло по плану. Но вот рота бросилась в атаку, и в это время на правом фланге послышалась «пулеметная стрельба» из никем не предусмотренной и не замеченной огневой точки. Оказалось, что Загнибеда оборудовал ее по своей инициативе на фланге обороны и обозначил трещоткой собственного изготовления. Его инициатива так понравилась комбату, что он приказал в порядке поощрения отпустить Загнибеду на трое суток для поездки домой.

Прошло три дня — Загнибеда не вернулся. Он пришел только на пятый день — и прямо в поле, на тактические занятия, словно из земли вырос, веселый и здоровый.

— Почему опоздал? — спросил его комбат.

— На свадьбе гулял, сестра Явдошка замуж вышла, — беспечно ответил он.

Комбат, круто обернувшись ко мне, приказал:

— Посадите на гауптвахту, пусть «отдохнет» после свадьбы пять суток.

Загнибеда подошел ко мне, снял вещевой мешок, достал из него три новенькие трешотки и две ракетницы, сделанные из обрезов старых охотничьих ружей, подал их мне.

— Где взял? — спросил я.

— Батяка сделал, он кузнец, успел бы вовремя сделать, да Явдошкина свадьба помешала, а я не хотел без ракетниц возвращаться в роту.

Комбат, услышав это, так обрадовался — у нас не хватало необходимых для полевых занятий ракетниц, — что тут же заменил наложенное на бойца взыскание благодарностью.

Самым трудным в моем взводе бойцом оказался Семишин. Угрюмо сидел он на занятиях, ничем не интересовался. А спросишь его — быстро встанет, замрет, точно окаменеет, и молча смотрит себе под ноги. Однажды, проводя учебные занятия по караульной службе, я назначил Семишина часовым у полкового склада. На занятия взвода пришел командир роты. Решив проверить, как бойцы усвоили обязанности часового, он взял разводящего и направился с ним к Семишину.

— Не подходи, застрелю! — испуганно закричал тот.

Комроты остановился, а разводящий стал подходить к Семишину, пытаясь объяснить ему, что часовой в его присутствии может допустить командира роты на пост. Но не тут-то было. Семишин вскинул винтовку на руку, лицо его перекосилось, и весь он затрясся:

— Стой! Заколю!

Тогда Канонихин громко скомандовал:

— Красноармеец Семишин! Слушай мою команду! Смирно! На плечо! Пять шагов вперед, шагом марш!

И Семишин беспрекословно выполнил команду.

Разбирая этот случай, Канонихин поставил мне на вид плохую подготовку Семишина к караульной службе.

Вечером мы с Семишиным сидели в канцелярии роты.

— Разве вы не знали, что с разводящим можно допускать на пост командиров,веряющих караулы? — спросил я.

— Не знал, — тихо буркнул он.

— Но ведь на занятиях объясняли вам.

— На занятиях много объясняют, всего не упомнишь.

И в голосе его, и во взгляде было полное безразличие ко всему на свете.

— Может быть, вы больны? — спросил я.

— Может, и болен, сам не знаю.

— Доктору покажитесь.

— Доктор мне не поможет.

— Какую же вам надо помощь?

— Верующий я, хочу в церковь ходить богу молиться. — Он посмотрел на меня так, будто впервые увидел, и вдруг весь обмяк, опустил голову, по-детски горько заплакал, а выплакавшись, стал просить:

— Арестуйте меня, спасите!

Я сказал, что арестовывать его не за что, а спасти от чего — не знаю.

Он посмотрел куда-то в сторону, помолчал и, медленно подняв голову, тихо проговорил:

— Изменник я — клятву нарушил.

Это прозвучало так неожиданно и страшно, что у меня язык отнялся. Долго сидел я молча.

— Отведите меня к военкому, — попросил Семишин.

И когда я привел его в кабинет комиссара, он и там стал просить, чтоб его арестовали.

Тодулевич, протиравший стекло лампы, посмотрел на Семишина и снова занялся лампой. Подкрутил фитиль, зажег ее, вставил стекло и только тогда, обернувшись к Семишину, сказал:

— Если нужно арестовать, сделаем это без вашей просьбы. Рассказывайте, что натворили.

Семишин говорил так сбивчиво, что сначала ничего нельзя было понять, но Тодулевич не перебивал его, не задавал вопросов — терпеливо ждал, когда же наконец Семишин толком объяснит, в чем дело.

Что же оказалось?

До военной службы Семишин батрачил со своим отцом у священника деревенской церкви, отца Иннокентия, который, когда происходило изъятие церковных ценностей и снимали колокола, бегал по хатам и грозил деревне небесными карами. И случилось так, что вскоре после этого в деревне многие померли от тифа, а потом начались лесные пожары, и крестьяне не могли их потушить, пока бог, как сказал Семишин, не смилоствился, послав большие дожди. Все это внушило Семишину трепет перед всемогущим и особенно перед его служителем, отцом Иннокентием. Причиной тому была и племянница Иннокентия, сирота, жившая у него на воспитании, — уж очень она приглянулась Семишину, и он боялся, что, пока служит в армии, поп выдаст ее за другого. Вот он и задумал, чтобы бога не гневить службой в Красной Армии и чтоб невесту не потерять, прикинуться дурачком в расчете на то, что дурачка в армии долго держать не будут. Прикидывался, прикидывался и не выдержал: арестуйте, говорит.

— А я думаю, что арестовывать вас нет основания, — сказал Тодулевич, выслушав его. — Раз не выдержал своего притворства — значит, совесть проснулась. Идите и честной службой искупайте вину перед товарищами.

Когда Семишин вышел, Тодулевич сказал мне:

— Никому ни слова об этом. Так лучше будет.

На другой день Семишин сам повинился перед товарищами.

На ощупь, по новой, не наезженной еще колее шла в те годы наша армейская жизнь, много было всего — и огорчений и радости.

Неожиданно для меня самым слабым местом в моей командирской подготовке оказалась стрельба. На фронте я был неплохим стрелком, но самому стрелять — это совсем не то, что обучать стрельбе взвод, уметь быстро обнаружить и устранить ошибки бойцов. У своих товарищей по роте я мало чему мог научиться. У Канонихина была горячая пора — он оканчивал рабфак, — а командиры взводов хорошо знали строевое дело, браво подавали команды, но со стрельбой у них тоже обстояло неважно. Поэтому, готовясь к стрельбе, я ходил на занятия в роту Замировского, во взвод Доколина, занимавшего по стрельбе первое место в полку, и во взвод Баранова, стоявший на втором месте. Соревнуясь между собой, Александр Доколин и Саша Баранов придерживались разных методов обучения.

На их занятиях я ходил следом за тем и другим и прислушивался к замечаниям, которые они делали бойцам.

— Делай, как я! — говорил Доколин, показывая тот или иной прием, и тренировал бойцов до тех пор, пока они не усваивали его.

Бойцы, которым удавалось скорее других перенять пример командира, становились его помощниками.

Взвод Доколина выделялся не только отличными результатами стрельбы, но и четкостью, красотой, однообразием изготовления к стрельбе.

Во взводе Баранова не было такой четкости и красоты. Там тот или иной прием каждый красноармеец выполнял по-своему, и Баранов не обращал на это внимания. Он не добивался однообразия приемов, считал это ненужным и говорил:

— Стрельба — не строевые занятия. С ноги никого не собьешь и на ногу никому не наступишь. У каждого свой глаз, свои руки. У одних глаза быстрые, и они легко стреляют навскидку, у других глаза медленные, им надо больше времени, чтобы прицелиться. Опять же руки: у одних длинные, хваткие, у других короткие, неловкие. И на земле каждый боец лежит по-своему. Пусть себе прицеливается и стреляет так, как ему удобнее.

— Но взвод Доколина стреляет лучше вашего, значит, однообразие стрельбы все-таки помогает, — говорил я.

Баранов улыбался:

— Верно. Пока первый взвод стреляет лучше, но в моем взводе отличных стрелков больше. И я добьюсь, чтобы все стали отличниками.

Какие счастливые люди Доколин и Баранов, думал я: и тот и другой уверен, что он прав, а я вот не знаю, на чьей стороне правда, с кого мне брать пример — хожу от Доколина к Баранову, толкусь за спиной то одного, то другого, дотошно распрашиваю их и ловлю каждое брошенное ими замечание.

А между тем, сам того не ведая, я оказался в выгоде: невольно отбирал все полезное — у одного учился четкости приемов, а у другого — индивидуальному подходу. Спасибо им обоим.

Спасибо и нашему комиссару. Однажды он зашел к нам в роту и, разговаривая с бойцами, спросил, хорошо ли они стреляют. Один из них ответил:

— Стреляли бы хорошо, да винтовки тяжелые.

Тодулевич недоуменно пожал плечами, усмехнулся, сказал:

— Дайте-ка сюда винтовку.

Он взял ее правой рукой за шейку приклада, вытянул руку и, медленно сгибая ее в локте, плотно прижал затыльник приклада к правому плечу — словом, изготовился к стрельбе одной рукой. Потом он взял винтовку за конец ствола и играючи поднял ее прикладом вверх, а кончил тем, что несколько раз медленно поднял винтовку вверх левой вытянутой рукой и сказал:

— Видите, винтовка, как перышко, легкая и послушная и стрелять будет надежно, как пушка.

И тут я еще раз убедился, что пример — великая сила. Как только ушел из роты военком, всем захотелось попробовать проделать с винтовкой то же самое. Сперва это удалось только одному, самому сильному бойцу — Галынину, и то с большим трудом, но все раззадорились. Начали тренироваться всюду, где только возможно — в казарме, на улице, в карауле, — и вскоре большинство уже могло свободно поднять винтовку за шейку приклада на вытянутой руке.

Труднее всего мне пришлось с пристрелкой винтовок. Я помнил, как наша пятая рота дивизионной школы оскандалилась, стреляя из непристрелянных винтовок, и страшно досадовал, что до сих пор не удосужился узнать, как их пристреливают. Надо было бы спросить у кого-нибудь, но мне стыдно было признаться в своем невежестве. В инструкции рекомендовалось при пристрелке винтовки закреплять ее в станке, и я решил, что речь идет о станке, на котором производится проверка прицеливания, — винтовка в нем жестко зажимается винтами. Придя в гир рано утром, когда там еще никого не было, я положил винтовку на станок, прицелился, зажал винтами, еще раз проверил наводку и вы-

стрелил. Станок подпрыгнул, и на ложе винтовки, которая силой отдачи при выстреле передвинулась в станке, осталась большая ссадина.

Хорошо еще, что никто этого не видел, а то бы я стал посмешищем всего полка — не учел такой простой вещи, как отдача при выстреле.

Уныло сидел я на перекладине станка в сознании своей полной беспомощности. И вдруг услышал голос командира батальона Виноградова:

— Вы чего здесь в такую рань? — Увидев оцарапанное ложе моей винтовки, он понимающе спросил: — Стреляли со станка? Это бывает... Завтра вызовем ружейного мастера и произведем пристрелку, а пока давайте постреляем из моего парабеллума.

Он установил мишень, пострелял, дал пострелять и мне, а потом, посмотрев на меня, сказал:

— Не переживайте, не то еще бывает. Пойдем-ка лучше на конюшню, посмотрим моего Ваську.

Это был карий жеребец, служебный конь комбата, красивый, с волнистой густой черной гривой, с большой белой звездочкой на лбу и с длинным волнистым хвостом.

Оседлав жеребца, комбат предложил мне:

— Может, разомнете Ваську, а то он застоялся.

Васька недовольно покосился на меня, норовя схватить зубами. Я натянул повод, похлопал коня по шее, быстро сел в седло и помчался по шоссе. Никакие слова утешения не могли бы так подействовать на меня, как поездка верхом на этом сильном и красивом жеребце. Вот как немного иной раз надо человеку, чтобы он воспрянул духом.

В обыденной, устоявшейся казарменной жизни череда дней быстро смывается в клубок, и в памяти остаются только особые дни, как вехи, отмечающие пройденный путь. Одним из таких особых, на всю жизнь запомнившихся мне дней был солнечный и морозный день 21 января 1924 года.

Ночью караул поверял сам комдив Дубовой. Он обошел все посты, давал часовым вводные задания, вернувшись в караульное помещение, взял уже постовую ведомость, чтобы записать свои замечания, и вдруг, быстро поднявшись, сказал мне:

— На третьем посту слышна стрельба, в районе второго поста одиночный выстрел и вспыхнул огонь. Действуйте!

Я скомандовал «в ружье», разводящему приказал с группой бойцов направиться на третий пост, своему помощнику Лаврику — доложить дежурному по караулам о происшествии, выслать усиленный дозор в район постов, а сам с остальными бойцами побежал к месту пожара.

Скоро к охраняемому моим взводом складу прибыли дежурная рота гарнизона и две машины городской пожарной охраны. После окончания проверки комдив велел построить караул и объявил нам благодарность.

— Доволен, службу знаете, помогли проверить и других, — сказал он, вскочил в седло и в сопровождении своего ординарца галопом поскакал в направлении города.

В отличном настроении возвращались мы в казармы, сдав караул. Шутка ли — похвалил сам комдив! Несмотря на мороз и усталость бойцов, за песней лилась песня, и вдруг, подходя к проходной будке полка, видим: дневальный у ворот отчаянно машет нам шлемом. Что-то случилось, подумал я и скомандовал:

— Отставить песню!

— Ленин... умер, — сказал дневальный и зарыдал.

Бесчувственный, окаменевший стоял я у ворот городка, а когда взглянул на своих красноармейцев, они уже стояли со шлемами в руках, опустив головы.

Обычно шумный гарнизон безмолвствовал. Казармы казались пустыми, и, когда я пришел в Ленинский уголок, красноармейцы стояли там плечом к плечу. Портрет Ленина был обрамлен черной ленточкой, а рядом в шлеме, с винтовкой стоял командир отделения моего взвода Уткичев.

Весь день и ночь стояли мы по очереди в почетном карауле у портрета Ильича.

Шел седьмой год установления советской власти. Еще на вывесках многих фабрик и заводов, на трактирах, лавках и магазинах не были закрашены фамилии старых хозяев. Леса, земли и поместья еще назывались по фамилиям помещиков. Капиталистическое окружение постоянно напоминало о себе, засылая к нам целые банды и террористов-одиночек. Страна только что пережила голод в Поволжье. Многие фабрики, заводы и шахты еще не были восстановлены.

Стоя в почетном карауле, с трудом сдерживая накипавшие слезы, я думал: как же это доктора не могли спасти Ленина? Что же теперь будет? Как мы будем жить без Ильича?

Не посчастливилось мне видеть и слышать Ленина, но я помню 1917 год, июньскую демонстрацию в Петрограде, нескончаемые колонны рабочих со знаменами и лозунгами. Мы с Ваней Фофановым, сплавлявшие лес, приплыли в Петроград на барке. Барка остановилась у Балканского моста через Обводной канал. Захватив с собой гармонию, мы пошли на Балканский проспект посмотреть на демонстрацию. Многие колонны шли с оркестрами, а одна, небольшая, шла без оркестра, неся лозунги: «Долой десять министров-капиталистов!», «Да здравствует товарищ Ленин!» Паренок из этой колонны подбежал к нам, крикнул:

— Идем с нами против Временного, вместо оркестра!

Озираясь по сторонам, мы пошли с колонной рабочих. Ваня наигрывал марш и плясовые песни.

Колонны часто останавливались. На одной остановке я спросил паренька, пригласившего нас идти «вместо оркестра», кто такой Ленин.

— Эх ты, деревня несчастная, землю у помещиков отобрать хочешь, а Ленина не знаешь.

...Сменялся караул у портрета Ленина, но люди не уходили из Ленинского уголка, многие стояли всю ночь.

В день похорон Ленина полк построился на плацу, чтобы идти в город, отдать последние почести Владимиру Ильичу.

— Под знамя смирно! — скомандовал командир полка Гавриченко.

Обычно под эту команду оркестр играл марш. В тот день он молчал. В тишине знаменосцы пронесли боевые знамена с прикрепленными к их древкам траурными лентами.

Молча прошел полк по улицам города и занял свое место на площади. Безмолвно стояли бойцы дивизии и трудящиеся города. И вдруг прорвалась тишина: завывли фабричные гудки, оркестры заиграли «Вы жертвою пали...», стянув свои шлемы, многие, очень многие наши бойцы и командиры не могли сдержать слез.

Памятен мне тот год ленинским набором, во время которого много наших богунцев вступило в партию, памятен и хорошим урожаем, выращенным крестьянами на своих полях. По всему видно было, что дело Ленина живет и страна набирает силы. Моя сестра, недавно закончившая ликбез, писала мне в том году:

«Приехала я в Череповец делегаткой на съезд Советов губернии, в президиум посадили, а заставят ли что делать — не знаю, пока на людей гляжу и ораторов слушаю.

С нами за столом Луначарский сидит. Бороденка маленькая, а глаза колючие. Говорят, с товарищем Лениным работал.

Прошло две недели, как я из дому уехала. Все началось с собрания в нашей деревне. Приехали из волости начальники, бахвалились о своей работе, а я не утерпела, сказала: «Вся сила в хлебе, а хлеб у богатых. Бедняки землю получили, а своих лошадеенок нет, и сдают свою земельку в аренду кулакам и на этой земле работают у кулаков». И еще добавила — и доктора нет, хорошо, что бабки не все поумирали, помощь при хвори людям оказывают.

Села на место и дрожу, ведь мои слова богатым не понравятся, могут дегтем ворота вымазать и за волосы отгаскать, да и волостное начальство меня не похвалит. Но все обошлось благо. Выбрали меня на волостной съезд, а потом и на уездный, говорят: зло ругаешься, поезжай в город, может, и вправду нам доктора пришлют, а богатеев прижмут.

Сначала думала, насмеются, а когда получила бумагу с печатью и с другими делегатами в уезд поехала — успокоилась. В уезде я выступила, обо всех бедах поведала, о людском горюшке рассказала, и, спасибо людям, выслушали меня, не перебивали, доверили мне и на губернский съезд, в Череповец, направили. Несколько дней мы ехали на лошадях по незнакомым полям и лесам. Вот, милый братец, как попала я в этот далекий от нас город. Писать погожу, зовут совещаться.

...Уже поздно, а спать не хочется. В ушах звон от речей, а в глазах люди, люди. И здесь меня в ораторы записали да наказали, чтобы я хозяйина города поблагодарила за хороший прием делегатов. Городских-то много сидит, шут их знает, кто тут хозяин, но все же сказала: спасибо хозяйину города от делегатов, кормит вдоволь, помещение в чистоте содержит, и спать тепло. Надо бы руку ему пожать, да не знаю его в лицо. Тут все захохотали, в ладоши захолопали. Я с речи сбилась, забыла, что еще должна говорить, выручил Луначарский, не спрашивая председателя, сказал: «Товарищ Савватеева, хозяин города — городской Совет, а вы, делегаты, хозяева всей Череповецкой губернии».

Голос у Луначарского ласковый, и сказал он, как свой человек. Я успокоилась и смело продолжала: «Раз мы хозяева, то кулаков надо обуздать, а новых торговцев поприжать. Ведь беднота снова в кабалу идет к кулакам, а торгоши за товары цены ломают, что и купить ничего нельзя. В нашей волости нет доктора. Ребятишки в коростах ходят, а бабы рожают в хлебах. Хорошо, что бабки умеют пуповину отрезать!»

Делегаты тихо слушали мою речь, словами не перебивали, только не понравилось мне, что в ладоши хлопали. Им дело говоришь, а они прихлопывают, точно в пляске подзадоривают. А когда села на место, Луначарский похвалил меня за выступление...

...Третий раз принимаюсь за письмо, хочется обо всем написать. Все перевернулось во мне. Завтра поеду домой! Съезд закончился, товарищ Луначарский уехал в Москву. Нас, пять человек, как делегацию выбрали для проводов наркома. На двух тройках мчались мы на вокзал. Поезд опаздывал. Зашли в помещение погреться. Луначарскому подали чай. «Угощать, так всех», — сказал он, и нам тоже налили чаю, положили в каждый стакан по желтому кругленькому ломтику. Я думала, вместо сахара, лизнула — кислый да и запах не понравился. Незаметно достала из стакана и выбросила на пол. Луначарский увидел мою проделку и сказал, смеясь: «Лимон не понравился?» — «Кислый и с запахом», — ответила я. «Лимоны очень полезны для людей», — объяснил он и сказал, что растут они на юге, но в нашей стране выращивают их очень мало.

Товарища Луначарского мы проводили в вагон. Он со всеми нами попрощался за руку. С вокзала мы шли пешком. Было холодно и темно, на душе кипела радость и счастье. Хочется скорее вернуться домой и рассказать обо всем жителям нашей деревни».

Из событий полковой жизни того времени мне особенно памятно проводы из армии командира роты Канонихина. Он окончил вечерний рабфак, демобилизовался и уезжал учиться в железнодорожный институт. На проводы, происходившие в полковом клубе, собрался весь командный и политический состав полка. Выступали его ветераны, командиры и политруки, боевые товарищи Канонихина по гражданской войне, вспоминали, как он храбро воевал, как старательно потом учился на рабфаке, наказывали учиться так же и дальше, не забывая свой родной полк, своих армейских товарищей.

Под конец слово предоставили ему самому. Поднявшись из-за стола президиума, он подошел к краю сцены и вдруг грохнулся на колени, склонил на грудь свою бугристую, стриженную машинкой голову и заплакал. Все были потрясены, зал затих, молча глядели мы, как слезы текли по изъеденному оспой лицу Канонихина, и у многих тоже закапало из глаз, потом загревели неистовые рукоплескания. Долго изо всех сил били мы в ладоши, а Канонихин все стоял перед нами на коленях. Поднявшись, он утер слезы и сказал:

— Спасибо, товарищи, за все. Без вашей помощи мне бы никогда не одолеть рабфака.

Да, конечно, его учение на рабфаке было делом всего полка — так это все и понимали. Провожая Канонихина в институт, мы были полны гордости и за него, и за самих себя, как члены одной большой семьи.

После демобилизации Канонихина командиром роты назначили меня. Еще не успев освоиться на этой трудной для меня должности, я получил телеграмму — умерла мать.

Я приехал в Терехово, когда ее уже похоронили. Шура, сестра моя, рассказывала, как умирала мать.

Исхудавшая за болезнь, маленькая, как подросток, она просила перед смертью:

— Поднимите, дайте поглядеть на Краскову.

Краскова — деревня, где мать родилась и выросла.

— Вода-то в реке еще холодная, купаться нельзя, а озеро поднялось, — прошептала она, глядя в окно на чуть видную из него Краскову.

Всю жизнь мать прожила в деревне, трудилась, хлопотала, растила детей. Она любила реку Свидь, помогала отцу и братьям ловить рыбу. А озера боялась — в нем утонул ее отец.

— Худо, умру... не увижу Миши... Один на чужой стороне... — говорила она и просила: — Поглядите на Крестовуху, не идет ли он.

Крестовуха — дорога, пересекающаяся с большаком недалеко от нашей деревни.

Ночью ей стало хуже. Она позвала детей прощаться.

— Не подниматься мне, смерть пришла... Похороните рядом с отцом...

— Мама, хоронить-то как, в церковь или по-новому? — спросил мой брат Александр.

— Хороните по-своему... Бог простит меня, грешную... — ответила она, и это были ее последние слова.

Слава вам, добрые матери, чего вы только не сделаете для своих детей!

На похороны пришли все коммунисты волости во главе со своим секретарем Фомой Шубниковым, под гармонь пропели «Вы жертвою пали...».

И пошла по волости легенда о неотпетой, что по ночам ходит она по полям, лесам и болотам, тонет в реке, плачет у часовни, стоит у церкви, хочет войти, но ангелы не пускают, и, как пропоют петухи, она вместе с ведьмами и нечистой силой уходит под землю.

Опять мы с Шурой ходили по полю, вспоминали: тут вот отец пахал, а мать таскала за ним мешок с семенами. Вот полоска, где они сеяли лен. Отец сеет, а мать подает ему сваренное вкрутую яйцо. Отец подбрасывает его высоко вверх, чтобы уродился высокий и хороший лен,— таков обычай. Потом отец поднимает с земли яйцо и, как лакомство, передает его мне. Вот они идут полем и осматривают хлеба на своих полосах, радуются, когда они хорошие, горюют, когда плохие,— семья большая, прокормить надо.

Пора сенокоса. Вся семья уходит рано на пожни, а мать кормит и выпускает в стадо коров и овец, топит печь, печет хлеб, варит еду, потом нагружается разной снедью и идет на пожни. Если пожни далеко, мы остаемся ночевать в избушке, мать возвращается домой, встречает из стада скотину, поит ее, доит коров, а время летит, и снова нужно начинать трудовой день.

Созревают хлеба, начинается жатва. И сверкает в руках матери серп, кладет она на землю сжатый хлеб, вяжет его в снопы, собирает в суслоны. И так полоса за полосой. Сначала рожь, за нею — ячмень, а потом и овес. Уборка хлеба, сушка, молотьба, ссыпка в засеки. А там надо убрать картофель, брюкву, свеклу, срезать капусту. Все это привести в порядок, убрать по-хозяйски. Наступает поздняя осень. Пора обрабатывать лен, сушить его, мять, трепать и чесать. А тут нагрянет и холодная длинная зима, хозяйке работы прибавится.

И только теперь, вспоминая о матери, я понял, какая у нее была трудная жизнь, тяжелая работа без отдыха. И делалось все это для нас — детей. И рядом с горем в моем сердце возникало новое чувство — гордость за мать, за ее простую, но полную благородства жизнь.

В семье, в доме она еще продолжала жить. Висят на гвозде ее сарафан и старая дубленая шубка. На шестке стоят чугуны, кашники, которыми пользовалась она, ставила в печь. Вот чашечка с маслом и заячья лапка, которой она смазывала сковородку, когда пекла блины. У печки — ухваты, сковородник, помело, лопата для хлеба — все ее несложное хозяйство. Только ее нет. И от этого как бы дом стал меньше, потолки ниже, стены мрачнее. Войди она в дверь — и снова раздвинулись бы стены, выше поднялись потолки, просветлели окна...

Потом мы пошли с сестрой Машей на кладбище. Могила отца покрылась травой, но на почерневшем деревянном кресте еще можно прочесть — Демидов Иван Александрович, а рядом новый холмик, на кресте которого вырезаны буквы — Демидова Анна Федоровна.

— Крест-то поставил Федор.

И еще что-то говорит сестра, но я не слушаю, думаю: пока жила мать, я знал, что у меня есть дом, в который я могу всегда войти, а теперь кому я тут нужен? Братья женаты, сестры замужем, ничто больше не связывает с деревней. Теперь моя судьба, мое будущее все там, в полку.

Летом 1925 года в палаточном лагере на берегу реки Тетерев однажды вечером я лежал в тени своей палатки и писал заметку в губернскую газету «Волынский пролетарий». Иногда меня тянуло к бумаге, чтоб рассказать о жизни нашей роты. Так как в моих заметках было много лирики, я писал их под псевдонимом М. Пилемский, взятым от названия моей родной, лучшей в мире речки Пилемки. Когда бойцы ро-

ты читали и удивлялись: «Фамилия незнакомая, у нас такой нет, а пишет о нашей роте правду»,—я был на вершине счастья.

Над палатками полка плыл тот особый гул военного лагеря, в котором смех, говор, песня, наигрыш гармони перемешивались со ржанием лошадей. И вдруг в этом гуле со стороны штаба полка от одной роты к другой громко зазвучали голоса дежурных, и я услышал свою фамилию — меня вызывали в штаб полка. Там меня встретил начальник штаба Красильников.

— Поздравляю,— сказал он, протянув мне руку.— Командование дивизии направляет вас в Киев в военную школу имени Каменева.

Тодулевич давно обещал, что меня пошлют учиться. Как-то он даже, узнав, что в штабе дивизии есть путевка в минскую школу краскомов, сказал мне:

— Иди скорее к комдиву, проси.

День был воскресный. Я пошел к Дубовому на квартиру. Комдив сидел на веранде своего одноэтажного домика, пил чай с женой.

— Садитесь с нами,— сказал он,— за чаем и потолкуем.

Надо ли говорить, как я был смущен и взволнован приглашением столь высокого начальника. Нина Чередник, его жена и старый фронтовой товарищ, усадила меня за стол, стала расспрашивать о моих полковых товарищах — многих из них она хорошо знала. В разговоре с комдивом и его женой я почувствовал искреннюю заинтересованность их в моей судьбе, и смущение мое быстро прошло.

— Не советую вам ехать в Минск,— сказал комдив.— Там школа краткосрочная, мало что даст вам. Подождите, и мы пошлем вас в Киев, в школу имени Каменева, где за два года пройдете курс нормальной школы.

Я ждал, и комдив не забыл о своем обещании.

Не только в горькие, но и в счастливые минуты мне бывало необходимо побыть одному. Выйдя из штаба полка, я пошел лесом на реку и там, на безлюдном берегу Тетерева, о чем только не передумал. Вспомнилось, как в 1921 году политрук нашей команды пеших разведчиков Сережа Гладков предложил мне поехать учиться на дивизионные политкурсы. Я отговаривался тогда, и тому были две причины: во-первых, хотелось скорей вернуться домой, стать в деревне исправным хозяином, а во-вторых, казалось, что не подобает учиться взрослому человеку. Смешно мне было теперь вспоминать о своих мужицких мечтах и опасениях.

В Киев поезд пришел на рассвете. В школу идти было рано, я долго сидел в саду на Владимирской Горке и, прислушиваясь к звукам просыпающегося города — заводским гудкам, звону трамваев, грохоту извозчиков,— радовался, что я в том самом стольном граде Киеве, о котором еще в детстве слышался сказок, и думал: только бы не провалиться на испытаниях.

Школа помещалась в величественном трехэтажном здании бывшего Алексеевского артиллерийского училища. Сдав документы во флигеле, где помещался штаб приема, я поднялся на третий этаж школы, в общежитие, и сразу же попал в объятия своего земляка и друга детства Саши Гришина, или Саши Маленького, как его называли у нас в деревне. Вместе проходили мы с ним допризывную подготовку, на которую он бегал трусцой, чтобы не отстать от товарищей, вместе призывались в армию. Военком тогда усомнился, не прибавил ли Саша себе годков, советовал подождать еще годик, подрасти, на что Саша ответил ему: «А я, дяденька, в армии скорей подрасту». Вместе служили мы с ним и в запасном полку, а потом воевали на фронте. Расстались в 1921 го-

ду, когда меня послали на дивизионные курсы, а его направили в часть, стоявшую в Закавказье. Там он окончил дивизионную школу, командовал взводом. И вот снова встретились, и такая радость — вместе будем учиться. Саша заметно подрос и в новом, сшитом по заказу обмундировании, что сразу видно было по широким рукавам гимнастерки, по длине ее, по брюкам-галифе с большими напускными «пузырями», в хромовых ботинках с крагами выглядел отчаянным щеголем. Не осталось в нем и следа сковывавшей его раньше робости перед товарищами. Одного только опасался теперь Саша, так же как и я,— предстоящих нам экзаменов.

— Боюсь, как бы не остаться мне абитуриентом,— сказал он.— Слово-то какое нехорошее, на ругательство похоже.

Больше всего мы боялись испытаний по загадочной для всех нас психотехнике, которые должен был проводить какой-то профессор, крупный спец по этому делу, как нам сказали в учебной части.

Перед началом этих опасных испытаний общежитие гудело, как улей. Высказывались разные предположения и догадки, но все они сводились к тому, что профессор по психотехнике будет каким-то образом определять, у кого из абитуриентов есть военная косточка, а у кого ее нет, и тех отправят обратно, будь у них хоть семь пядей во лбу и тысячи заслуг.

На психотехнические испытания нас пригласили всех разом в самую большую аудиторию школы. Таинственный профессор, оказавшийся очень бойким молодым человеком с бородкой, как у черта, вошел в аудиторию с целой ватагой помощников, несших груды карандашей и кипы каких-то бумаг.

— Сейчас мы определим ваше внимание, быстроту и, конечно, ваши способности,— со злорадством, как нам показалось, объявил он.— Мои помощники раздадут вам карандаши и бланки тестов. На первой странице напишите фамилию, имя, отчество и дату. Вторую страницу откroете только по моей команде — начинай. По команде стоп вы должны поднять правую руку, а кто левша — левую, в которой должен быть выданный вам карандаш.

Когда его помощники стали раздавать бланки тестов и карандаши, в наступившей тишине слышно было, как у нас с Сашей и у наших соседей впереди и позади в нервном ознобе, охватившем всю аудиторию, громко застучали зубы.

Помощники профессора зорко следили, чтобы мы раньше времени не перевернули первой страницы со своими фамилиями.

— Поднять правую руку! — командовал профессор.

Сотни рук взметнулись вверх, сверкая, как копьями, новенькими, остро заточенными карандашами.

— У кого сломается карандаш — встаньте, вам его заменят,— предупредил профессор.

Снова жуткая, парализующая, готовая раздавить нас тишина. И вот прозвучала команда:

— Начинай!

Переворачиваем страницу и читаем: «Встречающиеся в тексте буквы «а» зачеркнуть, буквы «н» подчеркнуть снизу, буквы «п» подчеркнуть сверху, буквы «л» зачеркнуть двумя черточками, буквы «с» обвести кружком, исправить опечатки в тексте». Дальше следовал отрывок из рассказа М. Горького «Макар Чудра».

Мы с Сашей лихорадочно выискивали нужные буквы, одни зачеркивали, другие подчеркивали, третьи обводили кружками и с ужасом думали, что все наше будущее зависит от того, успеем ли добраться до

конца текста раньше, чем раздастся команда «стоп». Слава богу, успели, хотя и запарились, как на состязании по бегу.

Испытания по русскому языку и математике прошли без особых волнений, но для моего друга они окончились плачевно. Меня приняли в школу, а ему предложили взять документы и возвращаться в свою часть. Не узнать стало Сашу, только что сидевшего рядом со мной в общежитии и бодро хлопывавшего себя по своим шегольским крагам, — лицо посерело, глаза потухли. Приуныл и я от его горя. Спустившись по кручам к Днепру, мы до вечера ходили вдвоем, думали, что делать, и решили наконец пойти вместе к начальнику школы комкору Лацису Яну Яновичу.

Пришли и замешкались у его массивной двустворчатой двери — время было уже позднее для приема. Из-за двери доносились глухие шаги и одинокий голос человека, который не то читал что-то вслух, не то разговаривал сам с собой. Иногда слышно было, как кто-то выдвигал ящики стола, открывал или закрывал скрипящие дверцы шкафа. Я осторожно попробовал приоткрыть дверь, но она оказалась замкнутой на ключ.

Молча, как часовые на посту, стояли мы у закрытой двери начальника школы, и она наконец открылась. Из кабинета вышел высокий, статный человек с тремя ромбами на петличках гимнастерки. Лицо у него было светлое, чисто выбритое, а глаза усталые, воспаленные. Он окинул нас невидящим взглядом и пошел по коридору. Боясь, что мы упустим его, я громко доложил:

— Товарищ начальник школы, разрешите к вам обратиться с просьбой.

Он обернулся и ответил глуховатым голосом:

— Подождите, я сейчас вернусь.

Вернувшись, он пригласил нас в кабинет, окна которого были завешаны тяжелыми портьерами, прошел в дальний угол, где стоял письменный стол, заваленный папками и книгами, сел, посмотрел на часы, вздохнул и сказал:

— Ну что ж, слушаю вас.

Саша скороговоркой выпалил, что, мол, нехорошо получилось: командование полка просило учиться, а его не принимают в школу, и только из-за того, что неважно написал сочинение и задачки не решил.

Саша считал, что испытания у профессора психотехники он прошел, а это главное.

Выслушав его с улыбкой, начальник обернулся ко мне:

— А у вас какая просьба?

Я доложил, что пришел просить не за себя, а за своего товарища, что мы с ним земляки, из одной деревни, вместе проходили допризывную подготовку, вместе служили в запасном полку, вместе воевали на фронте, с первого боя до самого последнего.

— Понимаю вас, — сказал начальник. — Из одной деревни, вместе воевали, вместе учиться хотите.

— Очень хотим, помогите нам, пожалуйста! — горячо вырвалось одновременно у нас обоих.

Лацис полистал лежавшие на столе папки, нашел послужной список Саши, прочел его анкету, биографию, аттестации, вышел из-за стола, походил по кабинету, поглядел в окно и опять обратился ко мне:

— Приемная комиссия представила список на девятнадцать человек, которых нельзя принять в школу из-за слабой общеобразовательной подготовки. Что бы вы сделали на моем месте?

Я смущенно промолчал.

— Не знаете, что ответить? — сказал он. — Я тоже в затруднении. Принять нельзя и не принять нельзя — люди кровью защищали совет-

скую власть. Хорошо. Предположим, я приму, но смогут ли они при своей слабой подготовке усвоить программу школы?

— Не знаю, как остальные, но Саша... товарищ Гришин воевал хорошо и успешно окончит школу, он не подведет вас,— заговорил я, торопясь высказать все, что можно было сказать в пользу Саши.

— Вы опять говорите только о своем товарище,— перебил меня Лацис.— А как поступить с другими? Ведь они, может быть, не хуже вашего Саши.

— Саша очень способный,— продолжал я еще с большим жаром, почувствовав, что начальник колеблется.— Он только из-за своего роста страдал, робел перед товарищами, его даже в армию не хотели брать из-за роста, говорили, что должен подрасти, а в армии он вырос.

Лацис заулыбался, посмотрел на Сашу, стоявшего опустив голову, снова взял его послужной список, полистал и сказал:

— Знаете, кажется, вы мне помогли решить задачу об этих девятнадцати. Правильно говорите, люди в армии растут... Ну что ж, спасибо за помощь. Поверим вам, товарищ Гришин.

— Спасибо вам,— радостно ответили мы.

И сейчас, вспоминая о тех далеких днях красноармейской юности, мне хочется сказать спасибо всем моим армейским товарищам, что помогли верно служить родине, делу Ленина.

О ЗАПИСКАХ «МОИ АРМЕЙСКИЕ ТОВАРИЩИ»

С Михаилом Ивановичем Демидовым я познакомился лишь теперь, читая его воспоминания. Но я хорошо знал — и раньше, чем он, и в те же годы, что он, — славную 44-ю стрелковую дивизию, Житомир, Новоград-Волыньское шоссе, летний лагерь дивизии, реку Тетерев. И этого одного было бы достаточно, чтобы я мог по достоинству оценить точность и живость скромных до скупости записок М. И. Демидова.

Но в этих правдивых записках есть и другая, важнейшая сторона: они возобновляют в памяти народа то, что мало кто знает по собственному опыту, а многим, знающим о начале двадцатых годов по описаниям, событиям и люди тех лет представляются в общих очертаниях; сложность общественной жизни, как она выражалась в повседневности, как-то проходит мимо чувства. Нам, советским военным старшего поколения, хорошо памятна обстановка, описанная Михаилом Ивановичем. Мы никогда не забудем, как дорожили каждым куском хлеба, как освещались лучиной, коптилкой, лампадой с «божьим маслом».

Читатель этих воспоминаний должен ясно себе представить, что в тот период строительства Советских Вооруженных Сил, о котором здесь рассказано, переход на казарменное положение (вместо прежнего размещения командиров и бойцов по частным квартирам, в школьных зданиях, а то и в сараях — где позволяли местные условия и военная обстановка) производился, когда мы не имели еще самого необходимого для быта: ни постельного и нательного белья, ни единообразного вооружения и обмундирования, отремонтированных казарм и материалов для ремонта. Кроме того, надо иметь в виду, что и командиры и красноармейцы были уже не те, что во время гражданской войны, но еще и не те, каких давала армии страна немногим позднее — всего через год или два. В 1921 году еще не были до конца изжиты «партизанские», в иных случаях анархические привычки, и изживались они тем труднее, что деревня, в основном поставлявшая бойцов, переживала тогда разрушительные последствия войны и вырабатывала новый жизненный уклад, переходя от военного коммунизма к новой экономической политике; процесс этот был спасительным, но сложным и сопровождался противоречиями. Росту сознательности красноармейцев помогали командный и политический состав армии, но у очень многих командиров в подразделениях — во взводе, роте, даже баталь-

оне — любовь к советской власти, к коммунистической партии, готовность посвятить им всю свою жизнь была, а знаний самим не доставало.

Все было в перестройке, все менялось — и быстро менялось! Например, в том соединении, где я служил несколько позднее, никаких эксцессов со стороны красноармейцев при переходе в казармы не было и не могло быть; они уже втянулись в регулярную работу по воинскому обучению, в течение службы, в непрерывное повышение своего политического и общего образования и, видя в казарме очевидное улучшение воинского быта, охотно ремонтировали здания, делали топчаны. Однако тем и интересны записки бывшего политрука М. И. Демидова, что в них запечатлены некоторые характерные черты, свойственные тому переломному моменту.

Не просто решался и вопрос о единоначалии. Недаром и впоследствии пришло к нему не раз возвращаться, изменять формы его осуществления — в зависимости от положения и от задач. Такой односторонний и неверный взгляд на вещи, как у командира роты Лунцова в записках, складывался под влиянием двух факторов: во-первых, твердо усвоенного на опыте своего участия в гражданской войне убеждения, что без единоначалия и строгой дисциплины нельзя иметь армию, способную одерживать победы, и, во-вторых, слишком малой образованности, чтобы понимать, насколько важную роль в выработке дисциплины, гибкости, исполнительности войск на всех ступенях играет политическая работа. Очень характерны споры — о них вспоминает М. И. Демидов, — происходившие в среде красноармейцев, командиров, политруков, почти без различия: чему учить, о чем говорить, когда речь заходит о политическом просвещении? Сталкиваются враждебно две линии: одна направлена на «культуртрегерство», другая — на злободневность. Обе имеют свое оправдание: жажда незаинтересованного знания была очень велика, и не менее велико было желание знать то, что нужно для действия. Не имела реального оправдания только односторонность. Однако и для того, чтобы ее преодолеть, нужен был общественный исторический опыт, нужно было пройти известный путь.

В том и одна из самых привлекательных сторон записок М. И. Демидова, что в них если и появляются мотивы самолюбия, своекорыстия для объяснения дурных явлений, то эти мотивы утрачивают первенствующее значение в сравнении с более общими направлениями развития. Написанные без расчета на «художественную типичность», люди становятся тем самым типическими.

Эти записки напомнят старшему поколению более яркие примеры из его молодости, а среднее и младшее поколение они ознакомят с тем, с чего мы начали после гражданской войны и чего достигли.

М. И. Демидов пишет, как его, политрука, оглядывали и изучали красноармейцы. Это напомнило мне, как солдаты — и я в их числе — ожидали назначения к нам офицера, как изучали его со всех сторон, а вечером, собравшись по углам кучками, обсуждали все замеченное и составляли ему устную характеристику. Но то были 1913—1914 годы, когда половина из нас были совсем неграмотными, а сильно грамотными считались те, кто учился две-три зимы. Представляю себе, как теперь солдаты критически разбирают положительные и отрицательные качества офицеров.

Разве это так важно? — могут сказать мне. Но так может судить лишь тот, кому не приходилось восзять.

Я не имел в виду писать рецензию или давать в иной литературной форме оценку записок Михаила Ивановича Демидова. Как современник, могу лишь порадоваться еще одному свидетельству о том пережитом, о чем будет, надеюсь, написано еще много.

Генерал армии А. В. ГОРБАТОВ.



ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

ДОРОГА

Восходит медленно дорога,
Осилит небольшой подъем —
И вновь растянута-полога,
Плетется ровным чередом.

И даже кажется — в сравненье
С вершинами, со всех сторон
Твердящими о восхожденье, —
Она уходит под уклон.

И ты глядишь с недоумением:
Ручей свой острый пересверк
Несет по каменным ступеням
Не вниз, как надо бы, а вверх.

Закручивает незаметно,
Ведя в дымящуюся даль,
Дороги медленная лента
Свою пологую спираль.

За шагом шаг, по бесконечным
Камням. От этой груды — к той.
И лишь внезапно станет нечем
Дышать — как перед красотой.

СЛЕД

Высоко в горах Перу археологи обнаружили загадочные древние крепостные стены, протянувшиеся более чем на 400 километров.

(Из газет)

Был же день — кто-то здесь возвышался,
Твердый камень ступнею поправ.
Кто-то жил здесь и насмерть сражался.
Кто-то прав был, и кто-то не прав.

Кости, ставшие пылью бесцветной,
Безглагольно лежат вдоль стены,
У ее основанья. И с этой,
И с обратной ее стороны.

Спят под ветром, и хладом, и зноем
Много лет и столетий подряд...
Кто, ответьте мне, пал здесь героем?
Но вершины жестоко молчат.

Им, высоким, крутым, седоглавым,
Не припомнить далеких побед.
Нет следов человеческой славы.
Есть — вражды человеческой след.



О Ч Е Р К И И Н А Ш И Х Д Н Е Й

А. ПОБОЖИИ

★

СКВОЗЬ СЕВЕРНУЮ ГЛУШЬ*

5

Чerez два дня в партии оставались только вермишель и консервированная «борщовая заправка». Но прилетел нагруженный продуктами вертолет, и с ним я вернулся в Уват, а оттуда на другой день попал в партию Баулина.

Вертолет сел рядом с палатками, стоявшими на высоком берегу реки Демьянки, и как только остановились его лопасти и хвостовой винт, я выпрыгнул на землю.

— Почту привезли? А масло? Соль не забыли? — слышались вопросы.

— Как дела у Иванова? Когда приедут из Москвы студенты? — спрашивал Баулин.

Я отвечал всем сразу и, взглядываясь в веселые лица, подумал: «Кажется, ничего, обжились».

Когда, разгрузившись, вертолет улетел, мы толпой, забрав груз, пошли на берег Демьянки. Эта река мало кому известна. Так же как Выя, она берет свое начало из болот и течет с востока на запад, впадая в Иртыш.

Густая тайга с огромными серебристыми тополями, высокими и стройными березами, ветвистыми елями и соснами подступала к самым берегам реки.

Глубоко врезанное русло ее, шириной метров в сто пятьдесят, было почти до краев наполнено мутной водой. С реки дул легкий, прохладный ветер, отгоняя комаров.

«Да,— подумал я,— здесь, конечно, лучше, чем на Вые».

Благодаря реке здесь просматривалась даль и открывалось небо, а там, на Вые, дальше как за сотню метров ничего не видно.

В этой партии я почти всех знал.

Миша Карпов с усердием точил брусом топор, чуть не по-стариковски хмурия брови. Ему было всего шестнадцать лет, он только весной вместе с моей дочерью окончил девять классов. От нее он узнал, что я собираюсь на Север, и попросился в экспедицию рабочим.

— Тяжело будет тебе, Миша, тайга трудная,— отговаривал я.

— Я уже два лета ездил с сестрой, она инженер-лесник, я визирки рубил,— опустил глаза, пояснил он.

— Экспедиции разные бывают,— настаивал я.— Там, куда мы поедем, ни троп, ни дорог. Да и гнус тебя загрызет.

— А у меня накомарник и полог есть,— оживился он.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

Мне боязно было брать его с собой. Но этот паренек меня просто покори́л, и я ему сказал:

— Ладно, собирайся. Через два дня поедем вместе.

К поезду он пришел задолго до отхода. Когда садились в вагон, проводница заметила:

— Эк как навьючился, за рюкзаком и самого не видать!

И вот Миша теперь работал в партии, и говорят, не хуже взрослых.

Я отвел Баулина в сторону:

— В рекогносцировку по трассе ходили? Болот много?

— Болот? — удивился Баулин. — Никаких болот нет — ходим и пылим. — Он сознался, что далеко вперед не ходили, а ездили на моторке в устье реки Перил, надеясь проплыть по ней вверх.

— Ну и как, удалось? — спросил я, удивляясь столь необычной рекогносцировке местности: ведь трасса здесь никак не могла пойти по самой долине Перила, а должна была следовать по сухим местам в пяти километрах восточнее реки, и, конечно, увидеть эту местность с реки было невозможно.

— Да нет, проехали по Перилу километров десять, потом пошли завалы, мели и перека́ты. Пришлось вернуться.

Вечером я узнал об этой их рекогносцировке нечто другое.

В прошлое воскресенье Баулин с целой компанией ездил по Перилу охотиться на лосей. Расчет их был простой: в это время года много гнуса, и лоси спасаются от него в озерах или в реках, забредая в воду по самые уши. Чего проще — плыви и стреляй...

И вот они поплыли на моторной лодке вниз по Демьянке, а там свернули в Перил. Баулин рулил, остальные сидели и глазели на подступающий к самой воде дремучий лес. За одним поворотом лодка выскочила прямо на лося, стоявшего в двадцати метрах на берегу реки. Охотники стали хватать ружья, но они были не заряжены, а патронташи оказались в самом носу лодки. Пока их оттуда доставали, пока заряжали трясушимися от жадности руками ружья и прилаживались стрелять с качающейся с борта на борт лодки, лось повернулся и неторопливо ушел в лес.

«Охотники» еще долго галдели, спорили, кто кому помешал палнуть, а лодка плыла быстро вперед, и второй лось, выпрыгнув из воды, умчался в лес. Опять никто не успел выстрелить: все сидели спиной к носу лодки, а Баулин не стрелял с кормы, боясь нечаянно попасть в сидящих впереди него людей. Дальше река была завалена лесом, и они вернулись в лагерь ни с чем.

Охота и рыбная ловля — любимый отдых изыскателей: ведь эти люди лишают себя театров, кино и всяких других развлечений. В таких условиях охота и рыбалка захватывают человека так, что он забывает об усталости, о невзгодах и лишениях. Он ловит рыбу там, где до него еще никто не закидывал удочку. Он ходит по таким таежным дебрям, где до него еще никто не ходил, где зверь и птица не видели людей.

В здешней тишине человек улавливает даже еле заметные всплески и шорохи, говорит шепотом — и не только из охотничьей осторожности, а потому, что инстинкт подсказывает человеку, что нарушить эту тишину — все равно что потерять нечто из самого дорогого, чем полна сейчас его душа.

Но то, что задумали Баулин с товарищами, это была не охота — это было убийство. Свое мнение о такой охоте с лодки на беззащитных лосей я высказал со всей прямоотой, и незадачливые охотники обещали впредь ее не повторять.

Рабочие, инженеры и техники возвращались небольшими группами из тайги и, положив инструменты, спешили к речке смыть разъедавшие глаза пот с мазью.

Завхоз Стрелин выговаривал поварихам:

— Опять с ужином опаздываете? Горе — не работницы.

— Ничего, не умрут. Нас трое, а вас сорок. Могли бы и помочь несчастным женщинам, — скучным голосом ответила Вера, беря картошку двумя пальцами так, словно это была не картошка, а цветок. Она не торопясь стала счищать с нее кожуру, но, очистив только полкартофелины, положила ее вместе с ножом в таз. Ее подруга Таня еще и не думала братья за нож. После длительного дневного отдыха — спала, пока ее не разбудил Стрелин, — Таня сладко зевала и неторопливо натирала ноги и руки жидкостью от гнуса.

Высоко взбитые волосы, начерненные ресницы и брови, накрашенные губы, оголенные много выше колен ноги и прозрачные нейлоновые кофточки выглядели до наглости вызывающе в обстановке изыскательской партии, среди людей, одетых по-таежному.

Мужчины, поглядывая на это диво, немного конфузливо улыбались и отпускали не слишком пристойные шутки. Но «тунеядкам» именно этого хотелось, и они бойко отвечали тем же.

Их старшая подруга Тамара пыталась развести костер, но поджечь спичкой сырые поленья без сухих щепок не удавалось еще не только ей, а, пожалуй, и никому. Швырнув в кусты коробок, она уселась на пенек, показывая всей своей позой и выражением лица, какая она несчастная.

Глядя на трех этих поварих, нетрудно было понять, что ужина еще долго не будет. Стрелин, засучив рукава, стал чистить рыбу, а коллектор Таня Хромова и чертежница Маша Максимова, вооружившись ножами, принялись за картошку.

Наблюдая эту картину, я размышлял: что же нам с «тунеядками» делать? Мы заботились об их одежде и питании, никогда ничем не напоминали им об их особом положении, давали им только легкую работу и всё надеялись, что они сделают сами хоть шаг, чтобы выйти из своего круга и как-то присоединиться к нам. Но этого не случилось. Что же делать?

Мои нерадостные размышления прервал Баулин. Он сказал:

— Забирайте от нас этих краль. С рейкой ходить по трассе откалались — комары, видите ли, грызут. Мерную ленту послал с техником тянуть от пикета к пикету — все шпильки к середине дня растеряли. Здесь тоже одна канитель...

— Воспитывать надо, — буркнул я, но, поняв, что сказал пустые слова, опять подумал, как при первой встрече с «тунеядцами» в Увате: «Выпороть бы их, для их же пользы...»

А Баулин наседавал на меня и уже кричал:

— Мы их воспитываем, а они молодежь по ночам развращают — гонять из палаток надоело!

— Что же нам с вами делать? — обратился я к самим женщинам.

— А нам все равно, — равнодушно ответила Вера.

— Как это — все равно? — вспылал Баулин и потребовал ответа: — Будете работать или нет?

— Ну, давайте работу, только что-нибудь поинтереснее, — пожал плечами Вера. Она кокетливо сморщила носик, повела глазами и, вздохнув, сказала: — Конечно, это несбыточные мечты. Но ведь мы могли бы работать официантками в ресторане.

— Нет у нас ресторанов, мотайте в Уват! — закричал Баулин и велел им убираться с кухни.

Услышав перепалку, подошли геологи, и Татаринов тоже стал требовать, чтобы этих женщин отправили в Уват.

На этом и порешили. Хотя я не считал такое решение правильным, но тоже не знал, как повлиять на них. Конечно, Вера, Таня и Тамара после нескольких бесед, даже самых убедительных, не выйдут из привычного для них круга; а пока мы будем искать путей к их совести и разуму, они будут стараться втянуть молодежь изыскательской партии в свой круг. Рисковать этим я не имел права.

Но что будет с ними? «Теперь мы,— думал я,— отгораживаемся от них, и другой мир, кроме уже привычного, станет для них еще менее достигаемым».

Это настроение, вызванное мыслями о «тунеядках», не рассеялось и тогда, когда я стал думать себе в утешение о коллекторе Тане Хромовой.

Вот она стоит у кухонного стола, и из ее рук одна за другой летят в кастрюлю чищенные картофелины. Она еще не успела снять противоэнцефалитный костюм, не отдохнула нисколько — торопится приготовить товарищам ужин.

Таня, девятнадцатилетняя девушка, впервые попавшая в тайгу, работала на трассе. Ее даже обижало, когда ей предлагали остаться в лагере на камеральной обработке полевых материалов. Она уходила на целую неделю с небольшим отрядом геологов в далекий маршрут со съемкой. Товарищеская простота в отношениях с мужчинами дала ей общее уважение, а ее смелое поведение в трудной таежной обстановке поставило ее в ряд даже с бывальыми изыскателями. Все старались помочь Тане. Она была принята на заочный факультет горного института, и все, кто только мог, на отдыхе, иногда и во время работы разговаривали с ней о предметах, которые она изучала, помогали ей разобраться в заданиях по программе обучения. Наставником Тани в партии был Владимир Иванович Татаринов, опытный геолог, работавший раньше на поисках нефтяных месторождений. Относился он к Тане как к родной дочери.

Почему так не похожи люди? Что этому причиной — родители, обстановка, случайность?

Я решил поговорить с нашими «тунеядками» по отдельности и за просто. Вот что я узнал.

Все они вышли из трудовых семей. В послевоенном детстве их не особенно баловала жизнь.

Вера окончила восемь классов московской школы и в 1958 году поступила работницей на прядильно-ткацкую фабрику имени Фрунзе. Через два года она вышла замуж, через год после замужества у нее родилась дочь Тоня, а еще через год — вторая. Имея двух детей, работать Вере было трудно, и ей пришлось с фабрики уйти. Денег в семье стало маловато, муж был тоже совсем молодым и работать начал недавно; вторую дочку отдали на воспитание состоятельной бездетной семье на Украину. Вера искала себе постоянную работу, где были бы ясли, но такого места найти ей не удавалось — рабочая квалификация была у нее невысокая, а ее уход с фабрики имени Фрунзе «по собственному желанию» настораживал отделы кадров.

Мать Веры умерла еще в 1950, а отец — в год замужества. Муж стал тяготиться домашним бытом и ушел к другой женщине. Она осталась одна, без постоянной работы, с ребенком на руках.

Тут и обрывается связность в рассказе Веры о ее судьбе. Очевидно, дальнейший период своей жизни она сама вспоминает всякий раз по-разному и вообще предпочитает его не вспоминать.

Как бы там ни было, Вера после увольнения с фабрики работать

перестала и даже не пыталась уже выбраться из положения, в которое попала. В такое же, случается, попадают и другие, не она одна. Но большинство из них все-таки выходит из него ценой несравненно меньших потерь. Ей вовремя никто не сумел помочь. И вот она лишена материнства за праздный образ жизни, за пьяные дебоши, за то, что она — женщина всего двадцати четырех от роду — утратила и стыд, и естественное желание иметь постоянную привязанность. Наверно, мы ей могли бы как-то помочь, но тоже не сумели.

С мужчинами-«тунейдцами» дело обстояло много проще.

На мой вопрос — как живется в тайге? — Ивин ответил:

— Да лично мне неплохо.— И добавил:— Комары, конечно, жрут, да и работа нелегкая, зато сплю без задних ног. А какой аппетит — так бы и ел с утра до ночи! А в Москве что? Я раз сорок был в вытрезвителе, и все в одном районе, в Тимирязевском. И даже там, если без укола, спал час-другой. А выйдешь — голова болит, на свет глядеть противно. И такая злость на себя берет... И все равно: чуть завелись деньжонки — спешишь за пол-литром или на худой конец за одеколоном.

Ивин работал на заводе, в Отечественную войну был зенитчиком, кончил службу капитаном. Но после войны «почему-то все пошло кувырком». И эти слова он произнес так просто, что невозможно было не поверить, что он действительно не знает, почему «все пошло кувырком». Правдой, по-видимому, было и то, что он за многие годы здесь, в тайге, впервые начал хорошо спать и есть, и в работу он втянулся по-настоящему потому, что она его освобождала от постоянных мук.

Ясно было, что, если он год-другой уберезжится, не запьет, его мускулы вновь окрепнут, окрепнет и воля.

Ивин сам спросил меня:

— На зиму можно будет остаться в тайге? Если попаду в Уват, у меня все пойдет, как было.

Я понял его: он боялся, что самому ему с собой не совладать.

Мне, конечно, хотелось оставить на зиму часть людей на трассе — разбурить большие мостовые переходы, построить домики для партий, склады, бани и еще многое, чтобы в будущем сезоне облегчить труд изыскателей в этом суровом крае. Но я еще не знал, как сложится дальнейшая работа нашей экспедиции. Все зависело от того, хватит ли нам отпущенных средств. Однако я не мог лишать надежды Ивина и обещал сделать все от меня зависящее, чтобы удовлетворить его просьбу.

6

Северная глушь не только привлекает, но и гнетет человека своей первобытностью. Реки меняли здесь свои русла, и гибли деревья, уступая место молодым порослям, но ничего больше за тысячи лет не изменилось.

Человек сторонился болотных топей и лесной глуши. Немногие смельчаки из русских шли в глубь тайги от понизовий Иртыша и Оби, и то лишь если не находили иного избавления от преследований и нищеты. Ханты редко посещали эти края, предпочитая держаться ближе к берегам Оби и низовью Иртыша.

Никто не помнит, когда на Соровой появилась первая изба, и, верно, долгие годы мало кто знал о ее существовании. Прячась от всего мира, основатели этой деревушки скрыли ее так, чтобы не нашел незнакомый человек. Возможно, жители Соровой боялись властей — светских и церковных, — от которых им пришлось бежать; возможно и то, что они просто искали тишины и покоя, хотели жить, проводя дни в труде на себя самих.

Даже сейчас жители Соровой остаются, я думаю, чем-то похожими на своих предков. Если бы еще прежде Баулин не побывал в Соровой, нам трудно было бы отыскать узенькую протоку, соединяющую Демьянку и озеро Сор. На берегу Демьянки, в устье протоки, не было никаких признаков того, что поблизости есть жилье: ни одного срубленного пня, ни одной заломанной ветки на кустах, ни даже примятой человеком травы. Но Баулин уверенно направил моторную лодку в такую же неприметную, как много других, узкую протоку.

Над нами свисали ветви, образуя почти полный свод, и мы плыли, почти не видя неба. Чем дальше, тем протока была шире, и вскоре открылась широкая водная гладь; на одном берегу озера были разбросаны четыре деревенских избы, на другом стояла одна; возле них были амбары, бани, навесы. В огородах цвели подсолнухи. Лаяли собаки, в дальнем конце озера на прибрежном лугу паслись коровы и лошади.

Здесь был целый мир, отгороженный непроходимыми топяи от таких же маленьких миров, затерявшихся, как Соровая, в северной глуши.

Но о Соровой заговорили, и она даже попала на наши карты, когда открыто было, как велики не так далекие от нее нефтяные богатства Севера. С тех пор над озером стали пролетать самолеты и вертолеты. А теперь пришли и мы, чтобы проложить трассу железной дороги.

Соровая со своими лугами, огородами и усадьбами радует глаз, как цветок среди черного леса и океана болотной гнили. Ее чистый воздух дает отдохнуть легким, уставшим дышать болотными испарениями. Здесь простор, здесь небо и горизонт, здесь земля и вода не смешаны, а разделены.

Виктор Смагин, работавший проводником в партии Баулина, был жителем Соровой, и мы пошли к нему.

Было раннее утро, но семью Смагиных мы застали уже за завтраком. Виктор, его жена и двое детей ели из одной миски лапшевник с курицей. Завидя нас, они гостеприимно засуетились, подставляя к столу табуретки, и предложили с ними позавтракать. Но так как мы уже завтракали у себя в лагере, хоть и не так вкусно, то, поблагодарив хозяев, сели не к столу, а на лавку у стены.

Изба была разгорожена: слева от входа стояла большая русская печь с топкой вперед, а между топкой и стеной избы был отгорожен покрашенными досками небольшой угол для кухни — помещение, называемое «задоски».

Это была не только кухня — это было также и главное рабочее место хозяйки дома, укрытый угол для многообразных ее дел. Там, на самодельном столе, стояли два больших чугуна, квашня для теста, посуда, а рядом со столом стояла бочка с водой, большой бидон, ухват, кочерга и еще много всякой утвари. Там же хозяйка переодевалась и причесывалась. Вдоль перегородки стояли две деревянные кровати, наверно, доставшиеся еще от дедов. Рядом с окном, выходившим на юг, стоял единственный стол. Под окном, выходившим на восток, приткнулась скамья. У стола стояли старые самодельные массивные табуретки, а рядом с кроватями у стен два старых, но легких фабричных венских стула. В избе было три окна (вместе с окном на кухне, выходившим на восток), и хотя окна были небольшие, видимо, с расчетом на сильные морозы, на них не было занавесок, и через стекла падали на пол яркие лучи солнца. В углу висели ходики старого-престарого образца, но на самодельной тумбочке стоял хороший радиоприемник — единственный дорогой предмет во всей домашней обстановке.

Мне показалось, что, судя по обстановке, Смагины живут, можно сказать, бедновато. Почему? Ведь Виктор — хороший охотник, у себя

дома он разводит чернобурых лисиц и, говорили нам, хорошо зарабатывает также и на них; так почему же все, начиная с одежды и кончая мебелью, было самодельным, или очень старым, или очень простым, почти скудным? Видимо, догадался я, это отвечает привычке и вкусам жителей этого дома, а может быть, и многих семей в таких уголках северной глуши. Они не отказываются от нужной новинки, от радиоприемника, но сохраняют привязанность также к стародавней бытовой простоте. Им нужна удобная и прочная одежда — эта одежда должна летом защищать их от гнуса и энцефалитного клеща, а зимой от морозов; им нужна болотная обувь, нужна теплая изба, чтобы в ней и в самые холодные зимние месяцы было тепло; им надо, чтоб было из чего есть, на чем сидеть и спать; им нравится ладно сделанная утварь и одежда с повторенным традиционным, пусть меняющимся орнаментом. Но эти люди, не порабощенные здешней неласковой природой, а лишь вынуждаемые ею вечно трудиться, все же любят ее и любят ее, а уж «вещи» — вожделенные для образованного и необразованного мещанства — и подавно не могут ни поработить их себе, ни заставить себя полюбить.

Действительно, соседи Смагиных, как я узнал, жили так же просто, как они, — и Смагиным не за кем было гоняться для того, чтобы не уступить в богатстве одежды и обстановки, что так характерно для «цивилизованного мира». Здесь был свой мир, и в его прочном укладе была большая прелесть. Насколько сможет она совместиться с общим развитием?.. Будущее покажет.

Пока Виктор справлялся с домашними делами, я вышел во двор и стал рассматривать надворные постройки. Амбар стоял на столбах с замысловатыми резными карнизами, о назначении которых нетрудно было догадаться: ни один грызун не попадет в амбар по этим столбам, он стукнется головой о карниз и брякнется на землю. Под навесом на вешалах висели вентили для ловли рыбы, две косы, старый серп. Недалеко от амбара, обтянутые металлической сеткой, стояли вольтеры, в которых жили черно-бурые лисицы.

Когда Виктор позавтракал, мы, вскинув на плечи тяжелые рюкзаки, пошли в сторону реки Перил. Соровая с ее огородами и лугами скоро осталась позади. Нас окружал лес — черный, без просветов неба. В два обхвата тополя, березы, ели, лиственницы, переплетенные кустарником, стояли стеной. Виктор шел впереди по еле заметной, хорошо ему известной тропинке, шагал легко, не оглядываясь на нас, — все его внимание теперь было приковано к тропе, чтобы ее не потерять.

Мне казалось, что этот человек, наверно, никогда не предается праздным размышлениям. Он не раз видел смерть и в одиночестве переживал свой страх перед ней или ее ожидание, участь, может быть, у животных, умиравших от его пули. Он гордился своими далекими переходами на охотничьи угодья в верховьях реки Кальчи, куда он уходил один каждую осень по первому снегу и возвращался среди зимы. В далеком пути ему не на кого было надеяться, с ним были только собаки, — за долгие месяцы он даже отвыкал говорить с людьми. Жестокое морозы и жизнь впроголодь его не пугали. А уж наш поход — для нас большое испытание — был для него сущим пустяком.

Кончилась пойма Демьянки, мы очутились в болотах. Лишь отдельные околышки чахлого леса, словно стрелы, прорезали их.

Виктор обходил опасные места, немного удлиняя этим путь. Под ногами хлюпало, с болота поднимались испарения. Здесь гнили упавшие деревья, разлагались кусты и трава. Но все-таки мы шли довольно быстро.

Когда солнце достигло зенита, я весь взмок от пота и болотной воды, а духота от сильно греющего солнца, мешая дышать, доводила меня до изнеможения. Как хотелось попасть в сухой лес! Но куда ни глянь, куда ни ступи, кругом болота с редкими карликовыми сосенками, коренного берега все нет и нет.

Как ни трудно было нам, шли без остановки, и нельзя было иначе, ибо другого спасения от гнуса не было — костер развести не из чего, оставалось шагать и шагать.

Наконец после шести часов пути почва под ногами стала тверже. Пройдя еще метров пятьсот, мы нашли березовую рощу на террасе высотой метров в двадцать. Взобравшись на нее, Виктор сбросил рюкзак, мы с Баулиным тоже. Сидели и молчали — говорить не хотелось, так мы устали и так трудно было ворочать сухим от жажды, распухшим языком: вода у нас с собой была, но пить в таком пути нельзя — можно потерять последние силы, мышцы делаются дряблыми, неспособными переносить тяжелой нагрузки, — это знают все, кто не раз бывал в тяжелых переходах.

Виктор был куда бодрее нас, словно его тело не имело способности уставать. Он уже разводил костер. Через пять минут горел огонь, а Виктор спешил с котелком к ручью, шагая свободно, легко, как будто он и не ходил по болотам шесть часов подряд. Повесив котелок над огнем, он сказал:

— Пойдемте, я вам интересную штуку покажу.

— А далеко это?

— Да нет, рядом.

И он направился в небольшой распадок. Как ни трудно было, мы поднялись и пошли вслед за Виктором.

— Здесь охотники-ханты зимой спали, — показал он на что-то, что показалось мне большой колодой.

Мы с недоумением рассматривали незатейливое сооружение: это был срубчик — два толстых бревна, положенных в ряд, меньше двух метров длиной, и две поперечины к ним; поверх две пластины из расщепленных деревьев; дно выложено сухим мхом.

— Здесь зимой не один хант ночевал, — пояснил Виктор.

Мое воображение невольно вызвало охотника, застигнутого вьюгой или жестоким морозом в тайге. Он устал, ему хочется спать. Но он знает, что спать при таком морозе под открытым небом нельзя — смерть проникнет сквозь его одежды, какими бы они ни были, сначала окаменеют руки, ноги и лицо, потом окоченеет все тело. И человек ищет спасения.

Всюду на Севере спасаются по-своему. У Полярного круга в ледяных пустынях нарцы ложатся в снеговую яму вместе с оленями, и тепло оленей согревает их. Здесь ханты укрываются от стужи в срубе, прикрывшись деревянными пластинами. Снег заваливает его, и чем снега больше, тем спать теплее. Термометр снаружи будет показывать минус пятьдесят, а в колодине ртуть не спустится ниже десяти. Завернувшись в теплую одежду, хант спит, зная, что не замерзнет.

Виктор объяснил, что эти места ханты посещают редко, но ему случилось видеть такие же колодины у озера Кинтус, за полтора километра отсюда.

Сухая земля, на которой мы сделали привал, тянула к отдыху. Растительность здесь была похожа на обычную сибирскую. Высокие ветвистые ели чередовались с лиственницей, березами и кедрами. По твердой почве легко было ступать, и мы смеялись тому, что наши ноги, привыкшие к ходьбе по болоту, невольно поднимались ненужно высоко, как будто вырываясь из трясины.

Здесь нам было очень хорошо. Но мы искали твердую землю не для себя — для полотна железной дороги, и как ни хорошо отдыхать в настоящем лесу, а задерживаться здесь не годилось. Закусив консервами с хлебом и выпив по кружке крепкого чая, пошли дальше к Перилу.

Шли опять без видимой тропы, держа направление по невысокому плоскогорью на юго-запад. Виктор легко шагал впереди, а мы поспешали за ним.

Только к вечеру с высокого обрыва мы увидели узенькую ленточку воды, теряющуюся за густым лесом. Спуститься в долину Перила сил уже не было, и, пройдя немного по склону, натолкнувшись на ручеек, мы стали готовиться к ночлегу.

Тишина, тишина, тишина! Только топоры Виктора и Баулина нарушали ее. От их ударов слабое эхо отдавалось далеко за Перилом...

Над ярким костром тучи комаров совершали свой последний круг: почти невесомые, они попадали в вихрь пламени и пепел их вместе с дымом костра уносился к вершинам деревьев.

Я смотрел на комариный хоровод, на черные деревья за костром. Думать не хотелось — покоя требовали и мышцы и мозг. Но ничего не поделаешь — нужно было еще закончить рисовку маршрута.

В глазах рябили буквы и цифры. Я невольно отрывался от миллиметровки и прислушивался к неторопливому рассказу Виктора о Кальче, где, по его словам, природа другая, непохожая на эту, где гуще лес, где меньше болот и много зверя. О Кальче, где он охотится много лет, этот молчун рассказывал многословно, задушевно и красочно, со многими подробностями — когда и как ловил там соболей, сходилась один на один с шатуном-медведем.

Слушая его, я чувствовал, как искренне и сильно он восхищается своей Кальчей. А я-то недавно летал над ней на вертолете и не заметил ничего особенного, что могло бы резко выделить ту местность из общей панорамы северной глуши. Но каждому свое! Одни хвалят свой город, другие село, а для Виктора не было ничего прекраснее Кальчи, которую он знает на многие сотни километров, где, кроме него, никто не бывает. Поскрипывание сухих деревьев, шелест листьев и журчание воды на перекатах Кальчи, рев изюбрей заменяли ему музыку. Безмолвие тайги успокаивало его, и даже капли дождя, падающие с листьев на брезентовый полог, приносили ему отраду.

Неумолчно рассказывая о Кальче, Виктор поджаривал на костре куски убитого им большого глухаря и приговаривал:

— Стар, видно, глухарь-то.— Он улыбнулся, отворачивая от жаркого костра раскрасневшееся лицо.— Мясо уже подгорает, а все равно твердое. Грызть придется, а то, если еще жарить, совсем спалю.

Он продолжал доказывать, что против Кальчи здешние места совсем худые. Там бы не один медведь уже рывкнул... А тут что медведю-то делать? Ягод мало, да и кедрач не тот.

Но Баулин перебил его, заговорив о Байкальском хребте, о долине реки Кунермы. Медведей там, по его словам, было столько, что и не перебить, скорее бы тебя самого слопали, и такие они огромные, не здешним чета!

Виктора такое пренебрежение к Кальче задело, но он сдержанно ответил:

— Медведей я бы только, когда есть нечего, а так зачем их трогать? Мне белка, соболю, лисица и горностаи нужнее.

— Так и они там тоже есть — там все есть,— не унимался Баулин.— И соболи не здешним чета — баргузинские!

Баулина понесло. Он расхваливал тот край, такой же малонаселенный, как и эта северная глушь,— хвалил и каменные осыпи, по которым

мы с ним, бывало, с таким трудом пробирались, чествуя их на чем свет стоит... И он не лгал, не притворялся: в самом деле Баулин был влюблен в те места, где двадцать лет назад мы изыскивали трассу через горный хребет для Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Эта суровая тайга Байкальского хребта, где на каждом шагу изыскателей подстерегали опасности, на всю жизнь врезалась в память и мне. И я тоже, несмотря на все трудности и невзгоды, не раз мечтал попасть вновь в тот край — в край снежных лавин и скальных обвалов, в край, где за сутки выпадает до метра снега, где на много дней долины рек окутываются плотной пеленой тумана.

После ужина, пока Виктор готовил ночлег, мы с Баулиным, преодолевая сонливость, стали вычерчивать и описывать пройденный за день маршрут. Но, окончив работу, Баулин еще и еще рассказывал Виктору о реках с водой, такой же прозрачной, как в Байкале, об отвесных скалах, с карнизов которых обрываются огромные глыбы, останавливая реки.

Засыпая, я думал о людях, любящих природу, годами помнящих каждый ее уголок; в их памяти на всю жизнь остаются сотни впечатлений картин увиденного так же, как в памяти горожан хранятся городские пейзажи, отдельные здания и целые улицы.

Еще два дня мы ходили по долине и по плоскому водоразделу между Перилом и Кальчей. На водоразделе было много болот самого причудливого очертания: одни были похожи на огромные морские звезды с десятками лучей, другие залегали в глубоких логах, а многие оказывались на самых возвышенных местах и были круглыми, как блюда. Только лес был повсюду одинаковый — береза, тополь, изредка кедр и сосна. Много валялось погнивших деревьев, а на склонах, спускающихся к логам, были сплошные завалы.

Только на пятый день возвратились в долину Демьянки, где встретили отряд наших изыскателей, и, сбросив полегчавшие рюкзаки, подошли к ним.

Старший инженер партии Константин Николаевич Голошапов устанавливал теодолит над кикетной точкой. Рабочие подправляли лезвия топоров напильниками, двое разматывали стальную ленту.

— Что так мало рабочих взял с собой? — спросил Баулин инженера.

— Еще не подошли, плетутся где-то. Они всегда на полчаса позднее приходят, каждую валежину на животе переползают.

— Это кто же такие?

— Известно кто — все те же знаменитые туняядцы, — безнадежно махнул рукой Голошапов. — Из них всех только один Ивин не отстает.

Закурив, мы развернули карту и стали уточнять, как проложена на местности трасса от мостового перехода через реку Демьянку до того места, где находились мы сейчас. Трасса была уложена хорошо. Местами она обходила топкие болота, а местами перескакала их в узких перешейках; земляные работы по отсыпке полотна на всем пройденном участке будут небольшими.

Голошапов выставил вешки вперед по оси трассы, чтобы рубщики могли рубить просеку, но пока рубщиков было всего два...

Вдруг слева затрещали сучья, и на просеку выскочил Юрий Орлов. Брюки и куртка на нем были в нескольких местах порваны, от волнения он не мог говорить и, только переведя дух, заикаясь, выпалил:

— Варенникова медведь задрал! — Задохнувшись, он повалился на мох.

Мы еще не успели что-либо предпринять, даже подумать, как увидели, что с правой стороны просеки, перепрыгивая через высокий ва-

лежник, бежит Варенников. Подбежав к нам и стуча золотыми зубами, он не своим голосом закричал:

— Орлова медведь жрет!

Тут мы все расхохотались, а Орлов и Варенников, вдруг поняв, что оба живы и невредимы, бросились обниматься.

Что же случилось? И почему они так растрогались? Может быть, они прощали друг другу, что каждый из них при первой опасности бросил товарища? Может быть, после совместно пережитого ужаса каждый из них был бескорыстно рад видеть другого целым и невредимым?

Кто знает... Нам был ясен один факт, и весьма отрядный — у обоих окрепли мускулы: иначе они не могли бы, если б и еще сильнее испугались, так резко бежать по лесу, усеянному суковатым валежником.

Они отставали от других работников не по недостатку сил и сноровки, а просто оттягивали время работы. А напугал их не медведь, а медвежонок лет двух, которого видели и нивелировщики, работавшие в том месте, откуда бежали Варенников и Орлов. Услышав крики, медвежонок поспешил удрать.

7

В начале августа жара в Увате перевалила за тридцать градусов. Дождей давно не было, и воздух был насыщен торфяной пылью. Облака пыли за проходящими машинами подолгу повисали в воздухе, покрывая серым налетом дома и деревья.

Мы с завхозом стояли на крыльчке книжного магазина, спасаясь за его стенкой от очередного облака пыли, поднятого двумя грузовиками. Когда пыль начала рассеиваться, мы увидели «тунеядок» — Веру и Таню.

— Куда они пылят? — кивнул в их сторону Владимир.

Долго гадать не пришлось: «тунеядки» направлялись в нашу сторону.

— Здравствуйте, — поздоровались они, подойдя к нам. Не дав времени ответить на приветствие, Вера поспешно выпалила:

— Возьмете нас на работу?

— А как же ресторан? — спросил я, напоминая последний наш разговор на берегу Демьянки.

— Не вышло с рестораном. Даже судомойками не взяли, — призналась Таня.

— А у нас что собираетесь делать? — спросил завхоз.

— Что прикажете, что прикажете, — затараторили обе наперебой.

— Ах, так, — догадался он. — Комендант вас не кормит? Работать велит?

— И это есть... — согласились они.

— Нет у нас для вас работы. Пылите дальше, — отрезал Владимир.

— Да возьмите же нас. Вот увидите, будем работать. Податься нам некуда, в тюрьму ведь посадят, — жалобно просили они.

Это последнее соображение на нас, конечно, действовало: люди же! Даже Владимир, как ни сердился, посмотрел на них с какой-то грустью.

Обе стояли перед нами жалкие, встрепанные. На ногах — рваные тапочки, набитые пылью. Ноги в пыли. Они старательно прикрывали прорезиненными плащами свои обтрепанные, еще из Москвы, платья. Но волосы у обеих были по-прежнему высоко и старательно взбиты, и пыль там нашла хорошее убежище.

Что им ответить? Отказать просто. А сказать, что возьмем их на работу? Это значит взять на себя немалую обузу. И зачем? Вряд ли будет и для них толк. Разве что подкормить...

— Приходите утром на базу,— сказал я.— Там подумаем.

У Веры и Тани повеселели глаза.

— Только возьмите!

Мы с Владимиром ужинали в столовой, которая по вечерам работала с повышенной стоимостью всех блюд и превращалась в ресторан с продажей спиртных напитков и соответствующих закусок. В эти часы уже не было самообслуживания, и принаряженные официантки подходили к посетителям по всем правилам ресторанного этикета и распорядка.

Было шумно. За двумя столиками сидели знакомые мне рыбаки, а рядом с ними, в углу, сдвинув два столика,— молодые парни и четыре женщины. Две из них были наши «тунеядки» — Вера и Таня, а с ними еще две, совсем молоденькие, недавно высланные из Москвы в Уват.

Из парней я знал только одного — он был из тех «тунеядцев», что еще в июне отказались работать в экспедиции. Это был парень с неестественными манерами, которые ему, наверно, казались аристократическими, и одет он был намного лучше несчастных наших «тунеядцев» — на нем был модный и сравнительно новый костюм, белая шелковая сорочка и остроносые черные туфли. Видно, родственники или друзья присылали ему и деньги и вещи, потому что если он даже не только бездельник, но и вор, то ведь здесь много не наворуешь...

А компания была явно при деньгах: оба столика были заставлены закуской, бутылками со «столчной», коньяком и шампанским. Вера и Таня, видимо, забыли уже о невзгодах и, сейчас веселые, не отставали от парней, пили рюмку за рюмкой.

Обслуживала их молоденькая официантка. Вера и Таня не смотрели на нее с завистью, как в те дни, когда их «в судомойки не взяли», и давали ей по-барски распоряжения, требуя то того, то другого, да побыстрей.

Да, в ресторан на работу их не возьмут — это они уже знали,— а приходить сюда развлекаться им никто не запретит, только плати...

Когда мы, поужинав, поднялись, чтобы уйти, компания «тунеядцев» еще оставалась в ресторане. Все они были уже пьяны. Парни без стеснения обнимали на людях женщин, требовали от оркестра веселой музыки, звали официантку, чтобы подавала еще вина, хотя и лили его уже не столько в рюмки, сколько на скатерть.

Вера и Таня пришли на нашу базу не утром, как было условлено, а лишь в середине дня. Лица у них опухли, под глазами были багровосиние круги. Не встретить они своих приятелей — может быть, они сделали бы первый шаг к новому жизненному своему устройству. Теперь от вчерашнего их порыва — поехать в тайгу — и воспоминания не осталось. И мы опять ничего не смогли для них сделать.

Позднее я не раз видел Веру и Таню на аэродроме вместе с теми двумя подругами, что были в ресторане. Они вертелись около аэропорта, встречая и провожая, и тут же, у здания аэропорта, сидя на корточках, выпивали с новыми «знакомыми» за их прилет или отлет. Иногда можно было видеть, как они отправлялись с компанией на берег Иртыша, где недалеко от аэродрома росли прибрежные кусты. Свои походы и пирюшки они устраивали без всякого стеснения, на глазах у многочисленной публики, ожидавшей самолетов или вертолетов.

Только когда началась уборка урожая, комендант собрал всех неработающих и увез их на колхозные поля.

Даже наш ограниченный опыт показал, что среди людей, выбитых из нормальной жизни, женщины пслучают нравственные увечья более тяжкие и труднее исправимые, чем мужчины. Из этого следует одно:

женщины, особенно молодые, попадающие в условия, которые грозят личной катастрофой, требуют к себе особого внимания и осторожности, чтобы они смогли сохранить уважение к себе.

8

Как-то само собой получилось так, что в моем рассказе о работе нашей экспедиции довольно значительное место заняли «тунеядцы». Но мне кажется, что судьба этих людей и — еще того более — вопрос об исчезновении в будущем всей этой категории людей не может не занимать наше общество. Это именно о б щ е с т в е н н а я задача: до тех пор, пока добропорядочные граждане будут довольствоваться верой, что «в милиции разберутся», задача эта не будет решена.

В очерке «Мертвая дорога» мне пришлось писать о невольных участниках тяжелейших работ на строительстве дороги Салехард — Игарка. В тех условиях говорить о «трудовом перевоспитании» в большом числе случаев было бы просто ложью, тем более что много там было людей, ни в каком перевоспитании не нуждавшихся. С «тунеядцами» дело обстоит иначе. Если среди них попадают люди, не по праву причисленные к малопочтенной категории, то, во-первых, число их невелико. Во-вторых, для «тунеядцев» участие в дружном коллективном труде, при условии, если удастся установить товарищеские взаимоотношения с другими работниками, действительно представляет собой — если не всегда, то во всяком случае почти всегда — путь к выздоровлению личности. Надо только лучше продумать способы включения выбившихся из колеи людей в труд, подходить к ним индивидуально, меньше полагаться на осуждение, больше чувствовать свою ответственность перед этими людьми. Кто раз почувствовал эту ответственность, тот о ней не забудет.

В следующем году я работал в экспедиции на Дальнем Востоке.

В июле, в самый разгар изыскательских работ, ко мне пришел на ниматься на работу мужчина лет тридцати — тридцати пяти. В то время мы были готовы взять кого угодно, лишь бы он хоть что-то мог делать, и каждому новому рабочему я был рад. Но когда он вошел, передо мной предстала огромная фигура настоящего босняка.

Обут он был в тапочки на босу ногу, одежда рваная, грязная, свалявшаяся, лицо заросло черной щетиной. Он словно только что поднялся из канавы. При этом он еще стоял в гордой позе, глядел прямо, высокомерно, подчеркивая свою независимость. Он даже выпятил голую грудь, покрытую замысловатой татуировкой.

Я видел такого не первого и понимал, что все это наигранное, что он, бедняга, дошел до точки.

— Какая у вас специальность? — спросил я.

— Я бич, — невозмутимо проговорил тот.

Это прозвище, происходящее от английского «beech» и во всем мире обозначающее безработного матроса, списанного с корабля, я услышал сразу, как только приехал на Дальний Восток и стал комплектовать состав экспедиции рабочими.

Но здесь «бичами» называли всех тех, кто подолгу не задерживался на одной работе и не имел хоть сколько-нибудь постоянного местожительства, то есть одну из тяжелых разновидностей тех, кого в тридцатых годах у нас называли «легунами».

Эти люди, пожилые и молодые мужчины, кочевали с места на место, в одиночку и небольшими группами по Дальнему Востоку, разыскивая, где можно было бы полегче и побыстрее заработать, и их взор в первую очередь всегда устремлялся на экспедиции.

— Это бич,— говорили мои помощники или начальники партий.

— Ну и что же, пусть будет бич,— отвечал я.— Рабочих-то ведь нет? Пусть хоть сколько-нибудь да поработает.

Этих «бичей», по негласным подсчетам начальников партий, уже переработало в экспедиции около сотни. Следуя своей традиции, они, увидев, что золотых гор здесь получить нельзя, подолгу у нас не задерживались. Увольнялись одни, приходили другие.

Все же я решил попытаться хоть что-нибудь узнать об этом человеке — фамилия его была Григорьев — и спросил, что значит прозвище «бич».

— Бич? — прохрипел Григорьев.— Это бывший интеллигентный человек.

Я невольно улыбнулся такой неожиданной расшифровке.

— Ну, а документы у вас есть? — спросил я уже серьезно.

— Смотря какие,— небрежно бросил он.

— Паспорт, трудовая книжка,— пояснил я.

— Паспорт имеется,— ответил Григорьев и вытащил из глубины кармана листок временного паспорта.

— А где же прописка и трудовая книжка? — допытывался я.

— Этого мы не имеем,— угрюмо, но не без форсу признался он.

«Ну, ладно,— решил я.— Пусть важничает. Рабочие нам нужны». И, созвонившись с милицией, я получил разрешение принять его на работу без прописки и трудовой книжки.

Я почему-то особенно запомнил этого Григорьева и часто узнавал, как он работает в тайге. Ведь подобные ему обычно отъедятся, отоспятся, заработают сотню рублей — и снова подадутся на поиски «золотых россыпей». Обычно они пропивают заработанную сотню у первого магазина и снова идут искать хоть какую-нибудь работу...

Григорьев тоже через месяц уволился, но прошло всего пять дней — и он вернулся примерно в таком же виде, в каком приходил в первый раз, да еще с подбитым глазом.

— Брошу бичевать, возьмите на работу. Зима на носу.

И мы его снова взяли под честное слово, что он будет работать долго.

В тайге Григорьев работал все время хорошо. Потом мы перевели его на постройку домов экспедиции в Ургал, и здесь он тоже работал старательно, хорошо зарабатывал. Но вдруг Николай Андреевич Перминов, начальник стройгруппы экспедиции, сказал мне, что Григорьев со своим дружкой, тоже из «бичей», сбежали, не заплатив даже в экспедиционной столовой за питание.

— А спецовку и спальные мешки они не прихватили с собой? — спросил я.

— Нет, все сложили на койки. Даже зарплату за семь дней не получили.

Зарплаты этой хватило на покрытие долга в столовой. Но почему они так поступили? Почему удрали тихонько?

Посоветовавшись с начальником отделения милиции Александром Эрнестовичем Пудруком, я согласился взять на работу в экспедицию двух «тунеядцев», которых он не знал, куда пристроить. На другой день утром к нам в Ургал приехали не двое, а трое: муж и жена и еще один мужчина лет тридцати.

Когда я с ними познакомился, меня охватила тоска. Это были одичалые, исковерканные люди, огрубевшие до крайности. Я еще не принял их на работу, а они уже вели себя так, словно я упрашиваю их принять меня на службу, а не они пришли искать работы в экспедиции, чтобы не попасть в еще худшее, чем сейчас, положение.

Можно было бы, конечно, рискнуть и взять их, но я собирался уехать надолго в Москву, а оставлять своим помощникам такую обузу я не решился. Так и не знаю, куда их пристроили.

Но что же произошло с Григорьевым, об этом я еще не раз спрашивал. И пришел к выводу: ему было неловко после данного мне слова снова «бичевать», потому он и не принес заявление о желании уволиться. Эта совесть и то, что он не присвоил себе ни одной лишней копейки, показывают, что это человек не потерянный.

Мне, видно, придется быть в экспедиции на Дальнем Востоке, и снова к нам слетятся «бичи». И мы обязательно будем их брать в тайгу на нехоженые тропы.

Мы возьмем и «тунеядцев». Правда, московских «тунеядцев» там уже не будет: их туда не ссылают, ведь это очень далеко, там есть «свои» — из Хабаровска, из Владивостока. Я и мои товарищи, конечно, попытаемся сделать все, что возможно, чтобы они стали работающим народом. Экспедиция будет работать не один год, и мы изо всех сил постараемся приучать их к труду и культуре. Может, и выйдет толк. Не знаю, но надеюсь...

А как будет хорошо, когда ни «тунеядцев», ни «бичей» не будет. Их мало, но, куда бы их ни выслали с глаз долой, они будут оставаться теми же, если не будут продуманы действенные планы для их рабочего и бытового устройства без жестких мер принуждения.

Зима в северной глуши начинается с первых чисел октября, и снегу выпадает сразу много. Нам нужно было спешить: зимней одежды у нас не было и прислать ее нам никто не обещал. Партии Иванова и Баулина шли друг другу навстречу, они должны были в конце сентября сомкнуться на водоразделе рек Демьянки и Вып. Но — чего мы никак не ожидали — нам предложено было после окончания этой работы исследовать еще один вариант трассы с переходом реки Демьянки у селения Ламское.

Чтобы не затянуть изыскания до зимы, мы решили перебросить в тот район на вертолете отдельные отряды, а с остальными продолжать работу у водораздела.

Новый вариант пересекал реку Кальчу как раз в том месте, где охотился Виктор Смагин, и я поспешил в Соровую, чтобы подробнее разузнать у него о тех местах.

Прилетев на переход Демьянки там, где еще базировалась партия Баулина, и пригласив Виктора, мы стали обсуждать, как попасть на его Кальчу. Судя по карте, вся ее долина была покрыта густым лесом и близко к трассе не было ни одного из таких болот, на какие мы обычно выпрыгивали из вертолета: оставался только один способ высадки — спускаться с вертолета по лестнице. Веревка у нас была, за один день мы сплели лестницу длиной в двадцать пять метров. Довольно ли? Кто знает... Виктор, правда, сказал, что недалеко от его охотничьего зимовья есть поляна с низким лесом, и для высадки на ней лестницы такой длины будет достаточно.

Нам повезло, что был у нас Виктор, и еще повезло в том, что командир вертолета «МИ-4» имел опыт высадки людей в разных условиях. Стали искать смельчаков-добровольцев. Понятно, я был удивлен и еще больше рад тому, что участвовать в этой операции совместно с Виктором вызвались Ивин и Орлов: ведь не так-то просто было решиться впервые в жизни спускаться по качающейся лестнице на землю с большой высоты!

Командир вертолета долго инструктировал десантников, и они полетели, захватив с собой спальные мешки, продукты, пилу и топоры.

Главное было — высадить первых, потом они порубят лес для посадочной площадки, и тогда вертолет перевезет и высадит остальных без такого риска.

Мы, конечно, волновались — боязно было, как бы кто не сорвался с высоты. Но все обошлось хорошо. Правда, рассказывал, возвратясь, летчик, что Орлов, когда уже встал на землю ногами, еще долго держался за лестницу руками, пока спустившиеся раньше его Виктор и Ивин не разжали ему пальцы... Но смеяться над таким проявлением нервности у человека, сделавшего первый трудный опыт в своей жизни, никто не стал.

На Кальчу я попал только в сентябре, когда Баулин сообщил оттуда, что обследование варианта заканчивается.

«МИ-4» летел низко над долиной, густо поросшей лесом. Река извивалась в крутых берегах, разветвляясь на протоки то с одной, то с другой стороны.

Проплывали под вертолетом огромные тополя, лиственницы, ветвистые березы с пожелтевшей листвой и вечнозеленые сосны, а в самых низких местах — густые заросли елей и пихтача. Всюду над рекой свисали подмытые стволы деревьев, словно цепляясь в последнем усилии корнями за берег. Тайга отливала оранжевыми, красными, желтыми, зелеными красками.

Вертолет, сделав круг, опустился точно на маленькую площадку, высадил меня и тут же улетел.

В лагере партии, приютившемся на берегу Кальчи, я застал, кроме Баулина, геолога Татаринова. Они сидели в палатке на толстых чурбаках у топившейся печки и громко, чуть не в первый раз, спорили, в каком месте нужно выбирать с трассой из долины реки на смычку с партией сибиряков, которая шла навстречу от селения Ламское.

— Ну, куда я тут пойду? Видишь, гора какая? Ни за что не выберусь на нее, — спорил Баулин.

— А я говорю тебе: не бойся. В этом месте, где будет глубокая выемка, грунты хорошие, и вся земля пойдет на отсыпку насыпи через долину Кальчи. Ведь полмиллиона кубометров нужно! Где еще столько земли возьмешь? — настаивал Татаринов.

— В этом месте не на полмиллиона, а на весь миллион выемок будет, — возражал Баулин.

Оба они, давно небритые, всклокоченные, спорили, тыча пальцами в карту. Каждый яростно отстаивал свой вариант.

Забравшись в этот медвежий угол, изыскатели забыли обо всем на свете, думая сейчас только о том, как выбраться с трассой железной дороги из долины Кальчи на высокое плато; забыли даже, что противоэнцефалитные костюмы на них были порваны, телогрейка на Татаринове во многих местах прогорела, кирзовые сапоги уже нельзя было починить...

— Ладно, вечером решим, а сейчас давайте рябчиков печь, — примирительно сказал Баулин, вытаскивая из рюкзака трех рябчиков. — У Виктора здесь и вправду дичи полно. Только бы он нам счет за нее не предъявил.

Над кострами висели два ведра, варились в них суп и каша на ужин. Рядом стоял большой таз с живыми язями и подъязками.

— Что же уху не варите? — спросил я повариху.

— Вот так рыба надоела, — проведя рукой по горлу, ответил за нее Баулин.

Татаринов стал разгребать костер, а Баулин погрошить рябчиков.

Прямо в перьях рябчики были уложены в горячую золу и завалены углями.

— А как узнаешь, что спеклись? — спросил я.

— По запаху учую. И заметьте, здешних рябчиков, испеченных в золе, мы не солим.

Я с недоверием откусил кусок мяса и сразу почувствовал запах тонкий, еле уловимый, — запах хвои и ягод. И убедился, что солить эту еду действительно не нужно.

Сумерки наступили неожиданно. На западе небо заволочло черными тучами, и в воздухе закружились снежинки. Послышались голоса, и вскоре из леса стали выходить группы рабочих с инженерами и техниками.

Первым подошел к нашему костру Варенников и, воткнув в колодину топор, с гордостью сказал:

— Сегодня, будьте любезны, три километра рубанули. — Он выпятил тощую грудь, блеснул золотыми зубами и крикнул поварихе, возившейся у костра:

— Манюня, каша готова?

— Опять первым прибежал? — огрызнулась повариха. — Видно, не укатали тебя на трассе.

— Черт его укатает, — проворчал Ивин, кладя у костра пилу «дружба» и вытирая кепкой потный лоб. — Он, дьявол, все кустики рубит да сучки с просеки убирает, а как на дерево попадет, словно вьюн около него вьется: «Пилой, пилой, будьте любезны».

Хотя Ивин говорил не зло, Варенников взъерепенился:

— Во мозоли какие! — И он показал нам руки.

Мозоли оказались едва видные, но Варенников не сдался и, засучив рукава, стал демонстрировать царапины на руках и порванный рукав. Словом, он хотел казаться настоящим работягой — и уже одно это меня радовало. Может быть, и Варенников вслед за Ивиным, который теперь получал самый высокий оклад для рабочих — по пятому разряду, станет настоящим тружеником?

— Ну, хорошо, пойдем умываться. — И Ивин хлопнул Варенникова по плечу.

Скучно сидеть в темной и холодной палатке со свечкой, лучше коротать длинные осенние вечера вместе и на воле. После ужина все собрались у огромного костра, как всюду собираются по вечерам люди, надолго ушедшие в тайгу.

Казалось бы, за долгие месяцы совместной жизни в тайге они давно должны были рассказать о себе друг другу все. Но нет! Кончали разговаривать о работе — каждый начинал рассказывать что-нибудь, что казалось ему интересным, из своей жизни или из книг, — и это было почти всегда интересно слушать всем.

Яркое пламя со снопами искр, улетающих в ночную тьму, согревает натруженное за день тело, согревает и душу. Электрический свет и паровое отопление, бесспорно, имеют свои преимущества, но никогда им не заменить огонь костра. Чудесная техника не входит в плоть и кровь человека так, как входил веками огонь от горящего дерева. Попадая в лес, даже горожанин с удовольствием разводит костер — видно, и у него цивилизация не вытравила до конца тягу к тому огню, что когда-то согревал далеких предков.

Только наговорившись вдоволь, все, накинув на плечи телогрейки, расположились вокруг костра поудобнее — кто сидя на бревнах, кто стоя на коленях, а кто и лежа, — и начали читать газеты и журналы, которые я привез.

Ивин читал письмо хмурый и, дочитав, скомкал его, засунул в карман телогрейки. Как ни приставал к нему Варенников, он, не обращая на него внимания, уставился глазами в костер, словно искал утешения в его ярком пламени. Не добившись ничего от Ивина, Варенников обратился ко мне:

— Товарищ начальник, я в Москву еду, вот вызов, будьте любезны.— И он протянул мне письмо с конвертом.

В письме, написанном из заочного торгового техникума, предлагалось Варенникову приехать для сдачи экзаменов.

Я, откровенно говоря, был удивлен и спросил:

— А тебя отпустят?

— А им что? Против учебы не пойдут, им еще плюс за это поставят. За пять месяцев перевоспитали человека!

Но сказал он это неуверенно, как-то насильственно улыбаясь, и наконец попросил:

— Вы уж походатайствуйте, будьте любезны, насчет путевочки в столицу.

Я не знал, какие тут установлены относительно высланных из Москвы «тунеядцев» административные порядки, но понимал, что Варенникова сейчас в Москву не пустят. Я сказал ему об этом, а также о том, что и я сомневаюсь, очень ли ему хочется учиться.

В ответ Варенников осклабился до ушей:

— Москву-то повидать очень охота да пива с раками на Сретенке попить,— сознался он.

— Со «столичной» ерша пропустить? — поддел его Орлов.

Я бы не сказал, чтобы наших «тунеядцев» сейчас так тянуло к выпивке, как в первые месяцы. За работой они стали забывать свою невеселую гульбу. А теперь они все — кто лучше, кто хуже — работали, а по вечерам с наслаждением грелись у костра. У них не тряслись руки и тело не билось в ознобе, ища спасения только в водке. Сон был крепкий, без просыпу, без кошмаров.

Наблюдая за ними с первых дней, я видел, как долго их лица были угрюмы, и думал: неужели не могут они прийти в себя от истощившего их разгула или не могут отделаться от воспоминаний то ли об утраченном веселье, то ли о черных днях? Я не знал, что они все переживали тогда — вернее всего, каждый чувствовал и думал свое; откровенных разговоров я с ними хотел, но сам не затевал, потому что, по-моему, одинаково нехорошо было бы с моей стороны как вымогать у них откровенные бесстыдные признания, так и подвигать их на самобичевание. Я ограничивался главным образом тем, что думал об их работе и быте. И что же? Месяца через два они уже перестали держаться особняком, как поначалу: сама работа ставила их в один ряд со всеми. И я уже не видел затуманенных глаз, подолгу глядящих в одну точку.

Правда, и через пять месяцев они были не совсем еще здоровыми людьми, и об этом приходилось помнить,— но все равно, прежде всего надо было и теперь заботиться о том, чтобы их хорошо кормили, обували, одевали, чтобы они неплохо зарабатывали. Мы никогда им не читали проповедей о вреде алкоголя и о пользе труда,— это они много раз слышали еще в Москве и пропускали мимо ушей. Больше пользы приносило, если кто-либо из нас сам брался за топор и учил, как рубить деревья, или показывал, как работают пилой при валке леса. Каждый хороший поступок «воспитанников» надо замечать, а строгие замечания делать им лишь в исключительных случаях. Когда «тунеядцы» видели, что ни один наш инженер или техник не гнушается физическим трудом и делит с рабочими все тяготы таежной жизни наравне,— они сами охотнее брались за дело.

Что порождает это зло? Трудно найти один ответ на этот вопрос. Сами наши «тунеядцы», как я уже упоминал, не могли — именно не могли, а не то, что не хотели, — сказать о себе ничего вразумительного.

Называли различные причины. Чаще всего искали виновных в семье — родителей, например, которые могли бы распознать душу ребенка лучше всех, ибо ни пионервожатый, ни школа, ни комсомольская организация не могут знать о нем столько, сколько знают отец и мать.

Бывает так. Но бывает и не так. Говорят, например, что если в детстве оберегают детей от физического труда, то они, и став взрослыми, не хотят работать. Верно ли это? Конечно, в какой-то мере верно. Но слишком прямые связи и здесь устанавливать не следует. Важнее, может быть, другая сторона дела.

Я часто вспоминаю свое детство в глухой сибирской деревне. Очень хорошо помню долгие зимние вечера, когда сходились в одной избе соседи и родня. У моего отца была самодельная скрипка, другие приюсили кто гитару, кто мандолину или балалайку. Эти вечера запечатлелись в моей памяти. Теперь чаще всего рассуждают по-другому: зачем тебе мандолина, гитара, когда есть радио, телевизор и кино? Включай, слушай — все равно сам лучше не сыграешь и не споешь. И как будто верно, как будто оно и так. Но душа быстро пресыщается всем готовым. И если развивается склонность к тому, чтобы пользоваться всем, пусть наилучшим, но готовым, и в работе и в учебе — тогда наступает минута, когда иной человек не знает, куда себя деть. Он боится пустоты, которую в себе ощутил, и ему трудно бороться с тоской. Он думает ее рассеять в компании таких же духовно обленившихся людей. Не всегда это приводит к большой беде, но всегда — к утрате искренности с самим собой и с людьми.

Мне как-то рассказывал Ивин:

— Водку я пил и ночью. Иногда берег последнюю рюмку, чтобы, ежели совсем обессилю, ею спастись.

Сейчас, сидя у костра, он думал, видимо, совсем о другом. Я его спросил, отозвав немного в сторону:

— Что задумался?

— Мать-старуха пишет — жена заболела и нужда у них большая.

— Надо помочь.

— Чем же я могу помочь, когда мне навеки ходу из тайги нет? — махнул он рукой.

Мы с ним тут же решили перевести его заработок за два месяца домой, а на оставшиеся деньги послать посылку.

Он усмехнулся немного горько: возможно, подумал о том, как удивятся в его семье, впервые за долгие годы получив от него поддержку.

Я почти убежден, что большие и малые руководители на работах, где перебивал Ивин, излишне самоуверенно и подчас глупо опекали его. Часто читали ему нотации даже за пустяковые промахи, объявляли выговоры за те проступки, в которых он сам расканился в душе, может, больше, чем того заслуживал проступок. Каждый «учитель» был уверен, что способен «сделать все возможное для перевоспитания», был уверен, что руками разведет чужую беду, стоит лишь как следует взяться, и наивно верил, что своей беды у него самого не только нет, но и быть не может.

Притом так уж заведено: не объявил выговор в приказе или не уволил с работы — значит, ты, руководитель, «не ведешь воспитательной работы с подчиненными», и тебе, как руководителю, грош цена. За такое попустительство получаешь сам взыскание от вышестоящего начальника!

За долгие годы работы в должности начальника изыскательской экспедиции, в которой нередко работало больше тысячи рабочих, инже-

неров и техников различных специальностей, я всегда избегал издания приказов со взысканиями.

Я старался ограничиться личным разговором и если видел, что провинившийся сам понимает, что получилось нехорошо, то этим дело и заканчивал. Право же, никто никогда не обидится, если его и поругают, лишь бы и в этом не было излишней рассудочности, преднамеренности, если «начальство» говорит дело, а не просто «пылит», не желая вникать в обстоятельства. Ведь любой проступок имеет свои причины, и иногда причины серьезные.

Я нередко слышал: «Надо подчиненных в узде держать, чтобы они тебя боялись,— тогда и уважать будут». Бояться будут, и найдутся такие, что строптивый начальник бровью поведет, они ему поклонятся; но уважать его никогда не будут и в тяжелую минуту не пойдут с ним ни в огонь, ни в воду. Главное, о чем в таких случаях думают,— это обойти начальника стороной, чтобы лишний раз не попасться ему на глаза...

Честно говоря, такой руководитель потому предпочитает приказывать из глубины своего кресла, потому так боится из него подняться, что сам он боится людей: он для них ничего хорошего не сделал и, в силу склада своей души и заученных правил «руководства», сделать ничего хорошего не может.

Все это имеет ближайшее отношение к судьбе Ивина.

Из разговора с ним и по его документам я знал, что он вырос в крестьянской семье. Его отец — старый большевик, позднее работал в Москве на больших должностях в Министерстве пищевой промышленности и был широко известен как знающий, дельный, порядочный человек. Он умер в 1945 году, когда Ивин был еще в армии. Мать умерла в 1942 году на своей родине, в Псковской области, оккупированной в то время немцами.

Когда Ивину исполнилось девятнадцать лет, он окончил в Москве курсы токарей при заводе № 1, где потом и работал до призыва в армию. После финского фронта его послали в Оренбургское училище зенитной артиллерии, которое он закончил в 1941 году и получил звание лейтенанта, а заодно и направление на Волховский фронт. Он с горечью вспоминал те дни, когда Власов изменил родине, оставив в тяжелом положении армию, в составе которой воевал Ивин. Местность, где стояла его батарея, называлась «Мясным бором». От его батареи никого и ничего не осталось, и он, старший лейтенант, ушел оттуда без людей и без техники, пробираясь к своим через линию фронта.

В 1942 году он был направлен в Москву, потом участвовал в боях на Первом и Четвертом Украинских фронтах. На Четвертом Украинском фронте он имел звание капитана и командовал зенитным дивизионом.

После войны он демобилизовался и обзавелся семьей. В декабре 1946 года у него родился сын. Казалось бы, все складывалось для него хорошо: война осталась позади, он сохранил жизнь и здоровье, его уважают, как выполнившего свой долг перед родиной, у него сложилась полная семья.

Но в 1948 году жена с сыном стали жить отдельно, а он зажил один, бобылем.

Кто виноват в распаде семьи? Ивин не говорил, а спрашивать его об этом было неудобно. Но с этого времени он покатился под уклон. Никаких преступлений он не делал, но жизнь его пошла совсем не так, как следовало бы.

Ивин рассказывал, что, когда он первый раз не вышел на работу, а его в тот день видели пьяным и об этом «доложили», его вызвал к себе

в кабинет начальник и долго на него кричал, а потом велел его уволить, не дав сказать двух слов. Он и потом не раз натыкался на руководящих людей, которые либо хотели его утратить, либо «донимали его мерами кротости», бередя душу. Ему не повезло: настоящей поддержки он не нашёл...

Ивин все еще сидел в прежней позе, подперев рукой голову и думал — наверно, о том же, о чем думал я: что же произошло с ним и почему он сидит здесь, у костра, в этой северной глуши? Может быть, он вспоминал о жене, которая оставила его в самую трудную минуту его жизни.

Последнее время до приезда на Север он уже нигде подолгу не работал — пил и пил, чтобы хоть как-то заглушить в себе тоску по той жизни, о которой он мечтал на фронте, но она не удалась.

Как он жил, что видел? Вначале учился, потом долго воевал. А потом — неудавшийся брак.

Почему у него «все пошло под уклон»?

Может быть, его душа была так надломлена на войне видом стольких смертей и горя, спаленных дотла сел и убитых детей, что достаточно было толчка, чтобы в ней появилась пустота, которую уже нельзя было заполнить ни одними своими силами, ни бездушным вторжением других сил?

Один человек, при испытаниях накаляясь добела, потом становится еще крепче, а другой, чуть перекалившись, разваливается.

«Преступник без преступления, — подумал я и даже испугался своей мысли. — Кто же он тогда?» — размышлял я.

Сидя с ним у костра, я вспоминал его поступки в два последних месяца и не верил, чтобы Ивина нельзя было спасти и сохранить его для общества.

На него наверняка писали заявления в милицию квартирные соседи, а может, и некоторые работники, с которыми он служил, либо бахвалясь своей бдительностью, либо из мести, и загоняли его в угол. И кончилось все это злорадным: «Получай свое!» Как известно, нередко у нас не верят человеку, а верят бумажкам — бумажки Ивина давно были испачканы взысканиями и наказаниями и за этими кляксами прошлые годы жизни честного рабочего, а потом офицера-фронтовика затерялись и забылись.

Почему, попав в нашу экспедицию, Ивин один из первых понял, что ему нужно заново учиться ходить по земле? Мне кажется, что ему в этом помогла сама земля.

Родившись в крестьянской семье, он детство и юность провел в деревне, его жизнь с малых лет была связана с землей. Он работал в поле, копался на огороде, жил среди природы.

Сейчас, на Севере, он снова встретился с природой, как труженик заново сжился с ней — хотя земля здесь другая, более суровая и требовательная.

Думаю, у каждого, оказавшегося в положении «тунеядца», путь к лучшей, трудовой жизни бывает свой. У Ивина, если не ошибаюсь, он был именно таким, в основе крестьянским.

Костёр притягивал к себе все еще хмурый, но уже не отупевший, не бездумный, как в первые дни, взгляд Ивина. В глазах его была теперь жизнь. А когда я ему сказал про помощь семье, морщины на его лице на какой-то миг разгладились.

— Хватит, Петр Григорьевич, на сегодня думать. Отдыхать будем, — прервал я наконец затянувшееся молчание.

— Похоже, что хватит, — неуверенно улыбнулся он.

В конце сентября похолодало. Все же снег, как только выпадал, вскоре таял, в лесу стало еще сырей и холодней, и подсохшие за лето болота наполнились водой.

Мы закончили прокладку трассы, партии сомкнулись, но еще оставались мелкие недоделки и, не покончив с ними, нельзя было уезжать. Отбыла в Москву только гидрометрическая партия, а остальные жили в тайге.

Мы с Ивановым сидели в его крохотной палатке и слушали радио. Жаль было глядеть на Дмитрия Алексеевича, так он похудел и издергался.

Одежда и обувь за лето у всех давно порвались, сам начальник партии сидел в рваных кедах, мне жаль было на него глядеть; но сам он, как почти все рабочие и инженеры, не испытывал к себе такого жалостливого чувства. А сейчас, услышав по радио сообщение, что строительство железной дороги Тюмень — Тобольск — Сургут, трассу которой мы изыскивали вместе с «сибиряками», будет вестись ускоренным темпом, все чуть не закричали «ура!».

Потом по радио передавалось выступление начальника Тюменского территориального геологического управления, Героя Социалистического Труда товарища Эрвье. Он говорил об открытии новых месторождений газа на севере области, у поселка Уренгой. Это позволило думать, что через несколько лет весь север Тюменской области будет соединен стальными путями, которые пройдут и с юга на север, и с запада на восток — там, где пролегла недостроенная железная дорога вдоль Полярного круга, от Салехарда до Игарки.

Дмитрий Алексеевич, зная меня как патриота Севера и участника северной экспедиции по изысканию железной дороги Салехард—Игарка («Мертвой дороги», как ее потом называли), попросил меня рассказать, что сейчас происходит на ней.

Я знал это, потому что год назад, услышав об открытии месторождения газа на реке Пур-Пе (названного геологами Губкинским в честь академика Губкина), а затем в среднем течении реки Пур-Уренгойский, я, взяв отпуск, отправился туда, чтобы побывать в этих далеких, но мне близких местах.

В Салехарде я не был тринадцать лет. Внешне он мало изменился. По-прежнему он остался деревянным одноэтажным городом. Но изменился пульс его жизни. По деревянному настилу улиц пробегает много грузовиков и автобусов, на северной окраине города — большой и оживленный аэродром. Речной порт забит судами и баржами. Город стал северными воротами к району, где открыты залежи газа.

Мне, конечно, не терпелось в первую очередь посмотреть некогда построенную нами железнодорожную станцию, и как только я устроился, сразу направился на восточную окраину, откуда тринадцать лет назад неслись гудки паровозов, и маневровых и уводивших железнодорожные составы на восток.

Но на станции теперь было пустынно. Я ходил по заброшенным путям с прогнившими шпалами, ржавыми рельсами. Вдали маячил семафор; он так и стоял с поднятыми крыльями, открывая никому не нужный путь. За семафором тоже лежали рельсы, они тянулись на восток, к тундре, к Надыму, который теперь казался бесконечно далеким. А ведь тринадцать лет назад я добирался до него в пассажирском поезде за несколько часов.

Зайдя километров семь за семафор, я неожиданно увидел идущую по рельсам навстречу мне дрезину «пионерку» с маленьким прицепом. Заметив меня, ехавшие остановились, и я вернулся с ними в Салехард.

На «пионерке» были два связиста и геолог. Они рассказали, что едут сюда от самого Надыма, проехали почти четыреста километров. По дороге много размылов полотна — и в тех местах они перетаскивали «пионерку» на веревках по провисшим рельсам, но были и такие участки, где они ехали со скоростью до пятидесяти километров в час.

— Кроме нас, связистов, — а нас всего двенадцать человек, — никто эту дорогу не поддерживает. А ездят по ней на своих участках многие, не только мы.

Спасибо этим товарищам — они не только довели меня обратно в город, но и подробно отвечали на мои расспросы.

В Салехарде я увидел сотни геологов, спешивших улететь в далекую тундру. Среди них были и молодые, недавно окончившие геологические институты, и поседелые в своих трудах буровые мастера, и много девушек. И с кем бы я ни разговаривал, все они слышали о «Мертвой дороге», читали о ней статьи в газетах и журналах, и все были уверены, что как только забьют в тундре новые газовые фонтаны, так и по «Мертвой дороге» побегут поезда.

Эта угрюмая тундра чем-то привлекает к себе людей — может быть, своими просторами и красотой северных сияний, может быть, изобилием дичи и рыбы, а может, и тем, что отношения между людьми здесь проще и сердечнее.

Пожалуй, ни одно из этих «может быть» не подходит к моему бывшему начальнику Петру Константиновичу Татаринцеву. У него своя причина, заставляющая его помнить тундру, думать о ней и сюда приезжать. Ведь он исходил Дальний Восток, работал в пустынях Средней Азии, ходил по топям Васюганских болот, по Заполярью. По его следам пролегло много стальных магистралей, по которым днем и ночью бегут поезда, и только одна дорога, последняя, — от Салехарда к Игарке — была недостроена и брошена. Эта дорога с той поры все время притягивала Татаринцева на Север, но уже совсем иной силой: он не мог примириться с мыслью, что такой труд многих тысяч людей мог пропасть зря.

Когда на берегу реки Таз вспыхнули первые газовые фонтаны, Петр Константинович уехал туда. Как специалиста, хорошо знающего природные условия Заполярья, его пригласили быть консультантом в экспедиции, которая прокладывала трассу газопровода от Таза на Игарку — Норильск; он охотно согласился. И хотя этот газопровод пока не строился, сколько он доставил тогда волнений старейшему изыскателю! В том же году, когда я, взяв отпуск, навестил Салехард, вспыхнули новые газовые фонтаны на Пуре и Ямале, и я встретил в Салехарде Петра Константиновича Татаринцева с комиссией проектного института «Гипрогаз».

Мне посчастливилось — встретил я его случайно, в аэропорту: непогода задержала вылет комиссии из Салехарда. На Петре Константиновиче были тяжелые, литые резиновые сапоги, через его руку перекинут был плащ из плотного брезента, из кармана торчал накомарник. Вся экипировка его говорила, что он всерьез собрался потрудиться в тундре.

Я знал Татаринцева почти тридцать лет. Работал в его экспедициях на изысканиях трасс для железных дорог на Дальнем Востоке и на Севере. Трудность задач, которые приходилось выполнять, и тяжелые лишения, которые приходилось выносить, наложили печать суровости на его лицо и характер. Мы его таким и любили, потому что в тайге, как на войне, ум, знания, честность и справедливость командира ценятся подчиненными выше всего, выше ласковой манеры во всяком случае.

Но в глазах Татаринцева редко бывал холод — только тогда он появлялся, когда встречались люди, ему противные; но оживленность его взгляда обычно вызывалась лишь работой — мыслями или энергией крупного организатора. Пожалуй, никогда прежде я не видел, чтобы глаза его светились так приветливо, как теперь, когда мы встретились в Салехарде. Он стал пощипывать коротенькие усы — старая привычка, которую мы знали и по которой всегда, как по примете, узнавали, что он в хорошем настроении.

Ему исполнилось семьдесят шесть лет, но его высокая фигура не потеряла стройности. Глядя на него, я в который раз подумал о том, как его поддерживает непреклонная воля к труду — и не где-нибудь, а вот в этих трудных условиях Севера.

— Ну, ничего, завтра улетим в Газ-Сале на «поплавочках», — сказал он, когда его огорченные задержкой спутники ушли вперед. («Поплавочки» — это маленькие гидросамолеты, а Газ-Сале, которого нет ни на одной карте, — это поселок геологов на Тазовском месторождении газа.)

Мы не спеша шли с Татаринцевым к помещению геологического треста.

— Вот все вместе приехали, — показал он на идущих впереди спутников. — Будем решать и транспортную проблему.

— И о нашей дороге разговор будет? — спросил я.

— А как же? Теперь без нее не обойтись: наметки насчет магистрального газопровода на запад есть, — ответил он улыбаясь.

Я хорошо понимал настроение Петра Константиновича: каждый шанс на возрождение заброшенной дороги прибавлял ему энергии.

— Но еще идут споры, — добавил он и спросил: — А ваше мнение?

— Мое мнение определенное. Чем скорее начнут восстанавливать, тем дешевле будет стоить восстановление, — ответил я. — Ведь с каждым годом, с каждым днем размывы увеличиваются. Пройдет еще несколько лет — тогда, может, и восстанавливать будет нечего.

Я рассказал ему то, о чем узнал недавно сам, — о реке Полуи, которая беспощадно размывает склон, где проложена дорога, размывает и полотно. Другие реки и ручьи тоже не щадили дорогу и много натворили беды. Даже ветер и тот выдувает песок.

По предварительным подсчетам авторитетной комиссии, проехавшей по всей дороге, сообщил мне Татаринцев, потери от разрушений на всей линии выражаются кругленькой суммой. Что ни год — то шесть миллионов...

Татаринцева занимали практические соображения: сколько же понадобится денег, чтобы восстановить построенный участок до Хетты и дотянуть дорогу дальше до Пура. Он говорил, что здесь не нужна магистраль с большими скоростями движения поездов и достаточно будет открыт рабочее движение. Поезда должны ходить небольшие, с легкими локомотивами, а для этого дорогу можно восстанавливать и устраивать до Пура по облегченным нормам, с минимальными затратами.

Остановившись, он спросил меня:

— От Надыма до Пура твой участок?

— Да, это был участок нашей Надымской экспедиции, — подтвердил я и добавил: — От конца укладки до Пура самый легкий на всей линии участок, там сплошь пески, а в долинах рек, особенно по Ево-Яхе, где проходит трасса, там растет лес.

Так, разговаривая, мы незаметно подошли к геологическому тресту, занимавшему большое одноэтажное здание, поставленное еще строителями железной дороги.

Татаринцев пошел с комиссией к начальству, а я в геологический отдел, где встретился с Иваном Марковичем Тисленко, руководителем отдела нефти и газа, с представителем Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного института Максом Яковлевичем Рудкевичем и старшим геологом Крохиным.

Пользуясь картой Тюменской области, они рассказали мне о геологической разведке с самолетов и вертолетов, о сейсмической разведке, требующей огромного количества транспорта — вездеходов, катеров, о бурении мелких скважин, в которые закладываются небольшие заряды для взрывов, чтобы вызвать упругие колебания почвы, по которым записывают сейсмограмму и определяют структуру.

— Одна такая станция, — рассказывал Тисленко, — за год может обследовать не более тысячи квадратных километров. И вот представьте себе эти просторы — междуречье Надым — Пур — Таз, полуостров Ямал, — миллионы квадратных километров. Какой это будет труд!

На карте были околтурены разведанные и перспективные месторождения.

Разведанное Газовское месторождение одно имело запасов природного газа немногим меньше, чем все двадцать два Березовских. А здесь, в долине реки Таз, начиная почти от устья и вверх по течению к Красноселькупску, еще много есть перспективных объектов.

Скоро в этом районе будет разведываться Заполярное месторождение — на левом берегу, почти напротив Тазовского; но если и Тазовское оказалось таким продуктивным, то Губкинское в среднем течении реки Пур, около поселка Тарко-Сале, в пять раз мощнее его. Там из оценочной скважины номер один забил фонтан с глубины всего семисот метров; на одном этом месторождении предполагается получить около пяти-сот миллиардов кубометров природного газа. Продуктивность этого пласта семьдесят метров, а ниже наверняка будут новые горизонты, насыщенные нефтью и газом...

Рудкевич, специалист по нефти и газу, добавил, что, по данным сейсмической разведки и по прогнозам, таких месторождений, как Губкинское, на Пуре будет не меньше пяти. Уже ведется подготовка к бурению разведочных скважин в Уренгейском районе, — это месторождение считают таким же продуктивным, как и Губкинское.

Новопортовское месторождение тоже должно быть высоко продуктивным. Там весной этого года с глубины почти двух тысяч метров забил газовый фонтан, а на более низких горизонтах предполагаются новые промышленного значения пласты газа и нефти.

У побережья Обской губы тоже околтурены месторождения, но о них геологи пока не говорили, а снова и снова, в который раз, возвращались к наиболее многообещающему междуречью Надым — Пур — Таз.

Все месторождения Севера расценивались в десять триллионов кубометров природного газа. И это подтверждается: только в 1966 году разведчики недр на Тазу, Пуре и Ямале зажгли двенадцать фонтанов.

Я понял, что у тюменских разведчиков наступает новый ответственный этап, еще более трудный, чем покорение приобской тайги: они вышли в район Крайнего Севера — туда сейчас и смещается центр изысканий. А я знаю по опыту, каково вести работы в тех условиях...

Разговор наш перешел на тяжесть быта и условий труда, неизбежная — покамест по крайней мере — тема, когда встречаются «северяне». Должен же наконец произойти сдвиг, говорили мои собеседники. Люди в тайге должны жить везде, не только на «показательных» пунктах, а повсюду иметь свежие овощи и фрукты, не жить в насквозь

продуваемых бараках (в таких еще могут жить их коллеги там, где морозы бывают не ниже двадцати градусов, а здесь ведь все пятьдесят да еще вьюги).

Говорили о поселке Газ-Сале на Тазу, который вначале хотели назвать Новой Мангазеей — то есть возрожденным из древности богатейшим городом, — а еще не начали строить даже на площадях, включенных в план разведки.

— Это мы сами, люди, которые живут в тундре, виноваты. Почему молчим о недостатках и трудностях? Чего стыдимся? — говорил Тисленко.

И я еще раз выслушал слишком хорошо мне известные жалобы на «бюрократическую романтику» — то есть на то, что люди из учреждений, ответственных за техническое, продовольственное и прочие виды снабжения, при застенчивом молчании «северян», во всем их урезают, прикрывая свое бездушие и бездумность рассказами о «романтике», которая будто бы сама восполняет собой все недостатки. Под прикрытием этого «романтизма» (кстати вспомним, что Ленин этим словом для положительной оценки вообще не пользовался) подрывается здоровье людей, а иной раз их выводят преждевременно из рабочего строя и навсегда.

Чтобы преодолеть трудности продовольственного и вещевого снабжения и трудности в завозе оборудования и материалов, без которых разведка недр не может наращивать темпы, нужно воскресить «Мертвую дорогу», нужно достроить ее до Пура. Ведь бурение глубоких скважин к 1970 году достигнет чуть ли не четырехсот тысяч погонных метров! Без надежного круглогодично действующего транспорта выполнить такую программу просто невозможно.

— С водным транспортом мы уже натерпелись беды при открытии одного только Губкинского месторождения, — продолжал Тисленко.

Его рассказ о случившейся там аварии напомнил мне наши мытарства в тундре, когда мы изыскивали и строили будущую «мертвую», теперь воскрешаемую дорогу.

В июле 1963 года суда с оборудованием и горючим пришли из Салехарда в Тазовскую губу, но она оказалась забитой льдами. Пока таял лед, река Пур обмелела, и пришлось ждать следующей весны с высокой водой. На другой год с большим трудом перевезли оборудование на мелко сидящих судах вверх по реке и заложили первую буровую. По данным сейсмической разведки, газоносный горизонт должен был находиться на глубине около тысячи метров, но когда стальная игла труб в один из холодных январских дней прошла еще только семьсот семьдесят три метра, закачалась вышка. Почувствовав неладное, люди успели разбежаться, и тут вся колонна труб, словно ракета, взлетела на воздух на такую высоту, что с земли она показалась спичкой. Забушевал огонь, земля около скважины стала оседать, и стоящие рядом трактор, вездеход и картонажная машина ушли под землю.

Уже много месяцев работает большой коллектив специалистов и буровых мастеров, чтобы ликвидировать последствия этой аварии. Самолеты «АН-12» доставляют в Тарко-Сале тяжелое оборудование, а оттуда вертолеты «МИ-6» перебрасывают его до места. За полгода диаметр кратера достиг более трехсот метров, в него устремились потоки воды из речки, с которой сомкнулся кратер. Но из недр со страшной силой вырывался газ, и казалось, ничто не сможет остановить пожар.

Его остановили. Люди не переставали бороться со стихией, они бурили наклонные скважины, направляя стальные иглы в корень кратера. Ученые и современная техника победили стихию. Об этом я услышал позднее, по радио, возвратясь в Москву. Но если бы своевременно можно

было доставить все нужное оборудование, то и потери в труде, и потери материальные были бы много меньше.

Несколько вечеров мы просидели с Татаринцевым в эти дни моего отпуска над картой Тюменской области. Оконтуренные на ней газовые месторождения располагались по обе стороны трассы железной дороги и непосредственно на ней. Когда я видел знакомые излучины рек, редко разбросанные по карте знаки, обозначавшие местоположение поселков и факторий, в памяти вставали со всей жизненной ясностью никогда не забывавшиеся, но затуманенные годами картины пережитого здесь. И снова разъедала душу старая боль, которая только временами заглушалась новыми жизненными впечатлениями. Все, кто задумывался о цели грандиозных и труднейших работ между Салехардом и Игаркой, не могли не задаваться тогда недоуменным вопросом: зачем это? Но еще тяжелей стало на душе, когда строительство было прекращено как бесцельное и дорога была законсервирована как нерентабельная. Но разве консервация не включает в себя сохранение? О нем забыли. И вот теперь новый экономический район переживает большие трудности с транспортом, а дороги нашей нет... Как нам не думать хотя бы о том, что, будь эта железная дорога в исправном состоянии, может, и не пылал бы газовый кратер на Пуре, не было бы и многих других потерь и бед.

Мы с Татаринцевым понимали друг друга с полуслова.

Но я, хотя никак не склонен унывать, был сейчас невесел, а у Татаринцева настроение было хорошее. Он верил, что дорога снова будет жить: ведь из недр земли вылетают все новые «жар-птицы», они притягивают к себе многих и многих людей, увлеченных великим будущим приобского Севера. Притягивают эти «жар-птицы» — что не менее важно — и правительственные ассигнования.

Татаринцев улетел на «поплавочке» на Таз, а оттуда на Пур и Надым. Я вернулся в Москву, в свой институт...

Закончив мой рассказ Иванову об этой поездке в Салехард, я стал было сворачивать карту Тюменской области, с которой не расстанусь уже много лет, нанося на нее открытые месторождения, новые поселки, линии нефтепроводов и газопроводов. Но Иванов остановил меня и, взяв карандаш, сам провел линию воображаемой им железнодорожной магистрали от Сургута до Уренгоя.

— Что ж, может, будет и так, — согласился я и, убирая карту, добавил: — На этой карте скоро будет нанесено много новых точек: ведь промысла рождаются каждый месяц и железные дороги могут пойти в любом направлении. Но как бы там ни было, конечно, тобольская северная глушь когда-нибудь соединится с Заполярьем прямым путем!

10

Первым проснулся Иванов и, ежась от холода, загремел железной печкой. Растопив ее, он откинул полог палатки, и я, выглянув из спального мешка, увидел сплошную белизну.

— Поднавалило за ночь, — сказал Иванов, опуская полог.

В печке потрескивали дрова, в палатке было тепло и уютно — пора выбираться из спального мешка. Судя по шуму, я понял, что лагерь свертывается, готовясь к переброске на переход реки Выи, где партия должна выполнить буровые работы под будущий мост и кое-что доделать по съемке местности, чему не мешает, а даже способствует выпавший снег.

Афоня-«муравей», обвешанный мешками с клюквой, спешил к вертолетной площадке.

— Постой, — остановил его Иванов, — ты все это в Уват отправляй. Хватит нам твои мешки из лагеря в лагерь возить.

— А если сопрут? — огрызнулся Афоня.

— Напиши свою фамилию на мешках и пошли их на базу. Не все ведь жулики, как ты думаешь! — раздраженно сказал Иванов и добавил: — Давай-ка, великий собственник, делом заниматься, иди помогай жене на кухне посуду укладывать.

К вертолетной площадке рабочие и инженеры тащили инструмент, буровые штанги и трубы, раскладушки и спальные мешки.

— Именно мне закинь на горб эту палатку, — просил Подушкин, вертясь около Таряникова.

— Да куда ты, малосилка, лезешь? — отстранил его инженер и, вскинув свернутую мажорус палатку на плечи, уверенно пошел по тропе.

— Кидай и мне такую на горб, — просил Подушкин рабочих.

Ему закинули тоже десятиместную палатку весом не меньше шести пудов, и, к общему изумлению, он донес ее сам до вертолетной площадки и после этого подвига даже не оглянулся, гордый собой и как бы равнодушный к произведенному на нас впечатлению.

Удивительное дело — пока лагерь стоит на месте, вроде ничего в нем и нет, но как только нужно перебраться на другое место, так не знаешь, что откуда только и берется.

— Ну и цыганский табор! — схватился за голову Иванов. — И ведь, главное, все нужно, ничего не бросишь. Двенадцать рейсов, не меньше... — сокрушался он.

Я стал внимательно считать: четырнадцать палаток, столько же печек железных с трубами, две бочки с бензином, походная электростанция, сорок раскладушек, ведра, чайники, сковородки, продукты, барахло изыскателей. сорок человек, пять собак... — и махнул рукой: да, этот груз в двенадцать рейсов еле-еле втиснется.

Вертолет прилетел точно в назначенное время и, поднимая вихри снежной пыли, сел на площадку среди наваленных вещей.

Вот здесь и началась самая томительная канитель. Афоня первым полез-таки с мешками клюквы, его за штаны вытащил обратно Иванов. Подушкин сгреб свой спальный мешок и раскладушку и лез, прихватив за веревочку собаку.

— А ты куда? — крикнул Иванов.

— Как так — куда? Я именно ваш приказ выполняю: первому лететь и таскать барахло с площадки в лагерь, — ответил Подушкин.

— Ладно, лети, но только собаку оставь.

— Не отстаёт, — развел руками Подушкин и, изловчившись, втокнул незаметно собаку в вертолет.

Иванов махнул рукой, а Подушкин, показав кукиш Афоне,скомандовал с вертолета:

— Кухню — в первую очередь. На всех сварим.

Так бывает почти всегда при переброске партий. Вертолет гремит, поднимает вихри ветра, все спешат и забывают, о чем сговорились накануне, и каждый делает не то, что нужно.

Вот уже первый рейс отправлен, а снаряжение и имущество все еще таскают к площадке..

— Кто в Уват улетает — кладите свои вещи отдельно, вот сюда, — распоряжался Саша.

Тут же, на площадке, уволившиеся из партии рабочие попросили у Иванова характеристики.

— А вчера о чем думали? — разозлился он, но сел на ящик и стал писать.

Один из уволившихся заявил, что с него не удержали деньги по личному забору за папиросы, спички и сгущенное молоко, и, вытащив деньги, тут же отдал Иванову.

— Вот честность...— фыркнул Афоня.

— А ты бы не отдал? — спросил его Юра Калинин.

Старый браконьер хихикнул.

Я подошел к женщинам, молча сидевшим на кучке вещей.

— Что случилось?

— Мне всегда не по себе, когда оставляем лагерь,— с грустью сказала инженер Власова.— Словно прощаюсь с родным, обжитым местом. Даже каркасы от палаток, и то жаль.

Люди проработали все лето в тайге, сжились друг с другом. И бывшие «тунеядцы» жили и работали вместе со всеми.

Вертолет снова вернулся и, быстро загрузившись, улетел на Вью. Юра Калинин все же успел сфотографировать весь «табор» и вертолет. Это было мое последнее посещение этой изыскательской партии.

Мне тоже было грустно расставаться с северной глушью.

Меня беспокоило еще и то, что мы не успели обследовать другие варианты трассы в районе Перила и Демьянки с должной тщательностью: проделанные нами в спешке геологические и гидрологические обследования не давали полного ответа на вопрос о конкурентоспособности каждого из этих местных вариантов. Хотя я и успокаивал себя тем, что это можно доделать в будущем году, но как же было не злиться? Мы не выполнили всю программу сейчас лишь из-за того, что у нас нет теплой спецодежды. Коллектив наш хорошо сработался, болота начали подмерзать, гнус исчез, а главное — все было налажено, весь налаженный механизм нашей экспедиции был на ходу.

Изыскательские партии «сибиряков» еще раньше нас начали эвакуироваться из тайги. Партия «Сибгипротранса», возглавляемая моим старым товарищем по работе в Восточной Сибири еще до войны 1941 года Виктором Макаровичем Гридасовым, была уже в Увате.

Мы встретились перед его отъездом, и Виктор Макарович рассказал мне о своем участке: и у него тоже сердце было не спокойно, потому что отдельные варианты трассы остались недостаточно обследованными. Он сделал работ не больше, чем мы. Да это и неудивительно: его стокилометровый участок трассы начинался от перехода реки Нелым и шел на север по такой же необжитой таежной местности, по какой шла трасса у нас.

— Ни поселка, ни попутной реки, ни торной тропы,— сетовал Виктор Макарович. Старый изыскатель уверял, что такой глухомани он нигде не встречал, а ведь по тайге он ходил много — работал и на изысканиях линии Абакан—Тайшет в экспедиции прославленного Кашурникова.

Дальше за партией Гридасова шла партия Виктора Михайловича Константинова. На ее пути тоже лежал сложный переход через реку. Но этому коллективу повезло: вблизи трассы на берегу озера приютился крошечный поселок Кинтус. В нем жили ханты — два брата, Семен и Изот Качаловы. У старшего, Семена, было девять детей, пятеро из них учились в школе-интернате в ста двадцати километрах от дома, в ближайшей деревне Лимпино.

Качаловы ловили рыбу, охотились на зверя. Подолгу ни с кем из людей, кроме своих семейных, не виделись. Прибытие изыскателей было для них праздником.

Семью Качаловых знают в Ханты-Мансийском национальном округе. В гражданскую войну их отец, по примеру Сусанина, завел в таежные дебри отряд колчаковцев, и там они нашли себе могилу. Каратели расстреляли отважного ханта, но своим героическим подвигом он спас много жизней.

Когда спешившие в Новосибирск, закончившие свою страду изыскатели прощались с Качаловыми, те готовились к сезону своих самых напряженных работ — к сезону охоты на пушного зверя.

На трассе оставались только отдельные отряды из сибирской партии Фатина, работавшей от Малого до Большого Балыка в районе нефтяных месторождений, да из самой дальней партии Вшивцева, заканчивавшей прокладку трассы от Большого Балыка, где намечалось строительство города Нефтяников, до большой поймы Оби.

Последним рейсом вертолет вернулся за нашей группой.

Я сел с пилотами. Из их кабины было все хорошо видно. Всюду снег, голые деревья. Болота теперь похожи были на ровные поля. По одному из них шел лось, направляясь к ельнику.

11

Однако эвакуация нашей московской экспедиции на этом не закончилась: в середине октября начались метели, а партия Иванова и отряд Баулина все еще были в тайге.

Уже неделю стояла нелетная погода. Все продукты изыскатели получили — ничего лишнего туда ведь не завозили... Иванов сообщил: у них осталось пять килограммов муки, соль и ящик банок с «борщевой заправкой». Мы с Калининым нервничали, просиживая с утра до вечера в аэропорту.

Но вот 23 октября последние тучи унесло на восток, и ударил мороз. Начали из тайги вывозить последних изыскателей.

За долгие таежные годы я привык ко всему, но тут рабочие и инженеры, выпрыгивающие из вертолета, показались мне такими обтрепанными, измученными и жалкими, что я еще раз крепко ругнул составителей «норм».

Однако, как ни мало парадности было в их костюмировке, встречающих было много, и это одно придавало торжественный характер сцене возвращения. Среди встречающих я увидел Веру и Таню.

Браво выпрыгнув из вертолета, Варенников театрально протягивал к ним руки и выкрикивал свое «будьте любезны». Любезности и в самом деле из него посыпались, как горох из мешка, пока его не позвали разгружать вертолет.

— Кто встречает, пусть помогут,— подбоченившись, сказал он и осклабился.

Таню Хромову, обветренную и обносившуюся, окружили геологи. Она была в рваной телогрейке, изношенных ватных брюках — но в сапожках на каблучке, видимо, надетых по случаю встречи.

Я спросил Ивина:

— Ну как, Петр Григорьевич, рады, что из тайги вырвались?

— Нет,— не задумываясь ответил он.

— Все еще себя боитесь?

Я чувствовал себя виноватым перед ним и перед другими «тунеядцами». Но что я мог сделать? Я не получил денег на строительство баз в тайге, где они провели бы всю зиму. Теперь судьба их оставалась неясной. Удастся ли устроить их где-нибудь, где к ним будут относиться так же дружески и внимательно, как в нашей экспедиции? Кто поручится, что с первых же дней на них не будут коситься, что за малейший проступок, который легко простили бы другому человеку,— не получат выговор или наказание, после которого снова пойдут под уклон?

Два дня наш завхоз рассчитывал рабочих. Получили деньги и «тунеядцы», которым Владимир Владимирович советовал:

— За полсотни костюм купи, еще за полсотни — пальто, полсотни на ботинки и рубашки истрать, еще полсотни на шапку, валенки и рукавицы. А что останется — то на прожитье.

Мне вспомнилось, как в начале лета он выдавал им с присловиями по копейкам пять рублей аванса, а потом жалел, что нет у нас бульдозера, чтобы сгребать пьяных в кучу. Меня невольно пробрала дрожь: пропьют, пропьют ведь они сейчас все свои деньги, заработанные за все лето!

Я попросил Гаряникова и Таню Хромову, чтобы они пошли с ними сейчас же в магазин покупать одежду. А Владимира потихоньку попросил, чтобы остальным он выдал деньги через два часа: пусть эти первые либо вернутся с покупками, либо напьются раньше, чем подойдет вторая партия — все легче!

— Перерыв на обед, — объявил мой помощник, как только первая группа ушла, и захлопнул сейф с деньгами.

— А как же нам, будьте любезны? — заволновался Варенников.

— А ты вообще у меня получишь последним. Я ведь не забыл, как ты в июне клячил по десятке для всех, — твердо объявил завхоз и велел всем «освободить помещения».

Сияющая Таня вскоре привела своих «подопечных», одетых и обутих во все новое.

Только не пропили бы все это плеча!

В Увате были такие «предпримчивые люди», то есть попросту спекулянты, что предлагали купить любую вещь за трешку — будь то башмаки, пальто или костюм. Был ростовщик, который брал вещи под залог, выдавал трешку на десять дней; если за этот срок деньги ему не возвращали, вещь, даже дорогая, оставалась у него. После того как милиция его разоблачила, другие скупщики уже не давали под залог, а думали уже, что если кто получил от него трешку — он считает любую вещь своей навсегда.

Ивин побывал в парикмахерской, и в новом наряде я его не сразу узнал.

Оставшимся «тунеядцам» Владимир выдал деньги через час, и они тоже пошли в магазин с сопровождающим.

Все шло пока, как мы задумали. Я радовался.

Но утром трое, и среди них Ивин, оказались в вытрезвителе и им сразу дали по пятнадцать суток ареста и принудительных работ. Четверо, кроме того, были избиты, и больше всех досталось Варенникову. Он сидел в нашей лаборатории, Таня Хромова ставила ему компресс. Увидев меня, он заерзал на лавке и только и мог сказать, показывая на глаз:

— Вот, будьте любезны, ни за что ни про что...

Мне с большим трудом удалось отхлопотать Ивина, приговоренно к пятнадцати суткам. Он, напившись, ходил по улице и сильно шатался, худшего греха за ним не было, и мою просьбу уважили: велели ему только наносить воды и наколоть дров — этим легким «патриархальным» наказанием и отделался Ивин.

После его освобождения мы с ним побеседовали, и он согласился работать в колхозе «Мир» до нашего возвращения из Москвы.

Пристроить «бывших тунеядцев» в Увате оказалось не так просто: слава о них шла совсем не лестная. Но Орлова и Подушкина по моей рекомендации все же взяли в леспромхоз. Хотелось помочь и другим.

Мы с Владимиром ходили во многие организации, но, несмотря на наши заверения, что «московские тунеядцы — хорошие ребята», везде получили отказ. Наконец, когда уже казалось, что нет надежды пристроить Варенникова и еще девятих, мы в райисполкоме встретили

тоскующих по рабочим руководителям строительства нефтепровода и убедили их взять этих десять человек в тайгу.

Под предводительством Варенникова они на другой день и улетели. Варенников не унывал. Он уже командовал своими товарищами, выдавая себя за их бригадира.

В тот день мы были на аэродроме и видели его проводы. Все «бывшие тунейдцы» провожали своего товарища. Варенников с каждым успевал на прощание поговорить. Садясь в вертолет «МИ-4», он еще что-то кричал с подножки, простирая руку, но мотор заглушил его слова.

Вскоре вылетели и мы на самолете «ЛИ-2» в Тюмень.

Не отрываясь смотрел я в окно на засыпанные снегом болота и голый лес, на широкую ледяную ленту Иртыша, окруженного сетью проток и окаймленного озерами. Всюду была пустыня, всюду холодящая душу северная глушь.

Но вот за Тобольском появились коричневые ленточки, прорезавшие сплошную снежную пелену с юга на север: это шла отсыпка насыпей для железной дороги Тюмень—Сургут. При виде этих стрел, прорезавших холодную землю, стало теплее и на душе. Скоро здесь пойдут поезда до Тобольска, а когда-нибудь, перешагнув через Обь у Сургута, они дойдут и до Уренгоя!

Теперь северная нефть уже идет по нефтепроводу Усть-Балык — Омск. Пошли и поезда по северной глуши до Тобольска.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

П. ВОЛИН

★

ЛЮДИ И ЭКОНОМИКА

Прехал в чужую страну, нелегко определить сразу, чем она сегодня живет. Кругом — все новое, незнакомое. Стараешься охватить разом все — и внимание рассредоточивается. Только пообвыкнув немного, начинаешь постепенно осмысливать и понимать происходящее.

Так бывает обычно. Но прошлой весной в Венгрии все для меня обстояло иначе. Буквально с первых шагов по венгерской земле я почувствовал то «главное измерение», в котором живет страна. Это экономическая реформа, или, как называют ее сами венгры, «реформа хозяйственного механизма».

1

Поздним вечером в будапештском аэропорту меня встретил Иштван Варга. Он несколько лет работал в СЭВе, жил в СССР и вполне прилично говорит по-русски. Сейчас он заведует экономическим отделом ИБУСа, венгерского «Интуриста».

— Наш отдел создан совсем недавно, всего год назад, — объяснил Иштван, пока мы мчались в «Волге» по ночному шоссе в город. — Реформа! Теперь надо все время считать, всюду и во всем не забывать о финансовой стороне дела.

Мы уже ехали по ярко освещенным улицам Будапешта, на которых, несмотря на поздний час, то и дело попадались прохожие — в одиночку, парами и даже целыми группами, а Иштван все рассказывал. О рекламе своей фирмы за границей, о новых видах сервиса для путешественников, о ближайших перспективах развития туризма в стране.

Утром, спустившись в холл гостиницы, чтобы встретить мою переводчицу Агнеш Козма, я неожиданно узнал, что экономическая реформа занимает и эту двадцатилетнюю девушку, и даже... ее бабушку.

Агнеш через несколько лет будет преподавателем русского и английского языков. А пока она студентка-филолог второго курса Будапештского университета. Очень тихая, очень скромная, с тоненьким голоском. Когда мы познакомились, я осторожно заметил:

— Вы ведь еще не очень свободно говорите по-русски, не так ли? Нам предстоят долгие беседы со специалистами, ответственными работниками — не оробеете?

— Я буду стараться. Мне очень нужна языковая практика, и чем труднее, тем лучше. После университета я буду учить русскому языку наших мальчишек и девчонок. Вы думаете, это легче?

Я все-таки попросил Агнеш, поскольку основной темой бесед на предприятиях, в Госплане, внешнеторговых организациях будет венгерская экономическая реформа, немного почитать об этом в газетах, журналах, чтобы хоть отчасти войти в курс дела.

— А я знакома с реформой, — неожиданно ответила Агнеш. — Мы постоянно говорим о ней и в университете и дома.

Ну, в университете еще можно понять: студенты — народ любознательный. А дома-то? Впрочем, может быть, родители Агнеш Козма как-то связаны с экономикой по своей работе? Оказалось — все не так. Родители ее умерли, она живет с дедушкой и бабушкой. Дедушка — старый врач, пенсионер. А бабушка — та и вовсе, как принято называть у нас, домашняя хозяйка, хотя, как я заметил, неработающие женщины в Венгрии заняты домашними делами относительно немного, предпочитая кафе, рестораны, прачечные и всякие другие виды бытового обслуживания.

— Почему же реформа — предмет ваших семейных забот? — поинтересовался я.

— Нельзя сказать, что предмет забот. Но всех интересует, какие товары в магазинах и цены. Я приношу стипендию бабушке, а дедушка отдает ей свою пенсию, и она ведаёт всеми расходами. Еще мы строим домик на Балатоне, покупаем для него материалы... Поэтому мы часто говорим о реформе. Особенно бабушка.

Несколько дней спустя мы с Агнеш встретили ее бабушку на улице Ваца — самой оживленной торговой улице Будапешта. Вот уж никогда бы не подумал, что эта пожилая элегантная дама проявляет живой интерес к такому предмету, как экономика.

Вообще «личное отношение» венгров к своей экономической реформе я замечал не раз. И не только в частных разговорах. Нередко «личный момент» неожиданно проступал и в официальных встречах и беседах, организованных по моей просьбе редакцией газеты «Элет эш иродалом» («Жизнь и литература»).

На крупнейшей в Будапеште швейной фабрике «1 Мая» я беседовал с техническим директором Ласло Фекете и главным бухгалтером Палом Гондой. Знакомая меня с работой своего предприятия в новых условиях, они говорили о том, как теперь строятся взаимоотношения фабрики с торговлей, о необходимости считаться с конъюнктурой рынка, о тенденции к снижению цен.

— Вот он, — Ласло Фекете указал глазами на Пала Гонду, — осенью купил шитое у нас ламинатное пальто, уплатил семьдесят семьсот форинтов, а подождать бы месяца два — и оно стоило бы всего семьсот форинтов.

Конечно, сто семьдесят форинтов — разница существенная, их вполне хватило бы на такое дополнение к пальто, как отличные кожаные перчатки или кашне. Но меня в этом факте заинтересовало в первую очередь другое. Признаться, на предприятиях, выпускающих одежду, обувь или какие-либо другие подобные предметы, мне не часто приходилось встречать людей, которые покупали бы «свои» изделия. Всегда кажется — «чужое» лучше. А тут руководители фабрики из огромного ассортимента отечественных и импортных товаров, имеющих в магазинах, предпочитают те, что сделаны на их же фабрике. Согласитесь, это свидетельствует о многом. Пожалуй, лучшей рекламы для продукции предприятия не придумаешь!

Однако мои собеседники не придавали этому факту особого значения. Вот то, что Пал Гонда «переплатил», на это они обратили мое внимание...

Странно однако. Уж кто-кто, а главные бухгалтеры считать умеют. Отчего же все-таки столь нерасчетливо поступил Пал Гонда? Оказывается, он в то время просто не знал о предстоящем снижении цен на изделия своей фабрики.

Главный бухгалтер — и не знал?! А вот представьте себе. Да и откуда он мог знать: снижение цен заранее никем не планировалось, никаких указаний по этому поводу не поступало.

Пальто из ламинатной ткани фабрика «1 Мая» начала выпускать в позапрошлом году. И сразу же они завоевали широкую популярность, быстро раскупались. Но в конце года торговые организации вдруг заговорили о том, что стоило бы подумать о снижении на них цены. «Зачем это?» — удивились швейники. «Чтобы не было персбоев с реализацией». — «Да при чем тут персбои? Пальто прекрасно

распродаются». — «Сегодня распродаются, а что будет завтра?» — «Ну, в крайнем случае снизим цену, когда начнут залеживаться». — «Тогда поздно будет, — стояли на своем торговые работники. — Надо ведь и психологию покупателя учитывать: снижение цены на неходовые вещи выглядит лишь как вынужденная мера, только бы их сбыть, а вот если дешевет товар, пользующийся спросом, это особенно привлекает покупателя».

На «1 Мая» призадумались. Если в торговле настаивают, что цену надо уменьшить, значит действительно надо. Во-первых, люди там весьма опытные и зря спорить не станут. А во-вторых, они и сами заинтересованы в том, чтобы не продешевить. Ведь вот когда одна западная фирма захотела покупать эти же самые ламинатные пальто, фабрика готова была отдавать их по тринадцать долларов. А торговля сказала: «Не торопитесь» — и просила пятнадцать. Покупатель наконец согласился, и выиграли как швейники, так и торговля. Последняя, как договорились заранее, получила тридцать процентов разницы между первоначальной ценой и той, которая была в конце концов установлена. Так что выгода тут обоюдная.

Итак, снизить цену? Но насколько — чтобы и сбыт обеспечить и, что называется, не просчитаться? Оптовые базы и крупнейший универмаг «Корвин» ответили: примерно на двадцать процентов. На том и порешили. Угроза затоваривания была снята, продажа пальто шла бесперебойно. Фабрика даже смогла увеличить их выпуск.

Вот так теперь строятся в Венгрии отношения между предприятиями и торговлей. Договаривайтесь, товарищи партнеры, помня при этом о покупателе — последнее слово за ним.

Подобная договоренность осуществляется в довольно широких масштабах. Она стала возможной благодаря новой системе цен, которая является составной частью реформы. Но об этом — дальше.

Вернувшись в Москву, я рассказал эту историю одному специалисту, хорошо знающему экономику европейских социалистических стран.

— Ну что ж, — выслушав, заметил он, — это свидетельствует о возросшем влиянии рынка на работу венгерских предприятий.

Венгерские товарищи объясняли мне точно так же. Вспоминаю наши беседы. Я спрашивал: не означает ли это, что отныне развитие народного хозяйства, его тенденции и перспективы будут определяться главным образом или даже одной лишь рыночной конъюнктурой? И не рискует ли в таком случае государство отдать экономику во власть стихии рынка?

— Нет, — отвечали мои собеседники, — не означает. И опасности такого риска нет. — И спокойно доказывали свою точку зрения.

Вот примерно ход их мысли. За привычными словами мы часто видим и понятия привычные: рынок — значит, непременно стихийность... Да, мы привыкли и говорить и думать так, но имея при этом в виду лишь капиталистический рынок. Однако рынок остается и при социализме. Хотим мы или не хотим, а он существует, как бы мы ни старались прежде доказать и даже теоретически обосновать, что можем без него обойтись. Не можем! Жизнь заставила нас наконец понять и признать это... Но признав неизбежность в социалистическом обществе рынка, мы вовсе не должны признать и неизбежность присущей ему стихийности. У нас ведь средствами производства владеет государство, поэтому оно может решающим образом влиять на рынок, регулировать движение товаров, динамику цен. А это уже конец стихийности.

Когда я, вспомнив услышанное на фабрике «1 Мая», поинтересовался, почему это вдруг возникла такая ситуация, что предприятие было вынуждено снизить цену, в Госплане Венгрии мне рассказали, как все произошло.

С 1 января 1968 года в Венгрии введены три основных вида цен. На важнейшие виды сырья, материалов и предметов потребления, такие, как хлеб, масло и т. п., государством установлены твердые цены. Для большей же части товаров

государство определяет лишь пределы, в которых предприятия и торговля, по договоренности между собой, сами назначают цены. А для некоторых товаров (запасные части, особо модные изделия) нет и таких ограничений, тут предприятие вольно само распоряжаться ценами. В преддверии реформы в плановых органах республики не скрывали опасений: как бы предприятия, воспользовавшись теперешними своими правами, особенно на первых порах, когда все действия и факторы нового хозяйственного механизма еще не успели проявиться в полной мере, не взвинтили цены: велик соблазн продавать свои изделия подороже. Правда, необоснованное увеличение цены в конечном счете ударит по самому же предприятию, и оно поймет: «шутить» с ценами опасно. Но пока еще это произойдет! А тем временем могут пострадать покупатели. И вот, чтобы не допустить этого, государство пошло на такой шаг. К 1 января был накоплен большой запас потребительских товаров, сверхрезерв. Это создало известную рыночную ситуацию: предложение превышает спрос. А в такой ситуации, как известно, покупатель получает возможность более широкого выбора и, естественно, отдает предпочтение менее дорогим, при всех прочих равных условиях, товарам. Значит, они-то будут распроданы, а другие могут остаться на складах.

Так был поставлен заслон возможному повышению цен. Более того, многие предприятия, как, например, фабрика «1 Мая», проявив дальновидность, пошли на некоторое их снижение. Общий уровень цен на потребительские товары за первые три месяца реформы упал на два процента. Без каких-либо приказов и предписаний «сверху».

— Как видите, все шло по заранее намеченному плану, — сказал мне ведущий отделом координации Госплана Аюш Балашши. — На первый взгляд может показаться, будто тут действовала некая стихийность. Но это, если так можно выразиться, вполне запланированная стихийность. Ведь ничего действительно стихийного, или хотя бы даже неожиданного не было. Да, рынок вынудил предприятия пойти на снижение цен. А почему — вынудил? Потому что государство побудило его продиктовать именно такие требования. Государство, и никто иной!

План и рынок. Когда речь заходит о принципах социалистического хозяйствования, эти слова обязательно рядом. Слова, выражающие противоположные понятия. Как же сочетать эти понятия-антиподы? Как соединить величайшее завоевание и один из краеугольных камней социализма — государственное планирование народного хозяйства — с неременным условием всякого товарного производства, рынком?

Такой вопрос неизбежно встает перед социалистическим государством. Раньше всех он встал, естественно, перед нами еще в двадцатые годы при осуществлении новой экономической политики. В 1925 году XI Всероссийская конференция РКП(б) записала в своем решении: «Исходя из наличия рынка и считаясь с его законами, овладеть им и путем систематических, строго обдуманных и построенных на строгом учете процесса рынка экономических мероприятий взять в свои руки регулирование рынка и денежного обращения».

Считаясь с законами рынка... К сожалению, всегда позволить себе это мы не могли. Индустриализацию вынуждены были провести в невероятно короткий период, и помощи ждать было неоткуда. Жесточайшая война. Быстрое восстановление разрушенного войной... Все это требовало строжайше централизованного распределения товаров, заставляло порой отказываться от мер, «построенных на строгом учете процесса рынка», а то даже и вовсе не считаться с «наличием рынка». Требовало, заставляло и — начинало иным казаться, что только так и можно, что по-другому вообще нельзя. Но время неизбежно выдвигало новые задачи, и вокруг проблемы «план и рынок» не раз вспыхивали жаркие баталии. Вот и у венгров, оказывается, тоже...

— Знаете, — говорит Аюш Балашши, — мы много спорили: что у нас, в социалистической стране, должно быть регулятором народного хозяйства — план или рынок? Сегодня такой альтернативы для нас не существует. План и рынок

одновременно — такова теперь наша концепция. На практике это означает, что деятельность предприятий определяется главным образом рынком, но сам он находится под экономическим воздействием государства. Если сказать короче, то мы приняли формулу: народнохозяйственный план — рынок — предприятия. Как видите, мы не противопоставляем одно другому, а подчиняем рынок плану.

Меня несколько смутило выражение «подчиняем». Но я ловлю себя на мысли: опять дань привычному. Ведь подчинить можно без «команд». Вот так, например, случилось с ценами в первые месяцы реформы: предприятия были свободны повысить цены на свои изделия, а не повысили. И не позволили им это сделать не приказы, не запреты, а экономическая ситуация, продуманно подготовленная государством.

Конечно, то была лишь единовременная и, так сказать, экстраординарная мера. Не постоянно действующий фактор, а разовая акция текущей хозяйственной политики, что называется вынужденный шаг. Впрочем, в экономике любой шаг — вынужденный, если только это не субъективистское, а действительно научно обоснованное управление народным хозяйством.

У государства немало и других возможностей неотрывно держать руку на пульте управления экономикой страны. Социалистическое государство — единственный собственник всех средств промышленного производства. Только оно устанавливает профиль предприятий. Только в его власти какое-то из них закрыть, а какое-то построить. Уже благодаря одному этому в стране образуются намеченные народнохозяйственным планом экономические пропорции, которые в конечном счете и определяют рыночную конъюнктуру. Ну, а кроме того, государство с помощью различных поощрительных мер стимулирует ускоренное, опережающее развитие тех или иных отраслей, заинтересовывает предприятия в выпуске той или иной продукции. Так оно заставляет предприятия «работать на план». Что называется, без лишних слов...

— Централизованное планирование у нас, конечно же, остается, — говорит Аюш Балашши. — Больше того, благодаря действию экономических стимулов оно усиливается. Только не надо считать, что централизованное планирование и руководство путем приказов — одно и то же.

2

Редкий день во время моего кратковременного пребывания в Венгрии я не встречался с каким-либо руководителем предприятия, или экономистами, или партийными работниками, занимающимися хозяйственными проблемами. И где бы ни состоялась встреча — в просторном ли кабинете заведующего отделом ЦК ВСРП, или в полукруглом, залитом солнцем холле внешнеторговой организации «Медимпекс», в ультрасовременном кабинете экономического директора прославленного телевизионного завода «Орион», или в складе новых моделей одежды швейной фабрики «1 Мая», в большой, уставленной темной и тяжеловатой мебелью комнате Госплана республики или в увешанном диаграммами и таблицами полубкабинете-полуконторке заведующего плановым отделом завода телефонных станций имени Белоянниса, — везде беседа неизменно начиналась с кофе. В Венгрии, как я успел заметить, это ритуал. Причем приготовление кофе такое же обязательное для секретаря умение, как печатать на машинке, вести прием посетителей, писать и рассылать письма и т. д. В любой приемной наряду с обычными канцелярскими предметами и оборудованием есть все, что надобно для приготовления кофе: электрические кофемолка и кофеварка, посуда, запас кофейных зерен и сахара.

Помогал ли кофе беседам? Помогал. Чашечка кофе — как бы знак расположения к вам хозяев и приглашения к дружескому общению. Она делает разговор более непринужденным.

И вот так же, пожалуй, постоянно, как неизменный кофе, наши беседы сопровождал один и тот же рефрен — слово «сами». Мы касались разнообразных

сторон жизни венгерских предприятий. Но о чем бы ни заходила речь — о составлении планов хозяйственной деятельности или искусстве внешнеторговой рекламы, о влиянии социологических факторов на труд людей или нынешних тенденциях технического прогресса, о современном типе промышленного администратора или национальных традициях руководства хозяйством, — слово «сами» мне приходилось слышать чаще всего.

Сами определяем — какие изделия производить, сколько и почем. Сами договариваемся о продаже своей продукции — через торговую сеть или непосредственно с потребителями. Сами выбираем себе поставщиков сырья и материалов. Сами решаем вопрос о технической реконструкции предприятия, расширении производства, материальном поощрении работников...

На заводах и фабриках я расспрашивал, не скрою, с пристрастием: действительно ли министерства не вмешиваются в текущую работу предприятий. «Действительно», — отвечали мне. «И не дают никаких приказаний, не оказывают никакого нажима?» — «Да нет же!» — «Позвольте, ну хотя бы один факт, один случай, когда министерство пыталось — подчеркиваю, только пыталось! — нарушить вашу самостоятельность, вы можете вспомнить?» Мои собеседники с виноватой улыбкой разводили руками: «Нет, к сожалению, не можем».

Начальник планового отдела завода имени Белоянниса — Карой Балог — сказал мне:

— Послушайте, а зачем, собственно, министерству вмешиваться? Что у него, своих дел мало?

— Любопытно. Что же тогда, хотелось бы узнать, его дело?

— Его дело? Разработка технической политики отрасли, решение крупных научно-технических проблем, подготовка кадров руководителей и специалистов, международное сотрудничество... Одним словом, все, что связано с работой отрасли в целом, особенно ее перспектив.

— Но разве министерство не занималось этим и раньше, до реформы? И тем не менее руководило работой каждого отдельного предприятия, так ведь?

— Раньше — другое дело. Раньше министерство составляло план по своей отрасли: чего и сколько надо выпустить — и распределяло этот план между всеми предприятиями, спускало каждому его, так сказать, долю. А раз давало план — значит, и контролировало его выполнение. Теперь же мы планируем все для себя сами — зачем же министерству вмешиваться в наши дела? — Помолчав, Карой Балог добавил: — Сегодня работать намного интереснее. Я бы сказал, красивее. Теперь есть где развернуться.

— А прежде? Тоже, наверное, дел и забот хватало?

— Хватать-то хватало. Только какие это были заботы? Как при жестком фонде зарплаты ухитриться принять на завод еще пять человек? Сегодня такой проблемы не существует. Сегодня надо только определить: сколько людей необходимо производству. И мы сами решаем: какой установить фонд зарплаты, какова будет численность работников.

Сами, сами, сами... Все сами!

Не слишком ли, однако, это рискованно? Не грозит ли такая широта прав, предоставленных предприятиям, общегосударственным интересам?

Я спросил в Госплане у Аюша Балашши:

— Допустим, предприятие решит выпускать продукцию не ту, в которой есть нужда, а ту, которую изготавливать проще, легче. Возьмем самый что ни на есть примитивнейший пример. Вот, скажем, посудная фабрика. Вдруг она решит приостановить производство чашек и за счет этого увеличить выпуск тарелок. А государству в это время требуются как раз чашки. Может ли оно заставить?..

— Государство вообще ни в чашках, ни в тарелках не нуждается. Это населению нужна посуда. А население приобретает ее в торговле. Торговые же организации могут купить хоть чашки, хоть тарелки не у одного этого предприятия, а у любого другого. И импортировать из-за границы могут. Следовательно,

население без чашек не останется. Это раз. Теперь второе: если тарелок в магазинах и без того достаточно, то зачем же фабрике увеличивать их производство? Кому она продаст свои тарелки?

— В крайнем случае она может их экспортировать в другие страны, у вас ведь предприятия получили довольно большую самостоятельность и во внешней торговле, не так ли?

— Так. Ну что ж, пусть экспортирует. Это будет даже хорошо. Государство заинтересовано получить дополнительную валюту.

— Но не останется ли в таком случае без посуды собственное население?

— Нет, не останется. Как только в стране обнаружится нехватка посуды, фабрикам станет выгоднее продавать ее на внутреннем рынке. Экономические факторы быстро подсказывают предприятиям, что надо делать.

— Следовательно, опять же — регулирование производства путем экономического воздействия, через рынок?

— Конечно. И поверьте, это вполне надежный регулятор. Во всяком случае при таком регуляторе и чашек в магазинах будет вдоволь, и тарелок. Но так, чтоб их девать было некуда, — никто выпускать не станет. Разве же это не в интересах государства? Предприятия, как видите, свободны в правовом отношении: им никто не может приказать — делайте то или другое. Но они не свободны от нужд общества. Их самостоятельность — это вовсе не значит делать то, что захочется. Это значит делать то, что необходимо обществу.

3

Экономические реформы в европейских социалистических странах, разумеется, несколько отличаются одна от другой. Каждой присущи какие-то свои, специфические черты. Вполне понятно: сказываются особенности жизни и развития каждой страны. Но вместе с тем реформы эти сходны между собой. Не случайно же они начались и проводятся примерно в одно и то же время, в течение последнего десятилетия! Это сходство в значительной степени, если не целиком, объясняется одними и теми же причинами, которые сделали реформы необходимыми.

Одна из таких причин — жесткая регламентация «сверху» деятельности предприятий.

До реформы директор венгерского завода или фабрики знал один руководящий адрес — свое министерство (наверное, при той обстановке это все же было лучше, чем когда заводом командуют многие). У министерства спрашивали любое разрешение, перед ним во всем отчитывались, на него при всяком случае ссылались. И это, последнее, для директора в какой-то мере искупало издержки административных методов руководства. То и дело спрашивать, в каждом шаге отчитываться, конечно, не самое большое удовольствие. Зато — ссылаться! Отчего изделия дороги? Себестоимость и цена установлены министерством. Почему изделия несовершенны? Образцы утверждены министерством. Почему медленно растет выпуск продукции? Так запланировано министерством.

В прошлом году заводу «Орион» было запланировано выпустить восемьдесят тысяч телевизоров. А завод мог сделать сто тысяч. И не только сделать, но и реализовать — торговля просила: только давайте, возьмем все. Однако потребовалось полгода переговоров и уговоров, прежде чем было получено согласие министерства. Полгода «выбивалось» разрешение на увеличение годового плана без дополнительных вложений.

Или другое: «Послушайте, почему я, ведущий инженер, получаю меньше, чем рабочие моего участка?» — «Дорогой мой, ты заслуживаешь оклада вдвое большего, но что я могу поделать — ставки определены министерством». Или: «Дайте нам еще одного технолога и двух лаборантов — и ровно через месяц мы закончим испытание, сдадим опытный образец». — «Да будь моя воля, я бы

давно дал вам людей. А как им платить? Мы ведь фонд зарплаты под самый узелок выбрали. А у министерства больше не выпросишь ни форинта».

Нынче ссылаться не на кого. А главное — и необходимости в этом такой нет. Теперь в Венгрии директора предприятия на каждом шагу не теребят: почему так, отчего не иначе, зачем это сделал, почему не то? Нынче у всех прежде всего один вопрос: какова рентабельность, сколько прибыли дает предприятие? Вот уж это интересует каждого. Прибыль объединяет интересы всех — в один, общий интерес. Тут все становятся «максималистами».

Понятно, почему объединяет. Ответ на этот вопрос важен и для государственных органов: часть прибыли идет в бюджет страны, на общенародные нужды. И для любого работника предприятия: оклады, премии зависят от возможностей самого предприятия, а в конце года каждый получит из накопленных прибылей свою долю — пропорционально своему вкладу в общий труд и степени личной ответственности за работу коллектива.

Последнее, думаю, небезынтересно и для нас: какова установленная в Венгрии зависимость материального поощрения работников от степени их ответственности за деятельность предприятия? У рабочих и рядовых служащих участие в прибылях составляет в целом до 15 процентов зарплаты. (В целом это значит, что кто-то может получить и больше, а кто-то меньше, смотря кто как работает, но в общем по этой группе работников участие в прибылях не должно превышать 15 процентов. У руководителей среднего звена участие в прибылях — до 50 процентов зарплаты, у высшего начальственного состава — до 80 процентов.)

Разница довольно существенная. Но все это лишь в том случае, если есть прибыль. Если же вместо прибыли у предприятия убытки — то у первой категории работников зарплата сохраняется, она гарантирована им при любой ситуации. Зато у двух последних заработок снижается: директор и его ближайшие помощники получают только 70 процентов оклада (разница, как видим, тоже весьма ощутимая), а руководители рангом ниже — 85 процентов.

Наконец, ответ на вопрос: какова прибыль? — важен и для предприятия в целом, и для отраслевого министерства, ибо расширение производства, реконструкция и техническое развитие предприятий идет опять-таки за счет их собственной прибыли.

Несколько лет назад в статье, напечатанной в «Известиях», я писал о том, как порой нерасчетливо, безалаберно иные наши предприятия расходовали деньги на обновление оборудования. Проектирование и изготовление современных машин, внедрение изобретений, совершенствование технологических процессов шло не за счет собственных средств, а за счет государства. Такая практика не только подрывала под корень хозрасчет, но наносила огромный моральный урон. Развращала людей, воспитывала в них иждивенчество, побуждая идти на лишние, никому не нужные траты и при этом закрывать глаза на приносимый ущерб. В самом деле, каждый год предприятие получало из государственного бюджета изрядную сумму — на новую технику. И расходовало ее, что называется, не считая. А чего ему было считать! В прошлом году дали? В этом году дали? И в будущем году дадут. Забота была одна: нужно не нужно — истратить эти деньги, лишь бы к концу года не осталось на счету ни копейки. Потому что если останется — в следующем году сумму непременно «урезут», да еще и упрекнут директора: не заботишься, дескать, о техническом прогрессе, тебе деньги на это не жалко, только трать, а ты и этого не сумел сделать. И нередко заказывались умопомрачительные проекты, клались «на вечное хранение» щедро оплаченные чертежи, стояло в бездействии, ржавело оборудование, которое или было непригодно для этого предприятия, или попросту не требовалось ему.

Нынче в Венгрии за счет государства строятся и оснащаются только новые предприятия. Действующие — развиваются, расширяются за собственный счет. Даже если деньги для этого берутся «на стороне».

Я уже говорил о правах и возможностях, предоставленных венгерским предприятиям. А вот еще одна возможность. Вы хотите построить новый цех, но вы-

ложить сразу всю сумму не в состоянии. Или заменить старое оборудование современным, а денег опять же не хватает. Или приобрести лицензию на прогрессивный способ производства, а она довольно дорога. Или, наконец, создать запас материалов, а это сегодня сверх ваших финансовых возможностей. Извольте! Стройте, приобретайте — банк отпустит вам в долг необходимую сумму. Заманчиво! Но долг, как известно, платежом красен. Банку за услуги положено платить, поэтому придется не просто возратить ссуду, а еще и с процентами. Откуда же взять на это деньги? Из прибыли, больше неоткуда. Итак, вы решили попросить ссуду. Очень хорошо. А вы прикинули, что это в конечном счете вам даст? Подсчитали, какова окажется прибыль и когда вы ее получите? Деньги, знаете ли, счет любят.

Я думаю, в такой ситуации можно не опасаться, что средства будут расходоваться не по-хозяйски. Уж тут-то на предприятии, может быть, не семь, а семидесять раз отмерят, подумают, прикинут, посчитают, прежде чем «резать».

Вот что такое жить за счет собственной прибыли.

Но не понуждает ли это предприятия в погоне за прибылью хвататься за одни лишь выгодные заказы, пренебрегая интересами всего народного хозяйства, общества? Нет, не понуждает. Вспомним разговор с Аюшем Балашши, пример с тарелками и чашками.

И еще. В Венгрии меня предупреждали: только не надо ничего абсолютизировать, общепринятые нормы возводить в крайнюю степень. Вот, например, предприятие само определяет, что производить — разумеется, в рамках своего профиля, — и само же решает, кому продавать свою продукцию. Однако некоторые заказы для него обязательны: по здравоохранению, по государственным капитальным вложениям (скажем, строится новый завод и для него требуется оборудование), по международным соглашениям и т. д. Или мы говорим: главный принцип хозяйствования — экономичность. Но ведь каждому ясно, что, выпуская, допустим, лекарства для Вьетнама, мы исходим из другого принципа — нашего интернационального долга, братской солидарности с вьетнамским народом.

Но все это — исключения. А исключения, как известно, лишь подтверждают правило. Правило же — судить о работе предприятия по той пользе, которую оно приносит обществу.

Как судить? По какому критерию?

Чтобы сравнить две разные дроби, как известно, надо прежде всего привести их к общему знаменателю. Таким вот общим знаменателем, позволяющим оценить деятельность любого предприятия, и служит в Венгрии прибыль. Она же и самая красноречивая характеристика его руководителей. Тут не надо убеждать, какой ты хороший и старательный, сколько сил отдаешь родному заводу и как болеешь душой за государственные интересы, напоминать о своих прежних заслугах и доказывать, как ты предусмотрителен и расчетлив в планах на будущее. Ты скажи, какова на твоем предприятии прибыль, и я скажу, как ты хозяйствуешь.

Однако не слишком ли велико увлечение? Прибыль, прибыль... Не кроется ли в этом что-то чуждое нам? Не заражает ли общественную атмосферу частое употребление слова «прибыль» и то значение, которое ей придается, духом коммерции, наживы? (Именно на это напирало больше всего маоистские ревнителю «казарменного коммунизма».)

Нет, не заражает общественную атмосферу социалистической страны слово «прибыль»! Потому что дело не в термине, а в его социальном содержании. В том, кому принадлежит прибыль, во имя каких целей используется, чему и кому служит. Именно тут и проходит водораздел между прибылью капиталистической и прибылью социалистической.

Вспомним Ленина. Примечательно его возражение Бухарину, когда тот пытался сместить этот водораздел, утверждая в своей книге «Экономика переходного периода», что производство «при господстве капитала есть производство прибавочной ценности, производство ради прибыли. Производство при господстве

пролетариата есть производство для покрытия общественных потребностей». В этом месте Владимир Ильич со свойственной ему бескомпромиссностью записал: «Не вышло. Прибыль тоже удовлетворяет «общественные потребности». Надо было сказать: где прибавочный продукт идет не классу собственников, а всем трудящимся и только им».

Другое дело — чтобы предприятия получали прибыль по действительным заслугам. Социалистическое государство не может оставаться безучастным к тому, за счет чего богатеет тот или иной завод, та или иная фабрика — благодаря умелому хозяйствованию, инициативе или из-за непомерного вздувания цен на свои изделия. Потому-то в Венгрии есть цены не только свободные, но и ограниченно свободные, и даже твердые. Потому государство и займется о создании такой рыночной конъюнктуры, при которой предприятия остерегались бы предлагать свою продукцию покупателям втридорога.

4

Реформа предоставила руководителям венгерских предприятий поистине широчайшие возможности для проявления инициативы, предприимчивости, сметки. Да, разрешено им многое. Кроме одного — плохо хозяйствовать. Это, пожалуй, единственное, что они не могут себе позволить.

Запрет этот опять же не административный, а экономический. Без грозных приказов, без наскучивших увещеваний, без призывов и заклинаний. Однако вполне действенный. Предприятия поставлены в такие жесткие экономические условия, что они просто не в состоянии разрешить себе роскошь выпускать продукцию, пользующуюся малым спросом или вовсе не пользующуюся им (а отсюда и качество ее, и цена). Ведь иначе это означает бить по собственному карману — занятие, ни для кого не привлекательное. Плохо работая, вы рискуете просто не продать свою продукцию. И тут никто вам не поможет, потому что никто не вправе заставить потребителя купить именно ваши изделия. А завтра вы навлекаете на себя опасность и вовсе остаться без заказов: те же изделия выпускают и другие предприятия, и потребитель, уж будьте уверены, не преминет этим воспользоваться. Жизнь уже преподала такие уроки.

Карой Балог с завода имени Белоянниса рассказал мне о недавнем случае. Его предприятию требуются диоды. Их делают на заводе «Эдешюльт иззо», и всегда покупали там — по тринадцати форинтов за штуку. Но теперь строители телефонных станций решили: дорого. Однако «Эдешюльт иззо» стоял на своем. И тогда договорились о поставке этих деталей из-за рубежа — по одиннадцати форинтов. На «Эдешюльт иззо» согласились снизить цену. Но завод имени Белоянниса ответил: готовы покупать у вас, но только по еще более дешевой цене и с будущего года: на этот год мы уже обеспечены.

Еще один пример. Долгое время в Венгрии пользовались популярностью транзисторные радиоприемники, изготавливаемые одним из отечественных заводов, стоили они восемьсот форинтов. Но вот появились в магазинах приемники из другой страны — такого же класса, но более дешевые, и покупатели стали отдавать предпочтение им. Венгерскому заводу, чтобы обеспечить реализацию продукции, пришлось снизить цену на свои приемники до шестисот форинтов.

Значит — конкуренция? Опять «капиталистическое» слово?! Да, если угодно, конкуренция. Но, во-первых, суть, как мы говорили, не в термине, а в том, что за ним стоит, какой социальный смысл он выражает. А во-вторых, в наши дни не такое оно уж и капиталистическое, это слово. Капитализм монополий как раз душит конкуренцию. Еще более семидесяти лет назад Энгельс отмечал, что «...прославленная свобода конкуренции находится при последнем своем издыхании и должна сама признаться в своем явном скандальном банкротстве». Теперь уже сами правительства империалистических держав вынуждены принимать пожарные меры против поглощения монополиями своих конкурентов. В США, например, такой мерой стал специальный (так называемый «антитрестовский») закон, запрещающий слияние крупных компаний, конкурирующих между собой.

К слову сказать, вершители судеб «здоровой» капиталистической экономики этот закон благополучно обходят и создают гигантские корпорации, чтобы, устранив конкурентов, диктовать свою волю рынку.

В Венгрии не боятся слова «конкуренция». Еще готовясь к поездке, я прочитал в одном из наших журналов статью Режё Ньерша, секретаря ЦК Венгерской социалистической рабочей партии. Он прямо писал, что целесообразно «развивать производство многих видов товаров не на одном предприятии, находящемся в монопольном положении, но и на других предприятиях. Другими словами, речь идет о здоровой конкуренции, которая регулируется и ограничивается государством. Она допустима до тех пор, пока полученные в ходе ее социально-экономические выгоды превышают потери, порождаемые параллелизмом производства или обращения».

Что же понимают под здоровой конкуренцией венгерские товарищи? И как выглядит она на практике?

— Мы, разумеется, не вкладываем в понятие конкуренции капиталистический смысл и вообще относимся к этому вопросу дифференцированно, — сказал мне заведующий отделом экономической политики ЦК ВСРП Йозеф Балинт. — У нас, как вы знаете, единственный автобусный завод «Икарус», и мы не собираемся строить еще один лишь для того, чтобы между ними возникла конкуренция. Но там, где нет такой концентрации производства, где имеется не одно предприятие, пусть будет конкуренция. Мы видим в ней возможность более широкого, чем прежде, соревнования между предприятиями. Не только за высокий технический уровень продукции. Это у нас и раньше было. В Венгрии, например, два телевизионных завода — «Орион» и «Видеотон», и можно смело сказать, что мы не имели бы таких превосходных телевизоров, если бы у нас был только один завод. Но, повторяю, соревнование шло только в рамках технического уровня продукции. Кстати, и у вас такое соревнование ведется, только вы не называете его конкуренцией. У вас в Риге хотят делать лучший радиоприемник, и в Минске хотят, и на Урале. Разве это плохо? Мы же теперь хотим расширить рамки такого соревнования, чтобы предприятия соревновались между собой и за самую дешевую продукцию, за популярность своих изделий — вообще за более умелое, рациональное хозяйствование. И пусть они в этом конкурируют друг с другом.

— Но если конкуренция — значит, не только победители, но и побежденные...

— Конечно.

— Тогда может случиться, что предприятие, продукция которого уступает изделиям своих конкурентов, окажется в довольно затруднительном положении?

— Да, такая опасность для него не исключается. И она нужна. Она заставляет предприятие все время думать об уважаемом потребителе и перестраиваться, если его обогнали конкуренты. А не будь этого, оно и дальше сможет выпускать неходовую или слишком дорогую продукцию.

— А если перестроить все-таки не удастся? Если, несмотря на все усилия предприятия, его изделия не расходятся, как быть тогда?

— Тогда предприятие надо закрыть.

— Закрывать??

— Да, закрыть. Разумеется, это не значит, что завод пойдет с молотка. Завод — собственность государства. Закрывать — значит изменить профиль предприятия, может быть, даже передать в другую отрасль, в другое министерство. Словом, перевести на выпуск иной продукции.

То же самое, но, пожалуй, еще более решительно говорил мне об этом в Госплане Венгрии Аюш Балашши:

— Рынок у нас регулируется на основе государственного плана. Но если мы хотим чего-то добиться, то это должен быть действительный, а не мнимый рынок. Иначе мы снова вернемся к административным методам руководства. А настоящий рынок обязательно предполагает конкуренцию.

Я высказал сомнение: не слишком ли, однако, дорого это обойдется государству? Все-таки часть продукции, если существует конкуренция, может остаться нераспроданной.

— Да, — согласился Аюш Балаши, — какая-то часть товаров, возможно, окажется нереализованной. Но и в этом случае потери будут меньше, чем были раньше, когда предприятия вовсе не думали о рынке, о потребителе. Ведь не случайно же до реформы, когда производство шло по твердо установленному плану и, казалось бы, все заранее учтено, взвешено и сбалансировано, были огромные товарные запасы и в промышленности, и в торговле, и в капитальном строительстве. Они висели тяжелым камнем на экономике страны.

— Да, но закрывать предприятия! Вернее, менять их профиль, переводить на выпуск совершенно другой продукции — это ведь тоже станет не в малую копейку...

— Потери и тогда окажутся меньшими, чем если предприятие будет выпускать неконкурентоспособную продукцию. Разве лучше тратить сырье, материалы, платить людям зарплату, а в результате получать изделия, которые никто не хочет брать? Пусть уж оно совсем не работает, чем бросать деньги на ветер. Экономика, скажу я вам, штука неумолимая.

5

«Сегодня работать намного интересней. Я бы сказал, красивей», — вспомнились мне слова Кароя Балого. Возможно, возможно... Но и сложнее насколько!

В Госплане республики Эндре Гач, очень симпатичный молодой человек, которому я высказал эти свои опасения, согласился: верно, нелегко. Однако тут же добавил: «Для толкового, инициативного и дальновидного хозяйственника безвыходных положений теперь практически не бывает. Все зависит от него самого: ведь реформа открыла ему такие возможности!.. Разве вы не убедились в этом на фабрике «1 Мая»?

Убедился. Я побывал на этой фабрике накануне, и в самом начале беседы с Аюшем Балаши и Эндре Гачем поделился своими впечатлениями. И впечатления эти были самыми лучшими.

Уже знакомые читателю технический директор «1 Мая» Ласло Фекете и главный бухгалтер Пал Гонда в разговоре со мной вспомнили не совсем приятный для их предприятия факт. Фабрика попросила у банка кредит на строительство нового цеха и получила отказ. Деньги в кредит дали другой швейной фабрике — «Красный Октябрь».

— Выходит, вы конкуренты? — спросил я.

— Вообще-то нет, — сказал Ласло Фекете. — мы выпускаем дамские костюмы, а они — мужские костюмы. Но в данном случае вы правы, наши фабрики действительно оказались конкурентами. «Красный Октябрь» предложил лучшие условия возврата долга, и банк дал деньги ему.

Конкуренция на получение банковского кредита поставила «1 Мая» в затруднительное положение. Правда, я не заметил, что мои собеседники, рассказывая об этом, были хотя бы в малой степени обескуражены или расстроены. Таково уж, видимо, свойство деловых людей: не терзать себя по поводу всякой неудачи, а действовать. Как же действовали в сложившейся ситуации?

Фабрика, как выяснилось из переговоров с торговыми организациями, может обеспечить полную реализацию своей продукции при ежегодном росте производства на семь-восемь процентов. Такой рост и рассчитывали обеспечить благодаря новому цеху. Но как быть теперь, если строительство его придется отложить?

На «1 Мая» нашли выход: филиалы в провинции (между прочим, провинцией в Венгрии называют все, удаленное от столицы хотя бы на пятнадцать—двадцать километров). Решили создать шесть вспомогательных цехов в разных населенных пунктах. Это оказалось даже выгоднее, чем строить цех в Будапеште, где дефицит рабочей силы. К слову сказать, и в этом отношении есть конкурен-

ция: за хороших специалистов, квалифицированных рабочих предприятия дерутся. «1 Мая» старается привлечь людей разными мерами. И зарплатой — сравнительно высокими окладами, участием в прибылях (по итогам позапрошлого года выдавалась «тринадцатая зарплата»). И сокращенной рабочей неделей — это первое в стране швейное предприятие, перешедшее на новый режим работы. И собственными домами отдыха на Дунае и Балатоне; и, учитывая, что большинство работающих — женщины, своим детсадом, яслями. А в провинции, наоборот, заинтересованы обеспечить людей работой, поэтому местные советы охотно и даже бесплатно предоставили помещения под филиалы. Капитальные вложения потребовались сравнительно небольшие: основную часть оборудования сумели найти в будапештских цехах. Времени на обучение людей ушло также немного: одежду кроют в Будапеште — там самые опытные мастера, — а в филиалах только шьют. Дважды в неделю машины доставляют в филиалы раскрой и увозят оттуда готовые изделия.

Затраты на организацию филиалов окупилась за каких-нибудь полгода. А дальше пошла чистая прибыль.

Но просто обеспечить рост продукции — мало. Швейники знают, как важно дать ее вовремя, к сезону.

В Венгрии я был весной. Товаров в магазинах было полно, и самых разных. Но ни в витринах, ни на прилавках я не увидел зимних вещей... Сезонная продажа имеет пики и спады. Как же предприятие регулирует выпуск товаров сообразно сезону, имея постоянный контингент работников — не увольнять же часть из них каждые полгода, чтобы потом набирать новых? На «1 Мая» проблему решили с помощью надомников. Причем не кустарно, имея дело с какой-то отдельной тетушкой Эрты, а в большом масштабе. Фабрика заключает с домами отдыха на Балатоне договоры, по которым работницы этих домов отдыха с осени до весны выполняют ее заказы (опять же несложное шитье по готовому раскрою). Выгодно всем: здравницы, когда курортный сезон заканчивается, без всяких затрат удерживают на месте свой постоянный персонал, работницы обеспечены круглогодичным заработком, а «1 Мая» к весне, то есть к самому сезону-пик, резко увеличивает выпуск одежды.

Ну, а мода — эта альфа и омега успешной работы швейников? То, что вечно мешаает им «спокойно жить» и вместе с тем служит основой их процветания? Директор одного магазина на улице Ваца сказал мне: «Торговцы и производственники должны относиться к моде, как влюбленный пожилой мужчина к молодой невесте. Хотите завоевать ее признание — будьте к ней максимально внимательными, следите за ее капризами, старайтесь угождать ей на каждом шагу, предугадывать ее малейшее желание».

Мне кажется, это правило хорошо усвоили на «1 Мая». Посылают своих модельеров за границу. Поддерживают тесный контакт с центрами моды (нечто вроде наших Домов моделей) в своей стране, которым фабрика платит немалые деньги за постоянную информацию и другие услуги. Непрерывное обновление ассортимента — ежегодно фабрика предлагает торговле тысячу триста новых моделей, из которых принимается примерно половина; однако другая половина отнюдь не «выброшенные деньги». потому что чем шире предлагаемый вами выбор, тем заинтересованнее отнесется к вам торговля. Массовое производство сочетается с групповыми, чуть ли не индивидуальными запросами потребителя — люди хотят одеваться нестандартно, и фабрика выпускает продукцию партиями, не превышающими пять тысяч штук; отдельные же изделия выходят «тиражом» всего в пятьдесят экземпляров (цена, разумеется, соответствующая). Наконец, заблаговременно готовятся новые модели — в апреле мне показали образцы изделий, окончательно подготовленных к серийному производству в будущем году... Ну, а отсюда и результаты. «Вся наша продукция, которая будет произведена в этом году, уже полностью продана торговле», — сказал Ласло Фекете.

Вот так теперь хозяйствуют в Венгрии — в условиях самостоятельности, экономического расчета и конкуренции с другими предприятиями.

6

За границей все увиденное невольно сравниваешь со своим, отечественным. Иногда радуешься. Иной раз досадуешь. Вот и в Венгрии я то и дело ловил себя на мысли, что все время сравниваю ее экономическую реформу с нашей. А иногда такое сравнение, что называется, выливалось наружу, принимало форму прямого диалога между мною и моими собеседниками.

Помню, например, Йозеф Балинт, рассказывая о том, как в Венгрии перед реформой изучали опыт хозяйственных преобразований в других социалистических странах, заметил:

— Наши предприятия и до реформы пользовались, пожалуй, большей самостоятельностью, чем ваши. Но и в этой области мы даже сейчас в одном отстаем от вас. Я имею в виду использование предприятиями своих материальных возможностей для жилищного строительства. Этого они были полностью лишены. Почему? Вы подошли к решению жилищной проблемы более радикально, открыли, так сказать, все каналы, и ваши успехи в этом деле общеизвестны. Мы же в этом вопросе слишком увлеклись идеей полной централизации, считая, что жилищное строительство должно вести только государство. И лишь теперь начали выправлять положение.

Экономические реформы, мы знаем, проводятся во всех европейских социалистических государствах. Видимо, необходимость подобного рода преобразований в какой-то момент встает перед каждым из них. И это вполне закономерный процесс, подготовленный предшествующим развитием стран и вызванный к жизни потребностями их дальнейшего движения по пути социализма и коммунизма.

Я уже упоминал, что в этих реформах много общего и в то же время в каждой из них есть что-то свое, специфическое. Характерна их одинаковая направленность, целеустремленность. Это прежде всего упрочение основы социалистической экономики — общественной собственности на средства производства — и одновременно дух творчества в подходе к проблемам, дальнейшее совершенствование методов хозяйствования. Это последнее как раз и накладывает на каждую из таких реформ свой, национальный отпечаток. Тут сказываются и своеобразие экономики страны, и ее национальные традиции, и уровень развития производительных сил, и степень внешнеэкономических связей.

Возьмем, к примеру, хотя бы последнее. Каково влияние внешней торговли на деятельность венгерских предприятий в условиях реформы?

На заводе «Орион» экономический директор Габор Кондорш и начальник планового отдела Йозеф Циринок рассказывали, что их предприятие экспортирует телевизоры во многие страны: Швецию, Финляндию, Данию, ФРГ, Чехословакию, Индию, в страны Ближнего и Среднего Востока, — но должно постоянно искать новых покупателей, завоевывать новые рынки. И, кроме того, расширять ассортимент экспорта: продавать за границу не только телевизоры, а, например, микроволновые приборы. Сейчас они экспортируются в Советский Союз, скоро будут вывозиться и в другие страны. Кое-что уже предпринимается для этого.

В столице одной восточной страны завод на свои средства построил линию связи, которая работает на его же приборах. И эксплуатирует эту линию завод за собственный счет, полагая, что все окупится. В этой стране сразу же заинтересовались венгерскими микроволновыми приборами, да и не только в ней: ведь линию «Ориона» там видят и представители фирм других стран.

Я подивился тому, как свободно предприятие выходит на внешнеторговую арену. Но мои собеседники объяснили:

- Внешняя торговля для нас — все!
- Для вас, то есть для завода?
- Почему для завода? Для страны.

Позже я узнал, что в мире не много стран, для которых внешнеэкономические связи играют такую роль, как для Венгрии. Сорок процентов ее националь-

ного дохода дают экспорт и импорт! Возможно, в какой-то степени это объясняется тем, что она бедна полезными ископаемыми: бокситы и очень небольшие запасы нефти и угля — вот, пожалуй, и все. А ведь это индустриально развитая страна! Удивительно ли, что реформа открыла перед предприятиями чрезвычайно широкие возможности для проявления инициативы и во внешней торговле?

К слову сказать, государство и понуждает их к этому, и умело помогает конкурировать с зарубежными фирмами. Сегодня, например, еще не все венгерские предприятия «хорошо себя чувствуют» на международном рынке: себестоимость продукции некоторых из них слишком высока. Значит, такой завод или фабрика должны или прекратить производство изделий на экспорт, или продавать их за границей себе в убыток. Прекратить — не разрешает государство, тут оно просто обязывает. А чтобы не было и в убыток, государство же и помогает им материально. В стране действует так называемая система субвенций — своеобразных государственных приплат за выпуск и реализацию экспортных изделий.

Конечно, такая государственная подмога для предприятия весьма приманчива. Но к этому ведь и привыкнуть недолго. Чтобы этого не случилось, размер субвенции с каждым годом уменьшается. Это заставляет предприятие так перестраивать производство, чтобы в ближайшем будущем обходиться без финансовой поддержки государства.

И вот результаты. В прошлом году увеличился внешнеторговый оборот страны. Дело, однако, не просто в его общем количественном росте, а в том, что вывоз опережает ввоз (импорт вырос на два процента, экспорт — на пять процентов). Это говорит о многом: улучшается, становится более активным сам баланс внешней торговли. Вообще же за год венгерской экономической реформы важнейшие показатели развития народного хозяйства республики и благосостояния ее населения — национальный доход, реальные доходы трудящихся, розничный товарооборот и т. д. — заметно повысились. И хотя реформа, что называется, еще набирает силу, а новый хозяйственный механизм постепенно отлаживается, первые ее итоги радуют.

Мои венгерские собеседники сами не раз подчеркивали, что было бы наивно полагать, будто их модель хозяйственного механизма пригодна для всех других социалистических стран.

— Мы проводим реформу не совсем так, как вы, — говорили мне венгерские экономисты. И это вполне понятно — слишком разные у нас с вами масштабы. У вас ведь тысячи заводов и фабрик! Легко ли вовлечь их в такое серьезное дело все одновременно! Тут, конечно, не обойдешься без эксперимента сначала на одном или нескольких.

Да, в венгерской реформе немало своеобразного, так же как и в реформе любой другой социалистической страны. И хотя своеобразие это, повторяю, вызвано особенностями страны, условиями, в которых она живет, многое, мне думается, в венгерской реформе поучительно и для нас. Было бы, наверное, только полезно — внимательно приглядеться к ней, изучить различные ее стороны, трезво оценить результаты. Взаимное обогащение опытом, идеями, достижениями всегда было присуще народам. Тем более необходимо такое обогащение народам братских социалистических стран, идущих к одной цели.



Н. КАМЕНЕВА

★

ТОВАРИЩ ГЛАВКОВЕРХ

(Из воспоминаний о Сергее Сергеевиче Каменеве)

После пятнадцати дней пути из Киева в Симбирск наш поезд, до отказа переполненный разношерстной публикой, безмерно усталый, с дымящимися буксами, будто ткнулся во что-то невидимое и, тяжело засопев, замер у перрона. Это был конец пути.

Нас встречал отец. Встреча, о которой мы столько лет мечтали, произошла как-то странно молчаливо. Мы с матерью просто бросились к нему и, прикинув к груди, заплакали, не в силах произнести ни одного слова. И он молчал, только все крепче и крепче прижимал нас к себе. Наконец я услышала почти забытый голос отца.

— Ну, пошли, пошли скорее,— сказал он.

А потом нас усадили в санки, запряженные серым красавцем жеребцом, и повезли по тихим, заснеженным улицам Симбирска к дому, где в то время жил отец.

Это был огромный двухэтажный особняк, в недалеком прошлом принадлежавший фабриканту сукон Шатрову. Дом был великолепный. Огромные парадные комнаты и роскошный зимний сад были расположены в нижнем этаже. Наверху находились более скромные, но более приспособленные к человеческому жилью, большие и очень светлые комнаты.

До нашего приезда отец занимал одну комнату, но теперь тремя ступеньками выше пришлось занять для нас еще две, а на две ступеньки ниже, в одном ряду с нашими комнатами, помещался член реввоенсовета Восточного фронта Сергей Иванович Гусев. Все эти ступеньки служили предметом неиссякаемых шуток и получили название «лестничной симфонии». Сергей же Иванович утверждал, что без них не может обойтись, так как благодаря им он имеет возможность ежедневно заниматься гимнастикой. Действительно, дверь его комнаты открывалась наружу и какой-то своей частью висела высоко над ступеньками. Сергей Иванович пользовался ею как турником, легко и сильно подтягивая свое небольшое коренастое тело.

В нижнем этаже разместились работники секретариата отца, а также помощник начальника санитарной части фронта Николай Петрович Воскресенский.

Мать взяла в свои руки все хозяйство, и на семейном совете было решено, что Сергей Иванович должен примкнуть к нам.

— Там, где шесть, седьмой не помешает,— заявила ему мать, и у Сергея Ивановича не нашлось достаточно веских возражений.

Единогласно принятый в нашу семью, он действительно стал ее членом. Мы скоро к нему привыкли и чрезвычайно полюбили этого умного, спокойного и приветливого человека. Для нас не было лучшего времени, чем время обедов и поздних ужинов, когда отец и Сергей Иванович, вернувшись домой, проводили несколько часов за дружеской беседой. Особенно любили мы, когда кто-нибудь из них начинал рассказывать о каком-либо интересном эпизоде из своей жизни. Рассказывать они оба были великие мастера.

Наш приезд в Симбирск совпал с самым тяжелым периодом на Восточном фронте. Это был фронт, на котором решалась судьба революции. Назначение на должность командующего фронтом отец получил в сентябре 1918 года. Фактически все нужно было начинать с самого начала. Все те же разрозненные отряды без всякой организации и централизованного управления, и все это на фоне грозного и беспощадного наступления Колчака, нависшего над Поволжьем. Вот почему командование фронтом сводилось к двум важнейшим задачам: вести оборонительные бои с противником, значительно более сильным как в численном отношении, так и лучше вооруженным и снаряженным, и, кроме того, вести одновременно формирование и объединение всех разрозненных частей в крупные единицы.

Накаленная обстановка требовала быстрого, точного решения всех этих сложнейших задач, и, безусловно, верного! Кроме того, катастрофа, которая разыгралась 11 июля 1918 года в Симбирске на заседании губкома, когда, спасаясь от ареста, был убит предыдущий главком Восточного фронта Муравьев, попытавшийся поднять солдат на измену советской родине, не могла не отразиться на отношении к военным специалистам старой армии. И когда отец принял фронт, то к нему отнеслись с некоторой опаской и недоверием. По этому поводу газета, издаваемая Приволжским военным округом, в 1924 году поместила статью, написанную одним из участников славной Чапаевской железной дивизии, который в своих воспоминаниях о гражданской войне в этой статье, озаглавленной «Старик», описывает, как Василий Иванович Чапаев, обеспокоенный тем, что командование фронтом вновь поручено «генералу», да еще из генштабных, отправил на «разведку» одного из своих взводных, Якова Пугача, в Арзамас — лично познакомиться с новым командующим и его окружением, чтобы подробно доложить ему, Чапаеву, и всей «бракке» («бракка» эта впоследствии образовала одну из героических железных дивизий, покрывших себя неувядаемой славой). «Езжай, Яша, да жели што, подскажи там, што Чапаев, мол, с бражкой денно и ночью начеку и никаких, мол, антиресов, акромья мужицких и бурлацких, не допустит...» Вернувшийся ходок доложил Василию Ивановичу свои впечатления о знакомстве:

«Перво-наперво — усищи во-о-о. Глазищи, как у разбойника Чуркина. Собой дедина што надо. Ручищи... во! Как у Микиты Сорокина... Годками сродственник Антонычу (любимый всеми военком). Одно слово, старик правильный. Как мигнет глазницами, ажно мурашки по загривку пойдут. Не балуется, вестовых, денщиков, вообще бездельников около себя не держит. Сапоги чистит сам, как ты, Василь Ваньч. Твердый и смелый в речах. Подрушных держит во как! Над плантами торчат до петухов. Баб в штабе не приметил. Харя хоша и чиста, но ласкова. Матом может крыть почем зря... Так што, товарищи, неча греха таить, старик правильный и вдребезги свой и не кочевряжится, то исть к ему единым махом в избу проскочил... Говорит, приеду знакомиться, как только, мол, здесь вдохну... На прощание за руку взял»...

«Бракка» была успокоена, как и сам Василий Иванович Чапаев. Беззаветно преданный рабоче-крестьянскому делу, он своим чутьем, всегда особенно развитым и обостренным у простых и умных людей, сразу же по несвязно изложенному рассказу Якова Пугача поверил новому командующему фронтом. А после личного знакомства с отцом их отношения строились на взаимном уважении и товарищеском доверии друг к другу.

Колчак неумоимо напирал со всех сторон. И все же, несмотря на превосходящие силы противника, наша молодая армия хотя и отступала с боями, с тяжелыми потерями, однако удерживала натиск врага, из последних сил борясь за каждый город, каждый населенный пункт.

Все дни и ночи напролет отец проводил в штабе вместе с другими работниками за решением труднейших задач и стратегических планов для военных операций. Домой он возвращался на рассвете. По утрам же мать требовала от нас абсолютной тишины, охраняя его короткий, трех-четырёхчасовой сон.

Титаническая, напряженнейшая, почти круглосуточная работа легла на плечи командующего и членов реввоенсовета фронта. Постепенно дела на фронте стали улучшаться. Удача и успех переметнулись к нам, и колчаковская армия стала откатываться, освобождая занятые города. Красная Армия приостановила контрреволюционное на-

ступление. Но работа в штабе фронта продолжала кипеть. По-прежнему на рассвете раздавался скрип снега под ногами возвращавшегося отца и сопровождавших его работников штаба, который находился неподалеку от дома.

Путь отца можно было проследить с нашего балкона. Мать ночи напролет простаивала там, дожидаясь его прихода. Безотчетная тревога гнала ее на этот наблюдательный пункт, с которого хорошо просматривалась вся улица вместе со сквером. Мне тоже изредка разрешалось встречать отца.

Тревога матери по поводу ночных путешествий отца имела свой смысл. В те грозные годы волжские города кишели вражески настроенными элементами. Тут были и случайно застрявшие неблагодарные люди, и специально засланные белогвардейские офицеры, подготовлявшие изнутри весеннее наступление Колчака. Это были люди, идущие ва-банк и не стесняющиеся в выборе средств. Победа над белогвардейской армией и белочехами осенью 1918 года казалась для них странной и непонятной: ведь Красная Армия была еще совсем молодой и неокрепшей, а во главе этой армии стоял кадровый офицер генерального штаба, поэтому в первую очередь надо было убрать его. И они попытались убрать.

На всю жизнь в памяти осталась эта зимняя ночь. Мы с матерью стояли на балконе и стали уже замерзать. Наконец возле сквера замелькали знакомые силуэты. Отец в центре и трое сотрудников по бокам. Отец шел своим четким шагом, ровно и неторопливо. Сверху нам хорошо был виден весь сквер с пушистыми белыми деревьями и огромными сугробами вдоль ограды и у тротуара, и вдруг тишину разорвал выстрел. Мы сверху увидели фигуру человека, который, пригнувшись за сугробами, бежал прямо на отца, стреляя в него из револьвера. В сером предрассветном полумраке на фоне снега резко выделялся его черный тулупчик и шапка-ушанка. Выстрелы беспорядочно следовали один за другим. Черный тулупчик теперь трусливо метался, тщетно ища выход из снежного лабиринта. Оцепенев от ужаса, судорожно сжимая перила балкона, я не могла оторвать глаз от происходящего внизу. Матери со мной уже не было. Только теперь я заметила ее белый платок рядом с отцом. Непостижимо, как успела она преодолеть так быстро пространство от балкона до сквера. Черного тулупчика тоже нигде не было видно. Отец приближался по-прежнему четким, неторопливым шагом.

Я почему-то очень медленно вышла навстречу к отцу. Мне было страшно взглянуть на него. По-видимому, я боялась увидеть кровь. Но он шел ко мне, ласково улыбаясь.

— Что, испугалась? Я жив и невредим — пошли скорее ужинать, — совершенно спокойно сказал он.

Естественно, что за столом разговор вращался вокруг ночного происшествия, и теперь я с ужасом бесконечно повторяла:

— Ну как ты мог даже не прибавить шагу, идти прямо на выстрелы, не побежать?

Отец смеялся и говорил:

— Как бы эффектно выглядел галопирующий командующий. Жаль, упустил момент посмеить людей. — Потом уже серьезно сказал мне: — Не надо считать меня героем, каким-то необыкновенным храбрецом. Храбрых людей, не боящихся боли, а тем более смерти, на свете не существует. Есть только люди, умеющие владеть своими нервами, а значит, и рассудком, и есть люди, которые подчинены своим слабым нервам. Вот только и всего.

Отец через всю жизнь пронес это убеждение. Вспоминаю, как много позже, в 1935 году, в беседе с корреспондентом газеты «Правда» Г. Рыклиным, который просил его рассказать о каком-нибудь ярком эпизоде из фронтовой жизни в дни гражданской войны, отец спросил:

«Это вы насчет чего? Насчет геройства? Храбрости? Нет, таких эпизодов не могу припомнить. Главное в командире — это хладнокровие. Где заминка, трещина — там надо первым быть, сохраняя спокойный рассудок. Вот и все».

И действительно, непоколебимая воля, спокойный рассудок плюс подлинное вдохновение в работе, доходившее до полной отрешенности, и были основными чертами характера отца.

В начале марта 1919 года Колчак совместно с интервентами вновь двинул свои полки в наступление, неистово стремясь прорваться через Восточный фронт к Москве.

По всей стране разнесся призыв: «Все на Колчака!» Он всколыхнул молодую Россию. Народ поднялся на защиту своей революции, и непрерывным потоком полились бесчисленные вооруженные части мобилизованных и добровольные отряды. Формировались и отряды всеобщая. Это была совсем юная молодежь, наскоро обученная, как надо держать винтовку в руках. Но лица их выглядели куда старше своих «шестнадцати мальчишеских лет». Не очень стройно, но зато лихо и проникновенно пели они любимую в те годы песню:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов...

Симбирск совсем опустел, и только ночью и днем слышался дружно отбиваемый шаг уходивших на фронт отрядов.

В те напряженные решающие дни все силы, знания и организаторские способности отца были направлены на то, чтобы сломить наступление Колчака.

Снова, как и в 1918 году, Восточный фронт становился фронтом, где решается судьба революции. Передовые части колчаковской армии находились в ста километрах от Симбирска. В городе начались паника и эвакуация. Все учреждения, без которых район мог существовать, находясь на военном положении, были эвакуированы. Работа остальных была направлена исключительно на укрепление Красной Армии. Город перешел на положение «укрепленного района», как Пермь, Казань, Самара и другие волжские города.

Теперь отец зачастую не возвращался и ночью, оставаясь в штабе по целым суткам. Для него работа осложнялась еще и тем, что все чаще и чаще возникали у него разногласия с главнокомандованием и председателем Реввоенсовета республики Троцким. Нередко возникавшие между ними конфликты приходилось разбирать самому Владимиру Ильичу Ленину. Такая борьба очень угнетала отца, и часто возвращался он домой глубоко возмущенный и раздраженный. К счастью, Ленин, как правило, поддерживал отца, принимая и санкционируя разработанные и выдвинутые им планы.

Подтверждение своих воспоминаний я нашла в одном из докладов М. В. Фрунзе. В нем Михаил Васильевич отмечает тогдашнее отношение к отцу со стороны главнокомандования и лично Троцкого.

«Требовалась не только колоссальная воля,— говорил М. В. Фрунзе,— но и яркое убеждение в том, что только переход в наступление изменит положение, чтобы действительно начать такое. В тот момент пришлось считать не только с отступательным настроением частей, но и с давлением сверху, со стороны главного командования, бывшего тогда в руках тов. И. И. Вацетиса. Он стоял за продолжение отступления. К счастью, я имел поддержку в лице присутствующего здесь тов. Каменева, который был тогда командующим Восточным фронтом. Невзирая ни на что, мы перешли в наступление и начали блестящую операцию, приведшую к полному разгрому Колчака. Правда, товарищ Каменев получил тогда полуторамесячный отпуск без всякого желания с его стороны, но дело было сделано».

Вот это самое «невзирая ни на что», о котором говорил Михаил Васильевич Фрунзе, и привело к несжданному концу. В течение пяти дней проходило наше наступление успешно. Решение отца, поддержанное членами реввоенсовета фронта, было твердым — Симбирск удержать во что бы то ни стало,— и на полученный приказ со стороны главного командования о немедленном отступлении он ответил категорическим отказом. Такого нарушения дисциплины Троцкий не перенес. Он явился в Симбирск, окруженный свитой людей, одетых во все черное, с огромными парабеллумами на поясах, сам такой же кожаночерный. Буквально ворвавшись в кабинет отца, откуда тотчас же стал доноситься возбужденный разговор, перешедший в крик, Троцкий, не сдерживаясь, прямо угрожал отцу, затем, круто оборвав на высокой ноте, он так же стремительно выскочил из кабинета и почти бегом удалился со всей своей свитой.

Так началось их первое знакомство. И несмотря на то, что наступил несомненный перелом к лучшему — армия Колчака покатила назад и городу, в котором родился Ленин, перестала угрожать опасность, и, наконец, несмотря на хорошую старинную по-

говорку «победителей не судят», очень скоро пришло телеграфное распоряжение Троцкого снять отца с должности командующего Восточным фронтом.

Я не могу забыть тот день, когда отец вернулся домой много раньше обычного, удрученный и задумчивый.

— Не знаю за что, но с должности командующего меня сняли,— как-то тускло и недоуменно произнес он.

Его, энергичного, деятельного, просто нельзя было представить себе не у дел, за бортом кипучей жизни. Не говоря о самом факте глубоко несправедливого отстранения от работы, трудно отбросить и другое: отец пришел в Октябрьскую революцию через февральскую. Еще в то время солдаты 30-го Полтавского полка, которым он командовал, поняли и накрепко поверили ему, избрали его командиром полка, и очень скоро благодаря осуществлению им новых революционных мероприятий и полной солидарности с политикой большевиков стали выдвигать на все более и более ответственные должности. Октябрьскую революцию он встретил хотя и в чине полковника, но отнюдь уже не офицером царской армии. У него хватило мужества и веры в большевиков, чтобы раз и навсегда разойтись с интересами того класса, к которому принадлежал сам. Для него «провал» на должности командующего Восточным фронтом Красной Армии был равносильен смерти, а кроме того, он глубоко верил в победу и по-прежнему не допускал мысли об отступлении.

Потянулись тягостные дни. Мы замечали, что отец теперь оживлялся только с приходом Сергея Ивановича, когда за столом возникала единственно интересующая его тема — о делах фронта. Спасибо Сергею Ивановичу, который в то недоброе время поддерживал, успокаивал и всегда умел рассеять мрачные мысли отца. Сергей Иванович по-прежнему интересовался мнением отца, по-прежнему спрашивал его советов и часто записывал в блокнот своим бисерным почерком его высказывания по военным вопросам. Кроме того, отец все же не мог чувствовать себя выброшенным за борт еще и потому, что по армиям давались приказы с выражением сожаления по поводу его ухода, глубокой благодарности и признательности за его деятельность, и все это доводилось до сведения всех работников фронта. Но пока все еще ничего не менялось, по-прежнему продолжался «отпуск», по-прежнему фронтом командовал А. А. Самойло.

Как-то в один из таких унылых вечеров за очередным чаем Сергей Иванович пристально посмотрев на сумрачное лицо отца, сказал:

— А знаете, Сергей Сергеевич, не махнуть ли вам в Москву. Зайдете к Склянскому¹, поговорите с ним, все ему расскажете, а там видно будет, может быть, и к самому Владимиру Ильичу попадете.

Мысль о поездке в Москву мелькала и у отца, но сам он как-то не решался осуществить ее. Предложенная Сергеем Ивановичем, она сразу стала единственно верной и совершенно необходимой. Сергей Иванович так же сказал, что на днях в Москву отправляется начальник военных сообщений товарищ Жигмунт, который, наверное, не откажется предоставить нам место в своем вагоне. Отец решил забрать и меня с матерью, а свою мать с мальчиками оставить в Симбирске до выяснения своей судьбы.

На другой день с Жигмунтом все было улажено, и 15 мая 1919 года мы отправились в полное неизвестности путешествие.

Поезд тащился медленно, с бесконечными остановками. Казалось, что Москва не приближается, а все время удаляется. Наше мизерное продовольствие катастрофически уменьшалось, и наконец настал день, когда мы неотступно почувствовали голод, а мать, вооружившись перочинным ножом, глубокомысленно стала делить остатки хлеба на три равные части. А как невыносимы были для меня запахи, которые распространялись из купе Жигмунта—восхитительные запахи яичницы с салом и кофе. Спасал положение неиссякаемый юмор отца. С очаровательной серьезностью он в лицах представлял мне, как едет наниматься на работу «усунутый с посадки командующий»². Он уверял меня, что если бы не наш голодный паек, то все, что случилось с ним, было бы неправ-

¹ Э. М. Склянск и й (1892—1925) — заместитель председателя Революционного совета республики в 1918—1924 годах.

² Отстраненный от должности (укр.).

доподобно и что я должна быть счастлива, участвуя в «исторических событиях» и голодая вместе с ним. Я успокоилась и заснула. Москва все-таки приближалась. Приближалась и робкая надежда, что все выяснится и, может быть, кончится благополучно.

Наконец-то Москва. Она такая же малолюдная, как и Симбирск, только огромная по сравнению с уютным Симбирском.

Отец сразу же с вокзала отправился в Реввоенсовет республики к Э. М. Склянскому, а мы с матерью остались в вагоне ждать его возвращения. Это тревожное ожидание вылилось в горькое разочарование: отец вернулся очень скоро, так ничего и не выяснив.

Посоветовавшись с матерью, решили ехать обратно, но неожиданное появление коменданта вокзала перевернуло все планы. Отца вызвали к товарищу Склянскому. На этот раз отца не было очень долго. Только поздно вечером он вернулся к нам. Возвращение его было несколько необычным. Прежде всего в купе вдвинулась увесистая берестяная корзинка, в какие раньше упаковывали продукты первоклассные магазины. Затем появился и сам отец. Лицо его было радостно.

— Прежде всего ужинать! — скомандовал он и, бросив корзину на диван, шумно уселся с ней рядом. — Скорее ужинать, а потом я буду рассказывать все по порядку. Скажу только, что я был у Ленина!

Несмотря на голодные спазмы в желудке, мы с матерью после такого сообщения потребовали немедленного и подробного рассказа о свидании с Лениным. Отцу пришлось уступить нашему бурному натиску, и он начал с того, что Ленин совсем не такой, каким он себе представлял его по рассказам многих товарищей, ранее видевших Ленина и делившихся с ним своими впечатлениями об этом изумительном человеке. Теперь, когда пришлось говорить с ним лично, он смог убедиться, что ни один из них не передал правильного образа Владимира Ильича, и происходит это оттого, что Ленин для каждого отдельного случая, для каждого человека всегда всегда новый, всегда неповторимый. Вероятно, отец был глубоко прав в своем суждении о нем.

Потом мы робко спросили: а после серьезной беседы о делах фронта сказал ли он о своем положении, об отношении к нему Троцкого и что будет дальше с нами? Отец задумался, помолчал и как-то сконфуженно признался, что о себе он ни слова не сказал. Мы с матерью растерянно переглянулись.

— Во время моего доклада Владимиру Ильичу о делах фронта, — продолжал он, — о том, что делается для закрепления и дальнейшего развития удара, о перспективах дальнейших операций мне хотелось сказать, что все это только мои личные соображения, что я не у дел, а только наблюдатель того, что происходит на фронте, но я так и не сказал этого. Сам же Владимир Ильич, да и товарищ Склянский вопроса о моем отстранении от должности ни разу не поднимали. Поэтому я и не посчитал удобным говорить о себе. Но свою беседу с Владимиром Ильичем я запомню на всю жизнь.

Действительно, отец всю жизнь считал, что знакомство со взглядами Владимира Ильича в военных вопросах было для него большой школой, которая помогла ему в организации и руководстве новой Красной Армии.

«Оказывается, можно просто, что называется, формально воевать — то, что имело место в империалистической войне, и можно действительно драться за победу — это то, чему научило руководство Владимира Ильича... Владимир Ильич дал непревзойденный в военной истории пример создания армии как инструмента политики...» — писал отец в своих воспоминаниях о встрече с Владимиром Ильичем Лениным, которые он готовил в 1934 году для журнала «Новый мир».

Приподнятое настроение не покидало нас всех. Наконец вспомнили об ужине и о брошенной на диван корзинке. Увы, ее внешний вид, как скоро обнаружилось, далеко не соответствовал внутреннему содержанию, и все же я торжественно выкладывала на стол ее содержимое. Прежде всего хлеб, вернее, то, что напоминало буханку черного хлеба по своей форме. С трудом разрезав его, я не удержалась и впились зубами в лодку серовато-бурого цвета. На зубах заскрипела земля, в десна впились овсяные остья. И все равно было вкусно. Но нас еще ждало чудо — колбаса (хоть почему-то черная), пачка морковного чая и большие куски настоящего сахара. В самый разгар пира, в третий раз, появился комендант с сообщением, что отца снова вызывают в Реввоенсовет. Но на этот раз за ним была послана машина, и отец в третий раз уехал к Склянскому.

Мы остались дожевывать хлеб и колбасу. После еды нас стало клонить ко сну. Но мне очень хотелось дождаться отца, так как предчувствовалась близкая развязка наших злоключений. Хороший или плохой, но конец. Отец вернулся поздно ночью. Товарищ Склянский передал ему приказ опять возвращаться в Симбирск и вновь взять на себя командование Восточным фронтом. Как выяснилось впоследствии, отец, будучи у Ленина, не знал, что ввиду срыва так успешно начатой операции, за которую он поплатился должностью, члены РВС фронта поставили вопрос перед ЦК партии о возвращении его на прежнюю должность командующего. После личной беседы с отцом Владимир Ильич дал положительный ответ в такой телеграмме: «По вашему настоянию назначен опять Каменев. Если мы до зимы не завоем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной»...

Что же делать дальше? Вагон Жигмунта оставался в Москве. Ехать обычным путем не так просто и не так скоро.

— На этот счет не волнуйтесь, я получил через Склянского распоряжение Владимира Ильича с этим же вагоном сейчас же ехать в Серпухов в ставку главнокомандующего и с ним договориться.— С этими словами отец направился к Жигмунту и попросил его освободить вагон, так как ему по распоряжению Ленина необходимо срочно быть в Серпухове.

Утром следующего дня состоялась эта не очень веселая встреча с главнокомандующим, с которым нужно было «договориться». В ставке отец впервые узнал, что причиной снятия его с должности командующего фронтом была его «недисциплинированность». Оказывается, нашлось только одно это слово для характеристики достигнутой победы, остановившей наступление контрреволюции, когда инициатива перешла в руки Красной Армии и была устранена угроза, нависшая над Поволжьем. Ночью мы вернулись в Москву. Отец, крайне возмущенный обвинением его в недисциплинированности, решил не давать больше повода для подобного обвинения. Но, увы, буквально через месяц разыгрался новый конфликт, который отец в своих записках о встречах с Лениным описал следующим образом: «...Мысленно я решил на будущее быть абсолютно дисциплинированным и уж никак не давать повода главнокомандованию обвинять меня в этом недостатке.

Несмотря на это, в июне в полном смысле слова не исполнил приказа главнокомандующего. Наступление на Восточном фронте развивалось вполне успешно. Белогвардейские армии Колчака откатывались за Уфу, а в это время главнокомандующий отдал приказ остановиться на реке Белой. Я отказался остановить наступление. Решение вопроса перешло к Владимиру Ильичу»...

Итак, мы возвращались в Симбирск. В вагоне отец набрасывал заметки обо всем происшедшем в этот короткий трехдневный срок, показавшийся нам вечностью. Впоследствии эти наброски вошли в его большую статью «Воспоминания о Ленине».

Симбирск встретил нас хорошей солнечной погодой. Ну, а дальше опять начали чередоваться дни и ночи, через край наполненные борьбой не на жизнь, а на смерть. Наступление Красной Армии продолжалось по всем направлениям по-прежнему успешно. Колчак отступал. Восточный фронт в точности выполнил задание Ильича и освободил Урал еще до наступления зимы.

Очень скоро по возвращении отца в Симбирск как-то вечером вся наша семья была в сборе. Сергей Иванович сказал:

— Ну вот, опять мы расстаемся — меня вызывают в Москву...

Для всех нас это было печальной новостью. Особенно удручен был отец. Сергея Ивановича он считал своим первым учителем в вопросах политики. Воспоминая, что много позже, когда Сергея Ивановича уже не было в живых¹, в беседе с корреспондентом «Правды» отец говорил: «Очень помог мне политически стать крепче на ноги покойный Сергей Иванович Гусев, член реввоенсовета Восточного фронта. И то, что вчера еще было для меня туманным, сегодня становилось ясным». Сергей же Иванович

¹ С. И. Гусев скончался в 1933 году.

глубоко уважал отца и верил в него как в военного специалиста. Так сработались и крепко сдружились они в трудное время борьбы на Восточном фронте. Поэтому ничего не было удивительного в том, что отъезд Сергея Ивановича очень огорчил отца.

На другой день мы провожали Сергея Ивановича. Тогда я не думала, что вижу его в последний раз. Он стоял на площадке вагона и поглядывал на наши расстроенные лица. Потом улыбнулся своей хорошей улыбкой и с лукавым огоньком в глазах сказал:

— Вам я тоже посоветовал бы укладывать чемоданы.

Мы все набросились с вопросами и требованием разъяснения столь загадочных слов, но Сергей Иванович в ответ только засмеялся и, крикнув: «До скорого свидания!» — помахал рукой и уехал.

Вскоре после отъезда Сергея Ивановича нам действительно пришлось укладывать чемоданы.

Восьмого июля 1919 года по инициативе Владимира Ильича правительство назначило отца главнокомандующим всеми вооруженными силами республики, а на другой день после назначения его на эту должность Ленин писал Надежде Константиновне Крупской: «От замены главнокомандующего Вацетиса Каменевым (с востфронта) я жду улучшения...»

Симбирск уже ощущался как пройденный этап. Впереди Москва — неизвестная, полная неожиданностей. Гражданской войне все еще не было видно конца. Отца ждала новая работа, еще более широкая, более многогранная, по своим огромным масштабам требующая мобилизации всех его творческих сил, знаний и способностей. А за победы на Восточном фронте 22 апреля 1922 года ВЦИК наградил его золотым оружием (шашкой) и орденом Красного Знамени.

С первого же дня по прибытии в Москву отец включился в новую работу, а мы продолжали ютиться в вагоне, загнанном в тупик на Казанском вокзале. Так продолжалось больше месяца. Наконец нас водворили в дом на Смоленском бульваре, где мы разделили помещение с работниками секретариата отца и их семьями. Только теперь по-настоящему почувствовалось, что мы живем в Москве. Увы, и здесь я по-прежнему очень мало видела отца. С работы он возвращался по-прежнему на рассвете, усталый и всегда озабоченный. Положение на фронтах тогда было угрожающим. Под Курском белогвардейские банды упорно нажимали. Донесения с фронтов поступали ежедневно, что вынуждало отца почти круглосуточно находиться на работе. Для сна оставались какие-то обрывки времени. Отец докладывал Владимиру Ильичу о предстоящих боевых операциях.

Сентябрь 1919 года был еще напряженной. Борьба с наступлением Деникина и почти одновременно наступление Юденича на Петроград. Непосредственная роль отца как главнокомандующего в операциях против Деникина сейчас хорошо известна. На пленуме Центрального Комитета партии в июле 1919 года лично отцу поручили разработать план разгрома Деникина, и представленный им план был одобрен ЦК. Как всегда, единственным противником его оказался Троцкий, который незамедлительно повел против отца провокационную политику, и только телеграмма ЦК о том, что Политбюро вполне признает оперативный авторитет главнокомандующего, которую направила ему Е. Д. Ставова, поставила его на место.

Склянский обо всех решениях, принятых главнокомандованием, сообщал в Кремль Ленину и тут же получал ответ Владимира Ильича. Отец считал, что более сложной обстановки, чем в тот период, за все время гражданской войны не было, если еще принять во внимание полный упадок народного хозяйства, материальные трудности и железнодорожную разруху. Да, едва ли можно вспомнить в военной истории еще такую воюющую страну, как наша молодая Советская Россия, которая была способна выдержать трехлетнюю войну с четырнадцатью государствами, чьи армии, прекрасно оснащенные и вооруженные, поддерживались сильнейшими империалистическими державами. Поэтому вполне понятно, что были неизбежные провалы, и срывы, и неудачи. Но воля к победе, страстное желание во что бы то ни стало удержать завоеванное Октябрем, умелая перегруппировка сил и подчас смена командования в конечном счете приводили к победе. Но самое главное — непоколебимое спокойствие Ленина.

Сверхчеловеческие силы! День и ночь, день и ночь — всегда на посту... В одну из таких ночей Ленин сам пришел в кабинет к отцу. Это было уже после ликвидации Юденича, когда наша армия успешно вела наступление и громила белогвардейщину. Отец очень любил рассказывать нам о мельчайших подробностях этого посещения Владимира Ильича.

— Ну, вы довольны, что Владимир Ильич зашел к вам? — спросил его Склянский после ухода Ленина.

Отец возмутился этим выражением «доволен».

«Понятие «доволен» меньше всего подходило к определению того, что я чувствовал после ухода Владимира Ильича. Ведь Владимир Ильич, поскольку мне известно, был первый и последний раз в здании РВС и побывал в моем рабочем кабинете! Мои переживания в этот момент, думаю, понятны для всех, кто представляет себя в моем положении», — писал он впоследствии.

В феврале—марте 1920 года окончательное поражение потерпел Деникин, а осенью было покончено с белополяками и с Врангелем. Так проводил отец ленинскую стратегию ликвидации фронтов в очередности, соответственной их значению.

Казалось, отгремели бои. Страна, как и армия, переходила на мирное строительство. «За исполнение своего долга перед Социалистическим Отечеством в бою против его врагов на фронтах» ВЦИК наградил отца высшей воинской наградой — орденом Красного Знамени, а 26 января 1921 года ВЦИК наградил его за руководство действиями Красной Армии, завершившимися победами над врагами республики на всех фронтах, «Почетным огнестрельным оружием с орденом Красного Знамени»¹.

Вспоминаю, как ярилась белогвардейская печать в ответ на сообщение о награждении отца за победное завершение боев и руководство Красной Армией. Сколько нелепых, ничем не обоснованных обвинений сыпалось на голову отца, которая, кстати сказать, оценивалась очень высоко белогвардейской кликой.

Разгромом Врангеля, собственно, и закончилась гражданская война.

И все же это не был конец испытаниям. То тут, то там вспыхивали очаги восстаний местного значения. Банда Булак-Балаховича в наших западных приграничных районах. Восстание в Карелии, басмаческое восстание в Туркестане, которое возглавлял Энвер-Паша — влиятельный турецкий авантюрист, сумевший сколотить вокруг себя банду и пытавшийся свергнуть советскую власть в Туркестане.

Отец выезжал в Карелию для личного руководства боевыми действиями, а затем в Среднюю Азию. Мы с матерью поехали с ним. Поездка оказалась очень тяжелой и изнурительной. В Поволжье голод. Каких только картин мы не насмотрелись, проезжая волжские города! В Оренбурге пришлось остановиться на несколько дней и принять участие в организации питательных пунктов для голодающих. Меня заперли в вагоне, чтобы изолировать от ужасных картин на вокзальном перроне. Целыми днями я простаивала у окна, не в силах оторваться от всего этого кошмара. Мать, принимавшая живейшее участие в организации помощи голодающим, уезжала с самого утра, и до поздней ночи я ее не видела.

Наконец после долгого и мучительного пути по знойным степям и пустыням мы прибыли в Ташкент. Душный, жаркий, днем совершенно мертвый город. Деловая жизнь начиналась только с четырех часов дня. Иначе невозможно. Отца встретил председатель Совнаркома Узбекской ССР Файзулла Ходжаев. Регламент работы выработался совсем необычный. Отец уезжал на работу в четыре часа дня, а возвращался на рассвете.

Басмаческие банды не успокаивались. Население в большинстве своем было на стороне Советов, но какая-то небольшая часть его, с виду мирная, тихая, помогала бандам совершать вылазки, предупреждала их в случае опасности и укрывала их в своих наглухо закрытых домах, куда постороннему проникнуть очень трудно.

¹ В годы гражданской войны единственными существующими наградами были орден Красного Знамени и Золотое Оружие (шашка) с орденом Красного Знамени. Но поскольку отец имел уже эти награды, то ВЦИК учредил для него и Буденного, который также имел их, «Почетное огнестрельное оружие с орденом Красного Знамени».

Файзулла Ходжаев с восточным гостеприимством старался нам скрасить пребывание в Ташкенте, знакомил нас с бытом и нравами своего края.

Дела задержали отца в Ташкенте почти на месяц. Затем мы побывали в Бухаре, Самарканде и, наконец, в крепости Кушка.

В конце июня мы отправились в обратный путь. В то время в Туркестане свирепствовала тропическая малярия. Люди ею болели жестоко, и мать, которая во всех поездках отца работала в поезде медицинской сестрой, к своему ужасу, обнаружила нескольких красноармейцев, заболевших этой страшной болезнью. Поезд мчался обратно, а каждый день сваливалось все больше и больше народу. Но вот заболел и отец, заболел тяжело. Сердце, ослабевшее от жары и напряженной работы, плохо справлялось с сорокаградусной температурой. Ему становилось все хуже и хуже. В Москву его привезли без сознания. Целый месяц жизнь его была на волоске. И только в августе приступы лихорадки стали отступать, и началось очень медленное выздоровление. 8 августа мы повезли его в Крым на поправку. Это был его первый отпуск за пять лет службы в Красной Армии.

Он был еще очень слаб, поэтому пришлось ехать в сопровождении врача. Срок отпуска не ограничивался. В заключении медицинской комиссии значилось — «до полного выздоровления». Решили ехать в Крым всей семьей. После долгих споров и разных предложений выбор пал на местечко Суук-Су.

Крым наших дней просто никак нельзя сравнивать с Крымом двадцатых годов, только что освобожденным от врангелевцев. Тогда не было всемирно известного пионерского лагеря Артека, ближайшего соседа Суук-Су. Вокруг стояли мертвые, заколоченные дачи.

И все же здоровье отца постепенно стало восстанавливаться, вместе с ним возвращались к отцу присущие ему юмор и жизнелюбие. Все труднее и труднее стало врачу удерживать его рабочий пыл.

— Поймите,— говорил отец,— я устал отдыхать, пора и за работу.

К счастью, к нам неожиданно приехал Михаил Васильевич Фрунзе. Он приехал с женой навестить отца. Я помню, как оживился отец. Он очень любил Михаила Васильевича, да и как можно было не любить этого жизнелюбивого человека, полного какой-то необыкновенной обаяния в лице и в манере держать себя, который обладал какой-то особой способностью привлекать к себе людей и умением увлечь их за собой, в то же время оставаясь необычайно простым и скромным...

После отъезда Михаила Васильевича отец и вовсе затосковал по работе и на другой день категорически отдал распоряжение о переезде в Москву. Малярия была окончательно забыта. Отец чувствовал себя прекрасно.

Целебный воздух Крыма сделал свое дело. Отец вернулся полный энергии, полный замыслов и планов. И сразу же включился в работу. Начались опять поездки. Для меня же началось трудное время новых расставаний. Я завидовала матери. Отец с ней никогда не расставался. Еще в 1919 году он поставил вопрос перед Реввоенсоветом о ее пребывании в поезде в качестве медицинского работника и получил официальное разрешение на это. А у меня — школа, потом университет, я не могла больше быть с отцом во время его командировок, и даже отпуска наши не всегда совпадали. А он по-прежнему не замыкался в рамках служебного кабинета или штабного вагона и всегда стремился быть «на переднем крае» в любом деле. Поезд главнокомандующего можно было видеть на самых отдаленных станциях страны. Нет возможности перечислить все пункты, города и области, в которых бывал отец, проводя маневры, соревнования, общественные мероприятия, обучение молодежи военному делу и спорту. Мои письма беспомощно неслись вдогонку, но, как правило, всегда опаздывали — поезда на станции уже не было. И в горьком нетерпении я ждала весточки, наскоро ночью написанных нескольких слов, всегда ласковых и грустных.

В мае месяце 1923 года отец вновь выехал в Туркестан. В тот год восстание басмачества было ликвидировано окончательно. Центральным исполнительным комитетом Бухарской Народной Республики за организацию борьбы с Энвер-Пашой отец был награжден бухарским орденом Красной Звезды 1-й степени.

Наступил 1924 год. Однажды, когда отец вернулся с работы, лицо его было какое-то опрокинутое, мертвенно-бледное, и, как обычно в момент огромного душевного напряжения, его серые глаза казались совсем черными. Умер Ленин.

— Ночью я с товарищами поеду в Горки за Владимиром Ильичем,— сказал он.

Потом зал Дома Союзов, и каждую ночь отец будил нас всегда одними и теми же словами:

— Вставайте, поедем к Владимиру Ильичу.

Это звучало так, как будто Ленин был жив и мы к нему ехали навестить его. Так мне казалось. Но вот только чувство обездоленности, которое испытывал каждый, кто видел Ленина в гробу, никак не проходило, и вновь на следующую ночь мы ехали в Колонный зал.

В 1924 году должность главнокомандующего была упразднена, и теперь все свои силы отец отдавал обучению Красной Армии. В этот период в должности главного инспектора Красной Армии он по-прежнему много разъезжает, изучает и непосредственно знакомится с жизнью красноармейцев, их бытом, учебой, знакомится с моральным обликом советского солдата.

«Он вырос, вырос неузнаваемо умственно и морально; он так разнится, что удивляешься мощности тех сил, которые ворочают революцией»,— писал отец в одной из своих статей. Он радовался каждый раз, когда видел свежую струю новой, полнокровной жизни, забившей в казарменном быте, в учебе и в сознании советского воина. В этом нет ничего удивительного. Ведь отец участвовал в создании новой, революционной армии, которая формировалась из отдельных, совершенно разрозненных красногвардейских отрядов еще в 1918 году. Под его руководством образовались регулярные красноармейские части, со временем превратившиеся в могучую, несокрушимую Красную Армию. Он очень высоко ставил красноармейца и всегда говорил:

— Я, главнокомандующий, учился у своих красноармейцев. Они сделали и меня настоящим красноармейцем. Питерские рабочие, владимирские крестьяне учили меня познавать день, который встал над моей родиной.

Помню, как однажды он вернулся с работы возмущенный и донельзя огорченный. Оказывается, работники секретариата отказали каким-то двум приезжим красноармейцам в их просьбе пройти к нему для личной беседы. Я давно не видела отца в таком гневе и раздражении.

— Если я недоступен для солдата — значит, я не на месте,— взволнованно говорил он.

Больше подобных случаев не повторялось. В секретариате поняли это раз и навсегда. Бесспорно, прав был генерал-лейтенант А. И. Тодорский, который писал: «Ни один главнокомандующий во всей военной истории не ставил так высоко рядового солдата, как наш главок Каменев».

Меня всегда поражал его неиссякаемый энтузиазм, его кровная заинтересованность в любом деле, которое ему поручали. В бытность заместителем народного комиссара обороны ему пришлось вплотную заниматься строительством. Дело для него совершенно новое, и отец садится за книги по строительству. До конца своих дней он неустанно учился, следуя призыву Ленина «...во-первых — учиться, во-вторых — учиться и в-третьих — учиться...».

Изучая сочинения В. И. Ленина, он в книгах делал множество пометок, свидетельствующих о серьезности его раздумий о прочитанном.

Когда в 1930 году на XVI съезде ВКП(б) его приняли в ряды партии, он был уже человеком глубоко подготовленным теоретически, воспринявшим призыв партии к специалистам встать плечом к плечу с передовыми борцами за новую жизнь, чтобы вместе с ними идти сквозь опасности и непомерные трудности, неизбежные в борьбе за дело рабочего класса.

Разнообразна и многогранна была общественно-политическая работа Сергея Сергеевича уже после гражданской войны. Он — один из создателей Осоавиахима, он — энтузиаст стрелкового спорта, при нем впервые наравне с мужчинами стали стрелками и женщины. Он развернул огромную работу по противовоздушной и противохимической

обороне страны. Не будет преувеличением сказать, что много души своей отец вложил в освоение Арктики. Бесслесный председатель Правительственной арктической комиссии, он самым активным образом участвовал в организации спасения Нобиле, в поисках Амундсена, в спасении челюскинцев, в папанинско́й эпопее.

Однажды у нас в доме появился радист экспедиции Эрнест Теодорович Кренкель. Затаив дыхание слушали мы его рассказ о тревожных днях, пережитых на дрейфующей льдине. Несколько позже приехал и Отто Юльевич Шмидт, как всегда живой, энергичный, всегда готовый найти что-то забавное в любой ситуации, с неиссякаемым запасом интереснейших историй из своих многочисленных путешествий, разнообразных встреч и приключений. Я ждала увидеть людей, насмерть перепуганных пережитой опасностью, а увидела энтузиастов, безмерно влюбленных в Арктику. Это меня больше всего поразило. Отец очень смеялся над моим недоумением.

1933 год для отца был годом серьезных испытаний. Наравне со всеми членами партии он проходил чистку. Председателем комиссии была Елена Дмитриевна Стасова. Собрание было необыкновенно многолюдным. Единственным вопросом со стороны комиссии был вопрос, заданный председателем товарищем Стасовой: «Как вы бережете свое здоровье? Мы, большевики, — казенное добро и обязаны заботиться об этом добре, как о всякой общественно-социалистической собственности». И это замечание товарища Стасовой было единственным упреком большевику, замнаркому во время чистки. На вопрос, есть ли желающие выступить против, зал единодушно ответил громкими, долго не смолкающими аплодисментами.

К сожалению, отец никогда не берег своего здоровья. Он просто не умел этого делать.

Последняя должность отца — начальник Управления ПВО. На эту должность он был назначен, когда в империалистических державах развитие военно-воздушных сил достигло огромных размеров, и в нашей стране ПВО стало приобретать совершенно исключительное значение. Работы было непочатый край.

Четырнадцатого августа 1936 года в Ленинграде были объявлены большие и очень ответственные учения по ПВО. Отец выехал туда, хотя чувствовал себя плохо. Я не могла побороть в себе чувства тревоги и очень просила его отложить поездку. Но это было невозможно. Его присутствие и руководство при проверке готовности отразить нападение вражеских воздушных сил такого важного хозяйственно-политического центра, как Ленинград, конечно же, было совершенно необходимым. Вечером он уехал. Я осталась, обуреваемая самыми мрачными мыслями. А когда на следующий день совсем уж неожиданно среди ночи у калитки остановилась машина, сомнений больше не было — не к добру: родители без предупреждения вернулись из Ленинграда. Вскочив, в одном платье неслась я под дождем навстречу ярким фарам и сразу попала в объятия отца.

— Ничего, ничего, успокойся, все обойдется. Я немного прихворнул. — А лицо, такое бледное, такое осунувшееся, говорило, что он болен тяжело.

Мы с матерью сразу уложили его. Мать сказала:

— Неужели это самое худшее?

Я не поняла, не осознала. Утром отец попросил меня:

— Поставь мне пластинку «Закувала та сыва зозуля». Может, мысли отвлекутся от Ленинграда. И попроси маму позвонить коменданту, чтобы прицепили вагон к вечернему поезду. Сейчас мне нехорошо, — добавил он, — но вечером я все же поеду обратно, надо еще многое сделать ленинградцам...

И все... В дом наш вошла смерть.

Старшее поколение советских людей хранит добрую память о своем главковерхе. Прах его покоится в Кремлевской стене, близ Мавзолея Владимира Ильича Ленина.



ЕФИМ ДОРОШ

★

ОБРАЗЫ РОССИИ

В 1958 или 1959 году, не помню уж точно, ранним сентябрьским вечером шел я ростовским кремлем. Было еще светло, чистое, озаренное садящимся солнцем небо розовело над городом, а в кремле между кирпичными стенами палат и храмов, отдававшими сыростью, стояли предвечерние сумерки.

Обычно в этот час, когда музей уже закрыт, здесь никого не бывает, и я удивился перекликающимся громким голосам людей, словно бы чем-то возбужденных, а потом и самим людям, по всему виду, нездешним, одетым, как одеваются в Москве. Задрал головы, временами останавливаясь, торопя друг друга и, должно быть, не в силах оторваться от зрелища уходящих в поднебесье белых церквей с золотящимися на главах крестами, они перебежали с места на место.

Двое или трое окликнули меня, спросили: что это?

Подшли и остальные, их было человек пятнадцать, стали спрашивать: что это такое, когда построено?.. Когда я ответил, что это ростовский кремль, все чрезвычайно удивились: почему ростовский?

Я стал рассказывать о строителе кремля Ионе Сысоевиче, о высоком его покровителе патриархе Никоне и вдруг сообразил, что мои слушатели, как оказалось, московские артисты, едущие выступать куда-то под Ярославль, не только ничего не слышали о знаменитом митрополите ростовском, но и смутно представляют себе, когда, собственно, в какое время жил Никон, а уж существование еще како-го-то Ростова, кроме того, который на Дону, для них и вовсе откровение.

Я сказал, что городу, в котором они сейчас находятся, через три года минет тысяча сто лет, и это вызвало удивление — выходит, он старше Москвы! Впрочем, сколько я понял, они не представляли себе, так ли уж это много, и лишь когда я объяснил, что Ростов упоминается в летописи под тем же годом, что и призвание варягов, дыхание времени как бы коснулось каждого, и все почтительно притихли. Хотя бы понаслышке, но они имели представление о легендарном Рюрике.

Они побежали к ожидавшему их автобусу, и я вдруг вообразил, какое удивительное чувство пережили эти люди, когда тихим и ясным вечером в конце сентября — после Загорска, о котором знали, что там учат на попов и туда ездят иностранцы; после Переяславля-Залесского, древняя архитектура которого распродоточена между провинциальными домами, а известен он москвичам по преимуществу озером, куда многие ездят рыбачить; после еловых лесов, среди которых с холма на холм стремится автомобильная дорога, и прелестного, однако едва ли удивившего кого-либо заштатного Петровска, — увидели вставший над озером в лиловоющем предвечернем небе белый многобашенный и многоглавый, блистающий чешуйчатым серебром и сияющий золотом Ростов.

Что-то словно обвалилось, и в зияющем провале, отчетливо различимая издалека, сквозь многие столетия, явилась не то чтобы забытая — просто неизвестная и поэтому не вспоминаемая Древняя Русь.

Помнится, годом или двумя раньше интеллигентная женщина, литератор, рассказывала мне с некоторой неуверенностью, будто где-то за Вологдой, слышала она от побывавшего там знакомого, в дикой глуши существует монастырь с фресками какого-то Дионисия. Она словно бы опасалась, что я сочту это досужим вымыслом, и мне тогда же подумалось, что точно так, должно быть, возвращавшиеся из заморских стран купцы рассказывали когда-то об удивительных тамошних сокровищах.

С того времени прошло лет десять.

Русская старина стала модой, и как в каждой моде, здесь много наивного, смешного и даже пошлого. Чуть ли не всякий день в какой-нибудь газете или в журнале можно встретить заметку, очерк или статью на темы русских древностей либо народного искусства, что само по себе не может не радовать, однако неумеренное употребление эпитета «сказочный», как и слов «сказка», «сказ», — один литератор назвал рубленую древнюю церковь «деревянный сказ», — сообщает многим из этих писаний оттенок слащавости.

Вообще замечается весьма частое и не к месту, а то и вовсе без понимания их смысла употребление народных и церковнославянских речений и слов, которые, скажу попутно, художница Т. Маврина, коллекционирующая подобные случаи, иронически именует «ставропигиальными» — красиво, торжественно, а что оно в точности означает, бог его ведаёт.

Однако псевдонародность и бутафорская сущность языка такого рода литературы, как и то, например, что в иных кинофильмах без какой-либо в том нужды снимаются храмы, иконы, кресты — церковные, кладбищенские и обязательно нателные, ради чего соответствующие персонажи постоянно ходят с расстегнутыми воротами, — всё это, что называется, стиль русс, компрометирующий столь необходимую пропаганду отечественной старины, требует специального и обстоятельного разбора.

Здесь же я приведу вызванный простодушным неведением анекдотический случай, когда архитекторы спроектировали для трактира чуть ли не в Суздале некую приблизительно-европейскую водяную мельницу со стенами из дикого камня и черепичной кровлей, причем ни авторам проекта, ни сотрудникам опубликовавшей его газеты и в голову не пришло, что на Руси водяные мельницы слыли обиталищем водяных, следовательно, у добрых людей не могло быть в обычае распивать в таком нечистом месте зелено вино или популярный сейчас сбитень.

Быть может, самым неоспоримым свидетельством существования названной моды служит то обстоятельство, что московские барыньки — категория скорее психологическая, вневременная, нежели социальная — стали украшать свои квартиры иконами, городецкими донцами и северодвинскими прялками, о поездке в Ростов-Ярославский или в Суздаль отзываются со снисходительным пренебрежением, точно так же, как лет пятнадцать тому назад, отдыхая на Рижском взморье, отзывались о Черноморском побережье, и ездят только лишь в Кижы либо на Соловки.

Но мода, подобно пене на воде, выдающей производящуюся в ее глубине работу, обозначает некие глубинные общественные процессы.

Однажды в Кириллове возле столовой, по вечерам именуемой «кафе», где летом почти всегда встретишь знакомого москвича или ленинградца, я наблюдал бородатого юношу и девушку в очках, одинаково зеленых в своих туристских костюмах, одинаково сгорбившихся под огромными рюкзаками, спрашивавших у милиционера дорогу на Белозерск.

Милиционер принялся объяснять, как пройти к автобусной станции, но юноша возразил, что им не автобус нужен, а дорога, потому что они идут пешком, тогда милиционер сказал, что до Белозерска сорок километров, на что девушка ответила, что они двести прошли, добавив не без озорства, что, если ему их жалко, пускай даст на билеты.

Затем, взглянув на вывеску столовой и сверясь с часами, молодые люди стали шептаться, должно быть, рассудили, что кафе им не по карману, и пошли в сторону Белозерска, покачиваясь под рюкзаками.

«И раздая мужем своим грады,— вспомнилось мне,— овому Полотеск, овому Ростов, другому Белоозеро» — и я подумал о том, насколько стала древнее в наши дни история России, как отодвинулось в глубину веков ее начало, если не в одних только летописях, но в живой памяти людей, путешествующих по дорогам страны, запечатлены во многих своих подробностях дела и предания давно минувших столетий.

Именно в подробностях, потому что из такого рода путешествий память выносит картины природы, среди которой обитали предки, внешний и внутренний вид зданий во всей материальности камня или дерева, из которых они возведены, сюжеты и цветовые сочетания настенной живописи, позволяющей судить не только об имевших распространение темах, но и о любимых узорах тканей, о применявшихся в тогдашнем обиходе орудиях труда, наконец, особенности говора, характерные слова и речения, восходящие чуть ли не к тем временам, когда «Словене... пришедше с Дуная седоша около езера Илмеря... а друзии седоша по Десне и по Семе и по Суле... И тако разыдеся Словеньский язык».

* * *

Если за шумной и суетной модой, отнесясь к ней без предвзятости, можно разглядеть все распространяющийся серьезный интерес к отечественной истории, то и за этим почти стихийным влечением по преимуществу молодых умов и сердец, взглядевшись, нетрудно различить делаемую десятилетиями, блестящую по своим результатам работу ученых.

Я помню, как в 1958 году на только что открывшейся выставке русского народного лубка Николай Николаевич Померанцев, один из крупнейших знатоков древнерусского искусства, особенно деревянной скульптуры, сказал, вздыхая, что лубок, разумеется, это прекрасно, но вот дожить бы до выставки Рублева.

В течение десяти лет, прошедших с того дня, открыта была не одна только выставка икон Андрея Рублева и мастеров его круга, но еще и так называемых Северных писем, и Ростово-Суздальской школы, несколько реставрационных выставок, на которых были представлены произведения древнерусской живописи из многих музеев страны, выставка старинной деревянной скульптуры, выставка новых поступлений отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи и Рублевского музея...

А однажды в морозное мартовское утро 1963 года на звоннице Ростовского собора, дирижируемые Померанцевым, ударили в колокола звонари, и далеко вокруг поплыла титаническая древняя музыка, пронизывающая своими поющими волнами недоступные глазу дали, как пишет о колокольном звоне Николай Николаевич Воронин.

Однако больше всего сделано в области книгоиздания.

Я затрудняюсь хотя бы перечислить здесь вышедшие за последние десятилетия книги по архитектуре, живописи, скульптуре, прикладному искусству и литературе Древней Руси, какие стоят только на моих полках.

Назову лишь широко известный двухтомник Н. Н. Воронина «Зодчество северо-восточной Руси XII—XV веков», книги В. Н. Лазарева «Андрей Рублев» и «Михайловские мозаики», «Древнюю Русь» Б. А. Рыбакова, «Текстологию» и «Поэтику древнерусской литературы» Д. С. Лихачева, «Миниатюры русских исторических рукописей» О. И. Подобедовой, два тома «Каталога древнерусской живописи XI — начала XVIII вв.» Третьяковской галереи, составленного В. И. Антоновой и Н. Е. Мневой, и каталог «Древнерусское искусство в собрании Павла Юрина», который составила та же Антонова, «Памятник древнерусской живописи конца XV века» М. В. Алпатовова...

О некоторых из этих книг, а также и о тех, какие не сразу пришли на память, речь впереди, поэтому нет нужды продолжать перечень.

Древняя Русь от Ярослава Мудрого и до Петра Первого, разумеется, неодинаковая на протяжении этих семи столетий, возникает перед мысленным взором во всем великолепии ее материальной и духовной культуры, едва только вообразишь себе все эти книги вместе.

Со всей ответственностью употребил я здесь слово «великолепие», хотя речь идет не об античном Риме или Греции, не о Византии, но о стране, опустошавшейся и половцами, и собственными князьями, на столетия подпавшей под власть диких кочевников, остававшейся во многом первобытно-языческой спустя долгие века после принятия христианства.

В подтверждение того, что в этом нет противоречия, сошлюсь на изданную в 1966 году издательством «Искусство» книгу Виктора Никитича Лазарева «Михайловские мозаики». Лазарев приводит здесь из «Повести временных лет» слова Владимира Мономаха, который живо изобразил на княжеском съезде в 1103 году великому князю Святополку, как весною «выедет смерд в поле пахать на лошади и придет половчин, ударит смерда стрелю и возьмет его лошадь, потом придет в село, заберет его жену, детей и все имущество». Далее Лазарев пишет, что борьба с половцами, заполнившая все княжение Святополка, завершилась долгожданной над ними победой, и тогда в ее честь построен был в Киеве роскошный храм, посвященный архистратигу Михаилу. Христианское имя Святополка было Михаил, следовательно, воевода небесного воинства был его патроном. Впрочем, для того чтобы назвать этим именем церковь, была еще и та причина, что архангел Михаил почитался покровителем князей и всех военных людей вообще, почему, например, шлем Ярослава Всеволодовича украшен был рельефной чеканной фигурой крылатого воина.

Внутреннее убранство Михайловской церкви было богатым.

Мозаические изображения искусно сочетались здесь с фресковой живописью, полы были выложены из больших красных шиферных плит, инкрустированных мозаикой, мраморная алтарная преграда, состоявшая из колонн, резных парапетов и архитрава, отделяла алтарь от нефов.

Лазарев приводит свидетельство архидиакона Павла Алеппского, сопровождавшего антиохийского патриарха Макария во время его путешествия в Россию в середине XVII века, который, описывая церковь архангела Михаила, говорит, что ее «великий алтарь похож на алтарь св. Софии и монастыря Печерского», что на восточной его стороне есть «изображение Владычицы, стоящей воздев свои руки с открытыми дланями, — из позолоченной мозаики». Лазарев замечает, что это крепко укоренившаяся в Киеве традиция — что не только центральная апсида Софии Киевской, но и Десятинной церкви и Успенского собора Печерского монастыря украшала монументальная фигура богородицы в позе Оранты, необычайно популярной в Киеве, где ее рассматривали как символ небесного покровительства великому князю и стольному граду.

В другом месте, рассуждая об архитектуре Михайловской церкви, увенчанной лишь одним куполом, тогда как старые киевские храмы завершались многоглавием, имеющей вместо пяти нефов только три, лишенной опоясывающих здание галерей и выступающих из тела постройки башен, да и по размерам своим уступающей храмам Ярославовой поры, Лазарев говорит об упрощении сложной композиции, унаследованной от эпохи Ярослава Мудрого, об отказе от динамичности и об усилении статического начала.

Традиционность образа Оранты в древнем Киеве, изменившиеся к началу XII века архитектурные вкусы, как и то, что Михайловской церковью «завершается история мозаического искусства Киевской Руси», — одни лишь эти попутные замечания Лазарева позволяют вообразить нечто живое, меняющееся, существующее во времени, то есть богатую культуру.

Я не хотел бы, чтобы меня поняли так, будто только из книги Лазарева это становится известно, — просто я открыл ее и как бы вошел в мир, каким он был восемьсот пятьдесят лет тому назад, когда в Киеве правил князь «ростом высок, сух, волосы черноваты и прямы, борода долгая, зрение острое», отважно сражав-

шийся с воинственными номадами и коварно ослепивший князя Василька; когда внезапно врывавшиеся из степи половцы уводили с собой пленных, о которых летописец рассказывает, что были они «измученные, стужей скованные, в голоде, жажде и несчастьях»; когда над широкой всхолмленной русской землей возвышались златоверхие храмы с мраморным внутренним убранством, фресками и мозаикой.

Пока я читал книгу Лазарева, вызвавшую в моем воображении архитектурные объемы и украшающие их картины, составленные из кубиков непрозрачного цветного стекла, — пока я мысленно прогуливался под сводами сломанной в середине тридцатых годов церкви архангела Михаила, мне вспоминалась «Древняя Русь» Бориса Александровича Рыбакова, предметом своего исследования взявшего сказания, былины и летописи.

Для тех, кто не читал этой книги, вышедшей еще в 1963 году в издательстве Академии наук СССР, я перескажу всего лишь одну ее страницу, где, рассуждая о прототипах Апраксы-королевичны и Змея-Тугаретина, или Тугарина Змеевича, то есть легкомысленной и сладострастной придворной дамы киевского двора и готового вступить с нею в связь заезжего половчина, Рыбаков высказывает предположение, что былины, повествующие о них, слили воедино два почти одновременно случившихся события: свадебный пир во дворце Святополка, женившегося на дочери половецкого хана Тугоркана в 1094 году, на котором Тугоркан, конечно, присутствовал, и появление при киевском дворе около 1097 года сестры Мономаха, бывшей императрицы Священной Римской империи Евпраксии — Адельгейды, дочери Всеволода от второго его брака с половецкой княжной.

Рано выданная замуж за графа Штадена, рассказывает Рыбаков, она уехала около 1083 года из Киева в Саксонию. «В 1087 г. юная Евпраксия овдовела, и одновременно овдовел император Генрих IV; в 1088 г. он уже обручился с Евпраксией, а через год дочь Всеволода стала императрицей. Она жила в Кельне, Бамберге, Вероне, но между ней и мужем постоянно происходили грубые и непристойные сцены». Семейные конфликты завершились бегством Евпраксии к папе в Каноссу, где она публично покаялась в своих грехах и разврате, к которому ее понуждал муж.

После этого Евпраксия уехала в Венгрию, а оттуда в Россию. Евпраксии тогда было, по предположению Рыбакова, лет двадцать пять — двадцать шесть, появилась она при киевском дворе почти во времена Тугоркана, «привезла, очевидно, с собой громкую славу героини многих (вольных или невольных) романтических приключений». Великокняжеский двор Святополка Изяславича, хорошо осведомленного в европейских делах, разнес молву о приключениях молодой княгини-разводки, считает Рыбаков, чем, конечно, и объясняется, почему Алеша Попович, убивший Змея-Тугаретина, обращается к выговаривающей ему Апраксе-королевичне со следующими укоризненными словами: «А ты гой еси, матушка княгиня Апраксеевна, чуть не назвал я тебя сукою, сукою-то волочайкою».

Летописный Тугоркан не мог обнимать Евпраксию Всеволодовну — «ко княгине он, собака, руки в пазуху кладет». Он был убит примерно за год до ее приезда в Киев. Однако пирующий у князя ненавистный половчин и находившаяся около этого времени при дворе родственница князя, полуполовчанка с дурной славой, могли быть соединены куртуазным сюжетом и естественно войти в эпическую повесть, «главным содержанием которой была победа над кичливым половецким ханом», могли стать литературными Апраксой и Тугариным, или Тугаретиним.

Не могу не добавить, что на следующих за этой страницах, где говорится об Алеше Поповиче, Рыбаков, соглашаясь с Д. С. Лихачевым, утверждающим, что исторический прототип ростовского храбра Алеши (в полной форме Александра) Поповича относится к XIII веку, вместе с тем пишет: «Мы должны признать, что это имя прикрыло собой еще одного богатыря, победившего во Тугоркана, в 1099 г. воевавшего с Боняком и в неизвестном году сразившего во дворце Владимира загадочное Идолище Погансе». Этот богатырь, продолжает он, был зна-

ком и с Владимиром Мономахом, и с его сводной сестрой Евпраксией Всеволодовой, возвратившейся в Россию в эти же годы и постригшейся в монахини в 1106 году. «Основой слияния образа этого богатыря с образом Александра Поповича из Ростова XIII в., — говорит он в заключение, — могли послужить эпические сказания о событиях 1094—1099 гг.», то есть о сражениях русских богатырей с половецкими ханами, прибавлю я от себя.

За былинами, давно уже переставшими быть живой литературой, Рыбаков открыл героические древние саги, подобно тому как под темным слоем копоти и олифы реставратор открывает чистые краски древней иконы.

Было похоже, что среди украшенных мозаиками зданий зазвучали песни о рыцарских поединках и любовных приключениях — изящная словесность того времени, — и мне вообразилось не только могущество «русского царя», как называет киевского князя исследователь, сообщающий, что дочь Всеволода прибыла в Саксонию «с большой помпой: с верблюдами, нагруженными роскошными одеждами, драгоценными камнями и вообще несметными богатствами», — мое воображение заняла еще и печальная судьба этой женщины с трагической репутацией, в девятнадцать лет ставшей императрицей Священной Римской империи и в тридцать восемь ушедшей в монастырь.

Книги Лазарева и Рыбакова, как и другие, о которых речь впереди, знакомя с той или иной стороной отечественной культуры древних времен, опровергают все еще разделяемое некоторыми людьми заблуждение, будто их предки в ту далекую пору были дикими и невежественными, одновременно разрушая получивший распространение прямо противоположный миф о величавой торжественности и вместе с этим простодушной сказочности древнерусской жизни, ничего общего не имеющей с жизнью других европейских стран, даже противостоящей Европе, словно Древняя Русь не Европа.

* * *

В своей книге «Поэтика древнерусской литературы», изданной в 1967 году издательством «Наука», в предварающей книгу главе Дмитрий Сергеевич Лихачев вспоминает рассказ об одном видном итальянском искусствоведе, который, посетив Третьяковскую галерею и рассматривая творения Рублева и Дионисия, воскликнул: «Вот где наше родство с вами!» Попутно Лихачев замечает, что не случайно лучшие русские иконы XIV—XVI веков принимались за произведения сиенской и умбрийской школ древнейшего периода. Я привожу здесь это замечание, интересное, казалось бы, лишь специалисту, не ради того, разумеется, что оно прибавляет что-либо к художественным достоинствам икон ростовских или московских писем, но с целью побудить читателя, сияющего вообразить Древнюю Русь, мысленно представить себе карту средневековой Европы всю сразу. Я полагаю, что следую за автором названной книги, вводная глава которой, в предварительном виде отвечающая на все вопросы, на какие отвечает книга, посвящена не одному лишь времени, но и пространству, то есть хронологическим и географическим границам древнерусской литературы.

«Принято говорить о европеизации русской литературы в XVIII веке, — рассуждает Лихачев. — В каком смысле древняя русская литература может рассматриваться как «неевропейская»? Обычно имеются в виду два якобы присущих ей свойства: отъединенность, замкнутость ее развития и ее промежуточное положение между Востоком и Западом».

Однако древняя русская литература, возражает Лихачев против подобных утверждений, не только не была изолирована от литератур соседних — южных и западных — стран, в частности от той же Византии, но в пределах до XVII века есть основание говорить о совершенно обратном — об отсутствии в ней четких национальных границ, об общности развития литератур восточных и южных славян, а если взять времена более древние, то это распространяется и на славян западных — чехов и словаков.

Существовала единая литература, говорит он далее и называет при этом большое количество произведений («Александрю», «Пчелу», «Повесть о Варла-

аме и Иосафе», «Повесть об Акире Премудром», прологи, минен, пален, триоди, космографии, физиологи, шестодневы), существовал и единый литературный язык — церковнославянский, общими были смены стиля, умственные движения... Литература эта была понятна без перевода, и отдельные «национальные» варианты церковнославянского, то есть литературного, языка нисколько не препятствовали его пониманию.

Ссылаясь на свои занятия в рукописных собраниях Болгарии и Югославии, Лихачев замечает, что состав памятников в рукописях XI—XVI веков в основном в них тот же, что и в России, а вот памятников местного значения сравнительно немного, тогда как Россия за те же века создала огромную литературу по русской истории, светскую по своему характеру, — эта литература не передалась по большей части к южным славянам, она интересовала только русских, украинцев и белорусов.

«Но, может быть, отъединенность и замкнутость русской литературы XI—XVI вв. следует понимать в том смысле, что русская литература только пассивно получала от соседних народов их литературные памятники, сама ничего им не передавая?» — спрашивает Лихачев и здесь же решительным образом опровергает подобное предположение. «Сейчас можно говорить, — утверждает он, — об огромном «вывозе» из Киевской Руси и из Руси Московской созданных там памятников и рукописей». Это свое утверждение он подкрепляет следующим весьма внушительным перечнем.

Сочинения Кирилла Туровского распространялись в рукописях по всему юго-востоку Европы наряду с сочинениями отцов церкви. В России создан был огромный Пролог, списки которого исчисляются многими сотнями и который можно рассматривать как одну из самых распространенных книг, вернее — как одно из самых распространенных сборников книг, так как он охватывает сотни памятников. Созданный в России, русский хронограф послужил основой для возникновения собственной исторической литературы у южных славян. Давно отмечено влияние созданного в XI веке «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона...

«Наконец, как это сейчас выясняется, — заключает перечень Лихачев, — изощренный стиль «плетения словес», возникший и распространявшийся на Балканах в XIV и XV вв., развивался не без русского воздействия и именно в России достиг своего наивысшего цветения».

Рассматривая европейские связи русской литературы в их историческом развитии, Лихачев приходит к следующему выводу. Европеизм русской литературы, чрезвычайно высокий при самом ее зарождении, когда она составляла некое единство с литературами стран православной Европы, затем постепенно падает. С течением времени в России создается все больше произведений местного значения, связанных с местными темами и насущными заботами своей страны. В XVII веке говорить об общности и единстве литератур православной Европы уже не приходится. Литература XVIII века почти целиком переходит на национальные рельсы.

Однако и в XVIII и в XIX веках, говорит Лихачев, древнерусская литература продолжает оказывать влияние и экспортироваться на всем пространстве Юго-Восточной Европы, от Москвы и до побережья Адриатики. «Книгами московской печати снабжал сербские монастыри Вук Караджич. Книги московской печати в изобилии представлены на родине славянского книгопечатания — на Далматинском побережье еще в XIX в.».

Связи древней русской литературы с литературами Византии, Болгарии, Сербии, Румынии, а в древнейший период — с западными славянами были не только исповедными, хотя литература Древней Руси и была тесно связана с православием. Весьма ощутительны эти связи и в светской литературе — в хронографии, в традициях эллинистического романа, в троянских сказаниях, в литературе «естественнонаучной»...

Все это позволяет исследователю решительным образом заявить: «Отъединенность древней русской литературы — миф XIX в.».

Другим мифом, возникшим под гипнозом географического положения России между Азией и Европой, следует считать, утверждает он, предполагаемое положение древнерусской литературы между Востоком и Западом.

«Древняя Русь знала переводы с греческого, с латинского, с древнееврейского, знала произведения, созданные в Болгарии, Македонии и Сербии, знала переводы с чешского, немецкого, польского, но не знала ни одного перевода с турецкого, татарского, с языков Средней Азии или Кавказа. Устным путем проникли к нам два-три сюжета с татарского и с Кавказа («Повесть о царице Динаре», «Повесть о разуме человеческом»).

Восточные сюжеты, как это ни странно, говорит Лихачев, проникали в Россию через западные ее границы, от западноевропейских народов; он заявляет в связи с этим, что среди всех остальных европейских литератур древнерусская имеет наименьшие связи с Востоком.

Для обычных представлений, будто «европеизация» России началась лишь с петровских реформ, неожиданно и удивительно утверждение Лихачева, что восточные темы, мотивы и сюжеты появились в русской литературе только в XVIII веке, когда их стало больше и влияние их было глубже, чем за все семь веков предшествующего ее развития.

Следующий за этим вывод, что «ни о какой «европеизации» русской литературы XVIII в. в общем плане говорить нельзя», показался мне после всего сказанного Лихачевым само собой разумеющимся, а вот слова о том, что «европейская ориентация русской литературы переместилась с одних стран на другие», хотя и не должны бы они удивить, если вспомнить русский XVIII век, прозвучали новым открытием.

Снова напомнив, что русская литература XI—XVI веков была органически связана с Византией, Болгарией, Сербией и Румынией, сказав далее, что с XVI века, продолжая быть связанной с Сербией, русская литература устанавливает связи с Польшей, Чехией и другими странами Центральной и Восточной Европы, причем в XVII веке эти новые связи чрезвычайно возрастают, Лихачев говорит, что в XVIII веке ориентировка меняется — «наступает полоса влияния Франции и Германии, а через них, по преимуществу, и других западноевропейских стран».

«Можно ли видеть в этом волю Петра?» — спрашивает он и, ответив на этот свой вопрос отрицательно, ссылается на следующее весьма убедительное обстоятельство: «Петр ориентировал русскую культуру на те западноевропейские страны, с которыми Россия установила связи уже ранее, в XVII, отчасти еще в XVI в., — на Голландию и Англию».

Влияние Франции в области литературы установилось после Петра, вне его намерений, говорит Лихачев. Что же до голландской и английской литератур, то, по его словам, при Петре они не привлекли внимания русских писателей. Интересно, что именно в XVIII веке русская литература на некоторое время перестала в целом выходить за пределы России.

Все это позволяет вообразить русскую литературу на старинной карте Европы, как бы увидеть границы ее распространения и испытываемых ею влияний, менявшиеся в каждую из исторических эпох, в зависимости от того, должно быть, насколько общими были те либо иные идеи.

Исследуя хронологические границы древнерусской литературы, устанавливая не только грань, отделяющую ее от новой русской литературы, но и то, «в чем эта грань состоит», Лихачев не сводит все к тому, что «коренное отличие древней русской литературы от новой в ее по преимуществу религиозном характере», как это делают некоторые исследователи.

Сравнительно с литературой XVIII века, говорит он, древнерусская литература, если взять все семь веков ее существования, носила несомненно религиозный характер. Вместе с тем ни одна страна восточноевропейской литературной общности XI—XVI веков не имела такой развитой исторической литературы, как Россия, такой развитой публицистики.

Литература России выделялась среди других стран Южной и Восточной Европы обилием светских произведений, хотя и оставалась вплоть до XVII века по преимуществу литературой религиозного характера.

В XVII же веке именно светские жанры становятся в ней ведущими.

Светской была так называемая «литература барокко» — произведения Симеона Полоцкого, Сильвестра Медведева, Карнона Истомина, Андрея Белобочного и многих других. Развивались и те светские элементы, какие существовали в литературе традиционно: историческая литература и литература путешествий. Появились рыцарский роман и авантурные повести.

Следовательно, заключает эти свои рассуждения Лихачев, светский характер русской литературы формировался постепенно, переход совершался в течение всего XVII века (а частично и раньше) и в течение первой половины XVIII. Он отмечает при этом поразительную подробность: связь литературы XVII века с литературой XVIII века отчетливо ощущается именно в антиклерикальных произведениях, примером чего служат песни «Чурилья игуменья», «Из монастыря Боголюбова», «У Спаса к обедне звонят». Запись запева одной из таких песен, как это уже отмечалось до него, говорит Лихачев, встречается у Ломоносова: «По загуменьям игуменья идет, за собою мать черна быка ведет». С традициями XVII века связан и «Гимн бороде» Ломоносова, весь демократический театр XVIII века.

Таким образом, традиционно указываемые отличия древней русской литературы от литературы XVIII века, по мнению Лихачева, могут быть приняты с большими оговорками, истинное же отличие, считает он, состоит в том, что «в древней и новой русских литературах пред нами разные типы литератур и разные типы литературного развития», причем «переход одного типа к другому совершался в течение длительного времени».

Древнерусская литература, хотя нам поименно известны многие писатели со своим, индивидуальным стилем (стиль Мономаха, стиль Грозного, стиль Максима Грека, стиль Епифания Премудрого имеют своеобразные, только им присущие черты), по преимуществу не была литературой «личностной». обладала некоторыми общими чертами с фольклорным творчеством. Жанровые отличия были резче стилевых, авторы не стремились к самовыражению в стиле, но следовали сложившейся в избранном жанре традиции.

Каждый жанр имел свой стиль изложения — хронографический стиль, летописный, агнографический — и свои пути развития. Если в новой литературе литературное направление захватывает всю литературу, все ее жанры, то в древней жанры развиваются в известном смысле изолированно. Древняя литература не знает литературных направлений вплоть до XVII века; первое литературное направление, сказавшееся в ней, — барокко.

Самое же существенное, что отделяет древнюю русскую литературу от новой, говорит Лихачев, это различная поэтика каждой из литератур.

Рассуждая об отношениях древнерусской литературы к изобразительным искусствам, Лихачев говорит, что художник «стремился увидеть то, что не могли увидеть по условиям своего художественного метода древнерусские авторы письменных произведений», из чего можно заключить, что одна из особенностей древнерусской литературы — ее недостаточная изобразительность, то есть предметность, наглядность.

Если сравнивать ее с новой литературой, «где существует своеобразное «равноправие» жанров», древняя русская литература отличалась неравноправием и неоднородностью жанров, весьма многочисленных, представлявших собою некую иерархическую систему, в соответствии с чем одни произведения входили в состав других. Основой для определения жанра наряду с другими признаками служили не литературные особенности изложения, а самый предмет повествования, его тема: «видение», «житие», «подвизи», «страсть», «мучение», «хождение», «чудо», «деяние».

Помимо литературных функций, жанры несли еще и функции внелитературные, определялись их употреблением. в богослужении, в юридической и дипло-

матической практике, в обстановке княжеского быта; лишь в XVII веке вступают в силу чисто литературные принципы выделения жанров.

По причине той же служебной предназначенности литературные жанры выходили за пределы литературы, были тесно связаны с живописью и архитектурой: сказания об иконах, иконы и росписи на сюжеты песнопений и рассказов, подчинение росписей храмов в их целом литературным схемам, подчинение архитектуры церемониальным схемам богослужения...

Особенностью поэтики древнерусской литературы было подчинение этой последней этикету, поскольку этикетность присуща феодализму вообще и этикет являет собою одну из форм феодального принуждения.

«Искусство не только изображает жизнь, но и придает ей этикетные формы», — говорит Лихачев, напоминая далее, что еще В. О. Ключевский подобрал довольно много формул, якобы специально присущих житийному жанру. Однако помимо «житийных формул» есть и «воинские формулы», те и другие постоянно встречаются вне житий и вне воинских повестей — в летописи, в хронографе, в исторических повестях, даже в ораторских произведениях и посланиях, — «ибо не жанр произведения определяет собой выбор выражений, выбор «формул», а предмет, о котором идет речь».

Раз речь заходит о святом, житийные формулы обязательны, будет ли о нем говориться в житии, в летописи или в хронографе; точно так же обязательны воинские формулы, когда рассказывается о военных событиях — в воинской повести или в летописи, в проповеди или в житии.

Если описываются военные события, русскому войску обязательно помогают небесные силы: враги то «гонимы гневом божим», то «невидимую силою»; иногда бог «влагает страх» в сердца врагов... Словесное выражение этого трафарета может быть различным, как и в описании других трафаретов ситуации — собирания и выступления войска, нападения на врагов, — но самые эти ситуации создаются писателями именно такими, какие необходимы по этикетным требованиям: князь молится перед выступлением в поход, его дружина обычно малочисленна, тогда как войско противника громадно и враг выступает «в силе тяжце», «пыхая духом ратным».

Точно так же трафаретны ситуации и в описании жизни святого — рождение от благочестивых родителей, удаление в пустыню, подвиги, основание монастыря, благочестивая смерть и совершаемые после смерти чудеса.

Задавшись вопросом, откуда берется этикет ситуации, Лихачев говорит, что часть этикетных правил взята из жизненного обихода, часть создавалась в литературе. Примеры жизненно-реального этикета многочисленны, утверждает он, в основном это этикет церковный и княжеский.

Так, например, в «Чтении о житии и о погублении Бориса и Глеба», когда Владимир посылает Бориса против печенегов, Борис прощается с отцом по этикету своего времени: «Блаженный же пад поклонися отцю своему и облобыза честней нозе его, и паки вѣстав, обумим выю его, целоваше с слезами». Агиограф конца XI века не был свидетелем этого прощания, рассуждает Лихачев, и не мог найти описания его в предшествующих устных и письменных материалах: он сочинил эту сцену, исходя из представлений о том, как она должна была совершиться, принимая во внимание благовоспитанность и идеальность обоих действующих лиц.

Любопытно, что только поведение идеальных героев подчинялось взятым из жизни этикетным нормам, отрицательные же персонажи действовали лишь свободно с литературными канонами. Злодеи идут рыкающе, «аки зверие дивии, поглотити хотяще праведнаго». Они сравниваются со зверями и, как звери, не подчиняются реальному этикету, однако само сравнение их со зверями — это повторяющаяся литературная формула.

Называя другие особенности поэтики древней русской литературы, в том числе абстрагирование, когда художественное впечатление создается не конкретно представимым образом, а крайним обобщением идей, когда язык высокой литературы стремится стать как бы священным, неприкосновенным быту, Лихачев

говорит и об элементах реалистичности, поскольку «искусство условное, или искусство условности, очень часто сочетается с искусством конкретизирующим, стремящимся к наглядности».

Все это позволяет представить себе то главное, чем отличается древняя русская литература от новой, что же до смены одной литературы другой, то поворот этот, говорит Лихачев, был «постепенным и длительным», и находит для его характеристики почти графическое определение, заметив, что «линия перелома» была чрезвычайно неровной.

Это последнее следует понимать так, что в XVIII и даже в XIX веке продолжает еще существовать традиция древнерусской литературы — жития, проповедь, рыцарский роман, причем существует и рукописная традиция распространения, но эти отдельные струи древней литературы, как говорит Лихачев, продолжая свое течение, уходят с «дневной поверхности», книги подобного жанра читаются в старообрядческой, в церковной и народной среде, главенствует же система жанров нового времени.

Вообразить «линию перелома» позволяют еще и те удивительные строки, где Лихачев, заметив, что петровское время — это самая «нелитературная» эпоха, назвав это время остановой, означавшей, что скачок готов был совершиться, изображает рождение новой русской литературы.

«Плуг перестал пахать землю, — пишет он, — его удалось легко проволочить через большую полосу, оставив ее непаханой. Когда же он снова зарылся в почву, появился Ломоносов, Фонвизин, Радищев, Державин и, наконец, когда пахота стала ровной и глубокой, Пушкин».

* * *

Если книги В. Н. Лазарева и Б. А. Рыбакова позволяют вообразить времена домонгольские, относительно которых многие сходились на том, что это был золотой век Древней Руси, то исследование Д. С. Лихачева, охватывающее все семь веков существования древней русской литературы, имеет в виду и те периоды отечественной истории, какие издавна принято считать дикими, беспросветными, — татарщину, многолетнюю войну за московский великокняжеский стол... Однако, читая эту книгу, убеждаешься, что и при длительном иноземном нашествии, при княжеских усобицах и смутах русская литература оставалась жить. Полтора столетия татаро-монгольского ига затормозили ее развитие, но с конца XIV — начала XV века, хотя иго это продолжало существовать, правда, ослабленное Куликовской победой, началось медленное восстановление литературы.

Нисколько не впадая в то условное умиление перед Древней Русью, каким полны старые исторические романы и какое стало вдруг проявляться в иных сегодняшних журналистских писаниях, должно признать, что Древняя Русь, которую мы знаем преимущественно по ее прекрасной архитектуре и живописи, имела еще и литературу — богатую, многообразную, не уступающую им в художественности.

Хочется еще сказать, что исследование Рыбакова, когда я читал его, открывало через давно уже вышедшую из читательского обихода литературу живую жизнь прошедших времен, вводило в круг событий, из которых давность иных приближается чуть ли не к тысячелетиям, одновременно как бы показывая самый процесс переработки жизни в литературу, — книга же Лихачева вела меня еще и в жизнь самой литературы, что равнозначно знакомству с ее писателями и читателями, иными словами — с мыслящим русским средневековым человеком, с духовным его миром.

Мне представляется исключительно важным утверждение Лихачева, что человек этот отличался от нас по преимуществу своим мировоззрением, но не мышлением. Постановка вопроса об особом характере средневекового мышления, считает Лихачев, вообще не правомерна: мышление у человека во все времена было в целом тем же. Менялось не мышление, говорит он, а мировоззрение, политические взгляды и эстетические вкусы.

Исследуя поэтику древнерусской литературы, Лихачев знакомит нас с художественными вкусами человека Древней Руси, книга его представляется мне своеобразной эстетической энциклопедией русского средневековья. Когда я узнал, например, почему Максим Грек оспаривал применение к богоматери католического символа — розы, я как бы взглянул на мир глазами московского писателя или художника XVI столетия.

«Родон (роза) благоуханнейше есть и красен видением», — приводит Лихачев рассуждения Максима Грека; но у «родона» — шипы, символизирующие собой грех. К богородице, утверждает Максим, более подходит другой символ — «крин», лилия, имеющая три лепестка и белая цветом.

Книга Лихачева, вводя современного читателя в круг художественных представлений того времени, когда создавалось древнее русское искусство, позволяет понять многое и в иконописи, которая близка литературе не внешней иллюстративностью, то есть изображенным в лицах сюжетом, как это случалось в живописи позднее, а мыслью, духовностью.

Русская икона, впервые как произведение искусства открытая в начале нашего века, сейчас как бы открывается заново, и не только широкой публикой, узнавшей вдруг о существовании этого рода живописи и пленившейся ею или увлеченной модой, но и специалистами, написавшими за последние годы значительное число книг о древней живописи.

Издательство «Искусство» — в сущности, основной издатель книг по искусству Древней Руси, хотя много интересного было издано и «Советским художником» и «Наукой», — выпустило в 1967 и в 1968 годах упоминавшееся уже мною описание коллекции П. Д. Корина, составленное Валентиной Ивановной Антоновой, тридцать с лишним лет занимающейся древнерусским искусством, и небольшую книгу молодого исследователя старинной живописи Марии Александровны Реформатской — «Северные письма».

Книга Антоновой состоит из вводной статьи, историко-художественной классификации около ста девяноста произведений иконописи, шитья и мелкой пластики и свыше ста шестидесяти тоновых и цветных иллюстраций. Это пока что единственный в наше время каталог частного собрания. Подобного рода коллекций в последние годы образовалось немало, и хотя бы только лишь из-за того, что они почти недоступны для обозрения, им следовало бы посвятить такие же иллюстрированные каталоги.

Еще и не раскрыв каталога, я вспомнил, как в описании коллекции икон И. С. Остроухова, изданном в 1914 году, П. Муратов высказал предположение, что собрание икон так же старо на Руси, как сама русская иконопись. «Представление о ценности древнего без всякого отношения к тому новому, чему могла бы научить древность, — прочитал я, взяв эту книгу, — существовало на Руси задолго до того, как оно вошло в круг должных понятий западного культурного человека».

Ревностными собирателями, писал Муратов, были, вероятно, новгородские именитые и богатые люди, украсившие свой город столькими храмами. Обставление этих храмов иконами совершалось несколько иначе, чем, например, снабжение алтарными образами таких же обетных церквей в Италии. В доказательство этой своей мысли Муратов назвал одну из церквей в Сиене, основатели которой украсили ее алтарь произведением Маттео ди Джованни, и пускай предположительно, однако близко к истине рассудил, что они могли бы дать подобный же заказ Нероччио Ланди или Джованни ди Бенвенуто, но они никогда не поставили бы на это место работу какого-нибудь мастера предшествующего столетия. В Новгороде же, напротив, рассуждал он, дарение старинной иконы было бы только особой заслугой жертвователя. Среди местных икон новгородских иконостасов, по утверждению Муратова, могли встретиться иконы разных столетий, помещенные туда одновременно. Новгородская церковь могла сделаться храмом-музеем с первых дней своего существования.

Рассуждения Муратова, снова прочитанные мною в связи с выходом в свет книги Антоновой «Древнерусское искусство в собрании Павла Корина», как бы соединили современное собирательство с подобным же увлечением образованных людей русского средневековья и этим самым побудили вообразить еще и такую сторону культурной жизни Древней Руси.

В благочестивом князе или епископе, заботившемся о собирании святых икон, — а древность иконы была, разумеется, соединена с ее святостью, — воспитывался незаметно для него самого, по справедливому замечанию Муратова, собиратель древностей и ценитель искусства.

Так могла сложиться следующая описанная Муратовым картина.

«Москва времен Михаила Федоровича была городом замкнутой, крепкой и богатой усадебной жизни боярских семейств. В каждой такой усадьбе стояла своя церковь, но, помимо этой церкви, в одной из лучших комнат главного дома были собраны иконы особого значения, особой ценности, особой древности — семейные иконы, сопровождавшие с незапамятных пор все события в жизни рода. Вообразим семью, ведущую свое начало из Новгорода, пережившую Грозного и Смутное Время, вообразим в главе этой семьи ценителя старины и любителя искусства и тогда мы представим себе один из многих московских частных музеев XVII века».

В течение чуть ли не двухсот лет с того времени, когда Петр решительно переменял весь строй русской жизни, только старообрядчество, руководствуясь, как писал Муратов, мотивами более трагическими, чем простой интерес собирателя, крепко держалось за старинные иконы.

Перечитывая Муратова, я вдруг и у него, хотя это не составляло предмета его исследования, увидел, что новое искусство — я имею в виду здесь искусство вообще — сложилось в России вовсе не при Петре.

Но если новая русская литература заявила себя лишь во времена Ломоносова и Фонвизина, когда вводившиеся Петром так называемые фряжские нравы давно уже стали бытом, то новая живопись появляется в России задолго до этих фряжских нравов, еще при Алексее Михайловиче.

Я не задавался целью понять, отчего это так, почему перелом в русской культуре, обычно связываемый с преобразовательной деятельностью Петра, если взять живопись, произошел в царствование Алексея Михайловича, а если литературу — Елизаветы Петровны и Екатерины Второй.

Меня заинтересовало то место в книге Муратова, где он говорит, что в XVIII веке «потерпели крушение не столько основы старого русского искусства, пришедшего в полный и окончательный упадок еще лет за сорок до Петра, сколько основы русского собирательства».

Можно бы, конечно, возразить, что на то время, какое Муратов называет временем полного и окончательного упадка старого русского искусства, приходятся работы мастеров ярославо-ростовской и костромской школ настенной росписи, однако исполненные ими фрески в церквях Ярославля, Костромы, Ростова и Вологды давно стали предметом всеобщего восхищения, хотя и ожидают новых исследований и воспроизведений.

Это во-первых.

Во-вторых, мое внимание привлечено было тем, что Муратов назвал крушением основ русского собирательства, имея в виду с чрезвычайной быстротой изменившийся во времена Петра «план русской жизни».

«В этом плане не оказалось места для хранилища старинных преданий и старинных икон, — писал Муратов. — В несколько десятилетий рассеялось все, что накоплялось веками. Иконостасы барокко или классицизма сменяли, где только возможно, древние новгородские и московские иконостасы. Старинные иконы сваливались в церковных подвалах или на колокольнях. Переписанными и искаженными они сохранялись лишь в забытых церквях глухих городов или в Олонецких и Вологодских деревенских церквях, не знавших ни соседства, ни попечений помещика».

Древняя русская живопись исчезла почти на двести лет, многие ее произведения погбибли, и виноваты в том были не революционные богоборцы, а переменявшиеся обычаи и нравы, в сущности, переменявшаяся мода.

Известно, что в первые годы нынешнего столетия, когда археологи, давно предпринимавшие иконографические походы, все еще сомневались в существовании иконописи как искусства, русской древней иконой, ее красотой пленялись прежде всего художники и литераторы, и хотя с тех пор о древнерусской живописи написано много и талантливо, мне и сегодня нравится, как Муратов рассказывает о своем впечатлении от собрания Остроухова, которое он снова посетил после долгого отсутствия из России.

«За год многое прибавилось на этих стенах и в этих витринах; удача сопровождала и в тот год счастливейшего из собирателей... Но как глубоко единство этих сияющих красок и совершенно легких форм в свете прохладного московского осеннего дня! Как строен мир русской иконы! Склонимся же перед забытыми, как казалось, навсегда, но воскресшими здесь для человечества традициями великой эллинской живописи, перед явлением русского Возрождения среди творений западного Ренессанса».

Только вызываемое искусством восхищение способно охранить его от переменявшегося уклада, от непостоянства моды, от равнодушия и невежества. В сущности, это единственная защита искусства. Прошло едва ли больше тридцати лет с того времени, когда немногие ценители любовались в доме художника И. С. Остроухова собранными им иконами, коренным образом изменилась в этот короткий срок вся русская жизнь, но вот другой художник — П. Д. Корин, собрание которого, к слову сказать, как и собрание Остроухова, передано Третьяковской галерее, стал собирать произведения древнерусского искусства. Тогда он был одним из немногих. Сейчас же в большинстве случаев спасенную от гибели старинную иконопись можно видеть во многих домах. Конечно, этому причина сами иконы, привлекающие своей красотой, однако чувство красивого, вообще-то, вероятно, врожденное, следует развивать, воспитывать, и здесь необходимо с благодарностью вспомнить многолетний подвижнический труд советских искусствоведов и музейных работников.

* * *

Мне кажется, есть основание говорить не только о существовании все расширяющегося интереса к древнему русскому искусству, но и о культуре этого интереса, — я имею в виду вышедшие за последнее время справочные издания — путеводители и каталоги, от весьма популярных и до сугубо специальных. Среди этих книг — ставшая классической, трижды переиздававшаяся книга-спутник Н. Н. Воронина «Владимир. Боголюбovo. Суздаль. Юрьев-Польской», написанная одним из серьезнейших исследователей древнерусской архитектуры, однако доступная любому туристу, и прелестный своей непринужденностью, старомодной, я бы сказал, доверительностью путеводитель «По калужской земле» безвременно погибшего молодого химика Е. В. Николаева, вышедший в предпринятой издательством «Искусство» массовой серии «Дороги к прекрасному».

Что до каталога В. И. Антоновой, то он, как и составленный ею в соавторстве с Н. Е. Мневой каталог собрания икон Третьяковской галереи, принадлежит к числу изданий, самый факт появления которых, при всех возможных расхождениях с тем или иным утверждением автора, свидетельствует, как мне представляется, о культуре, установившейся в данной области научной деятельности, потому что без предварительной систематизации и классификации развитие науки, я думаю, едва ли возможно.

Вместе с тем эту книгу просто интересно читать.

Даже так называемый научный аппарат, обязательный в подобных изданиях, интересен обыкновенному читателю, — например, список прежних владельцев приобретенных Коринным икон. Около сорока помещенных здесь фамилий позволяют вообразить все разнообразие частного собирательства древней иконописи в пред-

революционные годы — от аристократического, имеющего в виду сохранение семейных реликвий, и до предпринимательского. В списке названы последние отпрыски рода Марфы Матвеевны Апраксиной, вдовы царя Федора Алексеевича, и всемирно известный ученый, знаток русских древностей Н. П. Кондаков, коллекционер-любитель московский богач П. И. Харитоненко и профессиональный иконник М. И. Тюлин...

Главное же в книге, разумеется, сами иконы, современное понимание древнего искусства, при котором средневековые богословские и догматические признаки получают «разъясняющее их историческое истолкование, выводящее характер художественного образа иконы из самой жизни».

Еще связанная с Киевской Русью новгородская школа начинается в собрании Корина, рассказывает Антонова, с редчайшего памятника XII века, представляющего Богоматерь Знамение с Параскевой на обороте.

«Осторожная и тщательная живопись на плохо сохранившейся лицевой стороне с изображением Наталии и Екатерины на полях сближает это произведение, — считает Антонова, — с той не дошедшей до нас в своем первоначальном виде новгородской иконой, которая стала героиней летописной легенды. Новгородская летопись под 1169 годом рассказывает, что прототип произведения собрания П. Д. Корина, икона Богоматери Знамение из церкви на Ильиной улице послужила, по преданию, орудием победы над суздальским войском, осаждавшим город».

Манера, в какой написана Параскева, изображенная на оборотной стороне Знамения, «счастливно дополняет представление о раннем периоде новгородской живописи», говорит далее Антонова, ссылаясь на то, что образ Параскевы вызывает в памяти «не только исчезнувшие фрески Нередицы, но и женские образы стенописей Софии Киевской».

Рассказывая об особенностях живописных манер, в каких исполнены оба эти образа — мелочной иконной и размашистой, приближающейся к приемам исполнения фрески; описывая внешность обеих женщин — воздетые, с раскрытыми ладонями, разведенные в стороны руки Марии, ее устремленные вверх темные глаза, ее узкие покатые плечи и плотные, широкие плечи Параскевы Пятницы, ясное ее лицо, карие, круглые, чуть раскосые глаза, живо глядящие из-под длинных бровей; называя каждый предмет одеяния той и другой женщины — кирпично-красный с золотыми каймами мафорий, зеленые, травного оттенка рукава и темно-красное, с фибулами у плеч платье, зеленый повой и коричневый убрus; перечисляя технические приемы, с помощью которых переданы складки одежды, драгоценные украшения, формы лица и пальцев, выражение глаз, — словом сказать, описывая со всеми необходимыми специалисту подробностями двустороннюю эту выносную икону, Антонова вместе с тем вызывает у обыкновенного читателя ощущение соприкосновенности с только еще складывавшейся художественной культурой Великого Новгорода той молодой поры, когда, по утверждению летописца, вся честь, и слава, и величие были в Киеве, старшем городе во всей русской земле.

Прошли два столетия удалой жизни господина Великого Новгорода, напоминает автор, приступая к характеристике Спаса, относящегося к концу XIV или к началу XV века, образы юной поры новгородской живописной школы, упругие и свежие, вытеснились истовыми обличьями многое издевавших, замкнувшихся в себе стойких и суровых людей.

Образ Спаса покоряет сдержанной душевной силой, говорит Антонова, это Вседержитель, по средневековым представлениям, олицетворяющий вселенную. Создавая этот образ, выражая его смысл в человеческом лице, новгородский художник, по ее мнению, обратился к впечатлениям окружающей его природы. Можно бы, вероятно, возразить, что это скорее догадка, нежели установленный факт, но мне представляется, что переданные Антоновой собственные впечатления от образа Спаса Вседержителя столь же убедительны, как и сообщаемые ею факты.

«Исполинское лицо Спаса, написанное светозарными холодными охрами, — рассказывает Антонова, — кажется далеким, будто повята облаками недоступная вершина. Разглядывание большой доски умиротворяет чистым дыханием лесной чащи, овеивает раздолем «государыни пустыни». Это лицо изменчиво, как водные просторы Ильмень озера».

Заключительные же строки этого описания, где автор называет Вседержителя русским Зевсом, всеобъемлющим гиперборейским божеством, чуждым теплой и хрупкой плоти греков, хотя они содержат противопоставление, вместе с тем понуждают вспомнить, что и здешней суровой полночной страны достигало мягкое дыхание античного юга.

С тех пор, как я однажды прочитал Лаврентьевскую летопись, мне представляется естественным переплетение славянских дел с греческими, столь тесное на ее начальных страницах. И когда я вспоминаю известную историю о том, как апостол Андрей, предпринявший путешествие из Синопа и Корсуни в Рим через всю Славянскую землю, на том месте, «где нынче стоит Новгород», увидел деревянные бани и изумился тому, как славяне «разожгут их докрасна, и разденутся и будут наги, и обольются квасом кожевненным, и поднимут на себя прутья молодые и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва слезут, еле живые, и тогда обольются водою студеною, и только так оживут», — когда я вспоминаю это место летописи, мне представляется греческий купец или монах, впервые проехавший по пути из Грек в Варяги, вернувшийся домой и рассказывающий друзьям о чудесах, какие видел он в далекой заморской стране.

Сейчас, вспомнив описание славянской бани той поры, когда и Новгорода еще не было, я подумал, что тщательно разработанные и обставленные сообразно с местными суровыми условиями гигиенические правила дают основание предположить удобно устроенный жизненный обиход, иначе сказать, довольно высокий уровень материальной культуры.

Я соотнес это со словами Антоновой, заметившей, что в середине и во второй половине XV века новгородской школе присущи иконы, «родившиеся из того простонародного вдохновения, которым дышало деревянное зодчество и были проникнуты ладные, приспособленные к самобытной русской жизни утварь и одежды». То есть образы и сюжеты, сложившиеся еще на берегу Мертвого моря и в катакомбах Рима, обогащенные сирийскими, греческими, а потом и русскими богословами и поэтами, равно как и художественные стили Византии и Киева, переработаны были мастерами, родившимися в рубленых избах, засыпавшими под материну песню об Егории Храбром или бабкину сказку про лешего, крестившимися на бревенчатую церковь, гулявшими в шубах и высоких сапогах...

На одной из таких икон представлены «весело расцветенные рослые святые, полные былинной удалы», на другой — «тяжелые, плотные, неповоротливые фигуры светятся чистыми и яркими красками», на третьей, изображающей «Вход в Иерусалим», «заповедный святой город средневековья превратился в русский кремль, перед которым разбросаны прутья вербы».

Псковская икона XIV века «Рождество Богородицы», темные, рдеющие краски которой, по словам Антоновой, порождены влажным светом северного пасмурного дня, вводит в тесный круг семейной жизни. Роды происходят в хоромной тесноте. Кровать родильницы и колыбель младенца окружают принаряженные домочадцы и озабоченная челядь. На иконе изображены Никола и Анастасия, Александр и Екатерина — небесные покровители семьи владельцев, объясняет Антонова, и эта подробность знакомит читателя с обычаями и верованиями людей того далекого времени.

Я не могу, конечно, хотя бы коротко пересказать здесь все то, что пишет Антонова об иконах собрания Корина в одной только вводной статье к каталогу, не говоря уж о подробной, вплоть до справки об употребленных мастером материалах, историко-художественной классификации каждой иконы. Приведу лишь характеристики четырех произведений московской школы XV и XVI веков — трех богоматерей и «Сошествия во ад».

Три Марии, по замечанию Антоновой, как бы отражают современную им придворную, домашнюю и монастырскую московскую жизнь XV века.

Большая богородица Владимирская своим уверенным холодноватым монументальным мастерством связана с блеском государева двора, говорится о первой из трех Марий. Маленькая икона того же наименования, рассказывается о второй, закрыта серебряными извивами басменного узора, теснящего Марию с младенцем и придающего им уютную домашность, приличную непышной божнице московского укромного жилища «по старине». Что до третьей Марии — скромной опечаленной Одигитрии, то она, смиренная и полная глубокого достоинства, с бесконечно далекими ангелами и чуждым ее тревоге умильным младенцем, уместна, по мнению автора, в келье какого-нибудь «болотного чернеца» далеких заволжских монастырей, державшего упрекать в вероломстве и коварстве самого страшного в безудержном гнев великого князя.

Относящееся к концу XVI века «Сошествие во ад» выделяется своим обличительным характером. На иконе изображено, как последний из отверженных — благоразумный разбойник, любимый герой народных сказаний того времени, — попадает в рай раньше томившихся в аду и жаждавших рая праотцев. Венцесносные пророки ужасаются, завидев в райских кущах обнаженного, как это полагалось для позорной казни, разбойника: «Кто тебе велел быть здесь прежде нас, — раздраженно спрашивают они, — убивать или красть собираешься тут, отвечай!» Слова эти, поясняющие социальную направленность повествования, помещены на полях иконы.

«Извечная мечта о равенстве перед лицом правды, — замечает Антонова, — находит теперь в иконе не прежнее образное или символическое воплощение: она выразилась во всем понятном, простом рассказе».

Все те иконы, о которых здесь шла речь, принадлежат к новгородской, псковской и московской художественным школам. Новгородская и псковская школы, как и ростово-суздальская, и тверская, тоже представленные в собрании Корина прекрасными произведениями, не были провинциальными по отношению к Москве, как не была провинциальной по отношению к Риму живопись Сиены или Флоренции. Напротив, московская иконопись, подобно новгородской, обязанной своим происхождением Киеву, складывалась под влиянием уже существовавших иконописных школ.

«В зародившихся еще в XII веке обособившихся частях распавшегося древнерусского государства, — пишет Антонова, — в XIII — XIV веках развиваются местные школы живописи, сохранившие своеобразие и в XV веке — в эпоху сложения русского централизованного государства».

Однако эти местные школы, прочитал я ниже, вместе с ростом территории централизованного государства постепенно попадают в орбиту московского искусства. «Поэтому богатая и разнообразная в своих многочисленных произведениях московская школа живописи, известная на протяжении XV — XVII веков, постепенно превращается в общерусскую».

В книге Антоновой, как я это говорил уже здесь о других прочитанных мною книгах, искусство, составляющее предмет исследования, существует в его связях с жизнью, то есть с отечественной историей.

Многобашенные каменные города, хоромная теснота и блеск государева двора, монашеская келья. Яркие одежды, ювелирные изделия — все это и многое другое, упоминающееся в связи с происхождением иконы или ее описанием, как бы заполнило собою некое земное пространство, на котором складывались иконописные школы и которое становилось территорией все разраставшегося Московского государства.

Этой своей стороной описание собрания Корина позволило вообразить живую, в течение столетий меняющуюся карту страны, самую же северную ее часть, оставшуюся пустынной, в известной мере заселила, или «подняла», как это в некоторых случаях говорится в отношении географических карт, небольшая книга М. А. Рсформатской «Северные письма».

«Север сыграл в истории русской культуры двоякую роль,— пишет Реформатская.— С одной стороны, в силу своеобразных исторических условий Северу удалось сохранить в живой преемственности поколений духовные богатства всего русского народа, уходящие своими корнями в глубокую древность. В передаче северных жителей воскресали поэтические предания отдаленных языческих времен, а поморские и карельские сказители донесли до нас произведения древнего эпоса, сложенные еще в эпоху Киевского государства... И северная архитектура при всей ее яркой самобытности несла в своей основе старинные архитектурные формы и приемы плотничьего мастерства, издревле распространенные по всей Руси.

С другой стороны, Север оказался создателем и местной культуры, очень разнообразной и вместе с тем цельной... Эти две грани северной культуры нельзя воспринимать раздельно, и, видимо, их взаимопроникновение во многом определило весомость художественного значения Севера».

Двоякая роль Севера в развитии русской культуры, естественно, сказалась и в области живописи. В течение столетий в здешних храмах хранились иконы, в разное время привезенные из других мест и связанные с различными русскими и нерусскими живописными школами. В то же время здесь существовало и свое иконописание. Местные иконы, говорит автор, «всем строем своих образов и форм оказывались плотью от плоти культурного и художественного своеобразия северных окраин русской земли».

Эти иконы и есть, в сущности, «северные письма».

Они принадлежат в конечном счете к искусству огромной «мужицкой Руси», как говорит о северной живописи Э. С. Смирнова в книге «Живопись Обонежья», вышедшей в 1967 году в издательстве «Наука». «Это «деревенское» творчество,— пишет она,— испытывало сильнейшее воздействие искусства крупных городских центров, но и само, в свою очередь, вряд ли прошло бесследно для истории русской культуры. Оно составляло ее органичную часть, ее самый почвенный, «простонародный слой».

Север представлял собой по преимуществу страну сельскую.

Северное крестьянство, напоминает Реформатская, не зная жестоких форм крепостничества, распространенных по всей России, благодаря чему ему удалось сохранить известную вольность и свободу личной инициативы.

Эти свойства северного крестьянина, обитавшего среди лесов и болот, вблизи ледовитого моря, соединившись с возможностью постоянно наблюдать новгородские, псковские, ростовские, московские и даже сербские иконы, чеканную церковную утварь и украшенные миниатюрами пергаментные книги, то есть произведения искусства, привозившиеся сюда из метрополий ради княжеской славы и ради торжества относительно нового для здешних полуязыческих мест вероисповедания,— все это, вместе взятое, и определило особенности «северных писем». Эти письма, говорит Реформатская, все же нельзя назвать художественной школой, поскольку они не обладают необходимым для школы внутренним единством, распадаются на «вологодские», «каргопольские», «устюжские» типы икон.

Рассуждая о временах, когда складывалось северное иконописание, Реформатская называет несколько древних икон, которые трудно непосредственно связать с какой-либо из центральных русских школ, но столь же неправомерно назвать «северными». Своими внушительными размерами и заметной оглядкой на торжественный стиль предшествующей эпохи эти относящиеся к XIII веку иконы, считает Реформатская, восходят к видным очагам развитой культуры и богословской образованности, какими еще не могли стать в ту пору ни Белозерск, ни Великий Устюг. И в то же время почти невозможно представить себе, чтобы столь тяжелые и громоздкие доски доставлялись издалека, за многие сотни верст. Она высказывает предположение, что иконы эти писались на месте специально присланными на Север иконописцами. Вокруг таких приезжих художников и складывались иконописные мастерские, становившиеся рассадниками художественных наг-ыков по широкой округе. «Изделия таких мастерских,— развивает она свою

догадку,— поначалу были неотделимы от центра и попросту представляли собой его провинциальный отголосок. Но сначала подспудно, а потом и более ощутимо к этому подмешивалась и местная струя, со временем приобретающая все большую самостоятельность».

Может показаться, что рассуждения эти интересны лишь специалистам.

Но вот я прочитал, как складывалась северная иконопись, представил себе тамошние города и монастыри у излучин рек и по берегам озер, погосты с деревянными церквями, вокруг которых, в виду отступившего от них леса, расположились среди пашен деревеньки, вообразил работавших по монастырям и в церквях приезжих мастеров, к которым, сперва поглядеть, а затем и перенять их искусство, приходили местные живописцы, и передо мной возникли картины культурной жизни Севера в давние времена.

Во времени, как я понял, все происходило следующим образом.

В бассейнах Шексны, Сухоны и Северной Двины, где уже с XIII века числились крупными городами Белоозеро, Великий Устюг, несколько позже — Вологда, переплелись традиции, принесенные сюда выходцами из многих русских областей, что и составило основу культуры всего этого края. Быть может, потому, что начиная с XIV века на вологодской земле в большом количестве учреждаются монастыри, то есть центры тогдашней образованности и культуры, вологодская живопись отлична от «северных писем», она, можно сказать, духовней и, как я понял Реформатскую, приближается к тому, что принято именовать «школой», причем в нее входят произведения, происходившие с обширной территории, включающей не только Вологду и ее окрестности, но и Белоозеро, Каргополь, Великий Устюг,— иными словами, теснейше связанные с коренной Русью города.

Что до остальных северных земель, и прежде всего Обонежья и Двинской земли, то тамошние разрозненные и мелкие очаги иконописания, разделенные пустынными пространствами, были не похожи друг на друга. Самоучки-живописцы, работавшие здесь, слабо представляли, что делают собравшись по ремеслу в других местах. Многие области знали свою излюбленную манеру, или «пошиб», как говорили старые собиратели икон.

Эти особенности работы северных художников, рассуждает Реформатская, становились источником неповторимой самобытности их искусства.

«Глубокая близость северного искусства к корням народной жизни,— пишет она,— служила источником его демократичности, фольклорности самого его художественного облика. В иконах «северных писем», как и во всяком произведении фольклора, бросаются в глаза не столько особенности индивидуальной манеры того или иного мастера, сколько своеобразие общего иконописного типа, обращают внимание не столько признаки определенных периодов в развитии иконописи, сколько черты единой живописной традиции. Одним из устойчивых качеств этой традиции был, правда, и недостаток профессиональной выучки северных художников, нередко свойственные им черты художественного примитива. Но все это часто искупалось живой и наивной свежестью их восприятия жизни, несложной, но выразительной силой созданных ими образов».

Иконописью занимались на Севере по преимуществу деревенские жители — иноки здешних лесных «пустынек», сельские священники, дьячки, пономари, а всего больше крестьяне, для которых, замечает Реформатская, иконописание не являлось основным занятием. Чаще всего, говорит она о крестьянах, это были те самые мастера, которые расписывали бытовую утварь фольклорными сценами и красочными орнаментами. Все это объясняется тем, что до крупных монастырей и городов, где находились иконописные мастерские, было далеко, по тамошнему весеннему и осеннему бездорожью туда невозможно было добраться, а всем хотелось, чтобы и церкви, и красные углы домов были убраны иконами.

Ремесло деревенских живописцев было непосредственно связано с бытовым обиходом и окружающей природой. Иконы обычно писались на грубо отесанных сосновых досках, краски, среди которых преобладали землистые, плотные охры,

приготавливались из местных глин и растений. И образный строй икон был тесно связан с местной жизненной практикой.

«Искусство «северных писем», — пишет Реформатская, — проникнуто той народной религиозностью, которая часто обнаруживала малую осведомленность в сложных мудрствованиях богословской науки, но зато предоставляла выход чисто человеческому добросердечию, теплоте и подчас трогательной наивности... Вера северного человека, — продолжает она, — живущего в мире природных стихий, исходила не от ученых книг, а из самых глубин нелегкой трудовой жизни, и тут давала себя знать некая почвенная суть народных религиозных представлений, уходящая корнями в поэтическую фантастику еще дохристианских верований».

Чем бы ни занимался северный житель, он считал, что у него есть небесный помощник в повседневном труде. У земледельцев, рассказывает Реформатская, почитался Егорей, у скотников и коневодов — Власий, Флор и Лавр и тот же Егорей, у прях — Параскева, которая была еще и покровительницей невест. Николай Чудотворец был популярен среди рыбаков, плотников, торговцев. Илья-пророк спасал от непогоды и засухи, молний и пожаров, Козьма и Дамниан оберегали от болезней, Христофор — от эпидемий, Евстафий и Трифон избавляли от полевых вредителей.

Это была религия всей простонародной России, добавлю я от себя, но только на Севере деревенский житель выразил свои воззрения и верования в им самим писавшихся мужицких иконах, то почти неотличимых от висевшего на стене лубка, то похожих на стоящую здесь же прятку.

В лубочном духе сделана маленькая икона XVI века «Чудо о Флоре и Лавре», говорит Реформатская. Здесь все просто и наивно, начиная от примитивно закрашенной живописной поверхности, прыгающих строчек корявых надписей и кончая простодушным превращением святых в обычных пастухов, всадников — в глиняные игрушки, а главное божество — архангела Михаила — в неуклюжее существо с развернутыми в стороны черными крыльями, подобно грузной птице, качающейся на зубцах холма.

Икона XVII века на тот же сюжет, продолжает она, напоминает рисунки прялок. Мастера увлекла почти сказочная праздничность. Броски и яркие жемчужная обнизь на седлах, серебряный орнамент на одежде и расшитый узор чепраков, празднично принаряжены и святые конюхи...

Я непреднамеренно взял две книги о древнерусской живописи, само собой получилось, что иконы, описанные в них, сопоставились, и я еще раз укрепился в мысли, что Древняя Русь не есть нечто единообразное.

* * *

Прочитав у Реформатской, как «светлыми летними вечерами и нескончаемо тянущимися зимами, когда на дворе стояла стужа и свирепел ветер, в избах сидели крестьяне за росписью образов и прялок, коробов и дуг», я вспомнил вышедшую в 1967 году в издательстве «Искусство» книгу, где описываются чуть ли не все эти, кроме икон, изделия.

Книга называется «Резьба и роспись по дереву» и представляет собою сборник статей. Ее авторы — сотрудники Государственного исторического музея С. К. Жегалова, С. Г. Жижина, З. П. Попова, С. К. Просвирина и Ю. С. Черняховская. Произведения народного искусства, описанные ими, относятся одни к XVII и XVIII векам, другие — к XIX и даже началу XX.

И хотя по времени многие из произведений крестьянских художников, исследуемых здесь, казалось бы, принадлежат не той России, какую открывают книги, о которых я до сих пор рассказывал, все же это по преимуществу Древняя Русь, даже если на прялке изобразен генерал в эполетах и шляпе с плюмажем или играющий на гармонии кавалер в цилиндре.

Крестьянское искусство, подобно средневековому, подчинено обиходу, быту.

И точно так же, как средневековый живописец писал не картину вообще, но икону, имевшую служебное назначение, так и крестьянин, берясь за кисть или резец, не просто изображал цветы, птиц, животных, жанровую сцену или пейзаж, но украшал ими необходимую для дела вещь.

Это во-первых.

Во-вторых, как и средневековый художник, при всем том, что наблюдения над окружающей его жизнью и природой в той или иной мере входили в создаваемые им вещи, крестьянин не ставил себе целью воспроизвести действительность с иллюзорной точностью, но фантастически преображал ее, чаще же всего рисовал некий баснословный либо идеальный мир. Впрочем, если взять во внимание обширность и многообразие всей той, я бы сказал, художественной промышленности, которая существовала в Древней Руси, то крестьянским это искусство можно назвать по происхождению, по эстетическим воззрениям, занимались же им не одни лишь землепашцы, но и обитавшие по городам и в монастырях мастера.

В подтверждение того, что это была именно промышленность, хотя многие изделия работали между делом для себя и для вотчинника крестьянами тяготевших к вотчине деревень, сошлюсь на существовавшее у живописцев разделение труда. Среди них были, например, травщики, то есть мастера, которые заполняли фон иконы орнаментом из цветов и трав, они же расписывали сундуки, мебель, жилые покои, оконные наличники и ставни, ворота, сани, дуги, возки... «Особенно высоким мастерством росписи славились устюжские травщики», — говорится в статье «Расписные сундуки XVII—XVIII веков», помещенной в сборнике. Здесь же приводится любопытный документ, одновременно позволяющий судить о популярности устюжан, о взаимоотношениях художников с царским двором и о некоторых чертах из жизни людей того времени.

Устюжане жаловались царю Алексею Михайловичу на частые вызовы в Москву. Они писали, что и в прошлом вызывали их по царскому указу для иконного письма и в нынешнем году взяты «к Москве в Коломенское для травчатого письма восемь человек». Но в Устюге Великом и в уезде иконных писцов всего двенадцать человек, тогда как в Вологде больше сорока. «А по твоему государя указу и по грамотам емлют с Вологды к тебе для иконного письма по три человека, а с иных городов иконописцев и не емлют». В обоснование своей жалобы устюжские мастера приводили еще и тот резон, что «Устюг Великий от Москвы за тысячу верст и больше, пять сот верст водяной путь... реками; егда бывают ветры великие, и мы сироты твои стоим от ветров в малых судах дни по три и по неделе, бояся от воды потопления; и при иных городах в дальних волокидах и в беспромыслицах нам сиротам твоим чинятся многие убытки, досталь одолжали неплатными долгами и обнищали и в конец разорились; а жёнишки наши и детишки на Устюге бродят по миру».

Роспись и резьба по дереву были распространены повсеместно, причем успехом пользовались по преимуществу сюжеты сказочные. «Над воротами домов христиан поставлены звери и змии и неверные храбрые мужи», — сокрушался автор одного письменного свидетельства XVI века и советовал согражданам эти языческие изображения заменить христианскими.

Один из таких неверных, то есть язычников, изображен на крышке сундука-теремка. Цветная репродукция росписи, подкрепляющая ее описание, помещена в книге, щедро иллюстрированной, замечу попутно.

Это всадник в нарядной одежде, в развевающемся плаще, с короной на голове. В правой его руке — занесенный над головой меч, левой он держит повод богато убранного скачущего коня. Изображение всадника занимает центральную часть крышки, сплошь расписанной растительным орнаментом, по словам авторов, типично устюжского травного письма.

В скачущем всаднике легко узнать Александра Македонского, говорится в описании сундука-теремка. История его подвигов, вольно пересказанная в книге «Александрия», пользовалась широкой популярностью. Увлекали необыкновенные походы полководца, превратившиеся в «Александрии» в фантастические рас-

сказы о самых невероятных чудесах. Отсюда его изображение перешло в произведения народных художников.

Я прочитал еще здесь же, в статье о сундуках, что художников специально обучали приемам изображения того или иного сюжета, в том числе иноземного. Так, например, обучавшиеся у иностранного мастера Станислава, говорится в одном из донесений царю, принесли в Оружейную палату «своего дела» листы, на которых изображены «живописным письмом цысари (то есть рыцари.— Е. Д.) римские на конех». В статье «Расписная мебель» сообщается, что в отделке Коломенского дворца применена была входившая тогда в моду «роспись на китайское дело», то есть роспись в китайском стиле, получившем тогда распространение в Европе.

Об одной из росписей говорится в книге, что ее многоцветный орнамент как бы уходит за пределы декоративного поля и напоминает отрезок дорогой ткани того времени — иностранной, добавлю я от себя, потому что среди бояр и высшего духовенства в ходу были французские, итальянские и персидские узорчатые шелка, парча, рытый бархат.

На иных росписях можно встретить и самих иностранцев — бритых длинноволосых мужчин в пышных, до колен панталонах и декольтированных женщин с непокрытой головой. Судя по тому, что они изображены праздными гуляками — один из мужчин играет на некотором подобии мандолины, другой явно предлагает женщине деньги, тогда как она, подбоченясь, подняла кубок с вином, — судя по иронической усмешке художника, иностранцы не с картинки срисованы, а взяты из живой жизни.

Перечисленные мною сейчас подробности, далеко не первостепенные в книге, встретившиеся мне здесь же описания сундуков-подголовков, у которых верхняя крышка была несколько скошена, чтобы можно было в дороге класть такой сундук под голову, — все это позволяет вообразить деятельную и многообразную жизнь, когда у художников в обычае общаться с иноземными мастерами, существует торговля заграничными предметами роскоши, в городах постоянно проживают иностранные купцы и ремесленники, богатые путешественники заказывают для своей казны окованные снаружи металлическим кружевом и расписанные внутри узорами и картинками дорожные сундуки-подголовки...

Я уже упоминал о литературном происхождении царственного всадника — любимого персонажа многих бытовых росписей, но и фантастические существа — единороги, берегини, и сказочно преобразенные львы, грифы — пришли в народную живопись из популярной в средние века книги «физиолог», из астрологии, геральдики, то есть из письменности.

Даже те произведения крестьянского искусства, какие создавались в самом конце XIX века, например прялки и городишки донца, которым в сборнике посвящены специальные статьи, — даже они знакомят нас с Древней Русью, с наименее известной светской стороной ее искусства.

Мне думается и сейчас, спустя сорок пять лет после выхода в свет маленькой, но удивительно содержательной книжки «Русская крестьянская живопись», будет с интересом и пользой прочитано следующее замечание ее автора, давно уже покойного Николая Михайловича Щекотова.

«Крестьянское искусство указывает нам... что наряду с прекрасной религиозной живописью существовала, например, и была чрезвычайно распространена и украшательная роспись языческого типа. Если баснословные изображения проники и укрепились надолго в крестьянском искусстве, то как же, значит, многочисленны и любимы были они там, откуда сошли в крестьянскую среду, то есть в торговом и правящем классах.

Крестьянство сохранило эти образцы до нашего времени с той же неизменностью, в какой пребывала в продолжение нескольких столетий крестьянская изба, а в высших классах они исчезли так же безвозвратно, как погибла вся лучшая «деревянная Русь», все деревянные боярские и купеческие хоромы, принесенные в жертву западноевропейскому влиянию».

Я бы лишь добавил, что крестьянство оставалось в своих избах вовсе не из приверженности к «деревянной Руси» и неприязни к западноевропейскому влиянию, но в силу необходимости. Это во-первых. Во-вторых, думается мне, светское искусство едва ли «сошло» в крестьянскую среду; подобно религиозному, оно существовало одновременно во всем обществе, разве что материалы, какие употреблял мастер, были разные.

Меня заинтересовало замечание Щекотова, что крестьянский художник избегает изображать сцены, связанные так или иначе с тяжелым трудом, со страданием, которой так много в жизни землепашца, он предпочитает выбирать моменты досуга — чаепитие, поездка на тройке, игра на гармонии. При всем том, что в сборнике «Резьба и роспись по дереву» приведены росписи, изображающие крестьянский труд — добыча смолы, пастьба, прядение, — все же преобладающими сюжетами, коль скоро художник отвлекался от сказки и баснословия, были праздничные, и если в XIX веке он изображал чаепитие, то в XVII — беседу в палате за пиршественным столом либо прогуливающуюся с цветком «девицу прекрасную».

Я думаю, в этом одна из особенностей древнерусского искусства.

Ему чуждо изображение телесного страдания, боли, изображение уродства...

В интеллектуальной его ветви, если можно так назвать высокие образцы русской древней иконописи, оно занято жизнью духа, предпочитает изображать душевную муку, но не физическую боль, в народном же ответвлении, куда входят и бытовые росписи, и мужицкие иконы, оно нарядно, фантастично, затейливо, снисходит до иронии, но избегает гнева. Эстетические принципы не позволяли древнерусскому живописцу, безразлично, образованный ли он богослов или неграмотный землепашец, воспроизвести натуральную кровоточащую рану или искаженное страхом лицо, как, впрочем, и распученное сытостью брюхо, торчащий над головой горб.

* * *

Вспоминая одну за другой названные здесь книги, я думал о том, что если бы ничего до этого не читал о Древней Руси, то и этих книг было бы достаточно, чтобы ощутить многообразие и величие ее культуры.

Я открывал архитектуру, мозаику, литературу, живопись, прикладное искусство... Оставалась, пожалуй, одна только скульптура.

Этому роду пространственных искусств посвящены книга-альбом Георгия Карловича Вагнера «Мастера древнерусской скульптуры», альбом Николая Николаевича Померанцева «Русская деревянная скульптура» и книга Николая Николаевича Серебrenникова «Пермская деревянная скульптура», вышедшие в 1966 и в 1967 годах в издательстве «Искусство», издательстве «Советский художник» и в Пермском книжном издательстве.

Внешний вид всех трех книг дает повод для некоторых размышлений.

«Пермская деревянная скульптура», хотя тоновые репродукции здесь несколько бледны, а большинство цветных несомненно далеки от оригинала и грешат слащавостью, все же радуется тем, что эта приятного формата, отпечатанная на плотной бумаге и переплетенная в голубоватый коленкор книга издана областным издательством. В сущности, это одно из первых изданий иллюстрированной художественной монографии в провинции.

Рядом с этой скромной, однако выдающей усердие и тщательность книгой «Мастера древнерусской скульптуры» и «Русская деревянная скульптура», печатавшиеся в Венгрии и в Финляндии, выглядят блестящими произведениями полиграфического искусства. Да они и впрямь выполнены отлично, если иметь в виду только лишь типографскую работу.

Но искусство книги состоит в том, чтобы с наибольшей выразительностью и, следовательно, доступностью передать читателю некое содержание. Отвлекающее внимание щегольство здесь противопоказано.

Между тем оба альбома несколько щеголеваты.

В «Мастерах древнерусской скульптуры» эффектные, исполненные контраст-

но репродукции в иных случаях побуждают любоваться искусством фотографа, то есть светописью, но не пластичностью резных каменных фигур и искусно сплетенного орнамента. В «Деревянной русской скульптуре» и самый текст, и многие скульптурные изображения воспринимаются всего лишь как материал в руках художника, оформлявшего книгу, решающего с их помощью какие-то свои графически-живописные задачи.

Можно бы об этом не говорить, тем более что оба издания пусть щегольски, но все же красивы и доставили многим немалую радость. И если я упоминаю здесь об этой их особенности, то только лишь из-за того, что древнерусское искусство, войдя в моду, зачастую преподносится как некий экзотический сувенир. Георгии и Богоматери, Миханлы архангелы и Николы без всякой в том нужды, то есть не ради необходимости изучить отдельно какую-либо деталь, произвольно кромятся на части, используются в качестве полиграфического украшения, причем цвет усиливается до рекламной крикливости, и всем этим разрушается созданный художником образ. Точно так же, мне думается, случается и тогда, когда древняя церковь, «церковушка», как стали умильно писать, — было время, когда в это же слово вкладывали уничижительный смысл, — когда отставрированный памятник древнего зодчества оказывается в соседстве с современным гигантом, теряя свою монументальность, лишаясь исторической среды, уподобляясь занятой игрушке.

Но я несколько отвлекся от содержания упомянутых книг.

Н. Н. Серебrenников, к сожалению, не доживший до выхода в свет своего очерка, если и не был первым, кто открыл пермскую деревянную скульптуру, то одним из первых. Впрочем, он первый увидел в этих вырезанных из сосны пермяцких статуях, изображающих Христа, Николу Можая, Марию, евангелистов и Параскеву Пятницу, произведения искусства, собирал их, изучал и пропагандировал, начиная с вышедшей еще в 1928 году книги под тем же названием, что и нынешняя.

Он вспоминает в предисловии к этому последнему своему труду, как в один из дней 1922 года, в сильный ветер, в селе Ильинском Пермской губернии, возвращаясь домой, шел мимо кладбищенской часовни, услышал стук отворенных дверей, нехотя свернул посмотреть, в чем дело, и неожиданно увидел такое, что крайне поразило его. «Главную стену в часовне занимали пять деревянных скульптур. А ведь они не должны бы здесь находиться — скульптурные изображения не приняты в православии».

Особенно удивила его фигура Христа с лицом татарина.

С этого и начато было собирание пермской скульптуры, сперва в районном музее, которым заведовал Серебrenников, а с 1923 года — в только что открытом художественном музее в Перми, куда он переехал.

В книге, предназначенной автором для широкого круга читателей — чем она и отличается от одноименного, сорокалетней давности издания, имевшего подзаголовок «Материалы предварительного изучения и опись», — в книге рассказывает о лучших произведениях, выставленных в Пермском музее, говорится о предполагаемом происхождении и особенностях местной деревянной скульптуры, о том, чем она близка деревянной скульптуре других русских областей и чем на нее не походит.

Происхождение Пермских богов, как принято называть здешние деревянные изваяния, Серебrenников связывает с легендарной Золотой бабой и Войпелем — кумирами народов Великой Перми, и уж во всяком случае с теми деревянными болванчиками коми-пермяков, ханты и манси, какие были предметом поклонения и служили так называемыми оберегами, то есть охраняли от всяческих напастей, даже и в нашем столетии.

Впрочем, деревянная скульптура других областей России, можно предположить, тоже происходит от идолов и оберегов. Н. Н. Померанцев приводит свидетельство арабского путешественника Ибн-Фаллана, в 922 году встречавшегося на берегах Волги с русскими купцами, которые, сойдя с кораблей, несли с собой:

«хлеб, мясо, лук, молоко», приносили все это «высокой воткнутой деревяшке, у которой имеется лицо, похожее на лицо человека, вокруг него маленькие изображения, а позади этих изображений стоят высокие деревянные, воткнутые в землю».

Церковь, борясь с идолопоклонством, уничтожала древние изваяния.

Скульптурные изображения не были приняты в православных храмах

Когда я рассматривал репродукции ярко раскрашенных скульптур XV, XVI и XVII веков в альбоме Померанцева, вспоминал свои впечатления от деревянной скульптуры в музеях и на выставках, мне представлялось, что эти по большей части барельефы, а если и статуи, то не предназначенные для обозрения со всех сторон, сзади совершенно плоские, да и спереди достаточно условные, — что вся эта многоцветная, по преимуществу фронтальная скульптура проникла в церкви под видом икон. Это как бы те же иконы, но только выполненные другими средствами: новые из скульптур даже помещены в икоты, дополнены живописными изображениями. Они и по духу своему близки той иконописи, которая отличается декоративностью, выбирает сюжеты фантастические, сказочные — вернее, толкует таким образом те из житийных ситуаций, какие поддаются этому, — либо обращается к народным, взятым из обиходной жизни характерам.

К числу первых следует отнести Георгия, поражающего змия либо просто гарцующего на коне, — юного и отважного рыцаря из сказки. К числу вторых — мудрого и крепкого духом Николу Можайского, глядящего не то воеводой, поднявшим меч, не то старостой, замахнувшимся палкой; строгую, исполненную основательности Параскеву Пятницу, хозяйку большого дома; наконец, святителей и Богоматерь с младенцем, во всем похожих на тех людей, с какими встречался изваявший их мастер.

Пермская скульптура, напротив, ничем не походит на русскую икону, как бы даже противостоит ей и в выборе персонажей, среди которых нет, например, излюбленного русскими иконописцами Георгия Победоносца — Егория Храброго, и в трактовке тех из них, какие и в Пермской земле были популярны, — Николы Можая, Параскевы Пятницы...

Здесь статуи обосновались в церкви не как изображение бога, но как бог, то есть как тот идол, которому привыкли поклоняться. Христианство распространилось в этих местах много позже, чем в России.

«В церковных скульптурах, как и в идолах, люди видели самого бога, — прочитал я у Серебrenникова. — Объемные формы скульптур, для убедительности раскрашенных, производили сильное впечатление своей осязаемой реальностью. Они казались воплощением божества».

И хотя еще в 1551 году русский Стоглавый собор запретил скульптуру, что впоследствии подтверждено было многими церковными постановлениями и царскими указами, в церквях Прикамья она продолжала появляться, так как местные священнослужители, чтобы привлечь население к христианству, считали возможным не соблюдать канонические правила.

Впрочем, меня заинтересовало не столько то, почему скульптура, как это принято только у католиков, чуть ли не главенствовала в пермских церквях, сколько то, что здесь, в отличие от других мест России, наибольшее распространение имели изображения страдающего Христа — заключенного в темницу или же распятого, причем в облике его легко узнать черты населяющих здешние места татар, коми-пермяков...

Мне представляется это редким в русском народном искусстве случаем передачи художником физического страдания, отчаяния, покорности, смертного томления. Серебrenников объясняет это угнетенным состоянием здешнего населения, терпевшего нужду и страдавшего от произвола властей, но ведь и в других областях России был тот же феодально-крепостнический строй, и даже на относительно вольном Севере народу жилось нелегко, что видно хотя бы из приводившегося здесь письма иконных писцов из Великого Устюга царю Алексею Михайловичу.

Пермскую скульптуру я знаю лишь по двум книгам Серебrenникова и все же отваживаюсь высказать предположение, что известная несхожесть ее с осталь-

ной русской деревянной скульптурой, быть может, вызвана особенностями психического склада коренных обитателей этих мест, скорее же всего объясняется тем, что скульптура эта испытала некое внешнее влияние, проникшее сюда с какими-то переселенцами из западных областей.

Но я не специалист в той области, какой посвящена та или иная книга. Я только лишь передаю ее содержание и некоторые попутно возникшие мысли.

Мне остается еще рассказать о книге Г. К. Вагнера, в которой исследуется скульптурное убранство Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Собор этот был построен в 1230—1234 годах из белого камня и сплошь покрыт скульптурой — ни один камень его не остался не затронутым резьбой. В XV веке собор обрушился и тогда же был восстановлен знаменитым Василием Дмитриевичем Ермолиным, бережно собравшим старые камни. Ермолин сохранил древнюю скульптуру, не добавляя новой, но, к несчастью, перепутал ее, и вместо стройных, подчиненных некоему замыслу и поэтому понятных картин, в свою очередь подчинявшихся общей идее всего здания, образовался загадочный сонм человеческих фигур и чудищ.

В известной своей книге «Скульптура Владимиро-Суздальской Руси», вышедшей в издательстве «Наука» в 1964 году, Вагнер теоретически реконструировал скульптурное убранство Георгиевского собора, то есть как бы собрал по порядку перепутанные страницы каменной книги и прочитал ее. В настоящем же издании, говорит он, «впервые дается характеристика творческого лица мастеров, стили созданной ими скульптуры и исторического места, занимаемого ею в общеевропейском искусстве».

И сегодня еще скульптура Георгиевского собора, при перестройке ставшего значительно ниже, содержит без малого четыреста пятьдесят рельефов. Две трети из них составляют изображение человека, в ряде случаев достигающее чуть ли не метра в высоту. Количество и характер сохранившихся рельефов, считает Вагнер, дают основание признать, что скульптура Георгиевского собора была для Руси своего рода «русским Шартром».

Вагнер имеет здесь в виду лишь место, какое занимал в русском искусстве того времени Георгиевский собор, что же до идейного его значения, то скульптурное убранство собора, разгаданное Вагнером, как бы уподобляло его Сиону, то есть символу христианского мироздания.

Выше всего помещались фигуры, изображавшие «верхнее небо» и «нижнее небо»; в верхнем — благословляющий Спас-Еммануил и ангелы, в нижнем — Преображение, Распятие, Вознесение, ветхозаветные и апокрифические сюжеты. Композиции эти сопровождалась поэтическими символами различных сил природы: птицами, сиринами, грифонами, драконами, львами...

Ниже Небесной церкви помещалась Земная.

Здесь была богоматерь в типе Оранты, то есть Нерушимой стены, по тогдашним представлениям, обороняющая от врагов; были святые воины — патроны владимиросуздальских князей; были ветхозаветные цари Давид и Соломон, братья-мученики Борис и Глеб, целители Козьма и Дамиан...

Тема Земной церкви, говорит Вагнер, по мере приближения к нижнему ярусу собора все более переходила в тему прославления владимиросуздальского княжеского дома. Однако программа скульптуры этим не ограничивалась. Весь нижний ярус здания, по словам Вагнера, представлял картину цветущей Земли. Может быть, даже имелась в виду Владимиро-Суздальская земля как основа если не мироздания (Сиона), то Руси.

Стены нижнего яруса покрыты резным орнаментом в виде пышных деревьев — быть может, деревьев Жизни — с птицами и зверями у основания. Такие же деревья высечены по сторонам порталов, а углы последних декорированы круглыми медальонами с изображением зверей, птиц, чудовищ.

В верхних ярусах фоновой скульптуры тоже служит растительный орнамент, но не в виде крупных деревьев, а в форме виноградоподобного плетения — возможно, символизировавшего вертоград, замечает Вагнер. «Все это придает теме

прославления Владимиро-Суздальской земли некий космогонический характер», — заключает он свой пересказ сюжетов и общей идеи скульптурного убранства собора в Юрьеве-Польском.

Этим и отличалась русская скульптура того времени от романской, где на первом месте были не космогонические, а конкретные «исторические» темы, например родословие Христа. И в зверином стиле, столь характерном для средневековья, русская скульптура с ее сказочностью, поэтичностью отличалась от химерических образов романской пластики.

Рассуждая об отличительных чертах владими́ро-суздальской скульптуры, Вагнер вместе с тем говорит, что рельефы Георгиевского собора, а с ними и вся русская монументальная скульптура XIII века вовсе не представляют собою какое-то местное явление в истории искусства, никак не связанное ни с романским, ни с византийским искусством, ни с нарождающейся готикой и назревающим проторенессансом. «Думать так было бы равносильно искусственному выключению передового владими́ро-суздальского искусства из общеевропейской художественной культуры».

Я не стану приводить здесь интереснейшие рассуждения Вагнера о мастерах, которых он считает образованными людьми, вероятно, побывавшими во многих странах, как это было принято у средневековых мастеров.

Быть может, лучше всего характеризует русского художника той давней поры, да и все русское общество, то, как Вагнер говорит, что в рельефах Георгиевского собора, хотя в них еще сохраняется физиологическая сага средневековья — человек и природа с ее фауной и флорой, в сущности, нерасчленимы, — что старая символика растворяется здесь в главной теме скульптуры, теме человека — устроителя мироздания.

Спустя четыре года после окончания Георгиевского собора в Юрьеве-Польском на Владимиро-Суздальскую Русь обрушились полчища Батые.

Я вспомнил упоминающихся Лазаревым и Рыбаковым половцев, вспомнил, что и после Куликовской битвы долго не прекращались кровавые и опустошительные набеги ордынцев, и вообразил века, в течение которых русская культура складывалась при одновременной борьбе с дикой степью.

* * *

Однажды, когда я писал эти заметки, мне случилось увидеть на одной из московских выставок картину художника В. Попкова «Северная песня». На картине изображены были молодые горожане, скорее всего студенты или научные работники, зашедшие в деревенский дом и слушающие, должно быть, специально для них согласившихся спеть пожилых женщин.

Казалось бы, жанровая сценка, не столь уж редкая в наши дни, когда в летнее время по северным древним городам и селам бродят с рюкзаками вот такие же девушки, как эта в углу, опершаяся локтями на стол и в задумчивости глядящая в окошко, за которым светлеется на закате тихая полноводная река; или этот бородатый юноша, отвернувшийся от поющих женщин и, тоже задумавшись, уставившийся в другое окошко; или эти, почти мальчики, один в очках, приложив ладонь к щеке, замерший на лавке против певиц, и другой, рядом с ним, в кедах и просторном свитере, тонколицый, с низко опустившимися на лоб и шею завитками волос...

Я не буду говорить здесь о живописных достоинствах картины, как мне представляется, очень талантливой. Подобно всякому значительному произведению живописи, она вызвала круг мыслей и чувств, далеко выходящих за пределы того реального события, какое изображено художником.

Возможно, художник и не думал о том, о чем думал я, стоя перед его картиной. Но даже если его мысли были не из того ряда, что мои, даже если он просто написал мезенских вдов, как именуются женщины в подписи к картине, то эти крестьянские вдовы, спустя двадцать с лишним лет после победы поющие: «Ой да как всех мужей побрали на войну», позволяют вообразить всех вдов, какие толь-

ко были с того утра, когда Ярославна рано плакала на стене в Путивле, а то, как их слушают молодые люди, позволяет предположить, что здесь изображена встреча с Россией, с ее историей, особенно сохранившейся в искусстве Севера.

В этом убеждает и то, что женщины изображены в одинаковых позах и все на одно лицо. Для слушающих они как бы не имеют индивидуальных особенностей, отдельных судеб, имен, потому что они народ, история.

Только одна, вставшая с краю, горбатенькая, в прямых жестких складках длинного платья, истово вытянувшая руки вдоль тела и приподнявшая голову, — только она отличается от других и вносит в эту освещенную вечерней зарей сцену некую пронзительную черту, характерную для того отношения к родной земле, какое выражено тютчевским «эта скудная природа», черту, родственную народному понятию любви-жалости.

Среди этих мыслей была и та, в которой я особенно укрепился позднее, — что молодежь, открывающая сейчас для себя Россию, по преимуществу видит ее страной деревенской, тогда как уже в IX веке северные источники называют наше отечество страной городов, в событиях же конца XVI и начала XVII века о себе заявило наше третье сословие — купцы и посадские люди, населявшие богатые промыслами и торговлей города Нижний Новгород, Ярославль, Кострому, Вологду. Сольвыгодск, создавшие затейливую архитектуру и повествовательные стеновые росписи.

И еще я думал, размышляя о молодых людях, которых встречаешь летом на дорогах севернее Москвы, что чувство истории, каким они сейчас охвачены, должно привести их, например, и в сводчатое помещение мастерской бытового ремонта, вход в которое ведет из короткого прохода между площадью Свердлова и улицей 25 Октября, — спуститься по двум ступенькам, стоять среди толкающих тебя посетителей, сознавая, что это одна из палат того самого Никольского греческого монастыря, где похоронен Антиох Кантемир, — и в соседний с этим зданием двор, где испытать восторг от сознания, что стоишь на земле первого высшего учебного заведения России — Славяно-греко-латинской академии, смотреть на сохранившиеся до сих пор дома и великолепно вознесенный красный с белым собор. Здесь бывали Симеон Полоцкий, тот же Антиох Кантемир, учившийся некоторое время в академии, Михайло Ломоносов...

Но всему этому я хочу добавить, что в то же время, когда писал эти заметки, мне случилось наблюдать, как разбирают старую железнодорожную водонапорную башню, и я думал о том, что с этой иссиня-красной, в жестких кирпичных украшениях русской индустриальной архитектурой конца прошлого века связаны такие слова и понятия, как пролетариат, забастовка, что она уже тоже стала историей, соединенной со всей предыдущей «единой цепью событий», если употребить слова Чехова.

«Россия» — «Россия», как обозначали нашу страну на италийских картах уже в XIV—XV веках, — в прошлом своем вместила в себя многое.



ПИСЬМА В. Н. БУНИНОЙ

Я познакомился с творчеством Ивана Алексеевича Бунина еще в ранней юности (в 1912 году) и с тех пор стал страстным почитателем его таланта, много беседовал с людьми, знавшими Бунина, годами собирал материалы для его биографии — не в качестве профессионального литератора, а просто как влюбленный читатель.

Видеться с Буниным мне, однако, не пришлось, хотя я и не раз, именно с этой целью, ездил из провинции в Москву в 1915—1916 годах. Когда же в 1922 году я приехал в Москву на постоянное жительство, Бунин уже находился в эмиграции.

В двадцатые годы мне приходилось писать об эмигрантской литературе, и в частности о Бунине (в «Известиях», в «Красной нови» и «Новом мире»), и я, восхищаясь художественностью его произведений, не мог не критиковать его политических позиций. Это очень сердило Бунина, и однажды он с большой резкостью ответил мне в берлинской русской (кадетской) газете «Руль». Но это не угасило моей любви к Бунину-художнику.

И. Бунин до конца дней не пересмотрел своего отношения к Октябрьской революции. Но в последние годы жизни его политические взгляды несколько изменились, что выразилось и в безупречном патриотическом поведении во время Отечественной войны, и в тщательном редактировании некоторых своих зарубежных произведений, и в интересе к советской литературе.

Творчество Бунина принято новым советским читателем: тираж его произведений начиная с 1956 года резко превышает тираж всех прижизненных изданий Бунина. Мне кажется, что для этого читателя представят известный интерес и публикуемые здесь письма В. Н. Буниной, которая более сорока пяти лет была не только преданным другом Ивана Алексеевича, но и его литературным секретарем.

Я впервые написал Вере Николаевне на исходе 1958 года, когда стало известно, что в Париже вышла ее книга «Жизнь Бунина», и очень быстро получил от нее и эту книгу, и любезный ответ. Завязавшаяся тогда же переписка продолжалась до смерти В. Н. Буниной. Она умерла 3 апреля 1961 года и похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, рядом с могилой Ивана Алексеевича.

Вера Николаевна была удивительной корреспонденткой. Чуть ли не восьмидесятилетняя, очень больная женщина, занятая разбором, публикацией и приведением в порядок бунинского архива, она неизменно находила время отвечать на письма, считая, что и это служит популяризации творчества Бунина.

Из публикуемых здесь писем видно, что В. Н. Бунина была одаренной женщиной и могла бы, вероятно, стать писательницей; но писать она начала только после смерти Ивана Алексеевича, а до этого занималась лишь переводами (между прочим, она отлично перевела «Воспитание чувств» Флобера). «Бунин всегда шутил, что два литературных таланта под одной крышей ужиться не могут», — вспоминал один хорошо осведомленный о жизни Буниных русский литератор.

Ее книга «Жизнь Бунина (1870—1906)» (Париж, 1958) — это живой и непосредственный, пожалуй, даже единственный источник, раскрывающий формирование Бунина как художника. В книге — ряд ранее неизвестных фактов и данных, житейских и творческих, которые обогащают наше представление о Бунине — человеке и писателе. Хотелось бы, чтобы эта книга была издана и у нас, — она адресована широкому читателю.

Не законченные Верой Николаевной «Беседы с памятью», печатавшиеся в некоторых зарубежных русских журналах и альманахах, служат, если расценивать их в биографическом плане, продолжением «Жизни Бунина»: в них повествуется о путешествиях Ивана Алексеевича и Веры Николаевны в Сирию, Египет, Палестину, Италию, Турцию в 1907—1913 годах.

Велика заслуга Веры Николаевны и перед отечественной Бунинианой. Ее переписка с советскими литературоведами, передача ею значительной части архива в Советский Союз — все это оказало и оказывает большую помощь как в издании бунинского наследства, так и в изучении его.

Письма В. Н. Буниной печатаются с сокращениями, касающимися обстоятельств чисто личного характера или связанных с ныне здравствующими людьми: всему свое время и свое место.

Сокращения отмечены многоточием, взятым в скобки. Нумерация писем произведена мною.

Ник. Смирнов.

I

Париж, 28 декабря 1958 года.

С Новым годом, радостей, успехов и здоровья желаю, многоуважаемый Николай Павлович.

Я уже послала Вам заказной бандеролью «Жизнь Бунина», а завтра pošлю сборник «Избранных стихов»¹, его уже давно нет в продаже. Я перенесла туда все поправки Ивана Алексеевича, которые он сделал за несколько месяцев до своей кончины. Думаю, что это тоже будет Вам интересно. Многих стихов Вы, вероятно, не знаете.

Мне всегда приятно оказать любезность тому, кто действительно любит и понимает творчество Бунина. Всем перечисленным Вами знакомым литературоведам я тоже посылаю эту книгу стихов и тоже с его поправками.

Интересно проследить, как он заменял более «поэтические» слова простыми. И Вам, как литературоведу, это интересно.

Очень приятно, что Вы были знакомы с Николаем Алексеевичем Пушешниковым², он был одним из самых близких людей к Ивану Алексеевичу и мог много и хорошо о нем рассказывать. Мы с ним жили почти одной жизнью одиннадцать лет. Он с нами бывал и в Италии, на Капри. Иван Алексеевич очень горевал о его смерти, о которой он услышал только после войны [...]

Я все никак не могу приняться за работу — осталось много неотвеченных писем. Хочу кончить их к 1959 году и засесть за работу, хотя чувствую себя не очень хорошо [...]

Всего лучшего, с Новогодним приветом.

В. Бунина.

¹ Ив. Вунин. «Избранные стихи». Издательство «Современные записки». Париж. 1920.

² Н. А. Пушешников (1882—1939) — племянник И. А. Бунина. Он переводил Голсуорси, Дж. Лондона, Р. Тагора и Р. Киплинга (проза). Переводы Киплинга и Тагора выходили под редакцией Бунина. Пушешников оставил интересные дневниковые записки о Бунине, опубликованные А. Бабореко в альманахе «В большой семье» (Смоленск. 1960, стр. 241).

II

Париж, 30.1.59.

Дорогой Николай Павлович!

Спасибо Вам за письмо. Оно доставило мне редкую радость, я почувствовала в Вас человека, который так верно понимает творчество Бунина, что он был бы сам восхищен [...] Меня порадовала Ваша фраза: «Отрывки из неопубликованных записей Бунина придают книге тонкую поэтическую прелесть»¹. Ни один рецензент не отметил этого, а я, когда писала, надеялась, что эти «отрывки» будут оживлять мое повествование [...]

В «Генрихе» Брюсова нет, но в самой героине изображена Макс — журналистка и писательница, писавшая потом вместе с мужем романы, если не ошибаюсь, фамилия их Ковальские. Эти романы печатались в «Вестнике Европы», а история Гали Ганской вся выдуманна, и прототип художника — Нилус², от него взято и в «Снах Чанга».

Приятно мне Ваше замечание о воскресении прошлого, что Вы видите Алексея Николаевича³, Е. М. Лопатину⁴, моего большого друга, у меня есть часть ее архива

и роман «В чужом гнезде», который так немилосердно сокращал Иван Алексеевич, Куровского⁵, замечательного человека, я о нем еще буду писать по личным впечатлениям; трудно мне было с Пашенко⁶ и его Цакни⁷, но, слава богу, этот барьер перескочила.

В Вашем письме сказано больше, чем в здешних статьях.

Очень меня радует, что Вы поняли, что Лика имеет отдаленное сходство с В. В. Пашенко. Она только в начале романа. В Лике, конечно, черты всех женщин, которыми Иван Алексеевич увлекался и которых любил. Мне кажется, что Иван Алексеевич не вел тех разговоров с В. В., какие вел Алеша Арсеньев с Ликой. Эти разговоры были, но с другой женщиной.

Согласна я с Вами: письма Ивана Алексеевича к В. В., к брату⁸, Бибикову — настоящие романы, и, конечно, «они характеризуют лишь Ивана Алексеевича».

Но, знаете, Иван Алексеевич был бы в отчаянии, что все это обнародовано. Я скоро напечатаю его литературное завещание⁹, где он умоляет [...] не печатать его писем, не разыскивать его слабых произведений, недаром он написал: «Кажется, никто не начинал так убого, как я» (пишу по памяти).

Но раз все обнародовано, то я тоже нахожу, что следует сравнить В. В. Пашенко с «преображенной» Ликой.

Я помню, когда я была гимназисткой, встречу с Иваном Алексеевичем, идущим с Е. М. Лопатиной в Царицыно — под Москвой — в солнечный летний июньский день. Лопатина была действительно замечательной личностью. Если Бог мне век продлит, я буду стараться создать ее образ, тоже ни на кого не похожий. От нее я слышала и о Унковской¹⁰. Буду несказанно Вам благодарна, если Вы пришлете мне выписку из ее воспоминаний.

Отношение А. Н. Цакни к Ивану Алексеевичу можно формулировать одной крыловской строчкой: «Нашел петух жемчужное зерно...» и т. д. Я понимаю, что ей остается одно сказать: «Все забыла»¹¹. Но, увы, остались письма этой эпохи...

С Книппер¹² мы были в приятельских отношениях. Спасибо за «Декадентские стихи»¹³. Если будет моя книга переиздана, помешу их целиком.

Я очень рада, что Вы любите «Сны Чанга». Я раньше Ивана Алексеевича оценила их, этим я горжусь. Он написал и, давая мне для переписки, сказал: «Перепиши этот пустячок, я продал его за 1000 рублей в «Творчество». Переписав, я сказала ему: «Это не пустячок, это лучше «Господина из С.-Фр.» — ты поднялся гораздо выше». — «Ну, ты ничего не понимаешь», — возразил он. «Посмотрим, кто из нас лучше понимает», — ответила я.

Иван Алексеевич был бы доволен, что Вы больше всего цените книгу «Темные аллеи»¹⁴. Он считал, что там каждый рассказ написан «своим ритмом», в своем ключе, а про «Чистый понедельник» он написал на обрывке бумаги в одну из своих бессонных ночей, цитирую по памяти: «Благодарю Бога, что он дал мне возможность написать «Чистый понедельник»...»

Вы правы: Иван Алексеевич недооценивал многих своих произведений. Он никогда не позволял читать при нем свои книги — ему все казалось плохо, и, конечно, поэтому он старался все переделывать, то есть главным образом сокращать. Иногда он и жалел о выброшенном месте. У него не было самоупоения.

Он говорил даже перед смертью, что [...] он «не сделал того, что мог бы сделать»... Буду благодарна, если пришлете его рассказ «В деревне»¹⁵, там, вероятно, взяты Бутырки¹⁶.

Да, статость он любил, и Вы правы, что многие рассказы — настоящие романы. Правильно, что он сближается с Пушкиным, которого он обожал и превосходно изображал его, каким он ему казался.

По правде сказать, я не знаю, чем он руководствовался, издаваясь в «Петрополисе»¹⁷. У него временами бывало отталкивание то от одних своих произведений, то от других. «Провансальские пересказы»¹⁸, по правде сказать, он писал из-за денег для газет, когда мы были очень бедны перед Нобелевской премией. Я их так давно не перечитывала, что ценности их не представляю, м. б. Вы правы.

Вы знаете, я только после смерти Ивана Алексеевича узнала о его статье о Никитине [...] ¹⁹.

У кого из Ваших писателей чувствуется влияние Бунина? Иван Алексеевич в свою очередь ценил Паустовского, и, конечно, об этом Паустовский знает.

Спасибо за выписку из Паустовского о Бунине. Он верно его схватил. Он любил огорошивать, только глаза не серые, а синие. Очень рада, что появились у Вас «Метеор» и «Ночлег» ²⁰ [...]

Иван Алексеевич очень любил Колю и много сделал для того, чтобы развить его литературные способности, ведь он был очень одарен, но крайне застенчив. По Вашей характеристике я вижу, что он после нашего отъезда очень развернулся [...] Очень рада, что переводы Коли переиздаются ²¹. Киплинга Н. Ал. переводил на Капри.

Я хотела бы Родионову ²² послать свою книгу, но не знаю, хочет [ли] он ее иметь и по какому адресу, если хочет, послать. Его книгу о Толстом в Москве я прочла. Хорошо! [...] Передайте ему мой сердечный привет. Никулин бывает у нас, когда посещает Париж. Я помню его еще на наших «средах» в кружке, совсем молодым. Катаева знала хорошо. Он бывал у Ивана Алексеевича и на даче под Одессой, и в Одессе, когда он еще был Валей Катаевым.

С Маргаритой Кирилловной ²³ не была знакома. Но много о ней наслушалась от бывавших у ней. Видала ее и в ложах театров. Ее внучка живет под Парижем. Она замужем за внуком С. Я. Елпатьевского ²⁴.

Я сейчас просмотрела «Новый журнал» ²⁵, ища в нем Бунина. В первых номерах, которых у меня нет, печатались из «Темных аллеи»: в XIV—1946 — его «Ловчий»; в XIII — «Гаяль Ганская», в XII — «Месья», в XI — «Речной трактир», «Дубки», «Пароход Саратов», X — «Чистый понедельник». С XV ничего не печаталось до III номера в 1958 году — «Происхождение моих рассказов». После его смерти была издана книга «О Чехове» ²⁶, не законченная автором. Вторая часть — сырой материал к этой книге, который мы с писателем Зуровым собрали ²⁷. В этой книге много о Л. А. Авилловой ²⁸, которую, по мнению Ивана Алексеевича, Чехов любил, но они оба этой любви не позволяли развиться. Чехов ни к одной женщине не относился, как к ней. Иван Алексеевич хорошо знал Л. А., знал, что она органически не могла лгать, а потому ее воспоминания очень ценны.

Я печатала свои воспоминания в газетах, но не очень много.

Спасибо за «Охотничьи просторы». Жду их. Жду и «Золотой Плес» ²⁹. Кувшинникову ³⁰ я знала, но не через Ивана Алексеевича [...] Если попаду к дочери Рахманинова в Швейцарию, то послушаю его III симфонию и сравню ее с «Ж[изнью] А[рсеньева]» ³¹.

Всех успехов, здоровья и радостей желаю.

В. Бунина.

¹ Речь идет о книге «Жизнь Бунина», где Вера Николаевна впервые опубликовала юношеские записи Бунина. Они перепечатаны в собрании сочинений Бунина («Художественная литература». М. 1967, т. IX, стр. 336—351; ниже все ссылки на собрание сочинений даются по этому изданию).

² «Генрих», «Гаяль Ганская» — рассказы из сборника «Темные аллеи» (см. собрание сочинений Бунина, т. VII).

П. А. Нилус (1869—1943) — многолетний и близкий друг Бунина, художник, написавший, в частности, общеизвестный портрет Чехова, и литератор, автор повести «На берегу моря» (альманах «Шиповник», № 7, 1906) и сборника рассказов, изданных Московским книгоиздательством писателей.

³ Делясь с Верой Николаевной впечатлениями о ее книге, я написал, в частности, что художественность ее изложения помогает видеть описанных в ней людей как бы живыми. Отсюда ее фраза о «воскресении прошлого». А л е к с е й Н и к о л а е в и ч — отец И. А. Бунина (1824—1906).

⁴ Е. М. Лопатина (1865—1935) — писательница (псевдоним К. Ельцова), близкая знакомая Л. Н. Толстого и И. А. Бунина. Бунин посвятил целую главу устным воспоминаниям Лопатиной о Толстом в своей книге «Освобождение Толстого» (см. том IX собрания сочинений).

⁵ В. П. Куровский (1869—1915) — художник из плеяды «южнорусских художников», хранитель Одесского музея, близкий друг Бунина, покончил жизнь самоубийством: Бунин посвятил ему большое стихотворение «Памяти друга» (см. том I собрания сочинений).

⁶ В. В. Пашенко (1870—1918) — прототип героини «Жизни Арсеньева» — Лики (но с очень большими художественными видоизменениями). В частности, смерть Лики, которой заканчивается роман, вымышлена: В. В. Пашенко в 1894 году оставила Бунина и вышла замуж за приятеля Бунина — А. Н. Бибилова. Кроме «Жизни Арсеньева», образ В. В. Пашенко явно отражен в двух рассказах Бунина: «В ночном море» (1923) и «Позднем часе» (1938).

⁷ А. Н. Цакки (1879—1963) — первая жена Бунина. Бунин женился на Анне Николаевне в 1898 году и развелся через два года.

⁸ Старший брат Ивана Алексеевича — Юлий Алексеевич (1857—1921), революционер-народник, литературно-общественный деятель, с 1897 года — редактор журнала «Вестник воспитания».

⁹ Вошло в IX том собрания сочинений Бунина.

¹⁰ Е. А. Унковская (Некрасова) (1868—1947) — автор мемуаров о старой Москве; выдержки из этих неопубликованных мемуаров, касающиеся Е. М. Лопатиной и И. А. Бунина, были посланы мною Вере Николаевне.

¹¹ «Все забыла...» — так ответила мне А. Н. Цакки, когда при встрече в Москве я попросил ее поделиться воспоминаниями о И. А. Бунине.

¹² О. Л. Книппер-Чехова (1868—1959) — артистка МХАТ, вдова А. П. Чехова.

¹³ Написанные И. А. Буниным (совместно с А. М. Федоровым) шуточные стихи, пародирующие творчество декадентских поэтов:

О верный, вечный, помнишь ты
 На улице туман?
 Две девы ищут комнаты,
 Идет прохожий — пьян.
 Шпионы востроносье
 На самокатах жмут.
 Всем задаю вопросы я,
 Вопросы там и тут.
 Но на вопросы пьяные
 Ответа нет и нет.
 Сквозь сумерки туманные —
 Холодный, белый свет...

¹⁴ На экземпляре сборника «Темные аллеи», присланном мне, Вера Николаевна написала: «Увы, не от автора, который считал эту книгу самой совершенной по мастерству».

¹⁵ Один из ранних рассказов Бунина, вошедший во II том собрания сочинений.

¹⁶ Бутырки — одно из имений Буниных.

¹⁷ «Петрополис» — эмигрантское издательство, в котором, после получения Буниным Нобелевской премии (1933), издавалось собрание его сочинений в одиннадцати томах.

¹⁸ «Провансальские пересказы» (старофранцузский фольклор) печатались в одной из парижских эмигрантских газет и не включались Буниным ни в один сборник.

¹⁹ Статья о И. С. Никитине «Памяти сильного человека» помещена в IX томе собрания сочинений.

²⁰ Рассказы «Метеор» (1920) и «Ночлег» (1949) были напечатаны в московском альманахе «Охотничьи просторы»: первый — в № 9 (1958), второй — в № 8 (1957); оба рассказа вошли в собрание сочинений (т. V и VII).

²¹ «Коля» — Н. А. Пушешников. См. примечание 2 к первому письму. Переводы Н. А. Пушешникова из Рабиндраната Тагора («Садовник» и «Гитанджали») были напечатаны в собрании сочинений Тагора (М. 1957, т. VII).

²² Н. С. Родионов (1889—1960) — литературовед, исследователь творчества Л. Н. Толстого, автор книги «Толстой в Москве» («Московский рабочий». 1959).

²³ Маргарита Кирилловна — Морозова (1872—1958) — владелица дореволюционного московского издательства «Путь», выпускавшего преимущественно религиозно-философскую литературу (В. Соловьева, Н. Бердяева, С. Булгакова, П. Флоренского и других).

²⁴ С. Я. Елпатьевский (1854—1933) — писатель, автор книги «Воспоминания за 50 лет» («Прибой». Л. 1929).

²⁵ «Новый журнал» — «толстый» (ежеквартальный) эмигрантский журнал, выходящий в Нью-Йорке.

²⁶ Полное название книги: «О Чехове. Незаконченная рукопись». Издательство имени Чехова. Нью-Йорк. 1955.

²⁷ Л. Ф. Зуров (р. в 1902 г.) — писатель, близкий семье Буниных, автор романов «Древний путь», «Поле», сборника рассказов «Марьянка» и других произведений.

²⁸ Л. А. Авилова (1865—1942) — писательница, автор многочисленных повестей и рассказов, печатавшихся в дореволюционных журналах; ее воспоминания о Чехове

опубликованы после смерти Авиловой в сборнике «А. П. Чехов в воспоминаниях современников» (М. 1947). Ознакомившись с этими воспоминаниями, Бунин, в частности, писал: «Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом, были для меня открытием. Прочтя ее воспоминания, я и на Чехова взглянул иначе, кое-что по-новому мне в нем приоткрылось...» («О Чехове»).

²⁹ «Золотой Плес» — название моей повести о Левитане, напечатанной в №№ 11—13 сборника «Охотничьи просторы» (М. 1958—1959).

³⁰ С. П. Кувшинникова (1847—1907) — художница, близкий друг И. И. Левитана.

³¹ «Жизнь Арсеньева» — роман И. А. Бунина, напечатанный в томе VI собрания сочинений. Оценивая в письме к В. Н. Бунинной этот роман, я сравнил его — в тематическом отношении — с 3-й симфонией Рахманинова, написанной также в эмиграции и трактующей, как и «Жизнь Арсеньева», углубленно-трагическую тему родины.

III

Париж, 8 марта 1959 года.

Дорогой Николай Павлович!

Простите, что я так долго не отвечала Вам на Ваше интересное письмо, но я сейчас, увы, должна серьезно лечиться, а потому должна быть краткой, — всякая усталость запрещена. У меня нелады в крови, лишние белые шарики, и я уже недели три ничего не пишу, кроме писем, и то с большим опозданием. Ложусь в постель в 9—10 часов, раз в неделю в 11 ч. Сплю и днем. Должна гулять, не должна утомляться, а все же хозяйство, кухня, базар; правда, мне помогает наш друг писатель Зуров, который в нашей семье уже почти 30 лет, но и он больной — туберкулез, так что свалить на него все я не могу.

Все Ваше получила — и записи Унковской, и две книги «Охотничьи просторы». Спасибо. Ваше я все прочла. Да Вы — поэт! [...] Кроме того, Ваши суждения о Иване Алексеевиче редки, — он сам был остался доволен ими [...] Здесь этого мало. Может быть, нужно жить в России, в центре ее, чтобы понимать по-настоящему его творчество, а тут владеют умами больше «петербуржцы». И хоть и восхищаются, но до конца чувствуются, не понимают.

Жду с нетерпением продолжение Вашего «Золотого Плеса». Я с детства знала Кувшинникову, хотя и очень отдаленно, но много слышала, у моих родителей были общие друзья с Софьей Петровной [...] Но из Вашего произведения я кое-что узнала нового: она была охотницей, ходила в мужском костюме. Очень тонко Вы дали эгоизм творческого человека, и как хорошо, что она, будучи уже, правда, и не первой молодости, и причастной к творчеству, не делала ему сцен, а не скрывала своих волнений и радости, что с ним ничего не случилось. Ваше описание Плеса¹ меня восхитило, и я очень жалею, что я там не бывала. Я только побывала в нем, читая Вашу вещь. Все вижу: и природу и людей. Позвольте указать только на некоторые описки: в Москве в наше время были пролетки, а не тарантасы, которые шире пролетов, со скамеечкой против сиденья, тарантасы — это деревенский экипаж. В Москве они назывались колясками, а еще бóльшие — ландо. Я думаю, Вы это знаете, просто описались. Покорбило меня и слово «выглядит». Вы не найдете его у Ивана Алексеевича. У Вас хороший язык, а это слово пришло из Петербурга — аус зеен с немецкого, и употребляли его помощники присяжных поверенных, не обладавшие хорошим русским языком. Теперь оно встречается часто, например, у Никулина, но я ему об этом не сказала, и третьи — художники не любят слово «красочный», — мне говорил об этом Иван Алексеевич, — считают его «бранным». Вот и все мои маленькие замечания. Прочла я Вашу статью о Дрянском² [...] Завтра буду читать «Записки мелкотравчатого». Очень хорошо сделали, что переиздаете его. Иван Алексеевич мечтал переиздать «забытых писателей девятнадцатого века», да мало ли о чем он мечтал...

Неточно Вам сообщил Николай Алексеевич об Андрееве³. Мы с ним встретились на Капри, а не в Риме, и это на Капри был тот завтрак, о котором, вероятно, расска-

зывает Вам он. Я об этом надеюсь написать, если мои белые шарики сократятся. Мой врач думает, что — да [...]

Вообще мы все ошибаемся, например, Е. П. Пешкова⁴ пишет, что она слышала «Господина из Сан-Франциско» на Капри, когда он был написан в 1915 году в деревне. Именно в имении Пушешниковых, в Васильевском, без меня, — я уехала в Москву на свидание с братом, который приехал с фронта. Да и не мог Иван Алексеевич писать рассказ о Капри на Капри. Это была его особенность, как я уже отметила в «Жизни Бунина». На вилле Горького он читал много рассказов, а при Шаляпине — «Захара Воробьева». Вообще нужно очень проверять свидетельские показания. Я сама попала. С Куприной. Оказалось, все было не так, как мне рассказывали, и не один Иван Алексеевич, а и другие друзья.

Т. С. Колюс⁵ живет зимой в Париже, близко от нас, и я передала Ваш отклик⁶ и псказача Ваше письмо. Она была довольна.

Вы удивительно правильно отмечаете лучшие рассказы Ивана Алексеевича.

Допишу завтра, — устала.

9 марта.

Вчера на ночь, в постели, читала «Мелкотравчатого», — и хотя я не охотница и кое-каких терминов не знала, но читала с упоением, он действительно талантливый писатель. Прочла до третьей главы [...]

Название «Митина любовь» произошло оттого, что у нас в то лето в Грассе гостил один Митя⁷, сын родовитого помещика, очень молодой, тихий и застенчивый, и вот Иван Алексеевич представил, что такого барчука сбивает староста, чтобы получить бутылку водки и еще что-нибудь [...]

«Божье древо»⁸ я тоже очень люблю, его оценили очень многие, — Н. А.⁹, конечно, оно должно было очень нравиться. Он ведь не хуже Ивана Алексеевича знал мужиков, их душу.

Я согласна с Катаевым, что «Лика» похожа на Вертера, но «только гораздо лучше»¹⁰.

Согласна, что «Темные аллеи» будут по-настоящему оценены только впоследствии, но у Вас их понимают лучше, чем здесь, и неспроста Вейдле¹¹ о них не обмолвился [...]

Я очень тоже жалею, что Вы не познакомились с Иваном Алексеевичем, он сразу почувствовал бы в Вас родную душу и был бы с Вами настоящим. Когда ему не нравились люди, то он бывал иногда совсем не тем, чем был.

Зуров хотел бы послать Вам свою книгу¹². Его очень ценил Иван Алексеевич, перед смертью сказал: «...вот я умру, вы один останетесь...» Она есть у Александра Кузьмича¹³, ему она понравилась [...]

Последние месяцы своей жизни Иван Алексеевич тоже часто цитировал и стихи Пушкина и Лермонтова, особенно я любила слушать: «Выхожу один я на дорогу»... и как он читал это! Но всегда говорил, что конец хуже. Он вообще перед своей кончиной очень мучился смертями и Пушкина и Лермонтова и бесконечно говорил об этом. Я так бывала утомлена, что не могла записывать за ним, да и должна была тратить время на кухню, на целый день я не имела возможности пригласить себе помощницу, поэтому не могла и проводить с ним его бессонные ночи, ибо с утра должна была бежать на базар.

Вот написала Вам сумбурное письмо, но переписывать нет сил. Как-нибудь соберусь с духом и пошщу «Происхождение моих рассказов» [...]

Всяких успехов и здоровья желаю.

В. Бунина.

¹ Плес — город на Верхней Волге. В Плесе (в 1888—1891 годах) жили и работали художники И. И. Левитан и С. П. Кувшинникова. Левитаном написаны там, в частности, знаменитые картины — «После дождя», «Золотой Плес», «Осень Мельница».

² Е. Э. Дрянский (ум. в 1872 г.) — писатель, друг А. Н. Островского, автор романа «Туз», повестей «Одарка Квочиа», «Конфетка» и эпопеи «Записки мелкотравчатого». Эпопея, перепечатанная в сборнике «Охотничьи просторы» (№№ 8, 9, 10, 1957—

1958), сопровождалась моей вступительной статьей. Год рождения Дрянского не установлен.

³ Л. Н. Андреев (1871—1919) — известный русский писатель.

⁴ Е. П. Пешкова (1876—1965) — жена А. М. Горького, общественная деятельница.

⁵ Т. С. Коноус (1907—1962) — вторая дочь С. В. Рахманинова.

⁶ «Ваш оттиск...» — оттиск моей статьи о творчестве С. В. Рахманинова.

⁷ Митя — тогда начинающий поэт Д. А. Шаховской, ныне Иоанн, архиепископ Сан-Францисский (р. в 1902 г.). Архиепископ нередко выступает в эмигрантской печати и со стихами под псевдонимом «Странник».

Сообщение Веры Николаевны о том, что Д. Шаховской в той или иной мере послужил прототипом бунинского Мити, подтверждается самим архиепископом Иоанном, который в письме к О. Н. Михайлову от 27 июля 1967 года в связи с выходом книги Михайлова о Бунине писал, в частности: «Летом 1923 г. я жил с Буниным на их даче «Бельведер» в Грассе... Ив. Ал. писал тогда «Митину любовь» и как будто (разрядка автора.— Н. С.) кое-что внешнее во мне ему дало повод перенести в рассказ (меня звали, как героя сего рассказа); в рассказе встречается географическое место, названное моей фамилией («Шаховское»)... Но ничего подобного сюжету этого рассказа не было в моей жизни...»

⁸ «Божье древо» — рассказ Бунина (V том собрания сочинений).

⁹ Н. А. — Пушешников.

¹⁰ Вера Николаевна имеет в виду устный отзыв В. П. Катаева о «Лике», сообщенный ей мною.

¹¹ В. В. Вейдле (р. в 1895 г.) — искусствовед и литературный критик, автор книг «Умирание искусства», «Вечерний день», «Рим» и других. Вера Николаевна ссылается на статью Вейдле «На смерть Бунина», напечатанную в журнале «Опыты» (Нью-Йорк, 1954, стр. 80—93).

¹² Сборник рассказов «Марьянка».

¹³ А. К. Бабореко — советский литературовед, автор книги «И. А. Бунин. Материалы для биографии» (М. 1967).

IV

Париж, 4. IV. 59.

Дорогой Николай Павлович, пишу два слова: на строгом режиме — то спишь, то гуляешь, то лежишь, то ешь. Не выкраиваешь времени даже на письма. Спасибо за письмо от 30.III.59. Спасибо и за предыдущее [...]

Ни я, ни Зуров никогда не слыхали от Ивана Алексеевича дурного отзыва о Пришвине¹. И как Пришвину не подходит быть в «лагере Мережковских». Ремизова² Иван Алексеевич не любил. Но Пришвин — ведь органический талант [...]

Мы венчались в Париже в 22 году³.

Очень меня интересует диссертация Бажинова⁴. Нельзя ли ее достать? Он, видимо, не получил моей книги. М. б., послать ее в Москву? Но по какому адресу?

О смерти Ольги Леонардовны⁵ здесь писали. Б. К. Зайцев не выпускал книги, посвященной Бунину⁶. В его книге «Москва» есть одна главка об их молодости.

Алданов не думал писать о Бунине⁷. Он писал свои романы.

Л. Ф. Зуров посылает Вам свою «Марьянку». Других его книг нет в продаже, да и «Марьянка» осталась «на донышке». Его «Астория»⁸ — отрывок из большого романа «Зимний Дворец», еще не оконченого.

Больше часа мне запрещено писать.

Всего хорошего.

В Бунина.

Жду книгу «Горький и поэты «Знания».

¹ Ответ на мой вопрос об отношении И. А. Бунина к творчеству М. М. Пришвина.

² А. М. Ремизов (1887—1957) — русский писатель-символист, умерший в эмиграции.

³ В одном из ранних рассказов Бунина «Новый год» героиня говорит мужу: «По моему... венчаться надо бы два раза... Серьезно, какое это счастье — стать под венец сознательно, поживши, пострадавши с человеком...» Видимо, по этим соображениям И. А. и В. Н. Бунины, жившие с 1907 года в гражданском браке, и обвенчались в 1922 году. Сказалось в этом, кроме того, и пробудившееся у Бунина в эмиграции религиозное чувство.

⁴ Бажинов — киевский филолог, работавший над диссертацией о творчестве Бунина.

⁵ О. Л. Книппер-Чеховой.

⁶ Книгу о Бунине писал не Б. К. Зайцев, а литературовед К. Зайцев (р. в 1887 г.), позднее принявший монашество. Книга называлась: «И. А. Бунин. Жизнь и творчество» (издательство «Парабола», год не указан).

⁷ Не совсем точно: упомянутая выше книга Бунина «О Чехове» снабжена вступительной статьей М. Алданова, содержащей наряду с анализом взаимоотношений Чехова и Бунина очень интересные подробности о последних днях жизни Бунина.

М. А. Алданов (1889—1957) — русский писатель-эмигрант, автор исторических романов и повестей и многочисленных эссе; в частности, ему принадлежат два тома «Портретов» исторических деятелей прошлого и настоящего.

⁸ Отрывок из романа Л. Зурова «Зимний Дворец» («Астория») напечатан в «Русском сборнике» (книга I, Париж. Издательство «Подорожник». 1946).

V

Париж, 13.V.59.

Дорогой Николай Павлович.

От всего сердца благодарю Вас за такой чудесный подарок¹, но боюсь, что Вы слишком на меня тратитесь. Очень тронута. Читаю понемногу. Я жизнь Нестерова совсем не знала.

Самое трудное мне писать письма, а потому я и с опозданием благодарю Вас [...] Завидую Вам, что Вам бывает с кем беседовать о Бунине. Мне — редко.

Последнее время я много времени проводила с Пришвиным, наслаждалась природой, той, которой мне здесь не достает.

Иван Алексеевич у Розанова² не учился. Вероятно, он стал преподавать географию, когда «Ваня» бросил гимназию или когда уже в их классе географии не преподавали. Не пойму одного: что связывало М. М. Пришвина с Мережковскими? Ведь этот круг сосну от ели не мог отличить!

Действительно, о своем творчестве Бунин терпеть не мог говорить.

Очень приятно мне все, что Вы написали о Бажинове. Таких здесь нет. Постараюсь ему через П. Л. В.³ послать книгу, но боюсь, что у меня их «на донышке», ведь всего их было 500 экз., а я уже раздала почти 200 экз. Здесь покупать книги не любят [...]

Юбилей⁴ был скромный, на дому. Иван Алексеевич сидел в кресле, одетый в синий халат — юбилейный подарок одного из друзей. Были, конечно, делегации от парижских эмигрантских учреждений, были друзья, знакомые. В общем, за день перебивало человек двести [...] В этот день был заснят фильм. Он теперь в Америке [...]

Иван Алексеевич по книгам Зурова пригласил его в Грасс погостить. Он остался до сих пор в нашей семье, скоро 30 лет. Писать воспоминания⁵ он не может, на его руках роман «Зимний Дворец» и повесть «Иван да Марья». Первый я переписывала: хорошо!. О всеобщей Рахманинова я уже писала.

Я тоже из всех его сверстников и более молодых композиторов люблю и ценю больше всех Сергея Васильевича. Но очень близко я не знала его. Он ведь жил больше в Америке. Иногда бывал и в Грассе, и мы проводили вместе и у нас, и у них, в Капнах, время. Об этом я, конечно, если поправлюсь и буду жива, напишу. В Париже бывала на его концертах [...]

Мое здоровье немного лучше, но еще далеко не хорошо...

Веду скучный образ жизни: много лежу, много сплю, быстро чувствую утомление. Хожу в Булонский лес, но далеко не могу ходить и больше сижу там, где играют или в колясочках сидят дети.

Стало тепло. На глазах оделись деревья. Зацвели каштаны, белые и розовые, их мало.

Если пойдешь дальше, на озера, то можно услышать пение дроздов. Их любил Иван Алексеевич.

Прочла дневник Пришвина. Они с Буниным разные люди. Первый объясняет свое творчество, второй никогда, разве только немного приоткрывает его в «Жизнь Арсеньева» и то художественно, а не лично.

У меня сестра Рошина⁶ просит книгу, но адрес не московский, не знаю, через кого послать ей? Хотя я самой Рошину книги не послала бы,— не могу простить ему опубликованное письмо, в котором идет речь о живых людях. Он прекрасно знал характер Ивана Алексеевича, его вспыльчивость [...]

Кажется, на все ответила. Надо идти гулять. Еще раз спасибо [...]

Желаю Вам здоровья, радостей, успехов в творческой работе. Жду продолжение Вашего романа⁷.

В. Бунина.

¹ Альбом-монография А. Михайлова «М. В. Нестеров. Жизнь и творчество» (М. 1958).

² В. В. Розанов (1856—1919) — религиозный философ, литературный критик и публицист реакционного толка; в восьмидесятых годах преподавал географию в Елецкой гимназии, где учились (в разных классах и в разное время) Бунин и Пришвин.

³ П. Л. В.— инициалы Павла Леонидовича Вячеслава (1911—1966) — советского литературоведа, много и успешно работавшего над творчеством Бунина в качестве составителя и комментатора.

⁴ Вера Николаевна вспоминает о восьмидесятилетнем юбилее И. А. Бунина, отмечавшемся в 1950 году.

⁵ Я настойчиво просил Л. Ф. Зурова написать воспоминания о Бунине, рядом с которым он прожил столько лет.

⁶ Н. Я. Рошин (1896—1956) — русский писатель, тоже проживший в доме Буниных около двадцати пяти лет. В 1946 году вернулся на родину, скончался в Москве; в последний год его жизни в Детгизе был издан его приключенческий роман «Тайна Черного Континента».

⁷ «Золотой Плес».

VI

Париж, 8 июня 1959.

Дорогой Николай Павлович.

Спасибо за интересное письмо, сразу не ответила потому, что вообще не нахожу времени со своим «режимом» на ответные письма.

Пишу на машинке — это быстрее и менее утомительно.

Леонид Федорович очень доволен Вашим откликом¹. Он сейчас очень занят, хочется сделать как можно больше перед отъездом из Парижа [...]

Т. С. Конюс я показала место из Вашего письма, относящееся к ее отцу. Она прочла с удовольствием.

Чигаю по вечерам Нестерова [...]

Огромная работа. Много интересного, но много и лишнего. Мне кажется, так раньше не писали; как поеду в Сенар², так перечитаю монографию о Серове и сравню. Я прожила 46, даже 47 лет в близком общении с творческим человеком и пришла к заключению, что творчество — тайна. И объяснять его — попытка с негодными средствами. И на творческих людей влияют больше жизненные явления, чем те или иные идеи. А вот Тальников³ меня допрашивает: почему написаны «Темные аллеи», что они не в традиции русской литературы... Боже мой! Иван Алексеевич никогда не думал о традициях [...]

Думаю, например, что появились рассказы из книги «Темные аллеи» отчасти потому, что хотелось уйти во время войны в другой мир, где не льется кровь, где не сжигают живьем и так далее. Мы все были заняты писанием, и это помогало переносить непереносимое — ведь было и холодно, и голодно, и страшно — и если не за себя, то за близких людей. Мы жили на роскошной вилле (английской), нас всегда было пять-шесть человек, только после освобождения осталось четверо, иногда кой-кто и скрывался⁴. Поэтому нужно было отвлекаться, и всякий отвлекался по-своему. Ведь и Боккаччо писал «Декамерон» не в очень веселое время [...]

9 июня.

Вчера не дописала письма. Все еще чувствую себя не вполне здоровой, быстро чувствую усталость, хотя стараюсь из всех сил сделать свою кровь нормальной.

Погода все не установится. Стало спать свежо, и зелень в лесу совсем еще свежая. В прошлом году было лето прохладное, даже в августе свежесть листьев удивляла [...]

Я на юге привыкла к жарким дням, мы никогда не закрывали окна жалюзи, ибо очень любили солнце, чем удивляли местных жителей. Они очень боятся дневного солнца. Все дома на юге закрыты зелеными жалюзи, начиная с полдня и до вечера.

Получила от Бажинова телеграмму, книга моя дошла до него.

Все еще открываются новые друзья и знакомые, которые хотят иметь мою книгу. Приходится посылать. Скоро ничего не останется, ведь тираж был крохотный.

А как прошла Ваша поездка на Кавказ? Я там была в возрасте 18-летнем. Поднимались на Эльбрус, спали на потниках, под голову клали седла, и день начинали с водки, а когда ее не стало, пили сивуху.

Всяких успехов и радостей.

Ваша В. Бунина.

¹ Отклик на книгу «Марьянка» — подробный критический разбор.

² Сенар — дом С. В. Рахманинова в Швейцарии, где жила Т. С. Конюс с семьей.

³ Д. Л. Талъников (1882—1961) — советский литературный критик.

⁴ И. А. Бунин скрывал на своей вилле во время оккупации Франции нескольких лиц еврейской национальности — пианиста А. Б. Либермана и его жену, а также литератора А. В. Вахраха.

VII

Париж, 20. VIII. 59.

Дорогой Николай Павлович.

Спасибо за письмо. Зурову его я отослала. В начале сентября он возвращается домой. Лето в Шотландии он провел приятно. Много впечатлений от морских птиц и копчения рыбы.

Я же, несмотря на приятную жизнь в глуши Франции, вероятно, от июньских и первой половины июля жаров оказалась далеко не в форме: белых шариков увеличилось немало, а красных уменьшилось, что очень огорчило и моего врача, и меня [...] По вечерам — дома и даже писем почти не пишу [...]

Очень хороши «Я вспоминаю»¹. Иван Алексеевич живой, только у него не были глаза ледяные.

Есть неверности о Е. М. Лопатиной. У нее роман был не один. Был второй, и тоже с психиатром. У меня ее рукописи...

Кончаю, чтобы не устать. Спасибо за фотографию.

Ваша В. Бунина.

Бог даст, [поеду] в Швейцарию, в Сенар, к Конюс, оттуда напишу.

¹ «Я вспоминаю» — воспоминания Н. В. Крандиевской (1889—1963), жены А. Н. Толстого, напечатанные в ленинградском сборнике «Прибой» (январь 1959 года).

VIII

16.IX.59.

Вилла Сенар. Швейцария.

Дорогой Николай Павлович.

Вчера получила Ваше письмо от 26 августа,— его переслал сюда Леонид Федорович.

Я все от Вас получила, но не писала, зная, во-первых, что Вы не в Москве и отдыхаете, а во-вторых, потому, что весь август была на положении больной, так как августовский анализ оказался много хуже июньского.

Уехала я из Парижа 8 сентября. Здесь в идеальной обстановке я чувствую себя тоже не очень хорошо, хотя мой врач, заехавший в Сенар, нашел сентябрьский анализ не очень плохим, но у меня появилась неприятная пульсация в левом ухе [...]

Не согласна с Вами в одном: относительно «Митиной любви». В ней, правда, нет ни одной автобиографической черты внешней, но зато переживания Мити — это переживания юноши Бунина, а не Коли Пушешникова [...] Вот Вам два факта из жизни Бунина: Иван Алексеевич в Полтаве в первые услышал «Полюбив, мы умираем», и этот романс произвел на него впечатление, а не на Колю, если хотите, это — биографическая черта автора...

Второе: преображение Кати на балконе дома в Шаховском. Перечитайте в «Жизни Бунина» страницы записей подростка Вани, его сон после вечера у тетки: Эмилия ему снилась совсем не такой, какой была, а тоже преобразенной. Я этих записей не читала при жизни Ивана Алексеевича, нашла их в посмертных бумагах. Он не любил открывать тайны творчества. Да и в мелочах есть разница. Коля не ездил верхом. А молодой Бунин всегда имел верховую лошадь. И, мне кажется, нигде Иван Алексеевич не приоткрыл своих любовных переживаний, как в «М. Л.», тщательно закамуфлировав их. Внутренне Митя — не Коля. Коля был более чувственным человеком, чем Митя, чем Иван Алексеевич...

Совершенно верно, что Иван Алексеевич и в Грассе, как и в деревне, читал нам вслух. Но «Отверженных»¹ не помню. Это фантазия Рошина. Кажется, раз прочел отрывок из этого произведения. А в целом не читал. Много прочел из романов Достоевского и других. Мориака² высоко ценил за стиль и сочетание психики героев с художественностью, ценил и описания природы. Его раздражал Достоевский главным образом своей запутанностью, и один он не любил читать его. А вслух маленькими порциями — проходило. Мы в последние дни недослушали «Село Степанчиково» в деревне перед нашим бегством (23.X.1917 г.). Я дочитала его три года назад, гостя в Швейцарии у одной приятельницы. Иван Алексеевич читал не так, как все. Прочтет немного, отложит книгу и думает, представляет, поэтому Толстой, Чехов были ему близки — все сразу видишь, а Достоевского так не представишь³ [...] Л. Ф. просил переслать Вам веточку белого вереска, приносящего счастье,— поверье в Шотландии.

Начала писать 16.IX, а сегодня уже 21 сентября... Чувствую себя довольно плохо, что очень обидно в такой изумительной обстановке и в парке, уже с огромными деревьями, и в саду с зелеными лужайками. на которых кинуты большие клумбы вот этих ярко-красных цветов⁴, и это сочетание зеленой травы с этими пятнами — изумительно! Здесь, кажется, все породы деревьев, начиная с кленов, берез, ясеня и тополей и кончая огромными пирамидальными туями, плакучими елками, всеми сортами хвойных деревьев. А перед балконом все сорта роз. Парком спускаешься к озеру, где Татьяна Сергеевна до сих пор дважды в день купается. Я лишена этого удовольствия. В Сенаре домá (название от начальных букв Сергея и Наталии, а последняя Р — Рахманиновы) построены простые линиями с тремя открытыми террасами. Одна из моей теперешней комнаты — крыша летней столовой, другая из апартаментов Т. С. — раньше ее родителей — крыша студии Сергея Васильевича, и третья — на самом верху, где 2 небольшие комнаты.

В нашем, по-русски, втором этаже при всех спальнях — свои ванны [...] Замечательные шкапы, даже можно бросать из одного шкапа этого этажа белье для стирки. В нижнем этаже: огромная столовая, через раздвижные двери гостиная, рядом с ней и со столовой, куда спускается лестница, еще гостиная, и везде чудесные, удобные кресла. Оттуда дверь в его студию, с несколькими ступенями вниз. Она огромна: концертный рояль занимает небольшое место в ней. Окна, тоже огромные, в сад, на цветы и лужайки. Письменный стол от входа налево, едва занимает небольшой угол, а он с двойными ящиками. У дальней стены полка для нот и книг, на ней шесть портретов — друзей Сергея Васильевича, из русских Шалапин и Иван Алексеевич. Все с автографами. На рояле портрет жены с маленькой внучкой, у которой уже трое детей, на письменном столе 2 портрета — Чайковский и Татьяна Сергеевна с маленьким сыном. Перед полками и роялем круглый стол, диван и глубокие кресла. Здесь мы почти каждый вечер слушаем музыку, чаще Рахманинова. Уже прослушали 3 его концерта, 2 симфонии (на очереди Третья), вариации Паганини, в его исполнении марш Бетховена. Из других композиторов — Чайковского, арию Ленского «Куда, куда вы удалились». Тенор хорший, но все же по тембру это не Собинов... Есть здесь пластинка Патетической симфонии Чайковского. Надеюсь тоже и ее пережить. Слушали и Шалапина, исполнявшего элегию Массне. Хорошо! Мне эта элегия близка: когда-то я, играя в «Детях Ванюшина» маленькую роль матери Инки, аккомпанировала последней эту элегию. Спектакль давался в рабочем театре в Мытищах. Возвращались в набитом битком вагоне с революционными песнями...

Читаю с Вашей легкой руки «Войну и мир» и по рассказу в день из книги «Роза Иерихона» в давнем ее издании⁵. Многие рассказы проредактированы, то есть кое-что выкинуто. Некоторые, как, например, «Косцы», «Роза Иерихона», я читала с большим волнением.

Ну вот, надо кончать. Устаю быстро. Еще не беседую с памятью, а пора, пора! Отсюда выезжаю в конце сентября в Лозанну, в Женеву.
Желаю Вам всего, всего наилучшего.

С дружеским приветом

В. Буннина.

¹ Роман В. Гюго.

² Франсуа Мориак (р. в 1885 г.) — известный современный французский писатель, автор ряда психологических романов, некоторые из которых («Клубок змей», «Конец ночи», «Обезьянка») издавались у нас.

³ О неприязни к творчеству Достоевского не раз заявлял и сам Бунин — и устами своих героев (например, в «Петлистых ушах»), и в беседах со своими друзьями-критиками, о чем писали Г. Адамович в сборнике «Одиночество и свобода» (Нью-Йорк, 1955) и Ф. Степун — в книге «Встречи» (Мюнхен, 1962).

⁴ К письму было приложено несколько засохших цветочных лепестков.

⁵ Ив. Бунин. «Роза Иерихона». Книгоиздательство «Слово». Берлин. 1924.

IX

Париж, 7 декабря 1959 года.

Дорогой Николай Павлович.

Спасибо за письмо и за книги, за фотографии. Все получила и прочла с большим интересом «Золотой Плес», побывала в нем [...]

Я в Сенаре перечитала «Войну и мир», нашла для себя новое.

Как Вы знаете, страницы жизни Левитана с Кувшинниковой меня очень интересуют, я не много знала ее, но много о ней слышала. У нас с ней был общий друг, Анна Петровна Коровина, которая училась в московском Николаевском институте, где и моя мама, но Коровина была старше ее класса на два. Не была ли Кувшинникова с ней одноклассницей? Вы пишете, что она училась в институте [...] С детства о Кувшинниковой я слышала много рассказов, но увидела ее уже взрослой на какой-то выставке, где нас познакомила моя мама. Она была уже в «неуловимом» возрасте, объемистая, с большим лицом. Мы стояли перед картиной [...], и она ее живо, образно объясняла. В детстве я слышала возмущение А. П. Коровиной «Попрыгуньей». Я прочла этот рассказ много лет спустя. Когда я читала его впервые, то одна смеялась до слез, до того верно передана атмосфера, какую я чувствовала через А. П. Коровину, дома Кувшинниковой, — эта восторженность и погоня за знаменитостями, презрительное отношение к простым, без ярлычка, людям.

Когда мне было шесть лет, мы жили на даче в одной местности с Кувшинниковой, в Давыдкове. Мама заходила иногда к ней, раз взяла меня с собой, и мне врзалась в память в углу избы коса, сноп и много цветов... В то лето у нее бывал С. С. Голоушев!. Позднее в разговоре с несколькими дамами он назвал ее «жрицей любви»...

После «Золотого Плеса» перечитала и «Попрыгунью» с пометками Ивана Алексеевича: много отчеркнутых мест, значит, они нравились. Над абзацем: «Так-с... это облако у вас кричит» и т. д. (конец II главы) — написано красным карандашом: «Как хорошо!»

Над абзацем: «Краски и кисти я оставляю тебе, Рябуша», — последняя фраза в нем: «Ты у меня молодчина, Рябуша» — подчеркнула: «Вот так фальшиво писал Чехов Книппер».

Под концом рассказа написано: «Все чудесно. А заглавие ни к черту».

Я нахожу, что Чехов сделал Попрыгунью слишком молодой. Это, конечно, чтобы не узнали... Герои его не похожи ни на Кувшинникову, ни на Левитана, он взял только обстановку и атмосферу кувшинниковского дома.

А ведь и в наше время носились со знаменитостями, я знала семью, где дочери искали и поклонялись «замечательным» людям, не заметив, что отец их был очень **значительным** и интересным человеком.

Леонид Федорович любит Левитана с отроческих лет. Он с наслаждением читал Вашу вещь и говорил мне, что Вы вложили в нее много души и сердца. Ценит он Ваше чувство к природе. Любовался photographиями, присланными Вами,— как бы побывал в Ваших местах. Надеется, что скоро Ваша повесть выйдет отдельной книгой. О Левитане Леонид Федорович в свое время слышал рассказы художника Коровина², но последний был уже стар, много пил и говорил ему, что к воспоминаниям художников о художнике нужно относиться более или менее сдержанно...

У меня просьба к Вам: узнайте у Клавдии Петровны Пушешниковой, получила ли она мое письмо?..

Все никак не могу собраться зайти в книжный магазин и взять для Вас «Жизнь Арсеньева». Какие книги Вам еще хотелось бы иметь Бунина? Каких у Вас нет? Я спутала, кому что посылала. Есть ли у Вас, например, роскошное издание с рисунками Добужинского «Речной трактир»? Этого, конечно, нет. Его я пришло Вам. Рассказ происходит в Ваших местах.

Это письмо настукала в три раза. Очень быстро чувствую усталость, боль в спине [...]

Желаю здоровья, плодотворной работы и радостей. Когда Вы именинник? Если 19/6. XII, то поздравляю.

Ваша В. Бунина.

¹ С. С. Голоушев (1855—1920) — художник, работавший под псевдонимом «С. Сергеевич». Литературные статьи подписывал: «Сергей Глаголь».

² К. А. Коровин (1861—1939) — русский художник; с середины двадцатых годов жил во Франции.

Х

Париж, 7 января 1960 года.

Дорогой Николай Павлович.

Вы, вероятно, уже получили посланные книги: «Жизнь Арсеньева» и «Митину любовь», а может быть, и «Речной трактир»?

Когда я шла на почту, чтобы отправить Вам две первых книги, то около лужи консьержа мне передали письма. Я взяла их, но прочла, вернувшись домой. Пожалела, что не сделала это раньше. По-видимому, «Митина любовь» у Вас имеется. Не огорчайтесь, я пришло Вам в первую очередь и «Темные аллеи» и «Весной, в Иудее», но мне нужно за ними съездить. В первый свободный день это я сделаю.

Сергей Сергеевич Голоушев назвал Кувшинникову «жрицей любви» в хорошем смысле, то есть что любовь для нее была всегда самым важным чувством и глубоким, мы так и поняли. Чехова он порицал за «Попрыгунью», хотя с этим мы и не соглашались: ведь там были другие люди, а не Левитан и Софья Петровна.

Вот какой маленький штрих я знаю из ее жизни, рассказанной у нас А. П. Коровиной. Кто-то из художников начал писать ее портрет в каком-то сложном костюме. Написал голову, набросал стан и начал выписывать туалет — пуговицы, узоры. Ей надоело позировать, и она подумала, что, если она наденет на манекен свой костюм, а сама уйдет, то и без нее художник допишет его. Художник на этот ее поступок очень обиделся, дело дошло до ссоры.

У нас с Вами одинаковый вкус к чеховским вещам, я еще люблю «О любви», «Скучную историю» и «Степь», даже «Попрыгунью»...

Как могли попасть дневники Ивана Алексеевича в Сибирь?¹ Не могу понять. Жаль, что Вы их не читали. У меня этих (своих) записей нет,— я ничего не взяла с собой своего, когда мы уезжали в Одессу².

Я не согласна с Вами, что между Сосновской³ и Кувшинниковой что-то есть. У Сосновской с Елагинным главную роль играет «месса пола», а у Кувшинниковой совсем другое, если и не духовное, то во всяком случае душевное. Сосновская была не в состоянии жертвовать собой, а С. П. могла,— она понимала, что значит любить творческого человека, а это редкой женщине дано [...]

Все рассказы Бунина, которые Вы перечитали с Вашим другом, я очень люблю и ценю, жалею, что меня не было с Вами. Я могу слушать без конца произведения Ивана Алексеевича, только здесь их вслух никто не читает. Сама я часто перечитываю их.

Кажется, критик Левинсон⁴ назвал «Косцы» симфонией. Не помню сейчас, отослала ли я в Москву эту критику? Помню, как Иван Алексеевич в Ницце, в кафе, читал мне ее вслух с неподражаемыми оттенками, весело, местами смеясь, часто улыбаясь, я вижу и теперь его лицо, жесты дирижера...

Я часто ночью перечитываю Буннина, когда не могу заснуть, и большею частью быстро после этого засыпаю [...]

Спасибо за помощь -- отыскать моего двоюродного брата. Мы, к нашей общей радости, с ним списались. Но письма его очень меня огорчили: все наши кузены и кузины в другом мире [...]

У нас тоже только дня два стало морозно, то есть холодно, а то была осенняя погода, не рождественская. Вчера была у всенощной, а сегодня проспала обедню -- оказалось, что и вечером и утром мне трудно бывать в храме.

11 января.

На обложке «Речного трактира» наверху рукой Ивана Алексеевича красными чернилами написано: обложка и рисунки М. Добужинского⁵.

На странице 8-й на 19-й строке сверху зачеркнуто третье слово, красным чернилом после слова «испытал» поставлена запятая, как и после слова «думаю», следующее слово тоже зачеркнуто, а на полях вписано: «правильные» перед словом «чувства».

В строке 24-й -- зачеркнуто четвертое слово.

На странице 10-й в строке 24-й вставлено после первого предлога «этот».

На 25-й строке зачеркнуто пятое слово.

На 11-й странице в строке 8-й зачеркнуто три последних слова.

В 12-й зачеркнуты и пятое и шестое слова и вписано «плотах».

В 16-й строке снизу зачеркнуты три последних слова, вставлено «с».

В 15-й снизу зачеркнуто первое.

На 13-й странице в 6-й строке снизу в предпоследнем слове вместо «поцеловала» -- «поцеловав».

Вот поправки в этом «роскошном» издании, которое было сделано в Нью-Йорке, когда Ивану Алексеевичу минуло 75 лет.

Издание это было по подписке. Одна из организаторов была М. С. Цетлина⁶, вероятно, и М. А. Алданов. Оно дало нам возможность прожить некоторое время. Помню, что кто-то принес довольно большую сумму, Иван Алексеевич лежал с высокой температурой в воспалении легкого. Это было на рождестве. У нас была детская елка. Мы хотели отменить, но Иван Алексеевич настоял, чтобы она была. С нами жили Олечка Жирова⁷ и ее мать. Дети, узнав, что Иван Алексеевич болен, были очень тихи. Пели святочные песенки вполголоса. А Иван Алексеевич был в жару, и ему было трудно написать расписку. Это было в 1946 году, 7 января. Тогда у нас в квартире жило пять человек. М. С. Цетлина в шутку называла ее «ночлежкой». Вот Вам крохотный кусочек из «Бесед с памятью».

Леонид Федорович шлет Вам свой новогодний привет, у него столько писем, что он никак не может собраться написать Вам, да и чувствует себя не очень хорошо [...]

Я же только раз была на елке все у той же Олечки, которая называла Ивана Алексеевича «Ваней» и говорила ему «ты». Она у нас в детстве несколько лет жила сначала в Бо-Солейе, а затем в Грассе, потом в Париже. Теперь она -- невеста. Выходит замуж за француза, товарища по Сорбонне. Иван Алексеевич много написал ей писем-стихов. Я дала их Л. В. Никулину. Он хотел что-нибудь из них напечатать, да, видимо, забыл. Письма есть очень забавные⁸.

Пишу Вам это письмо уже давно, то есть первую часть начала четыре дня назад, а второй листик продолжаю сегодня.

Решила на несколько времени замолчать, так как мне нужно побеседовать с памятью, иначе книга не будет готова в этом году. А письма и утомляют, и берут время. А сил у меня еще не очень много.

На днях вышлю Вам обещанные книги [...]

Всяких радостей, успехов, здоровья на весь 1960 год.

Ваша В. Буннина.

13 января.

Я очень тронута Вашими подарками и очень благодарю за них Вас, но зачем Вы тратитесь.

Рублева⁹ я еще внимательно не проштудировала, читаю Чуковского¹⁰. Пишет занимательно, но с пристрастием.

Свалил в кучу Бунина, Вересаева, Чирикова, Телешова, Гусева-Оренбургского, Серафимовича, Скитальца, назвал их всех «бытописателями», чуждыми внутренне Леониду Андрееву, единственному трагику и так далее [...] Ведь Андреев очень выделял Бунина из всех «знаньевцев», которым действительно был чужд Иван Алексеевич, это, конечно, чувствовал и Горький, недаром он говорил мне: «Нам всем нужно учиться у Ивана Алексеевича»¹¹... и многое другое, о чем я буду писать [...]

Надеюсь, пока писалось, вернее настукивалось, это послание, книги, посланные Вам, дошли на Чеховскую улицу, а я еще не удосужилась съездить в магазины за «Темными аллеями» и «Весной, в Иудее». К сожалению, дома у меня их нет [...]

Пора кончать это затянувшееся письмо.

Еще раз благодарю за подарки и прошу не сердиться, что я все никак не могу послать Вам обещанные книги. Ох, старость — не радость! Все стало трудно, и от всего устаешь, а на такси денег нет. Жизнь очень вздорожала. То, что я получаю, может покрыть только первые расходы, а чеков за переводы книг Бунина в этом году было гораздо меньше, чем раньше. Очень дорого стоит и мое лечение, а я не имею страховки, поэтому лечение почти не по средствам.

Я живу полной отшельницей. Редко-редко к друзьям поеду, а ни музыки, ни театра, ни синема... Впрочем, музыку я могла бы еще слышать, но в театре мое ухо, именно ухо — на правое я совсем не слышу — ничего не улавливает, как и в синема от шума ничего не слышу.

Нужен аппарат, но дешевый я не хочу, а на дорогой нет возможности. Теперь есть и незаметные, например на очках, но они дороги.

Да, пожалуй, я и не могла бы бывать на зрелищах, утомлялась бы.

В январе, вероятно во второй половине месяца, сделаю опять анализ крови. Надеюсь на улучшение, а там что Бог даст.

Хорошо, что могу, хогь и понемногу, беседовать с памятью. Это самое мое любимое.

Еще раз спасибо.

Ваша В. Бунина.

¹ Речь идет о дневниковых записях Бунина 1917—1918 годов, приобретенных известным (ныне покойным) библиофилом Н. П. Смирновым-Сокольским у одного литератора, к которому они попали в двадцатых годах от человека, близкого к редакции альманаха «Шиповник». Записи Бунина частично опубликованы С. П. Ближниковской под названием «Последняя находка» в «Новом мире» (№ 10, 1965).

² В. Н. и И. А. Бунины уехали из Москвы в Одессу весной 1918 года.

³ Мария Сосновская — героиня повести Бунина «Дело корнета Елагина», напечатанной в томе V собрания сочинений.

⁴ А. Я. Левинсон (1887—1933) — русский литературный и музыкальный критик.

⁵ Ив. Бунин «Речной трактир» (Нью-Йорк. 1945). На последней странице напечатано: «Художественное оформление М. Добужинского», что, видимо, показалось Бунину не совсем грамотным, почему он и сделал надпись: «Обложка и рисунки М. Добужинского».

Рассказ «Речной трактир» входит в том VII собрания сочинений Бунина.

⁶ М. С. Цетлина (р. в 1882 г.) — жена эмигрантского издателя и поэта (псевдоним «Амари») Цетлина М. О. (1882—1946); М. О. Цетлин — основатель (в 1942 году) Нью-Йоркского русского «Нового журнала».

⁷ Парижские знакомые Буниных.

⁸ Привожу образец этих шуточных, до сих пор не напечатанных у нас писем Бунина.

В именины нашей Оли
Все цветы запляшут в поле,
Все деревья и кусты,
Все дороги и мосты,
А в Рюссели все цыплята,

Куры, кролики, котята,
Кошки, утки и сама
С папой под руку мамá...

Полностью «Письма Бунина к ребенку» напечатаны в «Новом журнале» (№ 76).

⁹ Книга-альбом М. В. Алпатова о Рублеве (издательство «Искусство». М. 1959).

¹⁰ К. Чуковский, «Современники».

¹¹ А. М. Горький всегда очень высоко оценивал творчество Бунина и как прозаика, и как поэта. Так, он писал Бунину (24 февраля 1916 года): «Ведь вы для меня великий поэт, первый поэт наших дней». А в письме от 29 августа 1916 года добавлял: «Вы для меня — первейший мастер в современной литературе русской...» («Горьковские чтения. 1958—1959»).

XI

Париж, 2 апреля 1960 года.

Дорогой Николай Павлович!

Я так давно не писала Вам, что не знаю, на что отвечать.

На днях съезжу в «Дом Книги» и пошлю оттуда «Весной, в Иудее», а «Освобождение Толстого» пришлю сама. Я сегодня случайно нашла один не авторский экземпляр.

Здоровье мое еще не совсем хорошо. Скоро опять надо будет делать анализ крови: быстро устаю, но все же работаю, пишу «Беседы с памятью». Первая часть их, «Наши встречи», будет опубликована в «Новом журнале», в ближайшей книжке [...]

Очень интересно все, что Вы пишете о Валерии Дмитриевне¹ [...]

Спасибо Вам за Рублева и за Гольденвейзера², кое-что там было для меня новым, а кажется, жизнь Льва Николаевича я знаю хорошо.

А знаете, о какой собаке написаны стихи «Вздыхая, ты свернулась»?.. Это было на Капри, у Горьких. У них была сибирская белая собака, забыла какой породы, и она всегда лежала у ног кого-нибудь, иногда у ног Ивана Алексеевича — это было в 1909 году, март—апрель. Мы тогда жили так — неделю на Капри, затем, оставив свои вещи в гостинице, отправлялись в Сицилию, затем опять неделю проводили на этом чудесном острове с Горькими, а потом — в Рим, а через неделю опять Капри. И, прожив еще с неделю на острове Сирен³, мы поплыли на итальянском пароходе в Одессу, плавание продолжалось две недели. И до чего оно было хорошо! Мы подружились со всеми моряками, пассажиров было мало. Пили, пели, Иван Алексеевич, бывавший всегда необыкновенно жизнерадостным и веселым на кораблях, исполнял тарантеллу, которой научился на Капри; какая у него была мимика «итальянская». Вообще как он был талантлив всем, и даже телом, — мог бы быть в балете...

Вчера вечером — я не dokonчила вчера этого письма — я очень плохо себя почувствовала — кружилась голова [...]. Решила сегодня отдохнуть по-настоящему.

Леонид Федорович уехал в церковь, его приход — патриарший, и какая там живопись! Писал иконописец, инок Григорий, бывший ученик Сомова, который мне говорил, что это самый талантливый из его учеников, и сокрушался, что он ушел из светских художников [...]

Желаю Вам здоровья, творческой работы и всяких радостей [...]

Ваша В. Бунина.

¹ Валерия Дмитриевна — вдова М. М. Пришвина (р. в 1899 г.).

² А. В. Гольденвейзер (1837—1963) — пианист, профессор Московской консерватории, близкий знакомый Толстого; автор двух томов воспоминаний — «Вблизи Толстого».

³ Древнегреческое название Капри, так назвал Бунин свой очерк об этом острове; очерк напечатан в томе VII собрания сочинений Бунина.

XII

Париж, 23 июля 1960 года.

Дорогой Николай Павлович!

Вчера пришло Ваше письмо к Леониду Федоровичу, меня не было дома. Оставили вызов ему на почту. А он на отдыхе, за границей. Была сегодня на почте, письма мне не выдали и сказали, что за границу не пересылают. Вернут письмо Вам обратно. Л. Ф.

будет очень огорчен — он ждал от Вас ответа на свое письмо. Если хотите, можно сделать так: отошлите это письмо на мое имя, — я никуда не уезжаю, а я перешлю его. Вероятно, он будет гостить в Сенаре и напишет Вам свои впечатления об этом чудном уголке Швейцарии.

Я в этом году пока никуда не поеду [...] Хочу закончить ту часть своей книги, которая будет издана, — это во-первых, а во-вторых, ехать скромно очень устаю, а на комфорт «капитал не позволяет»¹. К тому же лето больше похоже на плохую осень, чем на обычное лето в Париже, а потому сейчас мне очень нравится и здесь: мало машин, меньше народу, меньше телефонных звонков, — почти все друзья разъехались, но, например, Кодрянских² дождь выгнал из Виши, куда они приехали отдохнуть. Наталья Владимировна Кодрянская очень довольна Вашим посланием к ней.

Какой Вы мой должник, это я Вам должна за такие интересные книги, которые Вы мне присылали. Теперь, по вечерам, читаю Алпатова о Рублеве. Эта монография написана гораздо лучше, чем монография о Нестерове, хотя читала ее с большим интересом. Я знаю, что Вы не только любите бунинское творчество, но Вы знаток его, что меня очень радует, это я особенно ценю. У вас не Вы один, а здесь хоть шаром покати. Не с кем, как хотелось бы, поговорить на эту тему. Есть одна приятельница, которая знает, чувствует Бунина по-настоящему, но она живет в Страсбурге, а летом в Корреже [...]

Боюсь, что я огорчила Павла Леонидовича³, написав, что нельзя было длинные абзацы в «Косцах» разделять на короткие — это все равно, что ставить паузы в музыкальные куски по собственной воле. Как Вы находите? Просила его, когда будет эта вещь введена в книгу, чтобы он попросил и убедил редактора печатать так, как напечатаны «Косцы» в чеховском издании⁴. Кажется, и там есть еще поправки. Я перешлю их Вячеславу.

Рахманинова я знала не очень близко, было несколько встреч и на юге, и в Париже. Леонид Федорович чаще встречался с ним. Он дружит давно с Конюсами, особенно с Татьяной Сергеевной.

Может быть, я найду свой дубликат того, что напечатано в «Новом журнале», и пошлю Вам, только не браните, что он с поправками. Перепечатать у меня нет сейчас ни времени, ни сил.

Относительно двух ипостасей Бунина⁵ я совершенно с Вами согласна, но здешние поэты этого мнения не разделяют, а потому я с ними никогда и не говорю о поэзии, — у них ее немного, и для меня не очень понятна.

Я думаю, что нынешний Орел не похож даже на тот, что я видела, а я уже не говорю о времени юности Ивана Алексеевича.

У меня громада неотвеченных писем, я теперь понимаю, почему Иван Алексеевич был скуп на письма, я в те времена писала много и многим, например, у меня была живая переписка с Алдановым и другими писателями, с Тэффи⁶, Гиппиус⁷, но это, так сказать, и по женской линии. От некоторых писателей письма ко мне интереснее, чем к нему.

Погода странная: утром солнце, а днем серо, но парижане едут и едут мокнуть под дождем и проклинать погоду. Здесь легче переносить плохую погоду, чем жару, иногда она в Париже невыносима, особенно бывают тяжелы ночи.

Желаю Вам в Вашем Плесе, который Вы заставили меня полюбить, очень хорошо отдохнуть и удачно поработать творчески. Что Вы будете читать в этом году? В прошлом мы с Вами перечитали «Войну и мир», и я кой-какие рассказы Бунина в книге «Роза Иерихона», в Сенаре, там в моей комнате находились среди других и эти книги. Только что получила Ваш подарок. С дружеским приветом.

Спасибо! Спасибо! Буду читать эту книгу по вечерам, перед сном.

Ваша В. Бунина.

¹ Фраза из рассказа Бунина «Капитал» (см. т. V собрания сочинений).

² Близкие знакомые семьи Бунинных: И. В. Кодрянский, по профессии врач, и Н. В. Кодрянская — писательница, автор монографии о Ремизове (Париж. 1960) и нескольких сказочных книг: «Глобусный человечек» (Париж. 1954), «Золотой дар» (Париж. 1964) и других.

³ Павел Леонидович — Вячеслав. См. примечание 3-е к письму V.

⁴ Сборник Ив. Бунина — «Весной, в Иудее. Роза Иерихона» (Нью-Йорк. 1953).

⁵ «Две ипостаси» — прозаик и поэт.

⁶ Н. А. Тэффи (урожденная Лохвицкая) (1876—1952) — писательница сатирического (а нередко и лирического) жанра, умерла в эмиграции, в Париже.

⁷ З. Н. Гиппиус (Мережковская) (1869—1945) — поэтесса символистской школы и литературный критик (псевдоним — Антон Крайний); в эмиграции стояла на крайних антисоветских позициях. Умерла в Париже.

XIII

Париж, 24.10.60.

Дорогой Николай Павлович.

Я соскучилась без вестей о Вас и от Вас. Здоровы ли Вы? Как подвигается Ваше писание? Были ли Вы на вечере памяти Бунина 22 октября?¹ Опишите его.

В Париже ни одна газета не отметила этого дня.

Мы с Леонидом Федоровичем были на кладбище. Сговорились с Кодрянским и Олечкой с мужем — вместе отслужить панихиду, но Кодрянский накануне слег в постель, был сердечный припадок, а он нас хотел возить на своем автомобиле. И мы с Леонидом Федоровичем вдвоем поехали туда уже менее комфортабельно.

Отслужили панихиду, обошли все почти могилы ушедших друзей и знакомых и вернулись в Париж.

Из всех «друзей», бывавших у нас в этот день, вспомнила только одна чета поэтов да еще было несколько писем. Вечером у меня сидел один поэт, который знал с давних пор Ивана Алексеевича, и мы с ним вспомнили прошлую жизнь, поговорили о литературе, он почитал свои стихи.

Я, как всегда, в октябре чувствую себя душевно тяжело. Семь лет прошло с тех пор², а кажется, что все это было пережито так недавно. А жизнь идет, и каждый занят своим.

Недавно была у одних знакомых и видела новое издание у вас — «Левитан». Внимательно пересмотрела все, что там есть, особенно долго смотрела на Ваши места и думала о Вас. Текста всего не успела прочесть, только просмотрела. Кое-что узнала нового. Думала и о Кувшинниковой. Вы все же идеализировали ее. Это, конечно, не велик грех [...] Мне кажется, она была из тех, кто очень жадны до жизни, редко эта черта совмещается с жертвенностью [...]

Я слышала много хорошего о ее муже, докторе Кувшинникове, по-видимому, он был настоящим человеком, вероятно, очень любил ее и все прощал. Они не разошлись и до его смерти жили вместе.

Очень бы мне хотелось прочесть о ней и Левитане воспоминания Т. Л. Щепкиной-Куперник³. Здесь я не могу найти этой книги.

В Софье Петровне, конечно, было много шарму, как теперь говорят, она была одарена многими способностями, но, вероятно, сна была натура эгонистичная...

Вот что она помогла несчастной жене уехать от постылого мужа⁴, в это я верю, сна была человеком порывистым, могла посочувствовать несчастной женщине, особенно когда та страдала, в любовном отношении была не удовлетворена [...]

Как здоровье Никулина? Он написал, что был серьезно болен.

Всяких радостей, здоровья.

Ваша В. Бунина.

¹ 22 октября 1960 года в Москве в Литературном музее в связи с девяностолетием рождения Бунина был устроен вечер, на котором выступали Л. В. Никулин, К. Г. Паустовский, А. П. Ладинский и другие писатели и критики. Я послал Вере Николаевне подробный отчет о вечере.

² «Семь лет прошло с тех пор...» — то есть со дня смерти Ивана Алексеевича.

³ Воспоминания Т. Л. Щепкиной-Куперник собраны в двух книгах: «Дни моей жизни» (М. 1928) и «Избранное» (М. 1954).

⁴ Будучи «на этюдах» в Плесе, Кувшинникова и Левитан помогли уехать в Москву жене купца-старообрядца А. И. Грошевой.

XIV

Париж, 14 января 1961 года.

Дорогой Николай Павлович.

Я перед Вами очень виновата. На два письма не ответила до сих пор. Это потому, что хотелось написать Вам настоящее письмо, а не отписку. Весь ноябрь я чувствовала себя дурно, даже болела с жаром, правда недолго, но мучила слабость, быстрое от всего утомление. А сделав в декабре анализ крови, увидела, что белых шариков увеличилось на такое количество, какого никогда не бывало — 14 500! Стала усердно лечиться, прописан был и старый мой довоенный друг — мышьяк. Теперь немного чувствую себя крепче. Но подошли праздники, надо посылать поздравления, тем более благодарности за таковые. И Леонид Федорович и я получили их уйму, хотя и кратко, но благодарить пришлось, и письма откладывались. Правда, сегодня день еще детских воспоминаний, воспоминаний молодости и всяких девичьих гаданий¹. А потому еще не поздно Вас поздравить с прошлыми праздниками и пожелать Вам в 1961 году всяких творческих успехов, здоровья и душевного мира.

Я очень рада, что Вы вспомнили в письме ко мне о своих отроческих и юношеских рождественских удовольствиях, когда было много снега, не как в этом году. Но Ваше сообщение о бесснежных Святках напомнило мне одно наше катание в фуре ряжеными [...] Снегу было мало, а к ночи совсем все растаяло, а наша фура была не на колесах. И вот после того, как мы объехали несколько домов, где нас радушно принимали и по-московски угощали, мы на какой-то улице застряли, бедные кони не могли сдвинуть с места нашего фургона. К кучеру пристали три «покровительницы животных», из которых одна была наша гимназическая классная дама, мы все были одеты клоунами, а один из гимназистов обладал большим юмором и стал объясняться с этими «покровительницами животных»; мы, конечно, спрятались за спину гимназистов и студентов, чтобы не попасться на глаза нашей классной даме, — она была строгая и не так защищала нас, как животных. Смех всегда помогает, и наш юморист в конце концов добился, что эти покровительницы удалились, не составив протокола.

Какое у Вас было прекрасное детство, юность, да и теперь Вы можете наезжать в материнский дом, в «свою» природу. Мы здесь всего этого лишены, особенно страдает от этого Леонид Федорович.

Я согласна с Вами относительно Зайцева². Он всегда описывает жену, начиная с «Мифа», с «Дальнего края», но всегда так, как он ее видит, а не так, как видим мы ее, хотя характерные черты он в ней обнаруживает. Кого Вы видите, кто знал ее? Мне это очень интересно, может быть, это и мои знакомые? Душа на чужбине Зайцевым показана по-зайцевски.

О Сирине³ я тоже с Вами согласна: блеск, сверканье и отсутствие полное души. Я люблю больше всего его «Машеньку», которая нравилась и Ивану Алексеевичу, люблю его рассказ «Звонок», единственный человеческий.

Меня удивляет объяснение Анны Николаевны⁴, ее отказ беседовать о Бунине — «женская обида». Ведь из переписки, которая у меня есть, ясно выходит, что она не захотела жить с Иваном Алексеевичем, а не он оставил ее. Правда, когда мы уже жили вместе, Анна Николаевна стала очень мила с ним. Может быть, обида в том, что он не оставил меня для нее? Это, конечно, между нами.

Я могу прислать Вам свое⁵ только под тем условием, чтобы Вы об этом никому не говорили, а воспользовались этим материалом для своих работ. П. Л. не понял, что я послала только ему, и обнародовал⁶, и я получила много неприятностей со всех сторон. Я поэтому и задержала обещанное [...]

19 января.

Крещение. Вот видите, сколько мое письмо, вернее его половина, пролежала у меня.

Леонид Федорович [...] все никак не соберется написать Вам письма и поблагодарить за Ваши книги-подарки. Сейчас он читает эти книги и напишет Вам о них [...] Чрезвычайно понравилась ему Ваша работа, опубликованная в «Охотничьих просторах»⁷. Тяжело он переживает реставрационные работы в Псковском Детинце. Я с ним

согласна. Детинец изуродовали неправильной реставрацией. Восстанавливать башню было нельзя. Об этом шли в Париже долгие разговоры. Сейчас стыдно показать фотографию реставрированного Детинца искусствоведам. Во Франции прощают все, но только не отсутствие вкуса [...]

Я тоже благодарю Вас за книги. Особенно за Левитана. Стыдно только, что Вы тратитесь. «Просторы» все еще в руках Леонида Федоровича, и я их не читала. Как прочту Ваше, так еще напишу, теперь праздники кончились, и я освобождена почти от бесконечных благодарностей [...]

Последнее время я немного перечитывала и, вероятно, буду перечитывать Толстого: «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерову сонату», «Власть тьмы»; вчера в постели начала «Плоды просвещения». Я и забыла, сколько поговорок, словечек взято оттуда. До чего все хорошо! И какое знание народа. Меня удивляет, почему когда-то на Ивана Алексеевича нападали за «Деревню», ведь «Власть тьмы» страшнее. Мрак такой, что даже и сейчас жутко [...]

Спасибо Вам за подробное описание 22 октября.

Не слышали ли Вы, как здоровье Катаева? Согласился он наконец на операцию? Виделись ли Вы с Никулиным после его вторичного приезда в Париж?

Мы были на его докладе. У него приятный голос и хорошая дикция... Очень было приятно увидеть свои места⁸; ведь бабушкино имение, а потом тетки находилось в 20-ти верстах от Ясной. Мне кажется, что лучше, красивее вида из Варапаевки, как называлось имение бабушки, нет ничего в мире. Да и правда. На горизонте Засека, затем поля, которые прорезывает лента Упы, в одном загибе белая церковь, несколько усадеб и совсем под балконом фруктовый сад в 29 десятин, идущий под гору, а потом вверх. Вот по этим местам, да еще по Царицыну (под Москвою), где мы проводили лет десять лето, я больше всего скучаю, но все равно нигде прежнего не найдешь. Любила я природу и в Елецком уезде, где жила у Пушешниковых. Их имение находилось в шести верстах от Предтечева, где было имение моего двоюродного дяди, там была и земля моего деда, которую он продал и купил имение в Новосильском уезде, Тульской губернии, Лазавку, где проводили детство и начало отрочества мой отец, дядя и тетки. Была я там и взрослой, ездила на сутки в 1911 году. Об этой поездке надеюсь тоже побеседовать с памятью [...]

Желаю Вам всяких радостей, успехов, здоровья.

Привет заочным друзьям.

Ваша В. Бунина.

¹ 14 января — Новый год по старому стилю.

² Б. К. Зайцев (р. в 1861 г.) — русский писатель, живущий ныне в Париже. Покойная жена Зайцева — Вера Алексеевна — была в долгие годы дружеских отношениях с В. Н. Буниной.

³ Сирин — псевдоним Набокова В. В. (р. в 1899 г.) — писатель, автор романов «Машенька», «Защита Лужина», «Камера Обскура», «Дар», «Лолита» и других произведений. Сейчас живет в Швейцарии. Набокову принадлежат переводы на английский язык «Евгения Онегина» и «Слова о полку Игореве».

⁴ Анна Николаевна — Цакни. См. примечание 7-е к письму II. История семейных отношений Ивана Алексеевича и Анны Николаевны подробно освещена в книге А. Вабореко «Бунин. Материалы для биографии».

⁵ «П р и с л а т ь с в о е...» — воспоминания «Беседы с памятью».

⁶ «Происхождение моих рассказов» — записи Бунина, которые П. Л. Вячеслав опубликовал в одном из советских изданий.

⁷ Исследование «Охотничий язык как разновидность народной речи» («Охотничьи просторы», № 16, 1960).

⁸ Доклад Л. В. Никулина о Л. Толстом сопровождался диапозитивами, изображавшими природу и старинные усадьбы «толстовских» мест.

XV

Париж, 27 января 1961 года.

Дорогой Николай Павлович!

В прошлом письме я забыла коснуться «Истории литературы» Тхоржевского¹. Она — плохая. Он, бывший петербургский чиновник, владевший пером, стал в эмиграции переводить, забыла с какого языка, стихи, переводы были слабые.

Кажется, во время войны он пришел к Наталье Ивановне Кульман, вдове профессора русской литературы в Сорбонне, и попросил указать ему, что нужно прочитать, чтобы написать историю русской литературы.

Она была изумлена донельзя. Как? Не специалист по литературе хочет приняться за такой ответственный труд? Она была серьезная и очень шепетильная. Стала его отговаривать, но он настаивал, и она сказала:

— Ну почитайте Пыпина [...]

Когда мы еще не видали этого тома, зашел к нам [Б. К.] Зайцев и сказал:

— Вышла книга Тхоржевского. Он о тебе хорошо написал.

Иван Алексеевич не согласился с Зайцевым, что оценка его «хороша», и написал отповедь², зло высмеяв Тхоржевского. Указал на промахи — не упомянуты такие писатели, как Зуров и еще кто-то³, я сейчас забыла.

Если найду, то перепишу для Вас эту заметку, но только для Вас.

У нас наступили морозы. Стало на улице совсем холодно.

Отвечаю теперь на длинные письма, их у меня еще порядочно, — праздники ушли на поздравительные.

Леонид Федорович прочел все книги, которые Вы прислали ему. А пока передает Вам сердечный привет. Он пишет Вам.

Желаю Вам здоровья, творческой работы и радостей.

С дружеским приветом

Ваша В. Бунина.

¹ Иван Тхоржевский. «Русская литература». Издание второе, исправленное и дополненное. Издательство «Возрождение». Париж. 1950. И. Тхоржевский (ум. в 1951 г.) переводил на русский французских поэтов, а также восточных, в частности — Омара Хайяма.

² «Отповедь» И. А. Бунина под названием «Панорама» была напечатана в газете «Русские новости» (Париж. № 68, 1947). Она вошла в IX том собрания сочинений Бунина (стр. 471—475).

³ Бунин писал: «Некоторых не удостаивает даже внимания (Г. Иванова, Газданова, Зурова, Ладинского)».

Г. В. Иванов (1894—1958) — поэт. Г. И. Газданов (р. в 1903 г.) — автор романов «Вечера у Клэр» и «Ночные встречи». А. П. Ладинский (1896—1961) — прозаик и поэт, в середине пятидесятих годов вернулся на родину (в Москву), где выпустил несколько исторических романов.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. ДЕДКОВ

★

СТРАНИЦЫ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ

(Полемиические заметки)

Не будет, пожалуй, преувеличением сказать, что сегодня, как и прежде, десять — пятнадцать лет назад, нет в литературной критике предмета более популярного, чем деревня и «деревенская проза». Перелистайте любой журнал, просмотрите «Литературную газету» — статьи о писателях-«деревенщиках» по-прежнему занимают на их страницах весьма почетное, едва ли не господствующее положение.

Но и различия есть, и немалые. Минувало время, когда в центре обсуждения и благодарного внимания были памятные всем очерки В. Овечкина, первые деревенские повести и рассказы В. Тендрякова, С. Залыгина, Г. Троепольского, Е. Дороша, Л. Иванова, М. Жестева, явивших обществу долгожданную картину реальной сельской жизни. Преобладавший в ту пору пафос исследования социальных процессов, происходивших в деревне, сменился ныне пафосом исследования крестьянской души. Сегодняшняя деревенская проза — во всяком случае в лице ее наиболее читаемых сейчас представителей — уже не спешит вслед за газетными новостями, да и не предугадывает их; она желает говорить о самом устойчивом и несомненном — о содержании и нравственных основах жизни современного крестьянина, о его мировосприятии, характере, бытовом укладе. В художественном мире лучших произведений такого рода современный крестьянин становится центром, осью, субъектом изображаемого бытия, а все прочее располагается вокруг по периферии согласно своей истинной для него ценности.

Критика очень благосклонно откликнулась на новую «деревенскую волну», к ко-

торой были отнесены писатели весьма разного опыта и дарования: В. Белов, В. Шукшин, В. Лихоносов, В. Астафьев, С. Мелешин, Е. Носов, Э. Сафонов, В. Потанин, Ю. Галкин и другие. Появилось немало проблемных и полемических статей; дискуссию о лирической деревенской прозе провела «Литературная газета». Нетрудно заметить и то, что за последние два года словарь некоторых критиков, писавших о В. Белове или, скажем, о В. Лихоносове или вообще рассуждавших о «земле и асфальте», о глубинах народного бытия, о поэзии крестьянского труда, пополнился несколько необычной и выразительной фразеологией. То тут, то там на журнальных и газетных страницах замелькало: «голос земли», «твердая почва народной жизни», «величие русской души», «народный дух», «аристократизм нации», «русское, отчее», «святости народной жизни», «патриотизм русской души» и т. п. С подчеркнутым вызовом, желая, видимо, обозначить наличие своей, особой философско-этической позиции, используют подобный словарь публицисты журнала «Молодая гвардия». «Философия патриотизма» (В. Чалмаев), которую проповедует этот журнал, весьма красочна и весьма демонстративна. Она охватывает собой «замечательных героев отечественного фольклора — Иванушку-дурачка и Петрушку», петушиный крик и вкус вологодской клюквы, живопись Рериха, Бенуа и Сомова, музыку Стравинского и балеты Фокина, талант М. Чехова и А. Алехина, прозу Достоевского, Горького, Бунина, Леонова, В. Чивилихина, В. Солоухина, В. Матушкина, поэзию С. Есенина, В. Гордейчева, Вал. Сидорова, А. Передреева, Н. Рубцова,

сочинения протопопа Аввакума и П. Я. Чадаева, а также «хмель народной души» и ее неоспоримое превосходство над всеми прочими живыми душами земли и вообще всю Россию с ее величием нынешним и величием прошлым, до семнадцатого года.

Бывает монополия на торговлю водкой и табаком, на истину, бывает монополия на патриотизм. Похоже, что перед нами претензия именно такого рода. Один поэт, развивая эту «философию патриотизма», открыл, что «было то окно Европе (имеются в виду деяния Петра I.—И. Д.) необходимое, чем нам» (Вал. Сидоров). А другой поэт нашел, что трагические страницы русской истории вполне допустимо уложить в такие строки: «Иван лупил Матвея, Матвей лупил Петра. Про ихние затеи пронюхал немчура. Иван прикрыл Матвея, Матвей спасен Петром. На том стоит Расея. Вот так вот и живем» (Ф. Чуев).

Словом, такая все обнимающая национальная гордость вкупе с высокомерием загарцевали вдруг на владимирских тяжелых оловозах, такое умиление разлилось вдруг окрест, что невольно диву даешься: откуда что и взялось? В критических статьях уже вспоминают славянофильство, хотя оно-то уж тут вроде бы и ни при чем, потому что это было все-таки серьезное, поистине самобытное и выстраданное идейное течение...

Спору нет, рекламируемая ныне на иных перекрестках «философия патриотизма», ее скрытые и явные потенции и претензии, причины известной ее популярности и ее общественный смысл — тема особая, несколькими абзацами тут не обойдешься. Она заслуживает специальной статьи, может быть, и не одной. Нам же захотелось — среди шума и криков о «почве» и «святынях», «голосе земли» и «Саврасушках» — еще раз взглядеться в знакомые уже образы деревенской прозы, к которым привлечено сейчас такое внимание, прислушаться к скрытым в них действительным настроениям и надеждам. Может быть, это несколько облегчит задачу дальнейшего знакомства с новейшими веяниями в области «народного духа» и, в частности, поможет понять, в каких же действительных отношениях находятся «философия патриотизма» и, скажем, проза В. Белова или В. Лихоносова, столь агрессивно зачисляемая этой «философией» по своему ведомству.

1. «Спасать» или «спасаться?».

Виктор Лихоносов, вошедший в литературу три-четыре года назад, — писатель несомненно искренний и честный. Бывает искренность тщеты, откровенность зла. Искренность Лихоносова не мелочна, не суетна, не злобива, она открывает в нем талант, вовлекая нас в мир его личности, приобщая к ее ощущениям, вере и заблуждениям. Такая искренность обаятельна, она всегда способна расположить нас к себе.

Но всегда волнует, что кроется за этим проявлением человеческой порядочности и цельности, в чем его повод, каково выразившееся в нем понимание жизни.

...Осень в южной русской деревне, молодой человек расстается с дорогами ему местами, с доброй супружеской парой стариков. Грустью и очарованием прощанья пронизан этот рассказ Лихоносова («Брянские»), вошедший во все его книги.

«Как хорошо-то у них, — скажет Лихоносов за своего героя в «Брянских», — как здорово проходить по двору с пряслами, опять видеть корову под шелковицей, бабку за дойкой, старика, сидящего на земле, приморившегося за день на выпасе, здороваться, садиться рядом или валиться спиной на траву, видеть густо посыпанное звездами небо, а после брать ведро и, сделав несколько шагов, нагнуться над ветками, шупать тропу к роднику у белых листки и, черпая воду, вдыхать сырой запах с исподу. Кажется, никогда не оставил бы этого места, ни на какие городские прелести не променял бы этой тишины и одиночества леса, их комнаты с кислым запахом, с двумя окошечками на огород и вниз на долину».

«Как хорошо-то у них» — в деревне, деревней, о деревне! — так исповедально, так трогательно это написано, так чисто и хорошо. Надо бы, надо бы купить эту хату и «пожить в одиночестве хотя бы до весны», «но всего в жизни не предусмотреть»: «уезжать мне всю жизнь в деревню, уезжать и возвращаться, уезжать и возвращаться! И уже никто не переменит во мне этого желания, никто не остановит».

Это выговорено честно, это сказано не только о себе: «уезжать и возвращаться», всю жизнь возвращаться под городские крыши и снова уезжать в деревню, будто ощущая какую-то невнятную вину перед нею и вечную к ней любовь. Именно так:

«кажется, никогда бы не оставил...», «никогда бы не променял...», «согласился бы купить...».

Нетрудно понять это сослагательное наклонение глагола — понять, почему нет в этом желании купить, остаться—воли, бесповоротности: тяжело уже порывать связи с городом, его культурой, с новыми и тоже живыми корнями. Оттого и вечный разлад в душе: надо бы, а невозможно...

Но откуда же все-таки этот разлад, откуда эта тоска по деревне, тоска, в которой словно бы веяние чего-то высокого, заветного — свободы, ли, нравственного идеала, какого-то долга, невосполнимой утраты? Или, может быть, все веяние это лишь в том, что «я вырос среди таких, и мать моя такая, и соседи, и навсегда я буду привязан к ним»? И это — как тяга к родине, ностальгия, как возвращение к своим от чужих? Понятно и объяснимо — тянуться к родному очагу, к людям своей породы, страдать без дома, где бы он ни был: на городской улице под фабричными дымами или в лесной глуши посреди вольной природы.

Однако ясно чувствуешь: героя Лихоносова влечет не деревня с почтовым адресом таким-то, где живут отец и мать, и даже не эта южная деревня, с которой он расстается, а вообще вся русская деревня со всеми ее жителями, «своими» и «чужими», с ее тишиной, неторными тропами, коровами, кислым запахом, со всей ее устойчивостью и упорством, с постоянством и непреодолимой ценностью ее труда. Он знает и верит: здесь начало его, почва, здесь примут любым — неудачником и опальным, здесь поймут — может быть, даже не понимая — и пожалеют. Его тянет еще не выветрившаяся естественность, эта неогороженная и ничем не заслоненная природа, эта земля рода.

Да, есть в «Брянских» нечто программное, не частное, не случайное. Это настроение дорого мне, оно мое, сокровенное, мог бы сказать писатель, так я вижу, и чувствую, и понимаю; ваша воля видеть свое, любить свое, мне же мое кажется высоким и значительным, и тут уж ничего с собой не поделаешь. Ибо это чувство, это настроение, эта правда — выше нас.

И что ж, можно ли не понять и не принять это настроение, это чувство? В нем нет зла, нет натужности, оно живое, реальное.

Более того — в нем действительно есть правда. Та правда, что связывает нас со всем добрым, честным, подлинным, рождает наш благодарный душевный отклик, когда мы встречаемся с человечески достойным, нравственно чистым. Разве всего этого нет в деревне, в жизни людей, занятых невыдуманным исконным человеческим делом и живущих трудами рук своих? Кто это оспорит?

Но не нужно и оспаривать. Нужно только знать и помнить: не так уж трудно заворочить себя этим чувством настолько, что оно станет своего рода религией, единственным, все иное исключающим способом восприятия и отношения к деревенской жизни. А всякая религия иллюзорна, и иллюзорность ее именно в том, что питающие ее представления о действительности не выдерживают проверки жизнью.

Ну, например, теми ее сторонами, с которыми сталкивается герой рассказа Г. Семенова «Куковала кукушка» (Г. Семенов, «Луна звенит». М. 1968), тоже совершивший однажды путешествие в деревню — порыбачить и отдохнуть от гула цивилизации.

Да, поначалу он испытывает нечто весьма близкое к настроениям и ощущениям героя «Брянских». У Клевкина (так зовут героя рассказа) здесь нет «своих», он вообще вспоминает о деревне случайно, да и о деревне ли: «о себе, о кострах в лесу, о чистом воздухе и горячей ухе». Но так вышло, что приехал он будто к своим — такая вокруг него разлита приязнь, доброта, забота. И хотя всем деревенским не очень понятно, зачем он пожаловал, он все одно как свой, раз приехал сюда без зла и гордыни. Словом, чувство умиления и благодарности возникает естественно и закономерно, и, кажется, герой Г. Семенова недалек уже от того, чтобы воскликнуть, подобно герою В. Лихоносова: «Как хорошо у них!»...

Но вот проходит какое-то время — и пребывание Клевкина в деревне приобретает уже как будто бы несколько другой смысл, и по-иному звучат уже ответы на хорошо знакомые вопросы, да и сами вопросы — тоже: «зачем и почему он приехал сюда, зачем поселился в этой избе и спит под каким-то идиотским ковриком, под черными иконами... Зачем это надо, когда есть в Москве отличная кровать, есть какие-то милые вещи и не собранный еще магнито-

фон, работу над которым он оставил ради этой глупой поездки. Зачем все это?..»

Герой впадает вдруг в какую-то странную душевную неясность, — он словно бы и не знает уже теперь, зачем и почему сюда прикатил, чувствуя, однако, смутно, что не рыбалка и не гул цивилизации тому причиной, а есть какой-то другой, донные скрытый, но уже проясняющийся смысл этой поездки, этого беспокойства и смятения. Какой же?

«Будут стоять эти избы и черные бани... а люди будут ходить по осенним полям и дорогам в резиновых сапогах. А я уеду. Быть может, я чего-нибудь недопонимаю?»

Как видим, если это тоже мотив возвращения в деревню — сюда, к этим избам и к этим людям, — то он звучит уже несколько иначе, чем у героя «Брянских». Это уже словно толчок совести, ее укор и укол. Как же так? Я — там, они — здесь, будто два мира, два отсчета времени, я уеду к «отличной кровати», к магнитофону, к «милым вещам», а это все останется, чтобы продолжаться?

Но продолжаться ли, если уезжают даже родившиеся здесь, корнями, кажется, вросшие, истинно свои? «Надо, конечно, что-то делать... Так нельзя».

А что значит «нельзя»? Что надо «делать»? Вопросы, на которые принято отвечать, и вот уже вертится на языке: не приезжать сюда по душевной прихоти надо, а возвращаться — если уж возвращаться — насовсем, для жизни и дела. «Куда же идти человеку от этой земли? Драться за эту землю: погибать на этой земле, в этих полях, где когда-то путалась колючая проволока, и все это только для того, чтобы уйти потом и не вернуться на эту землю, на эти поля, которые уже не дождалась в эту осень людей... Странно все это... и непонятно».

«Странно» и «непонятно», но, как видим, истоки этого «странного» и «непонятного» чувства как раз достаточно очевидны. Суть его — в моральной парадоксальности увиденного и услышанного: в поразительной мольбе тети Даши, чтобы весь ее род оставил эту землю и устремился за счастьем в город; в странном итоге — землю отвоевали, омыли кровью, а жить на ней не хотят. Именно эти прежде всего открывшиеся вдруг Клеквину парадоксы живой жизни, а не одни только доброта и приязнь окружа-

ющих пробуждают в нем смутное чувство причастности к этой земле и ее доле, какой-то непонятной, но явственной боли за нее, какого-то странного желания возвратиться сюда, хотя дороги кажутся отрезанными. И это чувство, при всей его неотчетливости, оказывается сильнее — оно не снимает, но оно как бы приглушает ту умиленную тягу к деревне как к источнику доброты и бескорыстного человеческого радушия, которая заполнила было героя поначалу. И не удивительно: когда видишь, что надо что-то делать, как-то неловко уже думать о собственном душевном уюте. Как ни суди, а нравственный потенциал чувства, которое зовет «спасать», всегда все-таки выше, чем жажда «спасти» и «спасаться» самому.

Впрочем, я не случайно все время подчеркивал: чувство смутное, неотчетливое, непонятное и т. д. Пора уже, пожалуй, сказать, что осознание этой разницы между «спасать» и «спасаться» вовсе не принадлежит к сколько-нибудь внятным внутренним итогам самого Клевина. Ощущения и настроения этого героя действительно остаются всегда — до самого конца — весьма смутными и неопределенными. Он словно барахтается, захлебывается в них, и самое большее, на что способен, — более или менее добросовестно и искренне зафиксировать сумятицу своих чувств в ее непосредственных, чисто психологических проявлениях. Эти проявления могут служить достаточно любопытным психологическим материалом для объективного и внимательного наблюдателя, но сам он явно не отдает себе толком отчета в том, что с ним происходит.

Да, кажется, и автор тоже не вполне понимает своего героя. Вот почему и рассказ в целом оставляет все-таки впечатление какой-то смутной недоговоренности, некой словно бы силящейся пробыться, выжить себя, но так и не осиливающей собственную неопределенность художественной мысли. И когда Г. Семенов пишет о Клевине: избы «смотрели на него с обрыва и думали как будто — кто же он, этот небритый человек с припухшими глазами, и зачем он здесь, чего ему надо?» — право же, в вопросе этом слышатся искренние, простодушные удивление и смятенность и самого автора...

Так и уходит со страниц этого рассказа его главный герой — совсем так же, как и

из деревни уезжает: неясный, праздный, посторонний — прохожий в этой жизни. Ни ребенок, ни мужчина. И откуда же, в самом деле, знать избам, плачет или смеется над ними странный этот человек с глазами, припухшими от бездеятельной отпускной жизни? Они видят, что клеквины, намаявшись в черной меланхолии под черными иконами, так и уезжают, увозя с собой неясные свои томления, и хорошо еще, если они хотя бы смутно почувствуют, что «надо, все-таки, что-то делать». Хотя, если уж говорить совсем серьезно, при всей действительной сложности этой проблемы, она совсем не так безысходна и непостижима, как у героя Семенова, — героя, наделенного психологией все-таки несколько искусственного, литературного происхождения.

Из всего сказанного, думаю, ясно, что, вспомнив рассказ Г. Семелова, я вовсе не имел в виду назидательно противопоставить его рассказу В. Лихоносова.

Но тем более показателен, пожалуй, этот пример.

Да, соприкосновение Клевкина с деревенской реальностью поверхностно, а уровень миропонимания у него, человека совестливого, но, в сущности, с неразвитыми еще мыслительными навыками, оставляет желать, как говорится, лучшего. Но ведь если даже при таком уровне восприятия эта реальность способна вызвать настроения и чувства куда более многозначные, чем благодарное умиление добротой и приязнью «деревенских», — значит, действительно не так уж она однозначна, эта деревенская жизнь, и нужно какое-то совершенно исключительное сочетание обстоятельств или какая-то особая направленность взгляда, чтобы при встрече с ней почувствовать и плениться только одним — «как хорошо-то у них!»...

Могут сказать: деревня Г. Семенова и деревня В. Лихоносова — разные деревни. Одна северная, другая южная, одна пустеющая, другая процветающая, да и времена изображены в них, по-видимому, разные. И если в одну из них возвращаться — это, наверное, и в самом деле прежде всего не «спастись», а «спасти», то почему бы вторая не могла поразить воображение молодого горожанина прежде всего именно человеческим достоинством, душевной приглядательностью своих обитателей, предстать перед ним как некий оазис необходимой

ему нравственной поддержки и даже — «спасения»?..

Не спорю — могла. И не так уж виню за это героя — искреннее, несуетное его чувство, повторяю, не только понятно, но даже и симпатично. В нем есть несомненная человеческая правда.

Но разве речь о том, что поучительность клевкинского путешествия в деревню — в столкновении именно с теми сторонами деревенской жизни, которые открылись ему в поразительной мольбе тети Даши? Деревни действительно разные, да и то, быть может, правда, что сейчас уже подобного рода тревоги значительно менее злободневны, чем раньше. Речь шла лишь о том, как неизбежно и существенно меняется самый характер и направленность взгляда, когда жизнь, в которую тыходишь и к которой идешь со своими нуждами и заботами, вдруг проткрывается тебе в ее собственных заботах и нуждах, когда она хотя бы отчасти обнаруживает перед тобой свою внутреннюю многомерность. Ведь деревенская жизнь — это жизнь, и, как всякая жизнь, она сложный, противоречивый процесс, сплетение самых различных обстоятельств и устремлений. Что из того, что одного приезжего она может пленить своими светлыми чертами, другой заметит лишь мрак и зло; одному захочется ее воспеть, другой, остановившись в недоумении перед ее парадоксами, постарается уехать поскорее к своим «милым вешам» и «магнитофонам»? И в том и в другом случае все равно это взгляд со стороны — взгляд приезжего, постороннего этой жизни, способного измерять ее лишь мерой запросов и устремлений собственного «я». А так ли уж можно довериться этому взгляду?

Вопрос не в том — «чернить» или «воспевать». Куда засушнее и труднее войти «внутрь», увидеть жизнь из глубины ее собственного течения. И когда она захватывает именно этой, реальной, глубинной своей плотью, как-то теряется вкус к каким-либо аттестациям ее «со стороны» — рождается чувство подлинной человеческой причастности к делам и заботам живущих ею людей, рождается потребность в глубоком и трезвом понимании всей действительной ее сложности и — еще — горячая заинтересованность в том, чтобы в вечной борьбе составляющих всякую жизнь противоположных начал победило добро, но не зло.

Вот почему когда герой В. Лихоносова произносит свои самые искренние, быть может, слова: «Как хорошо-то у них!» — в этом искреннем вздохе все-таки слышится пусть неосознанное, но отчетливое: как хорошо-то у них — а м. Хорошо по разным причинам. Но, несомненно, и потому, в частности, что мы гости, постояльцы, квартиранты, мы там независимы, мы вне тамошнего хитросплетения быта, тамошних сложностей.

Мир сельской природы, крестьянского распорядка и устройства жизни сохраняет для горожанина новизну и красоту, вызывает понятное волнение, душевный подъем. Для хозяев окружающее привычно, обыденно, они с ним сжились, соединены кровно. нерасторжимо. Лес, луг, жаворонки, роса, сенокос для гостей — лоно природы, дача, национальный парк. Для хозяев лес, луг, простор, река — рабочее место, поле жизни и труда, средство существования.

Вот отчего красоту и гармонию крестьянского быта, изображенного Лихоносовым в «Брянских», воспринимаешь скорее не как живую картину реальности, а как лирический фрагмент душевной жизни героя, заключающий в себе, при всем несомненно добром, что в нем есть, все-таки и определенный привкус сентиментальности, некоторой идилличности в восприятии действительности. Подобного рода картины сельской жизни обычно нравятся всем и всеми приветствуемы. Но еще шаг, еще «чуть-чуть» — и с ними неожиданно начинают переключаться вдруг строки типа: «Взглянул на кустик — истину постиг» (Н. Рубцов). Ведь давнее русское склонение — в деревню, деревней, о деревне — таит в себе сегодня, как мы уже знаем, и нечто совсем иное, чем простая, бесхитростная, неэкзальтированная любовь к тому доброму, что действительно есть в деревенской жизни. Она зовет нас вернуться к деревне именно как к некоему нравственному первоисточнику, манит благодатью природной цельности. прикосновения к земле. Так деревней томятся сейчас многие, это как подземное, почти религиозное течение в иных душах. И кажется, если рассказ В. Лихоносова и не совпадает с таким томлением, не переходит в такого рода проповедь, то некоторой своей идилличностью все-таки дает повод для спекулятивного его использования. Наверное, будь у В. Лихоносова

только такие рассказы, его творчество и в самом деле могло бы служить неплохим подспорьем для декламационных упражнений критиков, воспевающих «простосердечие, открытость и чисто русскую песенность души, как основу человеческого счастья, как норму поведения» (В. Чалмаев).

Но что, если в «долине спасения» нет спасения и желание «опроститься», «вернуться к родным избам» основано на слишком идеальных романтических представлениях о деревне как о некоем «заповедном крае» нетронутой цельности, неслышанной честности, открытости и мудрости? И что, если творчество писателей, которых любят зачислять по своему ведомству проповедники новейшей «философии патриотизма», к философии этой отношения не имеет?

Можно забыть, но полезнее напомнить: у В. Лихоносова есть и другие рассказы, к тому же более глубокие и самостоятельные, свободные от прекраснотуши.

Один из них — «Марея».

2. «Чтоб красиво было смотреть»...

Мужиков Чехова обступала нужда — в деревне Марее весело стучит молотилка: «хлеба, в этот го-од!..»

Марея несчастна не потому, что скуден окружающий ее мир. Еще задолго до войны шла Марее с фермы в метель и упала в колодец. Была красивой — стала уродом, была работницей — оказалась приживалкой, была с мужем — осталась одна. Горько жить Марее, а порою и вовсе жить не хочется.

В. Лихоносов написал рассказ о человеке, о котором, судя по иным рецептам, писать в наше время не следует. Зачем вытаскивать на обозрение физическое уродство, исследовать тягостные переживания инвалида, неудачника?

Предвидя подобные упреки, писатель устами одного из своих героев произнес маленькую защитительную речь: «Не из далеких времен пришла к нам она, с нами она живет, и никуда не денешься, не спрячешь ее, не выкинешь. И что же поделаешь, если все так случилось...»

Так случилось, что Марее живет в доме брата, но бездомна. Жена брата Тоня «похрапывает, разметав руки, бесстыдно раскидав ноги и оттолкнув Степана к стенке». Она и Марее оттолкнула, и других оттал-

кивает, она главная в доме, хозяйка, владычица.

Так случилось, что последний родной у Марей человек на земле — брат Степан. Но «все ему некогда, пить — так небось есть когда, а на могилку (матери.— И. Д.) сходить — ему некогда». Там, в кладбищенской полыни, Марей будет жаловаться матери: «Плохо мне без тебя, Степан ыбжает».

Так случилось, что, кроме доброй Гути и ее сына, никто не жалеет Марей по-настоящему. Сочувствие односельчан к ней нередко внешнее: здесь есть все — и присущее людям любопытство к чужому горю, и снисхождение к убогой с высот своего благополучия, своей полноценности, оттененной неудачей, бедой соседа.

Мир, окружающий Марей, занят собой, ее горе — ее собственная внутренняя боль. Но Марей никого не винит, разве что брата. Она знает, что ничего не поправишь, второй раз с фермы судьба не поведет. И еще знает она, что жизнь любит здоровых и сильных, что людям впору управляться со своими заботами, что роптать надо не на занятых людей этих, а на участь свою. Да и можно ли дерзить судьбе? И потому не ропщет она, не дерзит, а если и жалуется, то доброй Гуте, матери-покойнице да господу-богу «в минуты слабости и обиды».

«Что же поделаешь, если все так случилось, если она не причастна ко всему, что творится на свете».

Но за что так проникновенно извиняется за Марей перед неумолимо здоровой деревенской общественностью сын Гути, добрый и внимательный человек? Это его слова: «не спрячешь ее, не выкинешь», «все так случилось», «что же поделаешь... если она не причастна».

А что, если Марей причастна? Ну, может быть, не «ко всему, что творится на свете», но к чему-то очень важному, существенному, самому дорогому, наконец, для нее, да и не только для нее?

Марей свойственно глубокое внутреннее переживание за окружающих, мысленное участие в их делах и суете, у нее зоркость и участливость страдающего одинокого человека.

Марей хочется «быть как все», и потому вместе с косцами она беспокоится о погоде; выстаивает в очереди за «новым товаром», хотя ничего не сможет купить; спрашивается о ценах на рынке — так «хочется ей разговаривать, примерять», жить по-людски.

Когда просят, она охотно присматривает за соседскими детьми.

Марей все вокруг видит и все обдумывает: «Симаковы повезли на тележке тушу, покрытую простыней. Куда же это они так рано? А, сегодня воскресенье, базар наберется большой, выедет магазин, а Симаковы станут в мясном ряду, едут пораньше, чтоб рубщик разделал тушу, от него много зависит, а Симаковым надо распродаться подороже, оправдать затраты: сам приходил к Степану за лампой и жаловался, что рано пришлось колоть, столько ухлопали на него, а он ногу сломал, стал плохо есть».

Это типичная умственная работа Марей, она хорошо знает пьесу жизни, чужие роли выучены назубок, как свои.

Мир этой несчастной женщины в высшей степени конкретен и реален: в нем косят на колхозном поле, возят кирпич, забивают поросенка, пьют квас с похмеля, стоят в очередях, торгуют на рынке, потешаются над беззащитным дурачком, выбирают картошку, ходят в церковь. Все это творится на ее свете, самом что ни на есть ее, с которым она нерассоединима. Несчастье обрекло ее быть только свидетельницей, и судьбу ее не переменишь: выбирать Марей не из чего.

Гутин сын, археолог, мягкая, интеллигентная душа, тоже обреченный на возвращение к родным пажитям, ошибся, говоря о «непричастности» Марей.

Просто ее «свет» — не его свет. Она причастна к своему свету, который называется село Монастырка. Она внутри того мира, который Гутин сын, да и герой «Брянских» видят извне.

Кто виноват, что на свете так много светов, в мире — миров, в языке — языков?

Надо бы твердым ребром ладони сдвинуть на край тяжелого крестьянского стола все, что может сделать тебя чужим для женщин, сидящих напротив и ждущих слова истины, и говорить о самом важном: работе, жизни, здоровье, болезнях, любви, детях, смерти, надеждах, заботах, ожиданиях. Но это понимают слишком поздно, а пока еще сто лет жизни впереди, куда чаще гости играют в людей, которые «вышли в люди».

Я не про сына Гути, у него чуткая душа, он жалеет Марей, и он умеет, когда хочет, сдвигать на край стола все непередаваемое на язык родного дома. Но велик и соблазн угостить жителей нынешней дерев-

ни красотами и щедротами мира-света, объяснить-таки, откуда «упала Литва». Так жалуют бедных родственников, ни разу не побывавших в столице: да знают ли они вообще, на каких китах держится земля? И что вообще значит на фоне прогресса тетка Марья с ее мыслями о поросенке, сломавшем ногу!..

Да, к большому свету Марья как будто бы непричастна, она как будто бы лишь совпала с ним во времени. Но точно так же непричастны тогда и Степан, и Тоня, и даже Гутя, и многие такие же, как они, добрые и злые, ленивые и работающие, простодушные и хитрые, открытые и замкнутые, и если это верно, то как трудно с этим согласиться. Разве Монастырка — не часть огромного мира, разве вышелушишь ее из эпохи, не парушая целого?

Глядя на Марью, стоит ли задумываться «о чем-то далеком, ветхом, когда глухо и грустно было по всей русской земле», так осторожно и литературно задумываться? Отчего так странные мысли сына Гути о Марье? С кем спорит он, когда убеждает: «не спрячешь ее, не выкинешь»? Значит, кто-то не прочь «спрятать», «выкинуть» таких, как Марья, «деть» их куда-нибудь? «Думаешь, красиво людям на тебя смотреть?» — скажет Тоня Марье. «Вы на нее не обращайтесь вниманья!», — скажет Тоня го-стям.

Хозяева дома считают, что Марья к ним непричастна, она проживает у них, потому что таковы их милость и доброта. И все же Марья Степану — сестра, и его иногда мучает совесть.

Но что, если какому-нибудь другому Степану, великому патриоту своего дома, своего хозяйства и своего процветания, захочется, чтобы людям «красиво было смотреть» на его усадьбу? Совесть мучить его уже не будет. Он сделает Марью музейным экспонатом: вот она, печальная правда прошлого, а вот «как глухо и грустно» было в сих местах. Или спрячет Марью подалее, сделав вид, что и не было таких в наличии. И распахнется перед нами геометрия разлинейного, проветренного помещения с едва уловимым запахом дезинфекции...

Марья и жалостливая Гутя написаны вне сфер активного общественного действия, они всецело в быту, в частной жизни. Они живут на краю села, дальше идти некуда. Не героини они, не героини...

И вот разговор Марьи и Гути, завершающий рассказ. Горько и светло на душе. Еще раз понимаешь, как суетна, временна вся причастность, если нет доброй причастности человека к человеку, к его тяготам и страданиям, честного разделения его — и других — участи.

«— ..Ты меня вот жалеешь. Ты хороша».

— Да я чо, Марья. Я сама пережила немало. А оно правду говорится: кто горя не видал, тот другого не поймет. Она вон, твоя Тоня, прожила век за мужем, чо ей: встала, наелась, и заботушки у нее нету.

— И он.

— И он! Думаешь, отчего такое брюхо отпустил? Войну не воевал, достал броню по блату и спекулировал все время на базаре. А наши мужья головы посложили... Марья, у тебя глаза хорошие, затяни мне нитку.

— Не могу. Трясет. Ты бы очки купила.

— Да все забываю. Я говорю, кто кровь проливал,— продолжает она,— а кто наживался на этой войне. А люди ни с чем не считались, работали: все фронту, все фронту — последнюю рубашку отдавали. Больно скоро они забыли, как нам доставалось... Я как смолоду потеряла Ваню, так и мантижила всю жизнь, пока сын не вырос да легче не стало. А ну-ка с таких лет! Чо я хорошего видела?

— Помнишь, мы с тобой картошку выбирали?

— Как не помнить.

— Да бы-ы-стро.

— Переходила бы ты ко мне, Марья. Я тебя ничо делать не заставлю. У меня все есть, я хорошо живу.

— Перейду, тетя Гутя, перейду.

— Дай-ка я на тебе померяю.

Марья подвигается, и Гутя, маленькая, сухонькая, примеривает на ней зимнюю кофточку, наживляет белой ниткой плечи.

— Тебе идет,— говорит Гутя.— Как невеста.

— Прямо уж, невеста. Уж ты скажешь.

— А что, ты красивая была.

— Уж и красивая,— говорит Марья, довольная.

Она проходит в горницу, посмотрит там в зеркало, показывает себя то одним боком, то другим и широко, звемками раскрывая рот, счастливо улыбается, подрагивает, нервно притопывает ногой...»

Быстро прошло время, быстро выбирали картошку, последнюю рубашку отдавали... Обе видели в жизни не так уж много хорошего, но обе были счастливы, когда у них случались такие разговоры, и они вдруг ощущали свое родство, единство судьбы, общность жертв и памяти, свою красоту и значение.

В рассказе «Марей» В. Лихоносов показал нам ту же, в сущности, деревню, что и в «Брянских». Перед нами деревня как деревня, «тихо и заброшенно» здесь, но не бедно, не скудно, не голо, и «нескончаемо широки горизонты». Но угол зрения иной, чем в «Брянских», и вот уже нет той идиллической красоты и гармонии отчего края, а только повседневное поле жизни и разные в том поле работники. В. Лихоносов не побоялся представить нам черты грубости, корысти, эмоциональной глухоты, взглянув на крестьянский быт изнутри его. И этот же угол зрения позволил писателю увидеть в Марее и Гуте настоящую, не стилизованную душевную красоту и стойкость.

Именно — не стилизованную. Потому что здесь нет желания увидеть в Марее или Гуте нечто такое, что можно отыскать лишь на обетованной земле деревни, — ее символ и олицетворение. Он понял и знает: земля эта — разная, и самое важное — смотреть на нее добрыми, но ясными глазами. Вот почему, видимо, рассказ «Марей» бессюжетен, и хорошо, что бессюжетен: все возможные исходы — скажем, смерть Марен, изгнание ее из дома Степаном, переселение к Гуте — переакцентировали бы смысл повествования. Мы бы жалели и говорили: отмаялась; мы бы возмущались извергом-братом или умилялись бы благородной Гуте и гораздо меньше думали о главном. О том, как живут все живущие на свете Марей, и чем они живут, и что значат, и как испытывают способность окружающих к состраданию, и как нам самим жить, чтобы ничто не отвращало нас от правды и всякого человека, если зло не поработило его навсегда.

Рассказ «Марей», как и многие другие рассказы В. Лихоносова, как раз и ставит нас лицом к лицу с реальной деревней и ее реальными людьми. Жаждающие причаститься деревенской благодати не найдут здесь почвы для своих воцелений — «долины спасения» в деревне В. Лихоносова нет. Скорее уж им придется довольствоваться иными изображениями — изображениями, которые выходят время от времени из-под

пера родственников им по духу писателей. Одно вот только существенно — насколько достоверны эти изображения?

3. Образцовый Сенечка

Повесть И. Петрова «Сенечка», напечатанная саратовским журналом «Волга» (№ 6, 1966), была встречена критикой доброжелательно. Отмечалось знание народной жизни, смелость автора, его оптимизм.

В «Сенечке» автор касается некоторых печальных сторон деревенской жизни минувшей поры. События развиваются здесь так, что главный герой повести Сенечка — покладистый, можно сказать, образцовый колхозник, глава большой семьи — чуть не накладывает на себя руки. Этот трагический момент — как бы вершина сюжета и отчаяния героя, далее начинается пологий спуск, сулящий новую жизнь и, как сообщается «от автора», председательский пост вскорее.

Однако попытка самоубийства, хотя это и редкая для нашей литературы ситуация, невольно отодвигается в нашем восприятии на второй план другим, хотя и менее важным как будто бы эпизодом повести, который можно было бы условно назвать «встречей дачников с мужиками».

Был, если верить автору, в деревеньке Пеньки такой обычай: дачники, то есть отпускники из всех городов и со всяких должностей, выставляли угощение для местного мужского сословия и обсуждали «крестьянский вопрос», желая приобщиться, как принято ныне писать, к «духовным истокам современной жизни». Позвали и Семена-Сенечку.

Вначале колхозные деды толковали о трудоднях («Девяносто семь с половиной грамм на труд-день отвалил, подумать только! Да это ж позор нашему Кузьмичу на всю Расаю — два с половиной грамма доста не мог дотянуть!»). Затем общее внимание обратилось к Сенечке: «Спросите его, робятки, как он живет-кормится со своей оравой. Сам-девять поди, а заработки-то известные — кока-мака на постном масле...»

Не будем пока обращать внимание на явный налет искусственности, стилизации в этих воспроизведениях крестьянской речи. Такова и вообще манера автора. Важнее вслушаться в самое существо дальнейшего

разговора — разговора, исполненного в том же стиле, с теми же фельетонными преувеличениями.

«— Возможно ли! Как же вы живете! Чем питаетесь, чем детей кормите?»

— А росой, наверное, росой, милый мой, которая так восторгает вас, писателей, в деревне, — слышался из-за кустов чей-то насмешливый голос...

— Да погодите вы, тут дело серьезное, надо выяснить в конце концов. Как же вы живете, чем кормитесь, не святым же духом? — тянулась к Семену чья-то рука.

— А так! ничем! — как-то не по-своему, вздернув сухой чисто выбритый подбородок со свежим порезом после бритвы, даже с гордостью, с вызовом каким-то отвечал Семен. — Мы все можем! Вот как!

— Но вы работаете хоть? За что же вы работаете?»

— А как же? Работаем! Вам в городе получку на день задержат — вы и то вопите. А мы ничего, живем. Мы все можем. Восемьсот двадцать восемь трудодней с женой за год выколотили, нате, получайте! Мы не какие-нибудь. — Семен с небывалым превосходством, с таким превосходством, которое самое подымало его на воздух, обвел взглядом всех по кругу... и оттого, что он впервые в жизни испытал это превосходство, у него и у самого забегали мурашки по спине. — Нате! Мы все можем! Мы не какие-нибудь! Мы можем и год, и два, и десять работать и ничего не получать! Вот как! Вот как! — выкрикивал он, упиваясь тем, что он может делать то и жить так, как не могут делать и жить эти люди.

— Но это... это невозможно! Так работать и — ничего не получать! Вы — герой! Герой труда! Товарищи, товарищи! Не те герои, кто получает звезды — вот они герои, безвестные, на них земля-мать держится, на них — на них! — воздевая руки к Семену, со слезами на глазах декламировал тот, кто значился в Союзе писателей или где-то около...

— Мы все можем, все, все! — уже без воодушевления, даже в растерянности твердил Семен.

Вот так. Еще немного — и многодетный Семен станет уже и прямым посмешищем честной компании — будет провозглашен не героем трудодня, а героем трудоночи, которому государство «прогрессивку за ночные работы платит».

Нетрудно догадаться, что автор здесь, конечно же, не на стороне смеющейся компании. Он сочувствует своему герою, жалеет его — отсюда и язвительная карикатура на жестоких насмешников из Союза писателей. И в этом автора нетрудно понять. Еще бы! Бедный Семен — ему «очень-очень хотелось встать и уйти», но он боялся обидеть компанию, и не мог же он объяснить ей про это стыдное пособие, про то, как хотел мальчишку, а шли девчонки, одна за одной, семь штук, и про то, что никогда не отказывался от детей, помня — куда денешься от этого? — что младшенькая семья кормит...

«Мы все можем!» — кричит Сенечка, и в этом крике и вправду нельзя не почувствовать всю меру его издерганности. Чем же еще доказать Сенечке свою значимость, значительность? Только неслыханным, фантастическим, ангельским своим терпением может он поразить заезжих мыслителей, и вряд ли требуется богатое воображение, чтобы почувствовать в его воплях зияющую бездну: а ведь и правда сможет, перебудет, перетерпит, перестрадает. За всем этим стоит, конечно, реальность известного периода деревенской жизни, и она не может не вызывать чувства искреннего сострадания — сострадания, в котором понимаешь автора и которое разделяешь с ним.

Но вот вопрос, на который тоже ждешь ответа, слушая отчаянные крики Сенечки: как же так, почему, в чем сила этого неслыханного Сенечкиного терпения?

«Вера все время в душе моей проживает, никуда, вот как и я из деревни, податься не хочет. Вот верю... что год там или два пройдет — и справедливость эта к нам в Пеньки обязательно явится. Будто вот она вон в том лесочке притаилась и ждет удобного случая».

Это объяснение самого Сенечки. Это его «верую». Но только ли его?

Увы, из всего следует, что «верую» это — и автора. Он и здесь полностью со своим героем.

Что ж, хорошо, конечно, что Сенечка как в воду глядел. И впрямь вышли через год-два известные постановления партии и правительства по сельскому хозяйству и начались в деревне благотворные перемены. Но ведь Сенечка как-то и до этого счастливого времени жил, и притом немалые годы? А ведь не как-то легко было тогда в будущее

заглядывать, да и справедливость не в ближайшем леске таилась...

И все-таки автору куда важнее, что он верил — верил, потому что: «Ле-е-е-нин! Вошел он в души и дедам нашим, и, стал быть, отцам и нам с тобою. И покуда он тут, — приложил обе руки к своей груди, — до тех пор и вера тут будет».

В искренность и значительность для Сенечки этих слов тоже, конечно, веришь. Не хватает им, всему их строю, может быть, естественности высказывания, что ли, но символ веры Сенечки ясен: Ленин остается для него немеркнущим идеалом, отцом новой справедливости, которая должна торжествовать наперекор всему темному, не ленинскому. Ленин для Сенечки — как светлое начало, как залог правды и истины, верного направления жизни. И это трогает, в этом Сенечку понимаешь, потому что Ленин — это и в самом деле идеал и правда.

Но ведь нельзя, кажется, не заметить здесь и того, что вера Сенечки — это вера ожидания, вера пассивная, вера в чудо и авторитет: так или похоже верят в хорошую погоду, в добрый урожай, в счастливый жребий. Справедливость сама должна явиться в Пеньки то ли из ближайшего осинника, то ли из колхозной конторы, то ли из другого какого учреждения. Завернет она в Пеньки или не завернет, а Сенечка будет ждать, терпеть и надеяться. Он и дрянного жестокого председателя Кузьмича перетерпит, потому что «какой ни на есть, а председатель колхозный! Вот почему! И не могу я на это руку поднять, не хочу, не желаю!».

Слова эти (автора они опять-таки лишь умиляют) аттестуют, конечно, Сенечку человеком дисциплинированным: не всякую голову посетят столь здравые мысли в минуту оскорбления. Но ведь выходит, что Сенечке вроде бы и невдомек, что сам он, советский колхозник, более всех на свете вправе оказать или не оказать доверие председателю Кузьмичу и что выступить против Кузьмича — это далеко не то же самое, что посягнуть на колхозный строй, которым он, Сенечка, так дорожит.

Вот так вот и живет Сенечка, ждет благодати из ближайшего леска, работает на совесть, получает, что дают, слушает «голос земли» и никуда не убегает. Не убегает и потому, конечно, что далеко ли убежишь,

когда семеро девчонок на руках. Но главное — потому, что у него вера — вера, равнозначная ожиданию, светлому упованию на вознаграждение за добродетельность всей его жизни.

Впрочем, в какой-то момент автор отступает как будто бы от этой программы и готов указать Сенечке иной выход. Он доводит своего героя до того драматического часа, когда впору наложить на себя руки, и Сенечка вдруг понимает, что ждать, пожалуй, больше уже и невмоготу, надо защищать семью и себя. Он рассуждает так: «Ты, может, вытерпел самое главное в жизни, прошел самое трудное, чтобы теперь понять, что к чему. Ты должен обо всем рассказать кому следует, новому секретарю, что раскусил и прогнал Кузьмича, тому же министру, а если надо и — выше. Послушают же ведь тебя, послушают, пойми ты такую штуку, садовая твоя голова, ты ведь не чужой в своем государстве, свой, кровный!.. Я все распишу! Одну рубаху сатиновую и катану в Далекое, в Москву!»

Вслушайтесь — ведь это и вправду скорее не Сенечка размышляет, а сам автор склонился над ним, подсказывает, вразумляет, выводит за руку. А еще точнее — дает консультацию.

Вдумаемся, однако, в смысл этой консультации.

Отправится ли Сенечка в путешествие за правдой — сказать трудно; судя по его характеру — едва ли: наутро одумается. Но если даже и отправится — многим ли лучше веры ожидания психология просителя и жалобщика? Это тоже ведь психология не хозяина страны, не гражданина, в ней различимы черты покорности, осознанной малости своей...

Да, Сенечка написан с любовью и сочувствием, его жалеешь и ему жаждешь помочь. Но это скорее от той живой, знакомой реальности, которая стоит за его стилизованным образом. Потому что как бы ни болела за Сенечку душа, ясно видишь: жизнь, надежды, горести этого человека нужны писателю не для подлинно заинтересованного, а значит, и трезвого, честного художественного исследования, но прежде всего для того, чтобы изобразить своего героя ангелом и страдальцем, в чьих бедах повинны лишь обстоятельства да злые Кузьмичи, но только не он сам. Жизнь Сенечки написана как бы под диктовку, но это не

прихотливое живое письмо, а прописи — требуемое, идеальное, образец, некоторым образом норма. Отсюда и стилизация, и фелетонность, и весь этот режущий ухо налет искусственности, поддельной «простонародности» языка, выпященной экзальтации. Известно — ложные идеи не способствуют художественности.

А между тем куда важнее было бы помнить, что именно Сенечки всегда наилучшим образом соответствовали правилам; иногда правила требовали, казалось, невозможного — и Сенечки делали невозможное. Так что как ни прикинь, а Сенечка как бы и сам участвовал в составлении правил, по которым жил.

Высокая нравственность, стойкость и прочность взглядов, которыми наделен Сенечка, очень привлекательны сами по себе, но эта добродетельность слабого и беспомощного человека не восхищает, а удручает. У такой живой воды «народной нравственности» горький привкус. В повести И. Петрова отчетливо выразилась та самая тенденция в изображении современной деревни, которая дала впоследствии обильный материал для упомянутой нами выше абстрактной и высокопарной фразеологии так называемой «философии патриотизма».

Идеализация человека деревни в литературе и критике, оправдание иных отрицательных сторон его характера, общественного поведения и позиции обстоятельствами жизни обрекают нас на повторение незабвенного прекраснотуши наших не столь отдаленных предшественников, для которых Чехов и Бунин были жестокими и мрачными изобразителями мужика. Но мы знаем, что Чехов и Бунин были в том споре правы, ибо долгие века и годы тяжела и застойна была сама атмосфера российской жизни, и иной русский человек, особенно в деревне, складывался, впитывая гражданскую пассивность и послушание как основные гарантии житейского благополучия, выживания вообще. Критики Чехова и Бунина хотели этого не видеть или лукаво переосмыслить: грубость и жестокость быта выдавать за патриархальность и открытость нравов, общественную инертность и лень — за вековую мудрость, бесконечную уступчивость — за песенную мягкость национальной природы...

Вот почему и сейчас, хотя времена сейчас совсем другие и деревня тоже, популярные в нашей критике призывы «любить народ»,

«переживать его жизнь, болеть душой, бороться за счастье его» кажутся нам порой слишком общими, даже бессодержательными: кто же нынче не любит народ, сознается ли кто в том? Припомним старую крестьянку Матрену Васильевну Григорьеву, чей образ так поразил нас несколько лет назад в известном рассказе, замеченном многими читателями. В рассказе были представлены черты редкостной нравственной чистоты. Но там не было ни подмены, ни обмана, ни иллюзий, не было программы «спасения» — там чувствовалось стремление автора различить в обычной житейской повседневности свет добра и потребность в идеале. Совсем другое дело, когда идеал этот искусственно конструируется, да еще из материалов, весьма мало к тому пригодных. Тогда на месте реальной советской деревни появляются обетованные земли и долины спасения, а в роли праведников, являющих нам как бы идеал и норму нравственного совершенства, начинают выступать озаренные полумистической верой Сенечки, которые «все перетерпят, все вынесут».

Впрочем, чаще всего это происходит все-таки не по вине писателей, а усилиями критики. И здесь случаются иной раз удивительнейшие метаморфозы. Одна из них — та, которая произошла с прекрасной повестью В. Белова «Привычное дело» и ее главным героем — Иваном Африкановичем Дрыновым.

4. По старому обычаю

Да, Ивану Африкановичу Дрынову крупно повезло, он стал бальваном и любимцем критики. Особенно пленился им тот же молодежный журнал, усердно ищущий строительный материал для возведения высотного здания собственной «философии». Там написали даже так: Иван Африканович — это «патриотический гимн миллионам сеятелей и хранителей русской земли» (В. Чалмаев). За парадом слов было знакомое: давайте спасаться от «просвещенного мещанства», припадем к родникам народной нравственности и национального духа.

Более спокойная — и более распространенная — точка зрения на повесть В. Белова «Привычное дело» может быть выражена, пожалуй, такими словами: «Не часто встретишь в литературе народные характеры, которые равны были бы Ивану Африка-

новичу и его жене Катерине по глубине и масштабам человеческой духовности... Неизбывная доброта Ивана Африкановича, его почти детская незащищенность, его способность на самые высокие чувства передаются в повести с той естественностью, которая удел только подлинно большой прозы» (Ф. Кузнецов).

С иными оценками в подобного рода характеристиках не приходится. конечно, спорить. Например, с тем, что перед нами — подлинно большая проза. Или с тем, что в Иване Африкановиче есть детская незащищенность и доброта.

Иван Африканович действительно написан В. Беловым с симпатией — с той симпатией, которая всегда возникает, когда человек перед тобой доброжелательный, простодушный, искренний, без зла и гордыни. Все это в Иване Африкановиче есть. Он искренне привязан к Катерине и детям, искренне хочет им добра, и даже пьяные его чудачества вызывают улыбку сочувствия, трогают своей простодушной, детской бестолковостью.

Но когда все это начинает трансформироваться в «глубины и масштабы человеческой духовности», в «патриотический гимн» и «самые высокие чувства», тут уже, при всем добром к Ивану Африкановичу отношении, какое он только способен к себе по справедливости вызвать, пропадает желание вспоминать лишь о его «детской незащищенности», трогательном простодушии и прочих славных качествах. То же чувство справедливости властно напоминает о другом. О том, что не случайно Иван Африканович написан В. Беловым если и с несомненной симпатией, то одновременно и с глубокой горечью. И что если он для него и не объект сатирической иронии, то вовсе и не икона. Диву даешься: полно, да читали ли восторженные поклонники беловского героя повесть, ее ли имеют в виду? А если ее, то как могли не заметить важную сторону ее действительного смысла?

Пусть не посягует на меня читатель, но я попытаюсь — в одностороннем, так сказать, «полемически заостренном» порядке — напомнить именно те черты и обстоятельства из жизни Ивана Африкановича Дрынова, мимо которых, стыдливо опустив глаза, проходят его воспеватели. Между тем обстоятельства эти и составляют как раз самое существенное в содержании повести, глубинный, внутренний ход ее сюжетного

движения. Может быть, тогда понятнее будет, о чем написана эта умная, серьезная книга.

Итак, подумаем прежде всего о «неизбывной доброте», о той, которую не избыть, не исчерпать, потому что она естественна и самозабвенна. О духовности как способности противостоять натиску материального, обстоятельного, умения, привычке быть обращенным внутрь, болеть вечными вопросами, хранить в душе идеал и завет. Или иначе поняты на этот раз доброта и духовность?

Все помнят, как в зимнем лесу Иван Африканович подобрал замерзшего воробья, сунул его за пазуху: «Жив ли ты, парень?» И рассудил так: «Тоже жить охота, никуда не денешься. Дело привычное. Жись. Везде жись. Под перьями жись, под фуфайкой жись».

Это трогает, вызывает симпатию к Ивану Африкановичу, и не удивительно, что критика, которой доброта эта не могла не понравиться, зацтировала эту сцену. Но ведь главная «жньсь» все-таки та, что «под фуфайкой», как ни верти. А складывалась жизнь Ивана Африкановича — не забудем — так.

Катерину Иван Африканович полюбил еще в молодости, давным-давно. И она тоже полюбила его, и все, наверное, было бы ладно, да мать помешала, встала сыну поперек дороги. Не будем пока гадать, по доброте ли, по избытку ли духовности или по инертности и инстинкту подчинения, но женится Иван Африканович не на Катерине, а на «молчаливой девке»: «засыпала на его руке тотчас же, бездушная, как нетопленая печь». Была «холодная любовь», без детей.

Потом, как мы знаем, жизнь снова свела его с Катериной, он понял, что она ему указана судьбой, и вот уже Иван Африканович предстает перед нами в окружении семьи в девять душ детей.

Живут Иван Африканович и Катерина как будто бы счастливо. Не ссорятся, растят детей, все у них вместе. Так, когда Иван Африканович по детской своей незащищенности не смог однажды убить петуха, Катерина «сама взяла топор и ловко нарушила петуха».

И изменил Иван Африканович Катерине лишь однажды. Было это так: «в тот год перед сенокосом Катерина ходила на вось-

мом месяце, по лицу — бурые пятна, брюхо горой дыбилось», и надо же — соврагала доброго мужика Дашка-Путанка. Как узнала о том Катерина от детворы, разглядевшей что-то в задах Дашкиного огорода, так «зашлась, забылась в обмороке». Но попросил Иван Африканович прощения, «все и простила». Побежал мужик к соседу на радостях, обменял библию на гармонь: «Буду, Катюха, тебя веселить...» И веселил.

Повесть открывается пьяным монологом Ивана Африкановича, обращенным к лошади. Эта заплетающаяся речь обнаруживает известные обстоятельства: Иван Африканович везет в сельпо товар, перепил с друзьями, а теперь изливает душу. Но это пока только пролог к дальнейшим приключениям героя. Вместе со своим другом Мишкой Иван Африканович продолжит возлияния, упустит лошадь с санями, посереде ночи повезет друга свататься в ближайшую деревню, будет изгнан, а потом предается раскаянию: «А какое ты дураково поле, Иван Африканович! Напился вчера, ночевал в бане. А в это время Катерину увезли родить, увезли чужие люди... Некому бить, некому хлестать». Размышлял так Иван Африканович и понемногу успокаивался. «Суетливое и бестолковое буйство в душе сменилось тревогой и сладкой жалостью к Катерине».

Иван Африканович — добросердечный человек, он помчится в больницу, будет торчать там два дня и, едва успеет Катерина родить, потащит ее домой, потому что так всем будет лучше и покойнее. А потом он полетит в сельсовет за пособием на девятую дочку и узнает, что с него изрядно вычтут за самовары, разбитые по дороге «беспризорной лошадей».

Надо платить за самовары, вот и побежала Катерина сразу после родов на ферму. «Уж и Иван-то ей говорил — не ходи, поотдохни — нет, побежала».

Не послушалась Катерина доброго совета, побежала, и взяла себе еще работы — уход за телятами, и пришла ей в голову мысль, что мог бы подсобить ей Иван Африканович, но тут же подумала, что мужика нельзя на скотный двор («вся деревня захохочет»), «ему лес да рыба с озером, да плотничать любит, а ко скотине его и на аркане не затащить».

А вечером «будто кто зажал Катерине рот и начал душить, ослабела враз и ничком

опустилась на сухую теплую соломенную подстилку».

Иван Африканович — поэт в душе. Признано, что «естественное состояние» его души — «поэзия природы, поэзия крестьянского труда». Правда, писатель не щедро изобразил этот труд. Разве что привоз товаров в сельпо? Зато мы видим, как Иван Африканович бродит по лесу, любит лисой, «небушком», синичками, размышляет о вечности и бренности, о красоте мира. Он свой человек на этой земле, и глаза его обнимают ее и не упираются в подножный корм.

И есть в повести глава «Жена Катерина». О том, как она всю жизнь работала как каторжная, как рушила того петуха, как рожала, как изменил ей Иван Африканович, как болела, как жалела мужа, как терзалась из-за денег. «Как ни прикидывала, как ни раскладывала Катерина теперешние деньги, все получалось, что на питание всей оравушке остается то десятка, то полторы... Может, еще Иван рыбы скоро наловит да в сельпо сдаст?»

До леса ли тут, до синичек ли, до красоты ли земной? Лишь однажды войдет в эту главу примета внешнего мира, свободного от труда и хлопот: «звезды синели в холодном небе». Катерине некогда разогнуться, поглядеть вверх, звезды — не для нее. Они вроде бы для Ивана Африкановича.

Да, что ни говори, а критике куда легче с Иваном Африкановичем, чем с Катериной. Стоило Ивану Африкановичу побродить по лесу, полюбоваться синичками, и П. Глинкин на страницах «Молодой гвардии» уже пишет: «Сила Ивана Африкановича — в органической нерасторжимой связи с народом, а красота его характера — в естественности побуждений, богатстве внутренних порывов».

Попутал Ивана Африкановича родственник-отпускник, воспользовался плохим его настроением, уговорил, и покатили они в Мурманск за рублями, но не выдержал герой повести поездной сутолоки, суеты, ощущения собственной неполноценности и неприкаянности и, не доехав до места, вернулся восвояси, и кто-то из критиков тут же написал о «могучей власти земли, тугой пружиной возвратившей его в колхоз».

Но пока Иван Африканович ездил, позволили крестьянам накопить сена для своих коров, и Катерина косила, косила, надорвалась и померла.

На могиле жены Иван Африканович плачет: «Ты уж, Катерина, не обижайся... Не бывал, не проведаль тебя, то это, то другое. Вот рябинки тебе принес. Ты, бывало, любила осенью рябину-то рвать... Да. Вот, девка, вишь, как все обернулось-то... Я ведь дурак был, худо я тебя берег, знаешь сама... Вот один теперь... Как по огню ступаю, по тебе хожу, прости...»

Трагичен этот мужской плач над могилой, трагична эта запоздавшая мольба о прощении...

Иван Африканович — наша надежда? Здоровый народный идеал нравственности? «Душевно развитый человек с обостренным гражданским сознанием» (П. Гликин)? «В его образе,— как писал тот же П. Гликин,— воплощен «широкий и могучий размах души» народа, к которому он принадлежит?»

Увольте.

«Привычное дело» — горькая книга, и тем горше, чем полнее проступают перед нами образы Ивана Африкановича и Катерины, их повседневный быт. Это та деревня, о которой неловко писать: «спасать» ее или в ней «спасаться», возвращаться в нее или не возвращаться. Она как бы вне этих традиционных волнений и настроений. Судьбы людей ее независимы от наших публицистических объяснений, будто нам сказано о чем-то таком, что вне нашей воли, что заведено издавна, что имеет причины не только внешние, нынешние (покос вовремя не дали)...

Да, историю Ивана Африкановича читаешь с болью и сочувствием, она воистину печальна. И не случайно никто там, в ее пределах, никого не винит. «Горе пластало» Ивана Африкановича «на похолодевшей, еще не обросшей травой земле», и «никто этого не видел». Никто не видел. Да хорошо ли видим это горе и мы, читающие, оценивающие? Ведь не только в смерти Катерины оно, не только в одиночестве, что обрушилось на Ивана Африкановича так внезапно и беспощадно, а изрядно примешано и ко всему течению его жизни, такому, в сущности, привычному.

Эмоциональное впечатление, производимое образом Ивана Африкановича, столь велико и проникающе, что и в голову бы не пришло «судить» его по каким-то особым нормам нравственного бытия, в чем-то укорять его. Урок книги был бы тогда более естественным и органичным: вот человек с печальной участью, вот жизнь его — такая, какая есть,

обоснованная не только его личной волей или безволием, добротой или грубостью его чувства, а всем тем материалом и обстановкой жизни, которыми поддерживаются те или иные его качества. Но вот беда и неожиданность, как в знаменитой сказочке К. Чуковского: «свинки замяукали», медведи закукарекали,— вышили пурпурным шелком портрет Ивана Африкановича на хоругвь, произведя его наскоро в хранители русского национального духа и народного нравственного богатства и предложив всему обществу бить ему поклоны...

Слава богу, Иван Африканович тут ни при чем, плох он или хорош, но ни при чем. Когда хочется, желаемое всегда мерещится, вот и померещилось. Подняли Ивана Африкановича и начали подбрасывать с восторгом, ну, а конец известен: уронят и разойдутся.

...Да, странная то была декларация о добродетелях Ивана Африкановича, будто хотели отвлечь читающую публику от чего-то более важного и в этом характере, и в современной жизни. Но уже и в том, наверное, польза «независимой национальной мысли», что она побуждает внимательнее всмотреться в то, что скрывается за мнимыми и подлинными достоинствами Ивана Африкановича, заметить свершившийся в повести В. Белова поворот к изображению реальности быта и душевного нравственного строя человека современной деревни.

Талант В. Белова, его знание деревенского человека позволили ему изобразить крестьянский тип, давно уже не замечаемый нашей литературой, и к тому же представить его с такой художественной и жизненной полнотой, что мы встречаемся с ним, как с живым человеком. В нем много славного, по-человечески притягательного, жизнь его вызывает сострадание и жалость. Но сострадание — еще не апологетика, и жалость не исключает горечи укоризны, беда не снимает вины. И если в нем находят образец, спасительный источник духа и «нравственные ресурсы», то писатель в этом не повинен. Иван Африканович — не одна только отрада русской деревни, тем более не гордость ее.

Повесть В. Белова возвращает нас к земле надежнее, чем все обещания возвращения у иных писателей. Она не зовет «спасать» или «спасаться», она учит видеть и помнить то, что есть.

Деревенская проза в лучших ее образцах, в частности в рассказах и повестях В. Бело-

ва и В. Лихоносова, не повинна в особом рвении ее комментаторов, в их пафосе, домыслах и преувеличениях. Она непричастна к выпендренней, безвкусовой декламации об исключительности и мессианском предназначении русской души.

Восторженные фразы о национальном духе и душе нации не очень-то убедительно звучат в мире, где кипит классовая борьба. Наверное, прав один старый русский писатель, сказавший: «Я, например, представляю себе, что Моцарт и Бетховен в ином мире сейчас беседуют вовсе не со своими соотечественниками Бисмарком и Мольтке, с которыми им полагается быть составными элементами души Германии».

Ясно видеть всегда было трудно, «слепые влюбленности» (П. Чаадаев) — как наши те-

ни, остаться один на один с правдой — счастливый, но трудный удел.

Лучшие книги наших дней о деревне дают талантливую картину реальной жизни, выявляют распространенные и существенные умонастроения времени, продолжают традиции классической русской литературы. Они раздвигают наше знание жизни, разгоняют туман старых иллюзий, они обнадеживают. Наконец, они укрепляют в нас чувство истинного мужественного патриотизма, свободного от национального высокомерия и чванства и сильного сознанием подлинных достоинств и подлинных недостатков, органической связью с живой жизнью и потребностями сограждан.

Кострома.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Ф. Ефимов. Манера жить, манера писать.— **И. Гитович.** Пока в человеке есть достоинство...— **Кирилл Ковальджи.** Проблемы и их воплощение.— **М. Чуданова.** Михаил Зощенко и герои его книг.— **Н. Наумов.** Новый Пилат.

ПОЛИТИКА И НАУКА

П. Карп. Актуальность вчерашней газеты.— **Ю. Евсюков.** Сознательно подерживаемая пропорциональность.— **В. Кобрин.** Москвичи XVII века — о себе.— **А. Каньдан.** Самая древняя история.— **Р. Баландин.** Беречь природу.

Литература и искусство

МАНЕРА ЖИТЬ, МАНЕРА ПИСАТЬ

Дмитрий Сухарев. Прекрасная волна. Стихотворения. «Советский писатель». М. 1967. 95 стр.

Поначалу кажется, что самое привлекательное в новой книге стихов Дмитрия Сухарева, поэта, обратившего на себя внимание читателей еще первым своим сборником «Дань»,— это особый «лад и склад» стихотворной речи, вобравшей в себя и обыденную скороговорку городского жителя, и степенную рассудительность крестьянина. Герои стихов Д. Сухарева — то горожанин, долго живший в деревне, то вчерашний колхозник, недавно переселившийся в малогабаритную квартиру микрорайона. Первый слабривает свои высказывания изрядной долей иронии, часто относимой к расхожим формулам («Иль мы с тобой не мастера заготовительного цеха?.. Ну, нет, привет!»), второй привносит в стихи некую основательность и вескость суждений, то возвращаясь к одной и той же любимой фразе («Но если честно разобраться... но если разобраться честно...»), то ставя вопросы, на которые сам же и отвечает («Я — кто? Я прохожий»), охотно и к месту пользуясь вводными словами «скажем», «поди», «мол». И сам поэт дорожит таким органическим сочетанием в стихе

разнородных речевых элементов и в ряду прочих достоинств поэзии на первое место ставит именно лад:

Еще я рад,
Когда и самому удача в руки:
Не так чтоб — вот те смысл, а вот
те звуки,
Но — лад.

(«Товарищам моим в литературе»)

Стиль Сухарева вырастает из добротного русского языка, который, по счастью, обнаруживает неколебимую стойкость в долгой борьбе с канцеляризмами и газетчиной. Живой и невывученный, он сохранен и в стихах новой книги поэта.

Не веселит
Залива мерзлый вид,
Короткий день, высокие широты,
Посвечивает небо без охоты,
Отсвечивает без охоты снег,
Добро бы вьюга, так и вьюги нет,
Что завтра, что сегодня, что вчера,
Скольжение лыж по тусклому свеченью
Подобно дней теченью —
Вот пора!

(«Последняя декада декабря»)

Достоинства языка проявляются здесь не в редкостных словечках, а как раз в том, что простые и всем известные слова соединены в порядке, способном заставить эти слова так, «ниотчего», засветиться изнутри.

Впрочем, Д. Сухарев не чуждается и старинных слов, даже славянизмов, но их употребление всякий раз оправдывается обстоятельствами: либо это стихи на исторические темы, либо речь в них идет о чем-нибудь настолько важным, «высоком», что славянизм приходится очень кстати.

Большая же часть стихотворений, составляющих книгу, выдержана в ровном и спокойном тоне, нигде не поднимающемся выше и не опускающемся ниже нормального человеческого голоса. В стихах Сухарева нет крика — даже в тех случаях, когда завершение стиха как будто и рассчитано на повышение голоса. Вот, например, в стихотворении «Плоты» плотогоня после трудного дня отдыхают у берегового костра:

...так по-человечьи
Тают щепки в костерке.
Греет, греет костерок.
Всякий сыт и не продрог,
Надо греться,
Надо жить...

«Разбег» строк с постепенным повышением смысла здесь таков, что можно было бы в последней строке ожидать рифмы «служить» с обязательным восклицательным знаком в конце. А у Д. Сухарева просто: «Надо щепок подложить»:

Поэт обходит слова, традиционно считающиеся высокими. Но «высокость» не уничтожается, она как бы просвечивает сквозь обыденность, и это говорит о сдержанности автора, а не о безразличии к тому, о чем он пишет, как можно было бы подумать, читая внешне бесстрастные, суховатые подчас строки и строфы.

Все это — и добротность языка, и своеобразие разговорного по преимуществу стиля, и спокойствие тона — определяется тем обстоятельством, что стихи Сухарева всегда обращены не к некоей абстрактной аудитории, а как бы к определенному, конкретному человеку:

...Поедем в Бухару,
К узбекам в гости, а?..

И дело здесь, очевидно, не только в особенностях манеры поэта, но и в последова-

тельно проводимом им взгляде на человека — взгляде, который, естественно, присущ не одному Сухареву:

А еще полезно знать, что он —
Не песчинка на бархане века,
Человек не меньше человека...

(«Дорога»)

«Полезность», как не без иронии говорит поэт, этой мысли бесспорна для всякого, в ком сохранен здравый взгляд на все, что совершается в мире.

Но поэзия Д. Сухарева — вовсе не «философская лирика». Д. Сухарев исследует не столько мысль или чувство, их извилина и оттенки, сколько то, что эту мысль и это чувство вызывает, то есть саму жизнь, простую, изначальную, осязаемую: лес, море, горы, ночной город, работу, отдых — все, из чего в конечном счете складывается человеческое существование на земле. Основа такого существования — труд («Зато мы знаем: соль земли работа. Работа, а не кровь. И только так»). Но и об отдыхе Д. Сухарев пишет без тени того, по большей части неискреннего, смущения, которое бытовало в поэзии недавно и которое шло рядом с мыслью, что человек куда выносливее железа:

Всяк свои имеет страсти:
Пчелы — по медовой части,
Дрозд попеть,
А я мастак
Повалиться просто так.
Не по этой ли причине
Я до чина не дорос —
Вот вопрос.
Пустой вопрос!

(«Черный дрозд»)

Лирический герой новой книги поэта много работает — и много созерцает, «чем бесцельнее, тем ненасытней», много путешествует — и иногда сиднем сидит в своей квартире, глядя из окна на белую северную ночь и предаваясь размышлениям. Его в одинаковой мере привлекают рыбаки на Балатоне и работница зверосовхоза на Дальнем Востоке; пчела, летающая по июньскому лугу, и облысевший одноухий ишак в среднеазиатском кишлаке, ревуший поутру, как паровоз. Можно было бы упрекнуть поэта в некоторой «всеядности». Но за таким будто бы случайным подбором явлений, интересующих поэта, встает протест против всякого рода регламентаций того, чем и как должен поэт за-

ниматься, что считать важным и что пустяком.

Но при всем том именно в утверждении истинно важного и человеческого Д. Сухарев и видит главную задачу поэзии — и свою собственную, и своих товарищей по перу:

Пусть невелик тираж у наших книг,
Нам имя — рота,
И ротою мы утверждаем что-то,
Какой-то сдвиг.

Какой-то стиль.
Пристрастие к особенной манере,
Манеру жить куюм, по крайней мере,
По мере сил.

(*Товарищам моим в литературе*)

В той «манере жить», о которой пишет поэт, есть неявная, может быть, но вполне определенная цель — узнать, увидеть жизнь собственными глазами, изучить ее не по заранее заданной схеме. В стихотворении «Дорога», отрывок из которого я уже приводил, обо всем этом говорится так:

Человеку важно знать свой дом,
Весь свой дом, а не один свой угол...

Человеку важно знать людей,
Чтоб от них хорошего набраться,
Чтоб среди всех идей

идею братства
Ненароком он не проглядел.

Так в новой книге Д. Сухарева в равной степени привлекательны и черты характера

лирического героя, и манера поэта писать о нем.

Не все одинаково удачно в этой манере письма, ее особенности иногда переходят в недостатки. Это — описательная вялость некоторых стихов («Лов рыбы на Балатоне», «Горы»), где под множеством как будто бы и неплохих строк не подведен «общий знаменатель» серьезной мысли, употребление расхожих словечек, совершенно несвойственных лексике книги («была бы в жилах ярость», «справляют свой яростный гон»). К сожалению, порой изменяет автору и вкус — достаточно указать на название книги, весьма претенциозное и слишком «литературное».

Но в целом книга интересна именно единством всех ее элементов и последовательно выраженным взглядом на мир, заинтересованностью поэта в жизни и определяемой этим внутренней полемичностью. Наконец, тем, что книга воплощает сформулированную самим же поэтом цель творчества, столь же гуманную, сколь и трудную:

Старик Филатов, просветлявший бельма,
Работал и с изяществом, и дельно —
Писать бы так.

О том, что сам поэт так и старается писать, говорит его новая книга.

Ф. ЕФИМОВ.

Минск.

★

ПОКА В ЧЕЛОВЕКЕ ЕСТЬ ДОСТОИНСТВО...

Виктор Конецкий. Кто смотрит на облака. «Советский писатель».
М.—Л. 1967. 347 стр.

Виктор Конецкий. Соленый лед. Путевые заметки. «Звезда», № 5, 1968.

Виктор Конецкий. Соленый лед. Сочинение внежанровое. «Знамя», № 7, 1968.

В представлении читателей имя Виктора Конецкого привычно связывается с морем. Большая часть рассказов и повестей, принесших ему известность, — о полярных моряках, их суровом труде, требующем выдержки, решительности, готовности к подвигу, — о жизни, которая уже в силу самой традиции овеяна романтикой.

То, о чем писал Конецкий, он знал не понаслышке, не из книг. За строками о море, о «застойных, длинных рассветах» и «неизменном, как само время, ритме вахт», о том, как моряки уходят в плавание и

возвращаются на берег, стояло пережитое им самим, недавним штурманом, в 1956 году выступившим с первыми рассказами. И почти в каждом его герое есть доля автобиографичности. Писатель, как и маленький Петька из рассказа «Петька, Джек и мальчишки», пережил ленинградскую блокаду, голод, эвакуацию. Как Игорь Русанов («Капитан, улыбнитесь»), он хотел стать художником, а волею обстоятельств стал моряком. Как Глеб Вольнов («Завтрашние заботы»), он плавал в Арктике... В тревогах его героев слышны вопросы, ко-

торые мучили самого писателя и его поколение.

«Мне уже тридцать один, а я еще ничего не достиг,— думал Глеб Вольнов,— у меня нет сюжета, как говорит моя мама». И дело вовсе не в том, что биография героя бедна событиями. Уже в силу его профессии, всегда сопряженной с риском и неожиданностями, это было бы невозможно. Обрести «сюжет» — значит для героев Конечского найти ту нравственную «точку опоры», которая дает человеку ощущение перспективы, освещает жизнь более высоким смыслом, поднимает человека над сумятицей будней, связывает его со временем.

Конечский все эти годы шел в главном русле «молодой прозы». Его собственная биография, его мироощущение, время и обстоятельства вступления в литературу, самый пафос и даже недостатки его прозы типичны для этого поколения писателей. Типичны и постоянные у героев Конечского раздумья о том, «зачем живет человек», чего он добивается в жизни. Об этом — в той или иной форме — думал почти каждый герой «молодой прозы» конца пятидесятых — начала шестидесятых годов.

Но чтобы ответить на эти — ни много ни мало коренные — вопросы человеческого духа, нужны были иные, более четкие критерии, более точная мера отсчета ценностей жизни, чем только субъективное приятие или неприятие тех или иных фактов.

То, что поначалу возникало как эмоциональная реакция на штампы, как протест против упрощенного понимания человека, — превращалось постепенно в штамп с обратным знаком, а найденное и открытое вначале — эксплуатировалось, становилось модой, по образцам которой кроились характеры и ситуации, соответствующие «злобе дня».

Характер, прозвучавший свежо и ново в первых рассказах Конечского, стал переходить из повести в повесть. Люди разного жизненного опыта, разного возраста, разного склада души стали подгоняться под некий условный, обобщенный психологический тип, конструируемый по заранее заданным «параметрам» духовности и человечности. За ним стоял и личный опыт писателя — пережитое в детстве и юности, но еще больше — прочитанные книги... И за многозначительными афоризмами, в которых, как правило, эти герои выражали

свое жизненное кредо, без особого труда угадывались литературные первоисточники.

Несколько лет назад один из критиков, разбирая повесть «Завтрашние заботы», писал: «Писателю не хватает смелости быть простым и естественным. Он надевает чужой наряд, тешится туманными настроениями и придуманной поэтичностью. А хотелось бы увидеть настоящего Конечского, узнать, от чего ему бывает горячо и холодно, во что он ценит свет, что у него за душой».

Это было сказано резко, но по существу справедливо.

Сейчас перед нами две новые книги Конечского. Они заметно выделяются в ряду его прежних повестей и, очевидно, ближе к «настоящему Конечскому».

Читатель привык сегодня к любым, даже самым парадоксальным, определениям жанров. И когда аннотация рекомендует книгу Конечского «Кто смотрит на облака» как «не совсем обычную... не роман, и не повесть, и не сборник рассказов», это само по себе не удивляет. Но книга и в самом деле «не совсем обычна». Главы ее больше похожи на отдельные, самостоятельные рассказы, и, очевидно, их можно было бы читать и так. В ней нет привычного для прежних повестей сюжета с напряженными и драматическими ситуациями. Весь ее строй иной. Это строй повседневной жизни, та самая ее «сумятица», «ее заботы, тревоги, огорчения», которые казались героям прежних книг «мелкими и глупыми». И судьбы людей, о которых рассказывает эта книга, самые «средние», обычные.

Конечскому пришлось долго, с большими издержками учиться самому трудному — умению смотреть на мир «глазами другого человека», понять иную, чем своя собственная, судьбу.

Не похожие друг на друга люди «смотрят на облака» у Конечского. Вот — пятнадцатилетняя Тамара, застрявшая в блокадном Ленинграде. И «странная» семья Басаргиных, коренных ленинградцев, интеллигентов. Вот — Василий Алафеев, озлобленный, ожесточившийся человек, грубо обиженный людьми и сам так же грубо обижающий других, словно мстя кому-то за свою незадавшуюся жизнь. И Женья Собакина с таким заурядным и безрадостным началом жизни — кто-то обманул девочку, у нее растет маленький сын, а

ей еще хочется на танцы, и она бегает в клуб с туфлями под мышкой, завидуя тем, у кого и туфли получше, и все еще переживает... По-разному видят мир эти разные люди. По-разному складываются их судьбы. И где-то спустя годы неожиданно перекрещиваются их пути: в научном сотруднике северной экспедиции, угрюмом, молчаливом человеке мы узнаем Однорукого, который спас в блокаду Тамару, а голодного ремесленника, который зимой сорок второго года вырвал у Тамары хлеб — дневную норму на трех человек — и был избит молчаливой очередью, читатель узнает позже в Степане Синюшкине...

Своим движением отдельные эпизоды книги напоминают сменяющие друг друга кадры фильма.

Словно на экране, возникает перед глазами синий от мороза Ленинград. Январь сорок второго года. Черные контуры деревьев. Разрушенные здания. Молчаливая очередь к булочной в предрассветной мгле. Трагический в своей будничности блокадный быт. Пустынные улицы, по которым идет Тамара, разнося письма. Опустевшие квартиры. Чужие жизни, к которым случайно прикоснулась девочка, никогда прежде не думавшая о таких вещах, как судьбы страны, народа... И засевшие в цепенеющем сознании слова Однорукого: «Если ты бросишь сумку или письма, то станешь подлецом и умрешь подлецом...»

Идут годы. И вот уже взрослая Тамара, красивая, уверенная в себе женщина, приезжает в Ленинград. И уже брат пропавшего без вести Петра Басаргина, Павел, водит Тамару по городу, показывая ей то, что обычно показывают в этом городе приезжим. Ничто больше не напоминает здесь о войне, блокаде. И самой Тамаре кажется, что из тех дней она запомнила лишь адрес дома Басаргиных, куда в январе сорок второго года она принесла от Петра письмо. Но вот случайные будничные слова неожиданно поднимают со дна памяти еще неясное ей самой ощущение тревоги, смутное воспоминание о том, что казалось навсегда забытым. Хотя время затягивает все, и радостное и больное, — ничто не проходит бесследно. Из случайных, казалось бы, мимолетных впечатлений и встреч, из детских обид и радостей, из множества потерь и приобретений, которыми полна жизнь человека, постепенно складывается

его сознание, его отношение к себе самому и к людям, живущим рядом.

Идут годы. Мелькают, как титры кинематографа, даты. Раскручиваются дальше судьбы героев книги.

В ноябрьскую ночь пятьдесят третьего года, что наступила вслед за субботним днем, который для рабочих штольни Алафеева и Синюшкина начался тяжелой работой, а закончился водкой и хмельной скукой, случилось необычное. Робкий, боявшийся всего на свете Степан Синюшкин, живший втайне лишь одной мечтой заслужить когда-нибудь «равноправие» с Василием, непонятый и смертельно оскорбленный им, «вдруг вытащил из-под пазухи нож и ударил Василия в левый бок, под мышку, в вырез майки».

Это был чудовищный по своей нелепости и жестокости поступок. Но, может быть, самое страшное, что таким был протест против жестокости, против унижения в себе человека. Протест, когорый этот маленький «винтик» со стертым лицом и неподвижными, как «машины в боксах на домкратах», мыслями, ни себе, ни другим не мог бы объяснить словами. «Значит, человека дразнить долго нельзя, и собаку нельзя, и лютого зверя: он все отступает, да сжимается, да молчит, а потом враз разожмется и до сердца самого достанет», — удивленно думал потом Василий, наверное, впервые понявший, что жестокость рождает ответную жестокость, а бесчеловечность — ответную бесчеловечность.

В новой книге Конецкого нет того, что традиционно принято считать признаком романа — характеров в развитии. Героев ее мы видим лишь в какие-то отдельные моменты их жизни. Многое остается как бы «за кадром» — только названо, едва намечено, угадывается.

Писателя, очевидно, интересовали не сами по себе те или иные характеры, а нечто другое — чему подчинены все эти разные судьбы и что связывает людей, даже не подозревающих о существовании друг друга. Он хотел, чтобы читатель ощутил в его книге «течение времени от главы к главе». И это тоже необычно для Конецкого.

В нашем представлении понятие времени обычно связывается с какими-то значительными событиями. У Конецкого нет ни прямого описания таких событий,

ни того, что можно было назвать общим охватом явлений. Время ощущается в его книге в своих конкретных, порой будничных проявлениях. И часто именно такие неприметные детали или отдельные штрихи выражают и время и суть человеческих характеров точнее и глубже, чем многозначительные размышления и размашистые обобщения, свойственные его прежним повестям. Так, врезаются в память, казалось бы, проходные сцены: далекий от фронта маленький среднеазиатский городок, каждой мелочью своего быта связанный с войной, — шумная толпа эвакуированных на базаре, афиши Киевской оперетты на заборах или сцена в рабочем общежитии, когда в мутной тоске Василий Алафеев вдруг прицелился и выстрелил из охотничьего ружья по стеновым ходикам, а потом, чтобы уравновесить «урон, нанесенный общественным ходикам» личной потерей, стреляет и по своим собственным часам, купленным, кстати, на «честно заработанную премию, в награду за шестнадцать сверхплановых взрывов».

Этой живой «натуры», этого реального контекста жизни не доставало прежним повестям Конецкого. И это, пожалуй, самое интересное в его новой книге.

Но по самому складу видения мира Конецкий не склонен к бытописательству. Как уже говорилось, его интересует другое — та общая мысль, которая направляет разные сознания. И в самом сцеплении глав, отдельных эпизодов читателю должна постепенно открыться эта «равнодействующая» времени — стремление человека «быть личностью».

Самоосознание себя, своей человеческой ценности в прежних повестях Конецкого начиналось с вопроса: зачем живет человек?

В новой книге Конецкий усложнил свою задачу. Он попытался показать, как это стремление быть человеком постепенно входило в сознание самых разных людей. Больше того, он попытался даже дать «формулу» личности, человеческого достоинства: «...самое главное во все эпохи: сохранить хотя бы маленькую способность мыслить».

Правда, здесь эта мысль больше «задана», чем выводится из ее реального содержания — судеб героев. И книга поэтому иногда похожа на конспект. где то, что должно подтвердить главную мысль авто-

ра, не столько показано, сколько выражено в форме тезиса.

В одном из разговоров с Женей на Диксоне Басаргин говорит ей: «И главное — почаще глазеть на облака. В старых книгах сказано, что тот, кто смотрит на облака, не жнет. То есть не думает о хлебе, не сеет и не жнет. Но люди, которые смотрят в землю, кормят его. Такой человек почему-то нужен другим, хотя он только и делает, что тарачит глаза на облака». Так раскрывается смысл названия книги.

«Облака» для героев Конецкого — это символ того, что в сутолоке дней не даст человеку потерять главное. У каждого из них — как, наверное, и у любого человека — есть свои «облака». Смутные ли это воспоминания о чем-то давнем, детском, которые вдруг всплывают в памяти раненого Василия, как неясная ему самому потребность в справедливости, человечности, доброте. Или песня о том, как «враги сожгли родную хату», которую робкий Сидюшкин не решился петь вслух, но в которую вкладывал свою мечту об уважении к себе и «равноправии». Или несбывшаяся детская мечта удачливого инженера Некрасова стать художником. Или уверенность Басаргина в том, что пока в человеке есть достоинство, последнее слово остается за ним. Наверное, человек и остается человеком до тех пор, пока из его жизни не уходит совсем такой ориентир. Во всяком случае побуждения, которые заставляют искать в жизни эту «точку опоры», всегда человечны и благородны.

Конецкий во многом уже освободился от книжной «вторичности» своих прежних повестей. И в этом смысле характеры Сидюшкина, Алафеева, Майки-Вокзалихи, история Жени Собакиной, многие страницы книги, рисующие ту самую ежедневность жизни, которая раньше так страшила писателя, может быть, самая большая его удача. Но поэтому тем более неожиданны в устах его главного героя, человека, прошедшего войну, пережившего гибель близких, да и на Диксоне оказавшегося не из любви к романтике дальних странствий, неопределенные сентенции об облаках. И, очевидно, чувствуя это, автор сам спешит «снизить» их туманную поэтичность реакцией вполне «земной» Жени: «Э-э-э, бросьте! Кто не работает, тот не ест».

«Так уж устроил меня бог, что хочется соединить реализм с романтизмом любого

толка», — пишет Конецкий в «Соленом льде». Право на романтическую условность, конечно, сохраняется за писателем. Но только условность условности рознь, и куда больше убеждают суровые страницы об Алафееве, чем рассуждения об «облаках», которые, очевидно, как раз и отвечают представлениям писателя о романтизме любого толка.

Говоря сегодня о прозе Конецкого, не случайно так часто приходится обращаться к последней его книге — «Соленый лед».

Одной из журнальных публикаций автор дал подзаголовок — «сочинение внежанровое», другой — «путевые заметки». Если говорить о том, что послужило непосредственным поводом к ее написанию, то это действительно прежде всего «путевые заметки». После значительного перерыва Конецкий вновь отправился в плавание помощником капитана рыболовного судна «Воровский». Увиденное во время рейсов к берегам Америки и стало реальным содержанием книги. Но все-таки это не просто путевые заметки, и сам автор с удивлением замечает: «И ведь если говорить серьезно, я сейчас пишу воспоминания. И это в тридцать восемь лет». Перед нами — попытка осмыслить основные вехи собственной жизни и биографии своего поколения. Потребность осознать свою реальную связь с прошедшим и будущим, найти истоки своего мироощущения — потребность, которую рано или поздно начинает ощущать любой думающий, духовно взрослеющий человек.

Иногда это просто отдельные мысли — о литературе, о жизни. Может быть, беспорядочные. Иногда спорные. Бывает, что они поражают своей наивностью и все той же «книжностью», или в них вдруг слышны знакомые многозначительные интонации Глеба Вольнова. Правда, писатель тут же замечает, что «непрофессиональный философ обладает одним счастливым качеством. Он свободен от страха ошибок и неточностей, он не боится, потому что не знает правил». Но незнание «правил» не освобождает его от обязательности хорошего вкуса, а вкус, к сожалению, — как и прежде — порой изменяет Конецкому. И когда писатель начинает демонстративно кокетничать тем, что любит Шульженку, а в филармонии был всего два раза и, дескать, «так уж устроил» его «бог», то нельзя сказать, чтобы этот наивный эпатаж

настраивал на серьезное отношение к книге. А ведь писалась она серьезно.

Пока опубликовано всего несколько глав. Может быть, когда книга выйдет полностью и общий замысел станет яснее, исчезнет ощущение некоторой беспорядочности, а иногда претенциозности отдельных ассоциаций и записей.

Но важно в конечном счете другое — сама потребность написать именно такую книгу.

«Соленый лед» может служить своеобразным ключом к тому, что писал Конецкий эти десять лет и почему писал именно так. И это, пожалуй, в нем самое интересное. Становится понятно, откуда брались «туманные романтические настроения» его героев и его самого, как складывалось его мироощущение — по противоположности к чему: «Мы сидим вокруг костра... Биографии всех похожи: или такие пацаны, как я, или отвоевавшие солдаты... И мой сосед Петров — бледный юноша, интеллигентный, наверное, из старинной петербургской семьи... Как этот Олег Петров пел! Всю нашу тоску по необыкновенной, красивой жизни вывернул он наизнанку. Все наше голодное отрочество, горящие эшелоны, бомбовые воронки вдоль железнодорожного полотна, ручные пулеметы, строчащие в гудящие небеса, скелеты блокадных трупов, вспученные животы, дизентерия, вши, слезы, ненависть, бессилие — все это теперь отодвинуло от нас... «Они стояли на корабле у борта. Он перед ней с надеждой и мольбой. На ней был плащ, на нем бушлат потертый. Он перед ней с протянутой рукой...» Песня о старом капитане и девушке в серенькой юбке оказывается иногда важнее оперной арии». Вот откуда у Конецкого и его героев такая обостренная тяга к красоте жизни, понимаемой, конечно, в те годы слишком субъективно.

«В те далекие послевоенные времена казалось, что конец войны должен означать начало чего-то сразу прекрасного, легкого, свежего, — пишет Конецкий дальше. — Но началась «холодная война», воздух общественной жизни тяжелеет. И мы в своих казармах половину времени думали о шпионах. Единственной отдушиной были книги Паустовского...» Вот где берут начало литературные интересы и увлечения писателя — компенсация книгами того, чего не хватало в жизни, но к чему стремился человек — к красоте, цельности

чувств, чистоте отношений, к доброте. Отсюда же, очевидно, возникла и самая потребность время от времени «смотреть на облака».

Жизнь постепенно вносила свои жесткие коррективы, она ломала тот условно прекрасный и, увы, книжный мир, в который герои Конецкого уходили от будничных забот. Она решительно спускала на землю. Очевидно, для самого Конецкого рейсы на «Воровском», как незадолго перед этим поездка на Удокан («Спуститься и подняться»), были важным этапом его внутренней биографии. И вот один штрих, характерный для сегодняшнего Конецкого. Писатель в «Соленом льде» с грустью пишет о том, как «буднично» уходил он в рейсы на Джорджесбанку с рыбаками и как «буднично» возвращался...

«Трижды сжималось мое сердце, когда мы швартовались в Мурманске и причал

был почти пуст. Маленькая горсточка людей встречала рыбаков, отвоевавших с океаном четыре месяца. Нельзя передать словами, как давит молчание и тишина причала, когда подходишь к нему. Как хочется оживления, махания рук, женских счастливых лиц, поднятых на руки детишек.

Вероятно, Мурманск суровый город. Тишиной и малолюдием встречает он рыбаков, если они не совершили чего-нибудь сверхчудесного, сверхпланового.

А может быть, именно так и должно быть».

Все оказалось суровее и сложнее. Эту старую истину Конецкий, как и каждый человек, открывал для себя заново. И настоящие удачи писателя ждут именно на этом пути.

И. ГИТОВИЧ.

★

ПРОБЛЕМЫ И ИХ ВОПЛОЩЕНИЕ

Лазарь Карелин. Золотой лев. Повесть. «Наш современник», № 1, 1968.

Если изложить сюжет новой повести Л. Карелина в двух словах, то он почти анекдотичен: москвич Васин спяну слетал в Алма-Ату и... вернулся обратно. Однако в этом приключении важен сюжет внутренних, подспудный: человек на перевале своей жизни оглянулся на самого себя, чтобы осмыслить свою жизнь, посмотреть правде в глаза.

Герой повести Л. Карелина смолоду начал жить легко. Он пишет сценарии вполсилы, любит вполдуши. Уравновесив свои способности с общими требованиями, он нацеливает свой дипломный сценарий на твердую пятерку. Большой задачи себе он и не ставит, цель практически-конкретна: сделать не хуже других, и ему и в голову не приходит, что не с такого прилежания начинается личность.

Защита диплома прошла успешно, если не считать одной фразы, брошенной вскользь известным мастером: «Смолоду лгать — нет ничего хуже...» Да, Васин соврал — он сочинил поверхностный, парадный сценарий об обороне Москвы, посчитав возможным поступиться пережитым (он сам участвовал, хоть и недолго, в обороне столицы, сам хлебнул лиха). Но дающий себе поблажку один раз даст себе снова.

Годы идут, а Васин все откладывает «настоящее дело», дохотно занимаясь (по его же словам) халтурой. А любовь? Васин расстался с Викой ради какой-то будущей заманчивой любви — потом он женился на киноактрисе...

И вот Васин, которому уже под пятьдесят, махнул спяну в Алма-Ату. Спяну ли? Случайно ли? Л. Карелин стремится показать, что «случайность» эта накапливалась десятилетиями. Накапливалась неудовлетворенность собой: Васин не привык окончательно к изменам самому себе.

Алма-Ата — это юность Васина, его первая любовь, его надежда на будущее (совсем не на то, которое сбылось). Он ищет потерянное, чтобы найти себя. Правда, ищет, не признаваясь себе в этом. Проснувшись в Алма-Ате, он недоумевает, куда его занесло. Никого из старых знакомых не разыскивает, о Вике не спрашивает. Но вот встреча с Ришатов, прежним соучеником Васина. Незаметный, не стремящийся к «пятерке», Ришат ни у кого, в том числе и у Васина, не вызывал раньше особого интереса. Так в искусстве нередко случается с теми, в ком медленно совершается внутренняя работа, несуетно, незаметно, зато верно формируя человека в точном соответствии

с его сущностью. Дарование у Ришата скромное, неброское, но оно теперь, спустя много лет, выявилось полностью, и снятый Ришатом фильм (Васин безошибочно определяет это) значителен своей цельностью, неповторимостью — той весомостью, которая придается искусству правдой.

Искусство — не бег наперегонки, не соревнование, где важно стать призером. В искусстве каждому зачитывается его собственный, никем не перечеркиваемый результат. Потому что у каждого — своя дорожка, по ней не пробежит другой. Вот если сошел со своей дорожки, выскочил на проторенную, тогда действительно — соревнование. Кто кого.

И, наконец, встреча с Викой. То есть с Вероникой Ивановной Левиной, известным и любимым в городе врачом. Встреча эта такова, что можно даже ожидать возрождения их юношеской любви. Нет разочарования друг в друге после стольких лет неизвестности. Напротив, бывшее толкает ко второму узнаванию, и, кажется, стена между ними не встанет, порукой тому — зрелый, человеческий опыт двух когда-то близких людей.

Но поменялись роли. Прежде Васин чувствовал себя выше ее, упивался непочатым запасом своих сил, Вика для него была любимая девушка, но — не единственно нужная. Теперь наоборот. Васин остро чувствует, что Вика выше, цельней, верней его... Она ни в чем его не упрекает, сам он тоже не бичует себя перед ней, не жалуется, но чувство какой-то своей вины возникает в нем. Оно-то и толкает его к бегству. Обратное — из Алма-Аты в Москву.

Такое бегство — не трусость, а обязывающее решение. Оно может таить возвращение к самому себе. К искусству, к жизни, к возможности уважать себя, чувствовать себя наравне (уже не выше, хотя бы наравне!) с Викой. Или с Ришатом...

Лазарь Карелин — не новичок в литературе, его имя известно читателю. Стало уже привычным, что писатель упорно и с разных сторон берется за сегодняшние морально-нравственные проблемы. И не удивительно, что время от времени вокруг его произведений вспыхивают споры. Так было с повестью «Младший советник юстиции» в 1951 году, с повестью «Общежитие» в 1957-м, с повестью «Легкий человек Марина» в 1965-м. В спорах участвовали и читатели и критики. Сталкивались различные

мнения также в связи с романом «Микрорайон» и театральной постановкой по нему.

Да, Лазарь Карелин пишет много. Достаточно упомянуть, что одновременно с «Золотым львом» на страницах журнала «Юность» печаталась его повесть «В доме оружейника», а за несколько месяцев до того, в «Звезде Востока», — главы из нового романа «Друзья»...

Подобная творческая активность — завидное дело. А четкое представление о том, что ты хочешь сказать, — при наличии определенных профессиональных навыков — может служить гарантией от явных неудач.

Но есть и оборотная сторона этих качеств. Предварительная ясность нередко приводит к заданности (не секрет, что писатель, захваченный сложным замыслом, часто еще не знает разрешения: он мучительно ищет его, чувствуя лишь направление поисков, растет как личность вместе с произведением).

Л. Карелин, кажется, почти всегда заранее знает, чем кончится дело. Он начинает строить по готовому проекту и озобочен главным образом тем, чтобы заданное не выглядело заданным. Но это далеко не всегда получается. Так и здесь: опыт помог писателю в этой повести во многом преодолеть заданность темы — она вписана в живую жизнь. Но следы авторской заданности остались. Васин слишком уж соответствует уготованной ему роли, нигде и ни в чем не отходит от нее, охотно, настойчиво и последовательно показывая читателю, кто он такой.

Видимо, поэтому у Васина проявления духовной жизни порой слишком однообразны и скудны, а иной раз и литературны. Это ощутимо препятствует читательскому сопереживанию, интересу читателя к герою произведения. Несмотря на то, что Васин освещается автором преимущественно изнутри, «обыкновенного чуда» искусства все же не происходит: внутреннего контакта нет, мы наблюдаем за героем как бы со стороны, непричастные к его смятению. Отсюда двойственное чувство: то, что происходит с Васиным и вокруг, несомненно интересно, сам же Васин зачастую неинтересен. Размышления, вызванные происходящим, берут перевес над эмоциональным откликом на происходящее. А жаль, потому что размышления, которые вызывали повесть Л. Карелина к жизни, касаются вещей достаточно серьезных и важных. Да,

в жизни, в творчестве, в любви необходима верность. И ответственность. Сложность путей, дороги, бездорожье — все это выглядит совсем иначе, когда в руках компас. Компас, указывающий не на тебя самого, а

на то, что дальше тебя, — на правду человеческой цели, которая требует служения преданного, бескомпромиссного и серьезного.

Кирилл КОВАЛЬДЖИ.



МИХАИЛ ЗОЩЕНКО И ГЕРОИ ЕГО КНИГ

Михаил Зошенко. Избранные произведения в двух томах. «Художественная литература». Л. 1968. Том I, 536 стр.; том II, 464 стр.

«А ведь посмеются над нами лет через триста! Странно, скажут, людишки жили. Какие-то, скажут, у них были деньги, паспорта. Какие-то акты гражданского состояния и квадратные метры жилой площади...

Ну что ж! Пушай смеются».

Этот голос всегда узнается сразу — не с первой страницы, а прямо с первых же слов, не написанных будто, а почти произнесенных.

Для очень многих только теперь, с выходом двухтомника рассказов и повестей Михаила Зошенко, наступает момент его перечитывания — после долгого перерыва, когда издания писателя были редкими и слишком неполными. Не забудем, что еще больше, быть может, тех, которые прочтут сейчас Зошенко впервые. Их ожидает встреча с писателем, который был и их современником, но имя которого многим было знакомо лишь понаслышке. Есть полузнание хуже незнания. За имя цепляются обрывки старых репутаций, сотканых людьми, чьи собственные имена давно уже облетели. Оседают в памяти туманные воспоминания старших об анекдотических историях, вычитанных в молодости из тонких книжечек с портретом Зошенко на обложке...

И вот новый читатель Михаила Зошенко открывает его книгу. Теперь он будет судить писателя мерой собственного вкуса и разума.

Кроме наиболее известных рассказов, он сможет теперь прочитать впервые за тридцать с лишним лет переизданные «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова» (самый первый сборник писателя), «Сентиментальные повести», «Возвращенную молодость» и «Голубую книгу». При всей очевидной неполноте, двухтомник позволяет, наконец, увидеть весь сорокалетний

путь писателя — хоть в самых общих его очертаниях.

Обстоятельно и словоохотливо рассуждает герой первых рассказов Зошенко, Назар Синебрюхов, о своей замысловатой жизни. Реальность, однако, слабо брезжит за его словами: рассказчик не в силах восстановить события в их связи и последовательности. Ни один рассказ почти невозможно связно пересказать, не спутав с другим; зато отдельные фразы помнит любой. Истинные события совершаются здесь не «на уровне» фабулы, а «на уровне» языка.

Необычны слова в этой прозе, и необычна их связь.

«Очень тут произошел ужас в земляночке. Сестричка милосердия — бяк, с катушек долой, — мертвая падаль. А я сволок князьку вашего сиятельства на волю, кострик разложил по уставу... Немец — хитрая каналья, да и мы, безусловно, тонкость понимаем: газы не имеют права осесть на огонь». Слово оснащено интонацией, оно передает едва ли не мимику и самые жесты, сопровождающие рассказ («Хорошо-с. К ночи, скажем, уснула напоследняя собака...»). Среднее, нейтрально-описательное литературное слово в «Рассказах Синебрюхова» полностью вытеснено. Здесь каждое слово звучит, просится на язык, приковывает внимание.

При этом Зошенко не интересуется словом, выхваченным из наиболее чистых глубин народной речи. Перед нами проходят слова-монстры, слова испорченные, «не по назначению» использованные: «Дочка у него, Нюшка, небольшой такой дефективный переросток. Семи лет».

Решительней, чем кто-либо из его современников, Зошенко отходит от слова книжной традиции, бесконечно удаленного от той речи, что слышалась в трамваях, в коммунальных кухнях, в очередях, на

многочисленных в те годы митингах и собраниях. Слова, неизвестные прежде литературе или включавшиеся в нее с большой осторожностью, стали для его прозы главным материалом. Самые разные голоса современников, сердитые и увещивающие, агрессивные и смиренные, перебивающие друг друга, страстно желающие быть выслушанными, — несмолкаемым хором звучат в рассказах Зошенко двадцатых — тридцатых годов. Герои Зошенко любят говорить, ораторствовать и с особенным удовольствием произносят «надменные слова с иностранным, туманным значением» («Хотя, я прямо скажу, последнее время отношусь довольно permanently к этим собраниям. Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее»).

В этой прозе и сейчас многое так же необычно, как и десятки лет назад. Поражает, например, последовательное отсутствие в рассказах пейзажа, любых указаний на погоду, ее изменение и т. д. (в повестях же пейзаж преследует, как правило, цели пародийные). Нельзя представить в них фразу такого, скажем, рода: «Вода в пруду почернела». Некому заметить, как спускаются на город сумерки. Герои Зошенко не поднимают глаз от земли, не замечают ни вечеров, ни утр, смены дня и ночи. Они живут по собственному хронометру и даже в часах не испытывают надобности. «Потому с работы уходить — это вот как видно. Спать опять-таки без часов можно лечь. Шамать тоже можно смотря по деньгам и по аппетиту». И только «на работу вставать без часов, это, не говоря худого слова, очень даже худо»...

Нет здесь и тех подробных описаний окружающей героев обстановки, к которым приучила нас классическая литература. Интерьер у Зошенко выглядит несколько иначе. «Комнатка миленькая. Два окна. Пол, конечно. Потолок. Это все есть. Ничего против не скажешь» («Пушкин»).

Владение изобразительной деталью, умение по-новому называть вещи, к тому времени достигшее у многих его современников уровня настоящей виртуозности, этому писателю как бы вовсе незнакомо. Знаменитая тень от мельничного колеса на плотине и бутылочное стекло, рождающие картину лунной ночи, или девочка, «похожая на веник», в его прозе немислимы. Те шайки, примусы, «ежики», шкафы, кастрюли, которые обступают героев Зошен-

ко и почти физически ощутимо наползают на его читателя, скорей поименованы, чем описаны. Жирным угольным контуром обведены они, им придана заведомая, пугающая читателя знакомость. Они упомянуты вскользь, как нечто само собой разумеющееся, незбылемое, то, без чего нельзя существовать!

И помыслить нельзя, что где-то (или когда-то) необходимые человеку для жизни предметы могут быть в другом наборе. Они одни и те же и в пространстве и во времени — разве что чуть почище здешних. «Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подадут — стираное и глаженое. Портянки небось белее снега. Подштанники зашиты, залатаны. Житьишко!»

И герои Зошенко не похожи на «обычных» литературных героев. У любого писателя каждый его герой отличен от другого и именно этими отличиями интересен. У Зошенко герои часто так похожи друг на друга, что персонаж одного рассказа с успехом мог бы поменяться местами с персонажем другого: их лиц мы не видим, а говорят и действуют они одинаково. И подчеркнуто в них именно общее, роднящее их друг с другом и с неисчислимым множеством других.

Словом, рассказы Зошенко по многим признакам не укладывались в привычные представления о «художественной литературе». Это чувствовала современная ему критика и ясно сознавал сам писатель.

«Критики не знают, куда собственно меня причалить — к высокой литературе или к литературе мелкой, недостойной, быть может, просвещенного внимания критики.

А так как большая часть моих вещей сделана в неуважаемой форме — журнального фельетона и коротенького рассказа, то и судьба моя обычно предрешена.

Обо мне критики обычно говорят, как о юмористе, о писателе, который смешит и который ради самого смеха согласен сделать черт знает что из родного русского языка.

Это, конечно, не так.

Если я искажаю иногда язык, то условно, поскольку мне хочется передать нужный мне тип, тип, который почти что не фигурировал раньше в русской литературе.

А относительно мелкой литературы я не протестую. Еще неизвестно, что значит сейчас мелкая литература» («О себе, о критиках и о своей работе»; жаль, что эта статья не вошла в двухтомник и остается неизвестной широкому читателю).

Радикальные изменения в жизни общества в творческом сознании Зощенко решительным образом связались с необходимостью радикальных перемен в литературе. Литература должна была, по его мнению, заговорить на ином, чем прежде, языке и рассказать об ином герое. Для «старого» героя в ней места не оставлено. Это особенно ясно в «Сентиментальных повестях». Там пересказаны весьма печальные жизненные судьбы, но в каждой фразе и даже в каждом слове очевидно, что автор стремится избежать «высокой» темы — откровенно и серьезно выраженных «переживаний интеллигента», которых уже некому с сочувствием выслушать. Вплоть до сороковых годов — до последней его повести — Зощенко вообще не подымает в литературе тем глубоко личных. Даже автобиографический материал детства много лет оставался им вовсе нетронутым, вопреки едва ли не всей традиции русской прозы, и впервые всплыл лишь в детских рассказах второй половины тридцатых годов. Всю жизнь он пишет «не о себе», не только на долгие годы заключив свой голос в скорлупу голоса чужого, но и населив свои книги людьми и событиями, огделенными резкой чертой от его собственной «биографии», от любых форм ее литературного осознания.

Потому мы почти никогда не слышим в прозе Зощенко «собственного» голоса автора. Даже в повести «Возвращенная молодость», в «Голубой книге», где автор, несомненно, стремится высказаться прямо и откровенно и часто дает, казалось бы, безукоризненно соответствующую его доподлинной мысли формулировку, — и там читателю всегда оставлено сомнение в культурной, литературной, общефилософской авторитетности этого «автора». «Нам исключительно жалко Сервантеса. И Дефо тоже бедняга. Воображаем его бешенство, когда в него плевали. Ой, я бы не знаю, что сделал!» («Голубая книга»). «Авторство» мысли опровергается просторечным словом, синтаксисом, необычной для литературной речи связью предложений. Мы

опять не уверены, «от себя» ли говорит на этот раз автор?..

Весь литературный путь Зощенко оказался связан с освоением нового, литературой еще не изведенного и даже вроде бы для нее непригодного материала.

В начале двадцатых годов едва ли не вся литература обратилась к новому герою — рядовому, «среднему» человеку, вынесенному из городских «низов» и из самых глухих углов России на поверхность общественного бытия. В литературу вошли герои Вс. Иванова, Л. Сейфуллиной, Б. Пильняка, Б. Лавренева, Д. Фурманова. Это были — в большинстве своем — прямые участники происходивших событий, те самые, кто, по выражению Зощенко, «бился на всех фронтах за свои ураганные идеи».

Зощенко стал писать о других — материалом его рассказов стала заурядная жизнь, «скажем, более средних людей, так сказать, не записанных в бархатную книгу жизни», — словом, тех, кто в эти же годы, как, впрочем, и во многие другие времена, был озабочен главным образом устройством своей личной жизни.

«Правда, надо прямо сказать, что многие и не имели так называемой личной жизни — они отдавали все силы и всю волю для своих идей и для стремления к цели». Но этих людей Зощенко оставляет другим писателям, с несколько ироническим вызовом очерчивая круг своих собственных героев. «Ну, а которые помельче, те, безусловно, ловчились, приспособлялись и старались попасть в ногу со временем, для того чтобы прилично прожить и поплотнее покушать».

И вот мы слышим этот спотыкающийся, неровный бег героев Зощенко, спешащих попасть в ногу со временем.

Они хотят для начала «заиметь» крышу над головой. Счастливый молодой супруг ведет жену в свой дом. В коммунальной квартире ему удалось по случаю снять у жильцов ванную комнату. И молодая, как и он, полна оптимизма. «Что ж, говорит, и в ванне живут добрые люди. А в крайнем, говорит, случае перегородить можно. Тут, говорит, для примера, будуар, а тут столовая...»

Не прочь они и поплотнее покушать — не хуже, скажем, нэпмана Горбушкина, — не жалея сахару к чаю («Сидит, предполо-

жим, нэпман Егор Горбушкин на своей квартире. Утренний чай пьет. Масло, конечно, сыр, сахар горой насыпан. Чай земляничный»).

Герои эти не против были бы и культурно отдохнуть, но и это не всякий раз удастся. Вдруг выясняется, что в театре надо пальто снимать, а оно прямо на нижнюю рубаху надето. «И чувствую, братцы мои, сымасть как-то неловко. Прямо, думаю, срамота может сейчас произойти. Главное — рубаха нельзя сказать, что грязная. Рубаха не особо грязная. Но, конечно, грубая, ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита, крупная. Срамота, думаю, с такой крупной пуговицей в фойе идти».

Герои Зоценко были ославлены критикой как монстры, как злобные мещане. Да и сам автор, проявивший к ним такой стойкий интерес, оказался как бы на подозрении — не он ли и есть главный обыватель?

Много позже, убедившись доподлинно, что автор не тождествен своему герою, стали говорить уже только о его персонажах — главным образом как об объектах авторского сарказма.

Говоря словами Зоценко, «это все есть. Ничего против не скажешь». Автора очень многое решительно не устраивает в его героях. «Главная причина — народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. Горячится. И через это дерется грубо, как в тумане». Почти непреременный персонаж рассказов Зоценко — человек, который «почти ничего не говорит и только ногами выпихивает лишних обитателей из комнаты».

А вот, например, какие причудливые формы приобретает расцветающая любовь героев.

«И говорит, — будьте любезны, дайте мне на всякий случай расписку: мол, в случае чего и если произойдет на свет ребенок, то никаких претензий вы ко мне иметь не будете и не станете с меня требовать денег на содержание потомства. А я, говорит, находясь с такой распиской, буду, говорит, еще более с вами любезен, а то, говорит, сейчас, когда каждое действие предусматривает уголовный кодекс, я захожусь как скованный» («Голубая книга»).

И все же авторский сарказм отнюдь не распространяется на всех героев — позиция

писателя по отношению ко многим из них гораздо сложнее.

Присмотримся внимательней к той жизни, которую изо дня в день ведет «типовой» герой Зоценко. Прислушаемся к тому, что говорит он сам о себе — косноязычно и неточно, но, несомненно, вполне искренне.

«А я, например, сорок лет не отдыхал. Как с двухлетнего возраста зарядил, так и пошла работа без отдыха и сроку. А что касается воскресений или праздничных дней, то какой же это отдых? Сами понимаете: то маленько выпьешь, то гости припрутся, то ножку к дивану приклеить надо. Мало ли делов на свете у среднего человека?»

Кто же здесь перед нами — злобный «мещанин» или, может быть, обычный «трудолюбивый человек» в сфере своей заурядной, не смягченной никакими умолчаниями жизни? Вряд ли Зоценко так же непоколебимо суров к нему, как его многочисленные критики. Он не верит так безоговорочно в универсальную, всеобъясняющую силу слова — «мещанство». Неспроста же автор встает часто рядом со своим героем, разделяя его жизненные тяготы, размышляет вслух о том, «какие, например, неудачи имеются, ну, вот, хотя бы в нашей личной жизни. Стал думать. Сначала в голову лезла всякая мелкая чушь. Так что даже подумалось: уж не впал ли я, чего доброго, в мещанство? Вот, подумал, завтра на работу надо слишком уж рано вставать. Неохота. Радио у соседей гремит до поздней ночи — не высыпаюсь. Жена все время денег требует, — надо, говорит, долги платить. А это не так-то легко достается». Вряд ли и здесь перед нами — живой объект сатиры, гневного обличения. Скорее уж это — литературный вызов тем, для кого такая «ничтожная тема» вовсе не существует.

В годы, когда Зоценко начинал свою работу, по разряду «быта», недостойного внимания серьезного писателя, было зачислено слишком многое. Литература боялась «впасть в мещанство», хотя в реальной жизни в двадцатые годы далеко не одни лишь «мещане» вплотную занялись проблемами быта: люди самого разного склада, разных профессий и возможностей сказали решительно уравнины перед лицом топливных, жилищных и прочих трудностей. Зоценко увидел значимость и истинную роль того, что не увидели другие, и

посчитал литературной ложью отодвинуть в своем творчестве «материальные» условия жизни людей на привычно второстепенный план.

Разве потому так прочно вытеснены из сознания многих героев Зошенко все другие проблемы, кроме еды, одежды, жилья, что они питают какую-то особую, неистребимую тягу к бытовому комфорту, к всевозможным жизненным удобствам? Нет, таких гурманов среди героев его книг ничтожно мало. Происходит скорее обратное — перед героями Зошенко мелочи быта каждый день заново вырастают прочной стеной. Быт шагу не дает ступить им, чтобы не напомнить о себе. И люди, изображенные писателем, зачастую в высшей степени смиренно относятся к необходимости отдавать свои силы борьбе с его тяготами. Героям Зошенко некогда думать о принципиальной борьбе с неустройством быта — сыплющиеся на них удары они воспринимают как факт и озабочены только поисками практических выходов из положения.

Обливаясь потом, испытавши уже множество злоключений, спускается человек с велосипедом на плече с седьмого этажа. «Только дошел донизу — гляжу, парадная дверь закрыта. У них в семь часов закрывается». Можно попробовать искать смысл: если дверь закрывается — при ней должен быть тот, кто ее открывает. Но герой Зошенко на это не рассчитывает. «Ничего я тогда не сказал, только ужасно заскрипел зубами, надел на себя велосипед и стал опять подыматься. Сколько времени я поднимался — не помню. Шел прямо как сквозь сон».

Житейские неурядицы, денежные и всякие другие повседневные затруднения, переполняющие прозу Зошенко, и раньше не были, конечно, вовсе обойдены русской литературой. Но как правило, они всегда оставались в ней более или менее значимым фоном событий какого-то иного порядка. Зошенко впервые сделал тривиальные жизненные трудности преимущественным предметом художественного изображения. Мелочи быденщины и сражающегося с ними «обывателя» Зошенко утверждает как материал «высокой литературы», немало не принижаящий ее.

Но при этом всего важнее, конечно, тот особый угол зрения, под которым пригля-

дывается Зошенко к этим неустройствам быта. Он не наблюдает со стороны, негодуя и требуя к немедленному ответу непосредственных виновников всевозможных нелепостей. Не случайно его «автор» помещается обычно, так сказать, в самом центре картины, в самой тесной близости от того, кто выносит этот быт, этот жизненный уклад, проявляя чудеса доморощенной изобретательности. Он стремится показать, какими путями пытаются герои приспособиться к новым обстоятельствам жизни, выучить их язык. И автору удается наглядно продемонстрировать нам «механизм» поступков своего героя, раскрыть своеобразную логику его порой даже абсурдного, казалось бы, поведения. Ибо чаще всего выясняется, как пишет Зошенко в одной из повестей, что «в этом смысле человек очень великолепно устроен. Какая жизнь идет — в той он и прелестно живет. А которые не могут, те, безусловно, отходят в сторону и путаются под ногами».

Вот Ефим Щуркин устраивается на работу, и его племянник, ставший важным человеком, дает ему наставления:

«— Что было, то забудьте. Вы, как есть бывший швейцар, должны знать, что теперя не та механика... И глядите, товарищ дядя, чтоб на чай не брать. И почтительность чтоб не распускать, как раньше. Конечно, это не то, чтоб по роже людей бить, но достоинство свое не унижайте и соответствуйте своему назначению.

— Ты меня не учи,— сказал Щуркин,— я сам знаю свое достоинство...

В четыре ровно Щуркин взял газету и, присев на табурет, вытянул свои ноги. И принялся читать.

Служащие сначала выходили по одному.

— Выходи, выходи,— бормотал Щуркин, подмигивая.— жди, что дверь открою, ожидай кукиш с маслом...

...Какой-то служащий, перешагнув через ноги Ефима Щуркина, вышел на улицу, не прикрыв за собой дверь.

— Двери! — заорал Щуркин, выбегая вслед за служащим.— Двери закрывай! Гут вам нет горничных. Черт собачий.

Служащий испуганно обернулся и, покорно закрыв двери, пошел дальше, с беспокойством оглядываясь назад.

— Так его,— весело смеялся Щуркин.

Маленькая девица-машинистка, наряженная обезьяной, подошла к двери и остано-

рожно потрогала ее пальцем, пытаюсь открыть. Дверь не поддавалась.

— Обожди,— сказал Щуркин, прижимая дверь ногой.— Обожди тут. Наберется партия в десять человек — пушу тогда.

Так на глазах читателя незаметная фигура Ефима Щуркина разрастается в нечто зловещее, приобретает угрожающие очертания.

В рассказах Зощенко мы находим разнообразнейшие варианты тех ситуаций, в которых «средний» человек может выступить в роли далеко не всегда безобидной, а порой и прямо опасной.

Так, неизменную ненависть испытывает Зощенко к тому стадному чувству, которое обращает людей в бессмысленную толпу, готовую к дружному бессмысленному насилию. Сопя, бегут случайные доброхоты во главе со сторожем парка за велосипедистом, заехавшим не на ту дорожку («Страдания молодого Вертера», 1933). В повести «Страшная ночь» мы видим само рождение неосмысленной жестокости, вызванной зрелищем бегущего человека, в толпе, за минуту перед этим настроенной к нему почти добродушно.

«Толпа любопытных окружила Котофеева. Кое-кто из сердобольных пытался поднять его на ноги. Борис Иванович рванулся от них и отскочил в сторону. Толпа расступилась.

Борис Иванович растерянно посмотрел по сторонам, ахнул и вдруг молча победил в сторону.

— Крой его, робя! Хватай! — завыл кто-то истошным голосом...

Борис Иванович, не оглядываясь, бежал ровным быстрым ходом, низко опустив голову.

Сзади, дико улюлюкая и хлопая ногами по грязи, бежали люди... Затем снова завыл знакомый голос:

— Здесь! Братцы, неужели-те человека выпущать? Крой на колокольню! Хватай бродягу!

Несколько человек бросились наверх».

Зощенко, несомненно, «трудный» писатель. Массовый успех его в двадцатых годах не должен обманывать. Фельетоны всегда читаются охотнее всего — самыми разными людьми. Злободневность материала облегчает чтение, ускоряет реакцию. Поэтому смех читателя — современника Зощенко никогда не запаздывал. Ведь это

о нем, о его безвестной жизни «в газетах печатали», и чистая радость чеховского Мити Кулдарова охватывала его...

Сейчас эти рассказы, возможно, не будут иметь столь массового успеха. Над мелочными затруднениями людей, живших не менее как сорок лет назад, труднее смеяться, чем над своими собственными. Легко представить себе и такого читателя, для которого вышедшее издание совсем не станет событием. Стоило бы спросить нас, скажет он, так ли уж хотим мы еще раз окунуться в этот мир? Нет, воскликнет он, мы не желаем снова всматриваться в эту крупную шинельную пуговицу на нижней рубахе героя, в которой он после недолгих колебаний все-таки заявляется в театр. И не хотим в конце концов беречь старые раны и слышать вновь про соседку Марью Васильевну, которая всегда «об это время разжигает примус. Чай пьет и компрессы ставит». Две эти фразы уже способны отбить вкус к жизни!..

Да, нельзя убедить кого бы то ни было полюбить Зощенко. Не каждый может перенести эту замораживающе низкую температуру обыденщины, ее доведенное до неприличного в литературе уровня давление. Зощенко не дает облегчения. Однако с ним испытываешь легкость особого рода — свободу от фальши, от ощущения мнимой уравновешенности, мнимой разрешенности всех проблем — и от любых мнимых проблем.

Несомненно, что сейчас и сами «темы» Зощенко, и особенно его характерная манера рассказа, может вызвать раздражение того читателя, который подходит к литературе, заранее твердо зная, какую она должна быть.

Но так же несомненно, что непредвзятое отношение многих современных читателей к теме, жанровой форме, необычной повествовательной манере всякого нового автора рождалось не без влияния Зощенко. Недоверие к демагогическому выкрику, к чересчур звенящей патетической ноте, к смешному аристократизму, чуждающемуся «мелких тем» и «грубого расчета», тоже связано с его литературным опытом.

Зощенко говорил, казалось бы, об очевидном, ежеминутно открывавшемся взору каждого, но именно им впервые так глубоко осмысленном и введенном в литературу. И с известной долей уверенности можно предсказать, что именно по его книгам отдаленные от нас поколения смогут со-

ставить довольно верное представление о некоторых особенностях его времени — не о высокой духовной его деятельности, результаты которой всегда остаются потомкам, а о той его повседневности, которая

улетучивается бесследно. В книгах Зошенко они найдут ее закрепленной навечно. И нам остается только сказать: «Ну что ж! Пушай смеются».

М. ЧУДАКОВА.

★

НОВЫЙ ПИЛАТ

Р. Кайюа. Понтий Пилат. Повесть. «Наука и религия», №№ 8, 9, 1968.

Внушительный даже по нашим масштабам тираж ежемесячного журнала «Наука и религия», издаваемого всесоюзным обществом «Знание», — 275 тысяч экземпляров — свидетельствует не только об интересе широкого круга советских читателей к атеистической литературе, но и о том, что этот журнал, которому всего девять лет от роду, успешно завоевывает общественное признание. В обстоятельном обзоре, которого он, несомненно, заслуживает, были бы, как водится, отмечены и его сильные стороны, и его слабости и недостатки, но мы не ставим здесь перед собою этой задачи. Заметим только, что безусловной поддержки заслуживают усилия журнала, не ограничиваясь борьбой против религиозных предрассудков и суеверий, разоблачением клерикального фарисейства, сектантского изуверства и т.д., внести свой вклад в морально-философскую критику религиозного сознания как такового, используя для этого все возможные формы. В этом отношении примечательна публикация на страницах «Науки и религии» повести известного французского писателя Роже Кайюа «Понтий Пилат» в отличном переводе Л. Зониной.

Если отвлечься от неожиданного эпилога, повесть Кайюа по своей сюжетной основе, в общем, близка к библейской легенде. Перед управляющим Палестиной римским прокуратором Понтием Пилатом, к которому обращается первосвященник Кайафа с настоятельной просьбой, почти требованием, утвердить вынесенный Синедрионом смертный приговор схваченному накануне Иисусу, встает моральная и одновременно политическая дилемма.

С одной стороны, как человек, чуждый религиозной нетерпимости и уж во всяком случае иудейскому фанатизму, Пилат не усматривает состава преступления в деяниях экзальтированного проповедника, возомнившего себя Мессией. С другой стороны, он не может не считаться с опасностью, которой

для него лично, как для римского чиновника, дорожащего своим благополучием и карьерой, чреват отказ удовлетворить требование фарисеев и подстрекаемой ими черни: Кайафа недвусмысленно дает понять ему, что пожалуется пропретору Сирии Вителлию, а тот, отнюдь не благоволя к своему подчиненному, по всей вероятности, не упустит случая передать императору Тиберию и поддержать жалобу Синедриона, обвинив Пилата, как это уже было однажды, в легкомыслии, вызвавшем волнения.

С одной стороны, Пилат как политик не желает попасть в ловушку, устроенную фарисеями, которые, стремясь отделаться от смутьяна, приобретшего слишком большую популярность, в то же время пытаются воспользоваться тем, что прерогатива утверждения смертного приговора принадлежит прокуратору, и переложить всю ответственность за казнь галилеянина на плечи римской администрации, хотя ей оно ничуть не мешает. С другой стороны, прокуратор не может игнорировать хитроумное обвинение, которое выдвигает против Иисуса Синедрион: Иисус называет себя царем Иудейским, а следовательно, покушается на суверенитет римского императора. Кроме того, страна неспокойна, римский гарнизон малочислен, и, случись восстание, римляне недолго продержатся в Иудее. Во всяком случае надо по возможности не накалять атмосферу и следовать политической заповеди, которая гласит: лучше несправедливость, чем беспорядок.

Однако в политическом плане проблема, которая стоит перед Пилатом, не носит характера жесткой антиномии и вполне разрешима политическими же средствами. Средства эти хорошо известны: демагогия, ловкий дипломатический маневр, компромисс.

В ответ на слова Кайафы, в которых звучит нескрываемая угроза: «Всякий, кто именует себя царем, противник кесаря. Если ты освободишь Иисуса, ты не верен кесарю», —

Пилат приказывает легионерам обрядить пророка в платье царя сатурналий и как следует отстегать его. Облаченный в багряницу, с терновым венком на голове и длинной тростиной вместо скипетра, Иисус предстает перед всеми как карнавальная владыка, которого каждый старается унижить, не скупясь на издевательства и тычки, и его мнимые притязания обращаются в смехотворное шутовство, которое невозможно принимать всерьез. А на случай, если этого окажется недостаточно, чтобы успокоить народ и предотвратить инсинуации фарисеев, у прокуратора есть в запасе подсказанный ему префектом Менением выход, к которому, согласно Новому завету, он и прибегнет: воспользовавшись праздником, когда по обычаю один из заключенных должен быть помилован, он предоставит толпе выбор между Иисусом и разбойником Варравой, и если, как этого следует ожидать, возбужденная фарисеями толпа выберет Варраву с тем, чтобы Иисус был распят, Пилат уступит ей, но во всеуслышание заявит при этом, что считает галилеянина невиновным, и публично умоет руки, засвидетельствовав этим ритуальным жестом свою непричастность к несправедливой казни. Благодаря этому маневру он, с одной стороны, не возьмет Иисуса под покровительство римских сил, а с другой стороны, не позволит возложить на римлян ответственность за расправу над ним.

Но, помимо политического аспекта проблемы, есть еще ее моральный аспект. И здесь необходимость выбора, сопряженная с неизбежной ответственностью за этот выбор, предстает во всей своей неумолимой наготе. «Странное дело, самым ясным итогом речи Менения оказалось внезапное понимание, что допустить казнь Иисуса, если он может сй помешать, не менее преступно, чем хладнокровно убить его». Театральным омовением рук Пилат может обойти своих политических противников, но он не может обойти вопрос, который для Иисуса — сына человеческого является в буквальном смысле слова вопросом жизни и смерти, а в нравственном смысле является вопросом жизни и смерти также и для Пилата. Этот вопрос решается только его мужеством или малодушьем.

Собираясь поступить так, как подсказывает ему трусость, Пилат не в силах обмануть самого себя. «Итак, приготовьте, — сказал он префекту, — таз и кувшин из тонкого се-

ребра и полотенце непорочной белизны. Пусть хоть жест будет элегантен и символ безупречен, коль поступок бесчестен». Пилат может совершить этот бесчестный поступок с изящным цинизмом, может сослаться в свое оправдание на снисходительные формулы так называемой житейской мудрости, коим несть числа, но не может сделать его честным в своих собственных глазах, ибо не может отрешиться от моральных критериев, выработанных человечеством, как не может мыслить вне категорий логики. И потому он сознает также неотвратимость морального возмездия. «Человеку свойственно терять мужество, с возрастом становиться мало-помалу осторожнее, эгоистичнее. Человек идет на компромиссы, безвозвратно теряя юношескую нетерпимость. Но потребность в ней остается. Многие пытаются возместить утрату, найдя удовлетворение в искусстве или изысканности жизни... Они помогают забыть о многом, но не обо всем, не о том, что оттеснено, не о чувстве сожаления об утрате чего-то самого главного, испытанном в день, когда врожденная и непреоборимая потребность в человеческой солидарности была лишена своих прав в пользу любви к искусству или иной прихотливой страсти. Пилат это сознавал».

Так обстоит дело с точки зрения обыденного человеческого сознания. Но не с точки зрения религиозной.

Истинно религиозное сознание в повести Кайюа представляет не кто иной, как Иуда Искариот.

Дежурный центурион докладывает Пилату, что свидания с ним добивается какой-то бесноватый, который именуется учеником Мессии и в то же время утверждает, что продал его священникам за тридцать сребренников. Заинтересовавшись этой курьезной фигурой, прокуратор соглашается выслушать его, и Иуда раскрывает перед ним свое кредо.

Нет, он отнюдь не жалкий сребролюбец: недаром он швырнул в лицо священникам полученные от них монеты, как только замышленное им совершилось. Он только разыграл из себя одержимого алчностью негодяя, чтобы сделать в глазах фарисеев объяснимым предательство. Но в действительности это мнимое предательство есть выражение его беззаветной преданности учителю. Ибо сказано: сын человеческий предан

будет на распятие. Таково предначертание, такова воля Иисуса. Кто же воистину верен ему: апостолы ли, которые возжелали — преступники, святотатцы — избавить господу от страданий и порушить смысл, полноту и безмерность его самоотречения, движимые жалкой человеческой жалостью, или он, Иуда, который подчинил свою волю воле Иисуса и отринул любовь к человеку во имя любви к богу, памятуя слова учителя: «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее»? Смерть Иисуса на кресте — свершение божественной идеи. Это росчерк и печать, которые удостоверяют ее подлинность. Кто же воистину проникся этой идеей — те ли, кто отступает перед необходимостью принести во имя ее великую жертву, или он, Иуда, который ради нее пожертвовал собой, сделав самое имя свое символом гнусного предательства?

Спасение мира зависит от распятия Христа. Муки его несут искупление иудеям, которые его ненавидят, и римлянам, которые его не знают, и сыновьям их, и сыновьям сыновей их. Кто же воистину возлюбил человека: те ли, кто утратился крови, в каждой капле которой — искупление каждому из малых сих, или он, Иуда, который сделал себя орудием искупления, не утратившись презрения всего рода человеческого?

Но Иуда пришел к Пилату не для того, чтобы оправдаться перед ним, — что за дело римлянину до иудейских распри? Он пришел предостеречь прокуратора. Что, если во внезапном порыве мужества он освободит Иисуса, оставив народы гибнуть под тяжестью первородного греха? «Никогда нельзя быть до конца уверенным в трусости самого трусливого». Пилат должен знать, что трусость его спасительна, что она — залог искупления. «Отныне, — произносит Иуда, — наши имена соединены навек: Трус и Предатель. А в сущности — Отважный и Верный: один, чья слабость была необходима, другой, чья преданность зашла так далеко, что он согласился во веки веков быть клейменным стигматами вероломства. Ты будешь презрен, но утешься: Он знает, что не мог бы принести людям искупления без моего мнимого предательства, без твоей лжетрусости. Пойди, как я, на жертву, которая поставит нас выше самых великих святых».

В проповеди Иуды религиозное сознание предстает в своей глубоко антигуманистической сущности, в своей непримиримой враж-

дебности первейшим нравственным ценностям человечества. Оно есть не просто отрицание морали, а, если позволительно так выразиться, утверждение аморальной морали. Так знак минус перед заключенным в скобки алгебраическим выражением не просто уничтожает его, а придает ему обратное значение. С некой «высшей точки зрения», *sub specie aeternitatis*, предательство становится верностью, трусость — отвагой.

Это исповедание веры, краеугольный камень которого — несопоставимость божественной идеи как единственной абсолютной ценности с человеческими моральными критериями, практически сводится к формуле, представляющей не антитезу, а своего рода параллель карамазовскому: «Если бога нет, все позволено», — все позволено *ad maiorem Dei gloriam*, иначе говоря — к иезуитскому принципу: «Цель оправдывает средства». С другой стороны, из этого кредо логически вытекает рабская мораль безусловного и беспрекословного повиновения: если поборник веры должен, отрешившись от собственной воли и собственного разумения во имя воли божьей и божьего промысла, стать его слепым орудием, то он должен стать и орудием орудия и так далее, то есть, как требовал Игнатий Лойола, «предоставить Провидению в лице своих начальников так управлять собой, как будто он был трупом».

Эпизод встречи Иуды с Пилатом — отступление Кайюа от фабулы новозаветной легенды, и его трактовка личности Иуды и побуждений, которыми он руководствовался, на первый взгляд имеет мало общего с буквой христианского вероучения. Но для писателя здесь важна не та или иная религиозная догматика, а религиозный догматизм в широком смысле слова, и образ Иуды в «Понтии Пилате» как нельзя лучше выражает его дух.

Но вернемся к Понтию Пилату. Как ни соблазнительно подкрепить свою трусость высокими доводами идейного порядка, Пилат не может почерпнуть их в бреднях одержимого. Для него, человека иной культуры, отнюдь не склонного к мистицизму, совершенно не понятно, почему Иуда настаивает на необходимости распять Иисуса, которого считает своим богом, и приписывает ему, Пилату, римскому должностному лицу, в некотором роде провиденциальную роль в свершении древних иудейских пророчеств.

На исходе хлопотливого дня он отпра-

ляется на виллу своего друга, богатого халдея Мардука. В беседе с этим эрудитом, увлекающимся изучением религий и религиозных сект, он надеется, как всегда, найти душевное успокоение, уяснить ускользающий от него смысл бессвязных речей Иуды, а заодно узнать, что думает Мардук обо всей этой истории.

Выслушав прокуратора, Мардук за чашей вина рассказывает ему об учении ессеев, к которым, по-видимому, принадлежит пророк, ожидающий своего часа в претории. В их страстной и заразной вере во всемогущего и в то же время вселюбящего учителя справедливости, чье пришествие преобразит людские сердца, он видит великую творческую силу. Если эта вера восторжествует, летоисчисление будет вестись не от основания Рима, а от рождения спасителя. В порыве вдохновения Мардук рисует Пилату грандиозные картины исторических событий, связанных с распространением и утверждением новой мировой религии, завоеваний цивилизации, вызванной ею к жизни, взлетов искусства, для которого она послужит неисчерпаемым источником, — от преследований первых христиан, скрывающихся в катакомбах, до крестовых походов, от арианской ереси до реформации, от Реймского собора до полотна Делакруа, изображающего вступление крестоносцев в Константинополь, и страници Бодлера, превозносящих этот шедевр, и статей критиков, превозносящих Бодлера. Мардук найдет даже подходящее имя — Роже Кайюа — для французского писателя, который почти через две тысячи лет восстановит его беседу с Пилатом в повести, выпущенной в свет издательством «Нувель франсэз».

И, подобно Иуде, халдей предостерегает прокуратора: все взаимосвязано, бесконечное множество событий заключено, как могучее дерево в зернышке, в выборе пути на решающем скрещении дорог. Но кто может знать, какая развилка решающая? Быть может, именно сейчас он находится на одном из таких перекрестков и от него в какой-то мере зависит судьба всего человечества? Подумал ли прокуратор о том, что ореол мученика часто необходим, чтобы усилить влияние пророка? Кончина галилеянина должна выглядеть как жертвенная смерть Мессии, чтобы выявить несовместимость божественного милосердия и мирских порядков. Вот почему Мардук полагает, что прокуратору стоит последовать совету Иуды. Таким

образом, предоставив делу идти своим ходом, Пилат со своей стороны будет, хотя и ценой крови невинного, способствовать пришествию новых времен.

Нетрудно видеть, что в речах Мардука, который не больше, чем Пилат, верит в бога-человека, в первородный грех, искупление и т. д. и рассматривает иудейский миф, так сказать, с прагматической точки зрения, религиозное сознание предстает в своей светской форме. Божественную идею заменяет идея исторического прогресса, а кликушество фанатика — беспощадная логика мыслителя. Но в существе своем религиозное сознание останется религиозным сознанием. Мардука, как и Иуду, не останавливают ни страдания невинного проповедника, ни нравственное самоубийство Пилата — все это несоизмеримо с величием будущего, которому они приносятся в жертву. Они — актеры всемирной драмы, играющие роли мучеников и злодеев, без которых не было бы ни самой драмы, ни ее счастливой развязки, они — орудия истории, которую, как известно, творят не в белых перчатках. Религиозное сознание в его светской форме, так же как религиозное сознание tout court, не желает считаться с моральными «предрассудками»: оно признает моральным то, что служит предначертанной цели. А когда с «предрассудками» покончено и «новая мораль» утверждена, оно оказывается готовым принять и идеал, скроенный по мерке этой новой морали. Например, мировое господство «высшей расы». Например, казарменный рай «великого кормчего». Те шестнадцатилетние немецкие мальчики, которые в последние дни, даже часы, гитлеровского рейха бросались с гранатами на советские танки, были жертвами религиозного сознания — его планомерно и систематически прививали им чуть не с пеленок. И те студенты-хунвейбины, которые глумятся над своими профессорами, избивают и убивают их, тоже жертвы религиозного сознания.

Конечно, это крайние случаи. Если к явлениям такого масштаба приложимо слово «случай». Но всюду, где простые и древние, как сам человек, требования совести заглушаются формулой: «Так надо для дела», — всюду, где разум уступает слепой вере свое право на первородство за чечевичную похлебку безответственности, — еще гнездится религиозное сознание.

В ответ Мардуку Пилат произносит: «Не думаю, чтобы Сократ, да и Лукреций гоже

поставили высоко религию, которой для самоутверждения необходимо, чтобы совершилась несправедливость и была проявлена трусость». Теоретически он оказывается сильнее халдея, устояв перед его софистикой, как он устоял перед заклинаниями Иуды. Но окажется ли он сильнее практически, устоит ли он перед собственной трусостью?

Ответ на этот вопрос дается в кратком эпилоге, который сообщает новый смысл повести Кайюа.

После бессонной ночи, проведенной в мучительных колебаниях, Пилат провозглашает в судилище перед волнуемой толпой невиновность Иисуса и, не воспользовавшись тазом и полотенцем, отпускает его на волю и объявляет во всеуслышание, что легионеры будут охранять его, пока в том будет нужда. Иисус продолжает проповедовать и умирает в преклонном возрасте, пользуясь прочной репутацией святого. «И все же из-за человека, который, вопреки всем ожиданиям, проявил мужество, христианство не состоялось. За исключением изгнания и самоубийства Пилата, не произошло ни одного из событий, предсказанных Мардуком. История, если не считать этого пункта, пошла иным путем».

В этой заключительной фразе Кайюа явно иронизирует над наивным детерминизмом Мардука: он, разумеется, понимает не хуже нас, что ход мировой истории определялся куда более глубокими причинами, чем поступок исторического Пилата, пятого прокуратора Иудеи.

Мысль писателя глубже и, если угодно, благороднее, чем умозрительные построения халдея.

Кайюа вдохновляется как раз тем, что внушало опасения Иуде: «никогда нельзя быть до конца уверенным в трусости самого трусливого». Он верит в душевные силы человека, в его способность не только отвергнуть любую демагогию и любой интеллектуальный шантаж, но и страхнуть с себя страх, распрямить спину. Он верит в цепкость моральных корней человека, которые вопреки всему не так-то просто выкорчевать. Он верит во внутреннюю свободу человека. И в этом — гуманистический пафос его повести, который роднит ее с историей Иешуа Га-Ноцри в «Мастере и Маргарите» Булгакова, при всем очевидном различии в интерпретации евангельских мотивов, в проблематике, да и в художественных достоинствах этих двух книг.

Н. НАУМОВ.

★

Политика и наука

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЧЕРАШНЕЙ ГАЗЕТЫ

Анатолий Аграновский. Суть дела. Заметки писателя. М. Политиздат. 1968. 207 стр.

В конце книжки, составленной Анатолием Аграновским из статей, публиковавшихся им в «Известиях», кратко сообщается о последствиях каждой. Легко убедиться, что автор работает не зря. Государственные комитеты, министры и даже Верховные суды принимают необходимые меры, отмеченные недостатки устраняются, и если нетерпеливый читатель начнет с эпилога, ему покажется, что читать книгу уже нет смысла. Мы вообще торопимся забыть вчерашнюю газету. К чему она, когда принесли новую, пахнущую свежей краской? Но если вычеркнуть вчерашние подвиги и вчерашние промахи, мы перестанем понимать происходящее.

Для А. Аграновского вчера, сегодня и завтра не разобщены. Он рассказывает, как

преследовали учителя Топорова, знакомого крестьян глухой деревни с Гейне и Ибсенем. Он рассказывает о конструкторах-добровольцах, которые сделали счетно-электронную машину лучше той, что была изготовлена в положенном месте, по плану и по заказу. И то и другое не новость. Об одном скажут «пережиток прошлого», о другом — «зримые черты коммунизма». Аграновский не развешивает этикетки: жизнь занимает его не как собрание характерных черт, а как процесс.

Статьи по преимуществу написаны об оплошностях, ошибках, даже преступлениях. Но книжка Аграновского на редкость бодр и исполнена уверенности в завтрашнем дне. И не потому вовсе она оптимистична, что автор доказывает, будто с не-

достатками покончено раз и навсегда, а потому, что причины этих недостатков он ищет не в чем-то дурном характере и не в чьей-то злой воле. Сколько было говорено о вреде «волевого» руководства, сколько «волевых» руководителей было изобличено нашей прессой! Аграновский едва ли не проходит мимо этой популярной темы. Он лишь вскользь замечает: «Нужда в волевом нажиме является тогда, когда нет других аргументов». И он задумывается о том, почему их нет.

Давно известно, что недостатки — продолжение достоинств. Аграновский учитывает это обстоятельство. Все еще существует обычай возводить причины всего дурного, что нам встречается, к давним временам. При этом, однако, упускают из вида, что отдавать в настоящем столь большую долю власти давно прошедшему означает преуменьшать реальную значимость и силу нового, нынешнего. Аграновский, напротив, понимает, что недостатки не просто продолжают жить, но рождаются — как обратная сторона чего-то хорошего и нового, как противоречия именно новой действительности, противоречия развития.

Сегодня даже буржуазная печать говорит об успехах нашего общества, о том, что аграрная страна стала индустриальной, о том, как выросло в сравнении с 1913 годом производство стали, тракторов и радиоприемников. Говорит об этом и Аграновский, но он идет дальше. Он догадывается, что самый большой успех страны состоит в росте требований, которые она предъявляет сегодня и предъявит завтра своим людям.

Не только тому, как принимать в вузы, учит опыт Ивана Ивановича Краковского, ректора Горьковского института инженеров водного транспорта. Вместо того, чтобы ужесточать старую систему приема, выдвигая все новые и новые критерии, Краковский предложил новый способ отбора. Он стал допускать на занятия не набравших при поступлении нужной суммы баллов, сделал их «кандидатами» студенты и при успехах перевел в «действительные» студенты на места отчисленных за неуспеваемость. Аграновский подробно рассказывает о поднявшихся вокруг спорах, и проблема произвольно выходит из вузовских рамок.

Чтобы использовать возможности, которые человечеству открыла научно-техническая революция, необходимо максимальное

число одаренных людей. Их не хватает. Американские капиталисты обворовывают Европу, до сей поры сохраняющую здесь перед ними преимущества — плоды вековой культуры. У нас принципы отбора способных людей — не только для учения, но еще больше для работы после учения — вырастают в государственную проблему. За любым из очерков Аграновского проглядывает столкновение таланта и бездарности, компетентности и невежества.

Везде, на всех постах и должностях, нужны люди, просто-напросто хорошо умеющие делать свое дело. Аграновский пишет об этом: «Надоели дилетанты. Полупеши, недомастера, любители в том единственном, прямом своем деле, за которое получают зарплату. Как-то, я бы сказал, многовато развелось их — людей, которые не умеют. От дилетанта-водопроводчика, после которого обязательно текут краны, до дилетанта-руководителя, который портит дело, так сказать, в более крупном масштабе».

Но состязание компетентности и дилетантизма, какие бы обороты ни принимал подчас их бой, все же, надо надеяться, завершится победой таланта, ума и знания. Их моральной победой явилось уже само по себе решение партии о переходе на новую систему хозяйствования. Понятно, это еще не все. Анатолий Аграновский исследует некоторые причины той медлительности в осуществлении ряда решений сентябрьского (1965 года) Пленума ЦК КПСС, о которой недавно писал в «Правде» председатель Госплана СССР Н. Байбаков. Он показывает, что во имя полного осуществления реформы нужно, «чтобы каждый ощутил себя хозяином дела, чтобы инициатива была разбужена во всех тружениках». И далее: «Наивно представление свое, что человек может быть активен у станка и пассивен в гражданской жизни — так сказать, новатор в цехе и обыватель в быту. Еще Н. Г. Чернышевский в 1859 году писал: «Как вы хотите, чтобы оказывал энергию в производстве человек, который приучен не оказывать энергии в защите своей личности от притеснений? Привычка не может быть ограничиваема какими-нибудь частными сферами: она охватывает все стороны жизни. Нельзя выдрессировать человека так, чтобы он умел, например, быть энергичным на ниве и безответным в приказной избе».

Многие нынче пишут, и верно пишут, о необходимости развития общественной мыс-

ли, широкой гласности и т. п. Аграновский и здесь не ограничивается само собой разумеющимся. Он сосредоточивается на демонстрации связи между расширением социалистической демократии и повседневными потребностями народного хозяйства, умением лучше сеять хлеб, варить сталь и строить самолеты. Плодотворность такого подхода — испытанного марксистского подхода к общественным явлениям — многократно подтверждена и в прошлом и в на-

стоящем. Конечно, формы поддержания соответствия между потребностями экономики и возможностями общественной жизни с течением времени меняются. Однако и в наших условиях требования экономики к формам общественной жизни составляют суть дела.

Книжка Анатолия Аграновского в конечном счете — именно об этом.

П. КАРП.



СОЗНАТЕЛЬНО ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ

М. Лемешев. Межотраслевые связи сельского хозяйства (вопросы анализа и планирования). «Экономика». М. 1968. 260 стр.

Доктор экономических наук М. Я. Лемешев известен работами, посвященными совершенствованию планирования, специализации колхозного и совхозного производства, развитию хозрасчетных отношений в сельском хозяйстве. Целью своей новой книги автор считает анализ и обоснование производственных пропорций между сельским хозяйством и другими отраслями экономики. Перед нами — по существу первая в экономической литературе попытка предложить стройную и хорошо продуманную систему материально-вещественных соотношений между сельским хозяйством и промышленностью, сельским хозяйством и транспортом, между объемом производства и размером применяемых средств, между активной и пассивной частью основных производственных фондов.

Высокие и устойчивые темпы роста нашего сельского хозяйства давно уже стали важнейшей общегосударственной задачей. Это общеизвестно. М. Лемешев подошел к проблеме темпов по-своему: он выясняет зависимость эффективности сельскохозяйственного производства от уровня развития и структуры других отраслей народного хозяйства, в первую очередь промышленности. Одновременно в книге раскрывается и обратное воздействие состояния сельского хозяйства на развитие экономики в целом. Такой подход к проблеме не только оригинален, но и плодотворен, поскольку он позволяет более глубоко оценить действительность экономических мероприятий, осуществляемых в деревне.

Долгое время в советской научной лите-

ратуре утверждалось, что наше сельское хозяйство — самое механизированное. Основанием для таких утверждений послужили слова Сталина, сказанные им еще в 1939 году, о том, что реконструкция нашего земледелия на базе новой, современной техники уже в основном завершена и что оно является не только наиболее крупным, но и наиболее технически оснащенным по сравнению с земледелием любой другой страны. Из этого высказывания следовал практический вывод: с увеличением производства и поставок техники для сельского хозяйства можно особенно не спешить. В результате планируемый рост сельскохозяйственного производства на протяжении многих лет не обеспечивался необходимыми материальными и финансовыми ресурсами.

По расчетам М. Лемешева, промышленность пока обеспечивает только 40—50 процентов той численности тракторов и сельскохозяйственных машин, которые требуются для комплексной механизации сельского хозяйства, лишь 25 процентов нужного количества минеральных удобрений, примерно такую же часть электроэнергии, необходимой для сплошной электрификации сельского хозяйства. Автор обращает внимание на относительно невысокие темпы роста поставок тракторов, запланированные на 1966—1970 годы. Но и этот план, как стало известно из материалов октябрьского (1968 года) Пленума ЦК партии, пока также не выполняется. Следовательно, прогноз автора, согласно которому в ближайшие годы колхозы и совхозы все еще будут испытывать значительный недостаток

сельскохозяйственных машин, не лишен оснований.

Особенности производственных процессов в деревне (сезонность и обусловленные этим ограниченные сроки выполнения работ) требуют не менее, а более высокой энерговооруженности по сравнению с промышленностью. Между тем у нас уровень энерговооруженности труда работников сельского хозяйства в два с лишним раза ниже, чем в промышленности. В настоящее время ручным малопроизводительным трудом заняты две трети рабочих совхозов и около 80 процентов колхозников. Известно также, что объемы капитальных вложений в сельское хозяйство, предусмотренные партийными директивами, выдерживаются не полностью. Не выполняется программа механизации. С прежней остротой стоит в сельском хозяйстве проблема транспорта. Из года в год срываются планы строительства предприятий перерабатывающей промышленности.

На основе детального анализа М. Лемешев приходит к выводу: поскольку производственные связи сельского хозяйства с другими отраслями экономики развиты недостаточно, оно еще не располагает необходимыми ресурсами для быстрого и последовательного развития по пути интенсификации.

Недостатки в развитии нашего сельского хозяйства многие экономисты-аграрники объясняли лишь несовершенством структуры посевов, низкой квалификацией руководящих кадров в сельском хозяйстве, нарушениями государственной дисциплины и т. п. В то же время влияние экономических взаимоотношений, существующих между государством, с одной стороны, колхозами и совхозами — с другой, на эффективность сельскохозяйственного производства продолжительное время не исследовалось. Работа М. Лемешева в значительной степени восполняет этот пробел.

Автор в полной мере сознает значение централизованного планирования. Однако, считает он, не всякая централизация способна обеспечить гармоничное развитие экономики, «сознательно поддерживаемую пропорциональность».

Исследования советских экономистов, проведенные в последние годы, показали, что большая экономическая обоснованность плана достигается в том случае,

когда этот план рассматривается не как сумма заданий по отдельным отраслям народного хозяйства, а представляет собой результат комплексной разработки объема и структуры всего общественного производства. Этим требованиям в наибольшей мере отвечает метод межотраслевого баланса производства и распределения общественного продукта, уже получивший общественное признание. За его разработку группе ученых во главе с членом-корреспондентом АН СССР А. Н. Ефимовым недавно была присуждена Государственная премия. С помощью межотраслевого баланса можно экономически обоснованно определить и потребности сельского хозяйства в материально-технических средствах, и необходимые размеры капитальных вложений, причем не только в земледелие и животноводство, но и в те отрасли промышленности, продукция которых используется в сельском хозяйстве.

Установление в государственном плане важнейших экономических пропорций, совершенствование методологии централизованного планирования еще не создает всех условий для успешного развития сельского хозяйства. Многое зависит от того, какой характер принимают взаимоотношения государства и сельскохозяйственных предприятий. В книге подробно рассматривается практика существующих экономических отношений между государственными заготовительными организациями, с одной стороны, колхозами и совхозами — с другой, высказаны конкретные предложения по дальнейшему совершенствованию этих связей в условиях более полного использования товарно-денежных и хозяйственных отношений.

Твердый план закупок (план-заказ), бесспорно, имеет для сельскохозяйственного предприятия важное экономическое значение, так как он на несколько лет вперед определяет направление развития хозяйства, создает уверенность в работе всего производственного коллектива. Однако это еще не означает, что такой план экономически выгоден для каждого хозяйства. В настоящее время большинство колхозов и совхозов страны получает задания по продаже десяти, пятнадцати и даже двадцати видов сельскохозяйственных продуктов. Между тем наиболее эффективным является производство в хозяйстве трех-четырёх товарных продуктов.

При установлении плановых заданий не всегда учитывается также рентабельность производства в том или ином хозяйстве закупаемых государством продуктов. Такая практика создает противоречие между экономическими интересами государства и отдельных сельскохозяйственных предприятий.

Как же увязать интересы государства с интересами каждого колхоза и совхоза, централизованное планирование — с их хозяйственной инициативой и самостоятельностью? Автор убежден, что отношения между хозяйствами и заготовителями должны строиться на полном хозрасчете, на основе взаимовыгодных договоров о контрактации, обязательных как для колхозов и совхозов, так и для заготовительных организаций. Хозрасчетные взаимоотношения обяжут заготовительные организации не только глубоко изучать спрос на сельскохозяйственную продукцию, с тем чтобы обеспечить ее последующую эффективную реализацию, но и вынудят закупать эту продукцию в тех районах и хозяйствах, где ее производство обходится дешевле. Постепенный переход к подобному порядку заготовок, во-первых, обеспечит рациональную специализацию хозяйств и рентабельность их производства, а во-вторых, исключит административное вмешательство в их экономическую деятельность.

Не грозит ли, однако, такая практика утратой активного воздействия плана на производство товарной продукции в колхозах и совхозах? Безусловно, нет. Договоры о контрактации, заключенные на взаимовыгодной хозрасчетной основе, станут, по мнению автора, более надежной гарантией плана закупок, нежели любые административные санкции. При таком порядке планирования сами хозяйства предусматривали бы увеличение производства наиболее выгодных в их условиях видов продукции, применение новой техники и т. д.

Конечно, плановым органам придется при этом взять на себя большую экономическую ответственность за выполнение плана. Если из наметок колхозов и совхозов

станет ясно, что потребности государства в определенных продуктах не будут удовлетворены полностью, плановые органы должны тщательно обосновать, где и как можно дополнительно разместить заказы на необходимую продукцию, с тем чтобы это было выгодно и предприятиям и государству. Одновременно надо будет позаботиться об улучшении материально-технической оснащенности тех отраслей, развитие которых при данном уровне механизации невыгодно колхозам и совхозам.

М. Лемешев не скрывает, что некоторые экономисты и работники плановых органов отрицательно относятся к предлагаемому порядку планирования закупок: по их мнению, государство в этом случае может не получить в централизованные фонды нужного количества продукции. Обстоятельно разбирая аргументы сторонников этого взгляда, он убедительно доказывает их несостоятельность. Автор признает, что при существующих закупочных ценах может случиться так, что предложения колхозов и совхозов по реализации отдельных продуктов окажутся ниже государственной потребности в них. Однако это отнюдь не свидетельствует о порочности самого принципа добровольного заключения договоров между заготовительными организациями и сельскохозяйственными предприятиями. Затруднения могут возникнуть лишь в условиях недостаточного экономического стимулирования производства и продажи этих продуктов. Государство легко может поправить такое положение с помощью тех же экономических рычагов.

Автор уверен, что при более полном и последовательном использовании экономических стимулов можно быстро устранить еще имеющийся в стране дефицит некоторых сельскохозяйственных продуктов.

Книга М. Лемешева сочетает в себе научность и простоту изложения. Ее отличает свежесть постановки вопросов; глубокий теоретический анализ доводится до конкретных практических рекомендаций.

Ю. ЕВСЮКОВ.

МОСКВИЧИ XVII ВЕКА — О СЕБЕ

Московская деловая и бытовая письменность XVII века. Издание подготовили С. И. Котков, А. С. Орешников, И. С. Филиппова. «Наука». М. 1968. 338 стр.

Название этой книги звучит несколько академично, ее предваряют две небольшие вступительные статьи, рассчитанные на ученого-лингвиста. Сложная система публикации текстов — с курсивом посреди слов, с употреблением давно исчезнувших из современного алфавита букв, — небольшой тираж (всего 2500 экземпляров) словно предупреждают: посторонним вход воспрещен. Но было бы обидно, если бы это издание осталось известным только специалистам по истории русского языка.

Конечно, основной целью составителей было дать филологам, изучающим русский язык прошлых веков, источники для суждения о живой речи москвичей времен первых Романовых. Этой задаче и подчинен подбор документов в томе. Но издание оказалось значительно шире своей непосредственной цели. Живой язык дал ощущение живой жизни. Составители проявили немало тонкого вкуса, подбирая разнообразные документы, со всех сторон характеризующие быт москвичей XVII века.

Мы, историки, много и часто плодотворно занимались социологическими аспектами своей науки. Но иной раз мы забываем, что история — это наука о людях и она мертва без них. Чтобы понять мотивы действий людей, а следовательно, и ход глубинных исторических процессов, нужно представить себе человека прошлого во плоти и крови. Иногда это сравнительно просто: по нашей классической литературе мы представляем себе человека XIX века — и манеру его речи, и любимые привычки, и постоянные дворы и гостиницы, где он ночевал, и учреждения, куда он приходил просителем... Из более раннего времени нередко только документ и приносит это ощущение живой жизни.

Около трех веков прошло с тех пор, как жили люди, оставившие документы, опубликованные в томе. Многие изменились за эти века на Руси. Но не все. Когда читаешь, например, письма княгини Татьяны Ивановны Голицыной к сыну, известному воеводе Василию Васильевичу, написанные во время знаменитого Цигиринского похода, то видишь, что и тогда, как, вероятно, и во все времена, любящие матери давали взрослым сыновьям советы, как заниматься

своим делом. Узнав о том, что войска В. В. Голицына отправились к Белгороду, мать пишет: «И мое, свет мой, сердце о том сокрушилось, что идешь в такую дальнюю дорогу с малыми людьми. И ты, свет мой, поиди проведаяючи, и не попадися, свет мой, неприятелем в глаза». И на следующий день: «И ты, свет мой, не отбивайся вдаль от городов, не погуби себя, свет мой, и меня».

Переписка В. В. Голицына с родными — интереснейшие документы. Внимание к ним привлекает уже сама личность Василия Васильевича — одного из образованнейших людей XVII века, смело устроившего свой дом по западному образцу. Странник преобразований — именно он был, например, инициатором отмены местничества, — князь Василий по иронии судьбы оказался одним из главных противников Петра I: Голицын был фаворитом царевны Софьи. Переписка относится к началу царствования Федора Алексеевича — разгару борьбы Голицына за влияние. И Татьяна Ивановна оберегает сына от опасностей не только военных, но и дворцовых: «Послан к тебе, свет мой, з государевым указом стольник Федор Павлов сын Языков, и ты, свет мой... себя оскуди, а ево, свет мой, подари; и опаси себя во всем, и не говори при нем ничево про ево дядю». А из предыдущих писем мы узнаем, что как раз дядя стольника, Иван Максимович Языков, «порочит твою службу и в дело ее не ставит, а ка мне приказывает и божитца, что рад всякова добра делать».

Документ бесстрастен — и выразителен, а порою и страшен своею бесстрастностью.

Шестнадцатого ноября 1638 года царицыны мастерицы Марья Сनावидова и Степанида-арапка подали донос на другую мастерицу, Дарью Ламанову, что она сыпала песок на след царицы Евдокии Лукьяновны, чтобы испортить ее ворожкой. Целый год тянулось следствие. И Дарья Ламанова, и ее подруга Авдотья Ярыжкина, и научившая их ворожке черниговка Настасья, и наставница Настасьи в этом деле Манька Козлиха, и многие другие женщины были не раз «пытаны накрепко и огнем жжены». Сама Дарья созналась довольно быстро: она действительно сыпала (только не пе-

сок, а пепел от своей сожженной рубашки), «чтоб государь и государыни были до нее добры». Но эти признания не удовлетворили строгих следователей: слишком опасное дело ворожба. К тому же Настасья родом из Чернигова, а ее муж и того хуже — из самой Литвы. Вызывало подозрение и то, что царица к Дарье добрее не стала, но зато с тех пор «учала» она «недомогать и быти печальна», у нее умерли двое сыновей, «и ныне государыни царица перед прежним скорбна ж, и меж их, государей, в их государском здоровье и в любви стало не по-прежнему». Следователи усиленно допытывались у Настасьи Черниговки. «от польского и от литовского короля к мужу ее к литвину Янке присылка или заказ, что ей государя или государыню царицу испортить, был ли». Доказать происки иностранцев не удалось, и приговор оказался сравнительно мягким: все обвиняемые были сосланы в дальние города, а донесшие с опозданием доносчицы отставлены от службы.

Собранные в книге документы открывают нам много жестокого и, на сегодняшний взгляд, странного в жизни допетровской Руси. Правда, тут нужно учесть, что это в основном челобитные (жалобы) с их специфическим углом зрения и судебные дела. Полной картины народного быта они дать не в состоянии. Но все же многие из них весьма показательны.

Конюх Петрушка Федотьев в своей челобитной царю Михаилу Федоровичу рассказывает: «Идучи от Живоначальные Троицы из Сергиева монастыря тешил я, холоп твой, тебя, государя, под селом Пушкиным, и медведь меня, холопа твоего, ломал и драг, и издрал на мне платишко, и меня ж изувечил на смерть». О чем же просит пострадавший борец с медведем? «Пожалуй меня, холопа твоего бедново и безпомочного, вели, государь, мне выдать с своей государской милости на платишко, чем тебе, государю, бог известит». Раны, переломанные кости — все это не стоит ничего, зарастет. Государь тешился — вот достойная награда для конюха. А на платишко сукно нужно — его и получил Петрушка Федотьев.

Режим деспотизма калечил и извращал души. Человек был ничем, государь и государство — всем. Человек приобретал терпение и терял достоинство.

Терпение помогало создавать в стране

обстановку страха. Страшно не донести. Подьячий Афанасий Мотякин со скуки разговорился во время своего дежурства в приказе с колодником и услышал страшные слова: «слуга-де я небесного царя, а не земного». Долго и тщательно оправдывается Мотякин в том, что свой извет он принес только на следующий день: вечером он пошел, но стемнело, «испужался итить дале, чтоб меня на дороге не убили воры». Но страшно и донести. Ведь своей рукой пишет доносчик такие крамольные слова. И от страха он выводит на наружной стороне сложенного листа: «Не распечатывать и не честь письмо: безумного речи».

Страшно попасть в опалу ни за что ни про что. Появляется даже специальный вид челобитных: челобитчик сообщает о каком-то происшествии и тем самым заранее слагает с себя ответственность. К садовнику Сидору Голеву определили на постой жену каптенармуса Арину Басаргину. Она постоянно пьянствует, не бывает дома по две-три недели, является с пьяными компаниями, которые владельцу дома «угражают... всякими злыми умыслами и смертным убийством». О чем просит Голев? Выселить от него спившуюся бабу? Нет — «вели, государь, челобитье мое и язку записать, буде ана, Арина, где объявитца или над нею смертное убийство учинитца, а мне бы в том до конца не погинуть». Кадашевец (житель Кадашевской слободы) Федор Аргунов, у которого украли коня, просит: «Где та моя лошеть объявитца на каком воровстве, и мне бы, холопу твоему, от тебя, великого государя, в опале не быть».

Непременный и вполне законный способ расследования судебных дел — пытка. После первого допроса следует допрос «у пытки» (обвиняемый находится в пыточной комнате и видит орудия пытки), затем — сама пытка. Никакие признания от нее не освобождают: вдруг да скажет еще что-нибудь новое. Если показания с трех пыток подряд сойдутся, тогда только можно считать дело законченным. «Доносчику первый кнут». В самом деле, его тоже пытаются: чтобы подтвердил донос. Но так как пытаются и за доноситечество, то все же доносят. «Оттерпливаться на пытке» — такой термин знало древнерусское право.

Пытка выглядит в документах достаточно будничной и домашней. Палач — свой, знакомый, сосед. Когда царицыня постельница Домна Борисова во время пытки, «по-

валясь, лежала безгласна, то «полач Васка Микифоров сказал, что-де он тое постельницу знает подлинно, что на ней та падучая болезнь давно». И лишь иногда прорвется весь ужас этого законного истязания человека. Дарья Ламанова была не прочь выпить, побраниться с подругами, изменить мужу. Но когда она, только что пытанная по доносу Марьи Снавидовой, увидела, что доносчицу «учали разболокать», то есть раздевать для пытки, то «учала бити челом, чтоб ее не портить».

Все в стране делается именем самого царя. И все челобитные пишутся тоже на его, великого государя, имя. Порой это производит комическое впечатление. Сапожник Юрий Дмитриев непосредственно царю Михаилу Федоровичу приносит жалобу на то, что кузнец Фома Сидоров «учел меня и матушку мою лаеть всякою лаею неподобною, и жена, государь, его, Фомина.. называла меня лысым бесом». Алексею Михайловичу предлагают разрешить спор о бане, поставленной богатым кашашевцем Стефаном Купреяновым и загрязняющей общий колодец. Над другим кашашевцем, Никитой Леонтьевым, кто-то подшутил. Пока он спал, ворота крепко связали пеньковой веревкой. Чтобы попасть к заутрене, Никите пришлось пройти чужим двором. И он приносит жалобу на «безвестных плутов» самому «царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всея Великия и Малыя и Белья России самодержцу».

Перед лицом государя и государства все совершенно бесправны. Тяглец Сретенской сотни Андрей Семенов продал в августе 1671 года в государеву казну золотых монет, жемчуга, яхонтов и лалов на 838 рублей. Деньги по тем временам огромные. Обширная городская усадьба боярина И. Т. Кондырева — с хоромами, с многочисленными хозяйственными постройками — была продана за триста рублей. И за все четыре года, прошедшие после продажи. Семенов не получил из казны ни копейки и был вынужден подать слезную челобитную об уплате долга...

В рассматриваемых документах мы обычно застаем москвича XVII века в двух положениях — обвиняемого или жалобщика. Лишь обмолвки напоминают нам о том, что многие из них были людьми труда, которые тачали сапоги и лили пушки, разводили сады и ткали полотна. «Оружейной полаты ствольного и замочного дела мастер» Афа-

насий Вяткин просил у царей Ивана и Петра денег «дочеришкам... девчонкам на приданое». С гордостью пишет он о своем мастерстве: «работую ж в Оружейной полате всякие приказные дела и верховья, и в Ствольном приказе у отделки завесных пищалей и у своей братьи досматриваю, отдаю и принимаю. И у ваших государских дел безпрестанно». Имя мастера Вяткина и сегодня хорошо известно историкам русского оружия. «Кормятца своею прямою работою: прядут покупаючи лен и делают полотно» вдовы Мавра Савлукова и Пелагея Филатова. Эти люди могли затеять свару из-за колодца или брошенного не на месте навоза, но они же кинулись по первому звуку колокола спасать от пожара двор вдовы Ульяны Еремеевой. Жизнь, которой они жили, сложная, многообразная жизнь народа, развивавшаяся по своим внутренним органическим законам, конечно, не сводилась к избиениям и доносам...

А как хорош народный язык, исполненный юмора и яркой образности! «Человек я бедной, богат дочерьми», — жалуется отец пяти дочерей Стенька Казьмин. Поэтично звучит наговор, которым Настасья Черниговка «приворачивала» мужей: «Как люди смотрятца в зеркало, так бы муж смотрил на жену да не насмотрился, а мыло сколь борзо смоецца, столь бы-де скоро муж полюбил, а рубашка какова на теле бела, столь бы-де муж был светел». Улья Слелая помогает неудачливым торговым людям: «наговаривает на мед, а велит им тем медом умыватца, а сама приговаривает: как-де пчелы ярые рояцца да слетаютца, так бы к тем торговым людям для их товаров купцы сходились». А колоритнейший авантюрист и ловелас Афонька Науменок (его жизнь — тема для повести) рассказывает, как он привлекает к себе женщин: «возьмет легушку самца да самку, кладет в муравейник и приговаривает: сколь тошно тем легушкам в муравейнике, столь бы тошно было той жонке по нем, Офоньке».

Вероятно, этнограф с большой пользой для себя изучит эти документы о ворожбе. Да и не только эти. Вообще трудно перечислить тот круг людей, которых может заинтересовать эта книга. Историком Москвы будут, несомненно, интересны сведения о московских усадьбах, их расположении, переходе из рук в руки; специалист по древнерусской литературе обратит внимание на перечни рукописных книг, изъятых при

обыске, на рассказ о том, кто и как переписывал эти запрещенные церковью произведения; а неспециалист — любитель отечественной старины обрадуется возможности побывать в Москве XVII века. Ведь одно дело читать в труде историка, как тяжело жилось людям, попавшим в долговую кабалу, а другое — узнать, что москвичка Соломонида Яковлева просила отыскать беглого человека Гришку Федорова, отданного ей «в зажив головою» за долг в пятьдесят рублей. «Да он же, Гришка, — сообщила Соломонида, — унес железы нажные, цена шесть алтын четыре денги».

Читатель побывает и в государевом дворце и в застенке, в приказе и в боярских хоромах, на огороде и в избе посадского человека. Перед ним пройдет целая галерея людей XVII века. Он порадуется высоте духа одних, посочувствует другим. Кто-то вызовет у него негодование, а кто-то — усмешку. Мы во многом другие, чем люди XVII века, мы часто спорим с ними, но всегда понимаем. Ведь триста лет — это не так много. Всего десять поколений.

В. КОБРИН,

кандидат исторических наук.

★

САМАЯ ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ

А. И. Першиц, А. Л. Монгайт, В. П. Алексеев. История первобытного общества. «Высшая школа». М. 1968. 207 стр.

Чтобы избежать каких-либо недоразумений, я хочу сразу сказать, что новая книга по истории первобытного общества, написанная тремя специалистами: этнографом, археологом и антропологом, — добротное и надежное пособие для каждого, кто чувствует в себе интерес к судьбам человечества на заре его истории. На заре, впрочем, сильно затянувшейся, поскольку на эпоху первобытности отводят теперь по меньшей мере миллион лет, тогда как вся история классового общества уместается в жалкие пять тысячелетий. Книга трех специалистов радует читателя информацией о новейших открытиях. Еще совсем недавно в число древнейших гоминид (обезьянолюдей) включали лишь питекантропа, синантропа и гейдельбергского человека — теперь к ним можно присоединить австралопитека, зинджантропа, «человека умелого» (*homo habilis*) и атлантропа. Новые находки — некоторые из них сделаны в текущем десятилетии — не просто расширение списка экзотических наименований, но и основание для пересмотра традиционных суждений. Во-первых, часть новых находок обладает очень большой древностью, особенно зинджантроп и «человек умелый», чей возраст определяется примерно в 1,5—1,75 миллиона лет. Во-вторых, основная масса новых находок сделана в Африке. Следовательно, процесс антропогенеза (становления человека как биологического вида) начался раньше, чем думали до сих пор, и вполне вероятно,

что нашей прародиной был африканский материк.

Археологический материал, привлеченный в книге, весьма разнообразен. Помимо классических археологических культур, упоминаемых в каждом пособии, авторы знакомят читателя с памятниками, сравнительно мало известными, как, например, южноафриканская вильтонская культура или японская неолитическая культура дзэмон. Они прослеживают развитие человеческого общества в разных уголках земли, «эйкумены», как они постоянно пишут. (Не могу удержаться от замечания, что такая транскрипция греческого слова «οἰκουμένη» невозможна: мы вправе писать либо по принципам Эразма Роттердамского «ойкумена», либо же на латинский манер «экумена». Это слово того же корня, что и «экономика», — а что сказал бы корректор, увидев написанным «эйкономическая политика»! Кстати, в русский язык уже вошло «экуменическое движение».)

И в трактовке ряда существенных процессов авторы отходят от суждений, долгое время остававшихся у нас традиционными. Например, они критикуют выдвинутую знаменитым американским этнографом Морганом гипотезу о так называемой кровнородственной семье. Согласно Моргану, кровнородственная семья — древнейшая форма упорядоченных брачных отношений; она состояла в том, что в брак вступали лица, принадлежавшие к одному поколе-

нию — братья и сестры, тогда как брак между мужчиной и женщиной разных поколений был начисто воспрещен. Однако гипотеза Моргана оказалась основанной на ошибочной посылке и справедливо была отвергнута в советской этнографической литературе.

Столь же традиционно и столь же ошибочно представление о том, что скотоводство будто бы появилось раньше земледелия, что из массы охотников, рыболовов и собирателей выделились скотоводческие племена. Это представление возникло в прошлом веке и обосновывалось довольно шаткой системой аргументации — историко-лингвистическим анализом, который приводил к выводу о большей древности названий пород домашнего скота в сравнении с номенклатурой культурных растений. Археологический материал, добытый в XX столетии, заставил отвергнуть эти соображения: теперь, свидетельствуют авторы, мы знаем, что высокоорганизованное собирательство, непосредственно предшествовавшее земледелию, сложилось в Палестине еще в IX—VIII тысячелетиях до н. э. и что примерно к этому времени относится зарождение первоначального скотоводства. VI—V тысячелетиями датируются земледельческо-скотоводческие поселения Северного Ирака, Северного Ирана и Туркменской ССР: здесь земледелие и скотоводство бок о бок делали свои первые шаги.

Сказанного достаточно. Мы имеем дело с серьезной книгой. То, что следует ниже, — не упреки рассерженного Зоила, а размышления по поводу.

Прежде всего — что входит в понятие «первобытная история»? В самом начале книги сказано как будто бы недвусмысленно: «История первобытного общества охватывает период от появления человека до возникновения классовых обществ». Но как понимать «возникновение классовых обществ»? В томе I «Всемирной истории» (М. 1955) эпоха первобытнообщинного строя доводится до возникновения первых классовых обществ, до возникновения государств в Египте и Двуречье. Этот принцип имеет определенный резон. Как ни малы были первые государства, в истории человечества (понимаемой как целое) в начале III тысячелетия до н. э. наступил коренной перелом. Как ни велика была варварская периферия вокруг Египта и Двуречья,

она была все-таки периферией человеческой культуры, и поступательное движение человечества определялось не ее судьбами.

А. И. Першиц, А. Л. Монгайт и В. П. Алексеев не придерживаются этого принципа. Для них первобытная история не завершается четкой гранью. Конец первобытной истории, по их мнению, «колеблется в пределах последних пяти тысяч лет» и наступает где раньше, где позже. И в соответствии с этим книга оканчивается главкой о развитии отсталых народов в новейшее время. Думаю, что это неправомерно. Разве мы не могли бы проследить в современном обществе кое-где элементы рабовладельческой и тем более феодальной системы? Однако никто не станет доводить до сегодняшнего дня историю средневековья на том основании, что где-то в глубине Азии и Африки еще не изжиты феодальные институты.

По-видимому, в книге произошло смещение: исторический подход был оттеснен этнографическим. Конечно, для этнографа бушмены, огнеземельцы и другие отсталые народы XIX—XX веков — самостоятельный объект изучения, но не для историка первобытного общества, которому этнографический материал — только одно из средств восстановить путь человечества до образования первых государств.

И еще в одном отношении предмет истории первобытного общества кажется мне недостаточно четко определенным. История, как известно, изучает прежде всего отношения между людьми, между общественными группами в их самых различных проявлениях: в сфере собственности, политики, права, идеологии. Процесс производства существует для историка в первую очередь потому, что в производственном процессе люди вступают между собой в многообразные отношения — правовые, политические, идеологические. Чисто технологическая сторона производства, хотя и не исключается историком вовсе, но остается все-таки на заднем плане.

Не то в книгах о первобытном мире. Здесь технология оказывается центральным моментом описания: изготовление кремневых отщепов, способ ударной ретуши, характер отжимной ретуши, полирование камня, техника налпа при изготовлении глиняных горшков — все это и многое другое занимает основное место в рассказе о

древнейшей истории. Это — не особенность рецензируемой книги. Так пишут все. Так писал в свое время и автор этих строк. Но основательно ли это? Не происходит ли и в этом случае подмена истории — только уже не этнографией, а археологией? Да, типология орудий и технология их изготовления — существеннейшая проблема для археолога, однако задачи историка и археолога не всегда тождественны.

Но, может быть, мы ничего другого не в состоянии сказать о первобытности, а лишь описать то, что сохранила нам земля, эта колоссальная археологическая кладовая? Только орудия — оббитые, отжатые, полированные?

Нет, конечно. Ведь первобытность — время становления основных общественных явлений, существующих (в измененных формах) и поныне. И если говорить об актуальности первобытной истории, то она не столько в реликтах родового строя у некоторых окраинных народов, сколько в возможности поразмыслить над генезисом коренных институтов современного «цивилизованного» мира. Разумеется, классификация солотрейских наконечников копий («преобладают лавролистные или иволистные наконечники с черенком и с боковой выемкой») имеет весомость объективности, тогда как становление общественных институтов по самой природе источников может быть представлено лишь в гипотетичном виде. И все же гипотетическая конструкция этого типа имеет научное и общественное значение не меньшее (скажем мягко), нежели объективнейшая классификация упомянутых наконечников. Мне кажется, что постановка таких проблем в книге не всегда безупречна. Остановимся — разумеется, вкратце, как только и позволяют считанные страницы журнальной рецензии, — на трех больших общественных явлениях — власть, религия, искусство.

В условиях родового строя, формулируют авторы, «вся организация власти... была проникнута началами первобытной демократии» (стр. 138). И далее, следуя за Морганом, рисуют идиллическую картину первобытной свободы и равенства. Бесспорно, первобытное общество было демократичным — в том смысле, что там отсутствовала, допустим, наследственность должностей или аристократия богатства.

Однако как функционировала эта власть? Ведь власть-то существовала, вожди и старейшины пользовались колоссальным авторитетом, родовой демократии были знакомы и изгнание, и смертная казнь. Не станем сейчас ни идеализировать эту патриархальную власть, ни осуждать ее, — она была, разумеется, необходима, без нее было бы невысказанным то «подавление зоологического индивидуализма», о котором так ярко рассказано в книге. (Впрочем, почему «зоологического»? Разве многим видам животных не свойствен скорее «коллективизм», нежели индивидуализм?)

Вероятно, понять функционирование первобытной власти невозможно без учета социальной психологии. Человеческое общество тех тысячелетий, чтобы выжить в жестокой и трудной борьбе, вынуждено было «самоограничиться», подчинить себя традиционным нормам, связать себя системой запретов — табу, подавить индивидуальную инициативу. Вся эта сторона первобытной демократии остается вне книги, а среди десятков имен — значительных и второстепенных, — перечисленных в историографическом разделе, нет ни Дюркгейма, ни Леви-Брюля, ни Леви-Стросса — исследователей первобытной социальной психологии.

Соответственно и становление государства оказывается обрисованным несколько односторонне. По словам авторов, социальное расслоение и социальные противоречия порождали необходимость охранять богатства знати «от посягательств со стороны бедняков и рабов». Старые органы управления, «проникнутые духом первобытного народовластия», оказались непригодными для новых задач. Вождь, опирающийся на свою дружину, «имел возможность преступать обычаи племени и навязывать ему свою волю». Какая четкая и рациональная картина! Появилось богатство. Богатство надо охранять. Вождь осознает это, преступает традиции и принимается охранять богатство знати... И в то же время где-то в другой связи мимоходом упоминается обычай ритуального умерщвления вождей, существовавший «у некоторых народов Африки». (И, добавим, не только у них: он имел очень широкое распространение и в пережиточной форме засвидетельствован в древнейших государствах Египта и Двуречья, в Спарте и древней Италии.)

Если в книге очень удачно обрисована диалектическая противоречивость становления богатства, когда само обрядовое рассредоточение излишков (потлач) превращается в источник власти и новых богатств, то механизм превращения и вытеснения органов первобытной власти органами раннеклассового государства, основанными на откровенном насилии, — этот механизм, к сожалению, не раскрыт. И опять-таки думаю, что вне социальной психологии эта метаморфоза останется объясненной только наполовину.

Возникновение религии выводится в книге из «бессилия дикаря в его борьбе с природой» (стр. 108). Люди в родовой общине ощущали страх перед непонятым, чувствовали свое бессилие. Правдоподобно — но верно ли? Действительно ли «непонятое», «страх», «ощущение своего бессилия» составляют природу первобытной религии? Напротив, первобытное сознание обычно полно гордой уверенности в возможности магически воздействовать на природу: заставить солнце взойти, дождь — выпасть, зверя — дать себя убить. Магические пляски, магическая живопись исходят из этой предпосылки. Первобытный миф, как правило, оптимистичен, тогда как становление классового общества привносит в религию ноту отчаяния, а затем иллюзию надежды преодолеть отчаяние, «спастись».

Кто спорит, сознание первобытных людей было во многом превратным, фантастическим; установленные ими связи между различными предметами и явлениями нередко противоречат нашей логике; их опыт ничтожно мал. Но проходят тысячелетия, опыт делает гигантские шаги, и мы уже не вправе говорить о бессилии человека перед природой — религия же остается. Не значит ли это, что она не только превратное отображение действительности, не просто плод недостаточно глубокого знания геологии и астрономии, но особая форма идеологии, на протяжении длительного времени отвечавшая определенным общественным потребностям?

Искусство, как и религия, весьма дели-

катная сфера человеческой деятельности. Причины эволюции искусства, к несчастью, пока еще плохо поддаются объяснению. Во всяком случае непосредственное выведение этой эволюции из производственного процесса оставляет у непредвзятого читателя ощущение вульгаризации. Я, к примеру, не могу принять всерьез объяснение интереса художников эпохи мезолита к образу человека тем обстоятельством, что появление лука и стрел позволило выделить «из однородной толпы загонщиков метких и удачливых стрелков» (стр. 106). Проблема художественного индивидуализма, как известно, вставала не раз на протяжении истории искусства, допустим в эпоху Ренессанса. Ренессансный же индивидуализм никоим образом не выводится из появления огнестрельного оружия, но из комплекса сложных общественных причин.

При изучении истории искусства встает еще один серьезный вопрос — правомерность оценочного подхода к разным методам отображения действительности. Констатируя, что «искусство палеолита было реалистическим, а неолита — условным», авторы книги недвусмысленно называют это «регрессом в первобытном искусстве» (стр. 143). Боюсь, что в данном случае А. И. Першиц, А. Л. Монгайт и В. П. Алексеев перенесли на далекое прошлое представления и предрассудки того искусствоведения, которое считает, что эллинская классика выше архаики и что Ренессанс выше готики. На самом деле мы имеем дело с двумя разными манерами видения мира, каждая из которых по-своему шедевр и по-своему ограничена. И нельзя, между прочим, забывать, что без условного искусства мезолита и неолита мы не имели бы пиктографии, рисунчатого письма, и следовательно — письма вообще, а значит, и книги А. И. Першица, А. Л. Монгайта и В. П. Алексеева.

А я бы — несмотря на все мои возражения и придирки — искренне пожалел, если бы этой книги, нужной и для студентов, и для всех интересующихся историей, не было.

А. КАЖДАН.

БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ

К. Н. Благосклонов, А. А. Иноземцев, В. Н. Тихомиров. Охрана природы. «Высшая школа». М. 1967. 442 стр.

Жан Дорст. До того как умрет природа. Перевод с французского. «Прогресс». М. 1968. 415 стр.

В нашем отношении к природе наметился перелом. Прежде мы охотно именовали себя «покорителями планеты». Принято было думать: некогда стихии довели над человеком; со временем, став великаном, он сбросил это иго и сам принялся диктовать природе свою волю, твердой рукой переиначивая ее на свой лад. Сейчас мы начинаем подводить некоторые итоги нашей деятельности, основанной на подобных воззрениях.

Сравнительно недавно вышли в свет две монографии: «Охрана природы» и «До того как умрет природа». Обе книги насыщены фактами, внушающими тревогу. В первой говорится главным образом о нашей стране:

«В Пермской области из 12 млн. га лесов, имевшихся в южных районах, к 1960 г. осталось только 15%... В Хакасской автономной области леса истощены настолько сильно, что, если темп лесозаготовок не снизится, запасов древесины хватит всего на 10—15 лет».

«В ряде мест добыча рыбы резко снизилась за последние десятилетия и даже годы, и имеются места, где она вовсе прекратилась из-за отсутствия рыбы».

«Уровень второго по величине нашего озера-моря—Аральского (64,5 тыс. км²) вследствие использования вод Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи на орошение также (как и Каспия.— Р. Б.) снижается», что должно вызвать «неизбежное ухудшение климата в Средней Азии...».

Если обратиться к работе Ж. Дорста, то станет ясно, что аналогичные процессы идут повсюду. «Классический пример деградации почвы» — равнины США. Здесь «растительный покров, состоящий в основном из злаковых трав, был полностью уничтожен и заменен зерновыми и кукурузой—культурами, весьма слабо защищающими почву», а гигантские пыльные бури превратили миллионы гектаров пахотных земель в пустыни.

Нельзя сказать, чтобы такие факты, при всей их серьезности, были очень неожиданны. О бедах «дикой» природы нередко пишется в газетах, журналах, книгах. Немало подобных фактов приводил, например, в своем объемистом труде американский исследователь Г. Марш еще в 1864 году. Уже

тогда он отметил: «...если человек будет продолжать по-прежнему свою преступную и непредусмотрительную деятельность, то земная поверхность может дойти до такого расстройтва, оскудения производительности и до таких климатических крайностей, что последствием этого может быть совершенное извращение, одичание и даже исчезновение людей».

Что изменилось в науке об охране природы за последние сто лет? Безусловно, накоплено колоссальное количество фактов. Выработано немало частных рекомендаций и создано немало технических приспособлений для смягчения вредных последствий нашей деятельности (об этом достаточно подробно рассказано в книге «Охрана природы»). Однако планетарный характер изменений природы и незначительность наших успехов в ее охране указывают на то, что мы еще не учитываем чего-то очень важного, быть может, самого главного. Стоит напомнить в этой связи, что тот же Г. Марш едва ли не важнейшее значение придавал «решению великого вопроса, есть ли человек часть природы, или же стоит выше природы». В первом случае нам требуется выяснить законы природы, управляющие нашей деятельностью, и разумно использовать их, а во втором—более твердо диктовать природе свою волю и бороться лишь с отдельными «несознательными» согражданами.

Ж. Дорст так отвечает на этот вопрос: «Человек всегда останется составной частью природной системы, основным законам которой он должен следовать». Авторы монографии «Охрана природы» придерживаются как будто противоположной точки зрения, приводя известные слова Ф. Энгельса о господстве человека над природой. При этом они не оговорились, что у Ф. Энгельса затем следует: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой... Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь те последствия, на которые мы рассчитывали, но во вторую и третью очередь совсем другие, непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожают значение первых». Далее Энгельс подчеркивает, что все наше господ-

ство над природой «состоит в том, что мы, в отличие от всех других существ, умеем познавать ее законы и правильно их применять»¹.

Обострение противоречий современной цивилизации с окружающей средой Ж. Дорст объясняет главным образом двумя факторами: «демографическим взрывом» (резким возрастанием количества людей), при котором «все явления, связанные с деятельностью человека, развиваются в таком исключительно быстром темпе, что чрезвычайно трудно сколько-нибудь успешно их контролировать», а также использованием мощных технических средств, позволивших необычайно активно воздействовать на природу. К тому же, пишет он, с «возникновением настоящего культа техники считается, что отныне она может решить все стоящие перед человеком проблемы без помощи природной среды...».

Трудно согласиться с тем, что демографический взрыв играет главную роль в трагедии «дикой» природы. Африка, к примеру, очень далека от перенаселения, а вне национальных парков там уже почти не сохранилось диких крупных животных. А вот развитие и «размножение» техники — безусловно решающий фактор. В сотни раз увеличив мощь человека, техника резко нарушила равновесие сложнейшей природной системы — биосферы (область жизни).

В книге Ж. Дорста немало страниц пронизано мыслью о стихийности и мощи процесса перестройки биосферы. Они выдержаны в достаточно мрачном тоне: «Человек появился, как червяк в плоде, как моль в клубке шерсти, и выгрыз себе местообитание, выделяя из себя теории, чтобы оправдать свои действия». Эти образы в значительной степени оправданы, однако ощутимые успехи в деле охраны природы достигнуты во многих странах: сохраняются и преумножаются стада редких животных, создаются новые заповедники и т. д. Это дает основание для некоторого оптимизма.

До сих пор речь шла об общих проблемах охраны природы. Но нельзя не учитывать и особенности отношения к природе в государствах разного типа. Об этих особенностях Ж. Дорст не упоминает вовсе. Напротив, в книге «Охрана природы» им придается (может быть, даже слишком категориче-

ски) главенствующее значение. «В современном обществе,—пишут авторы,—в деле использования природных ресурсов существуют два противоположных подхода: капиталистический и коммунистический. Первый формулируется крылатой фразой: «Сегодняшний доллар дороже завтрашнего дня». Это принцип расхищения природы ради выгод в данный момент». Что касается социалистической формы хозяйства, то она не допускает разрушения и уничтожения природных ресурсов. Вместе с тем, замечают авторы, «в нашей стране еще имеет место не социалистическое, а хищническое отношение к богатствам природы как следствие ведомственного отношения к общегосударственным природным ресурсам, нераднности, безхозяйственности и просто невежества. Существует у нас и браконьерство... пережиток капитализма в сознании людей».

Вряд ли, думается нам, столь сложную научную проблему можно хоть как-то прояснить ссылкой на «пережитки». Да и в капиталистическом мире, если уж говорить всерьез, отношение к природе едва ли можно выразить упомянутой «крылатой фразой». Подобные абстрактные формулы, не способствуя изучению достижений в области охраны природы за рубежом, одновременно создают впечатление, будто у нас проблема может решиться сама собой («проведение в жизнь принципов охраны природы — дело времени»).

Необъятные просторы страны и общественная собственность на земли и воды создают прекрасные возможности для развертывания производства. И в то же время рождают наивную иллюзию о неисчерпаемости «ничейных» неслучайных природных запасов. При этом многие ретивые хозяйственники расхищают естественные богатства нашей родины, ссылаясь на насущные хозяйственные нужды. Этим оправдывается и необоснованное расширение посевных площадей (вместо повышения урожайности существующих), и затопление водохранилищами огромных — далеко не пустынных — земель и т. д. При экономическом обосновании такого рода мероприятий сплошь и рядом недооценивается колоссальный, порой ничем не восполнимый ущерб, наносимый природе, а значит, и нашему обществу, являющемуся ее частью.

Не нужно думать, что подобное отношение к природе складывается по чьему-либо злему умыслу. Просто каждый хозяй-

¹ К Маркс и Ф Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 495--496.

ственный в своей деятельности исходит в первую очередь из нужд своего предприятия. Дело государственных органов — так организовать производство в масштабах той или иной ландшафтной зоны, чтобы согласовать ведомственные интересы с общегосударственным требованием охраны природных богатств.

Охрана природы тесно связана с рационализацией народного хозяйства. Ограничивая вырубку леса, мы тем самым вынуждены полнее использовать лесосеки, бороться с потерями древесины и т. п. Изымая из эксплуатации природные ландшафты, мы стимулируем интенсификацию производства. Уже в этом большая «сегодняшняя» хозяйственная ценность мероприятий по охране природы и созданию заповедников.

Для нашей страны очень остро стоит вопрос о расширении заповедников и создании национальных парков. В книге «Охрана природы» сообщается, что по относительной площади заповедных территорий мы занимаем одно из последних мест в мире. «В нашей стране практически нет... абсолютно заповедных участков, хотя попытки к их организации имелись», нет ни одного национального парка. И если к 1951 году, как сообщают авторы, у нас было 128 заповедников общей площадью 12,5 миллиона гектаров, то теперь их немногим более 60 (площадь — 4,3 миллиона гектаров), а недавно было еще меньше. В дальнейшем проектируется некоторый рост заповедников. Однако во многих случаях это уже будут реконструированные ландшафты.

Авторы монографии молчаливо предполагают достаточность существующего законодательства по охране природы СССР. Но за последние годы немало писалось, в частности, о пользе введения (по примеру ряда стран) закона об охране красоты ландшафта. Предлагалось также усилить ответственность за ущерб, причиненный природе. Не-

лишне уточнить, как должны расходоваться штрафы, которые выплачивают многие предприятия за безобразия по отношению к природе. Следовало бы предусмотреть использование этих средств преимущественно, если не полностью, для восстановления ущерба и усиления охраны природы. При этом органы, отвечающие за охрану природы, должны иметь не менее реальные права и возможности, чем министерства, занятые эксплуатацией естественных богатств.

В книге К. Н. Благосклонова, А. А. Илюземцева и В. Н. Тихомирова приведены факты эффективности общественного движения за охрану природы. Нельзя не согласиться и с Ж. Дорстом: «Природа будет ограждена от опасности только в том случае, если человек хоть немного полюбит ее просто потому, что она прекрасна, и потому, что он не может жить без красоты...» Если же ставить вопрос в непосредственно-практическом плане, то, пожалуй, главное внимание следует сейчас уделить проведению широких исследований и выработке обоснованных конкретных рекомендаций. Для этого требуется, в частности, создать ряд специальных научных учреждений, изучающих вопросы охраны атмосферы, подземных и поверхностных вод, ландшафтов, животных и т. д. Быть может, курс охраны природы следует ввести в большинстве вузов и в средней школе, подготовив новые учебники по этой дисциплине с учетом различных видов учебных заведений. Охрана природы заслуживает всяческой пропаганды. Уже одно это определяет большую ценность рецензируемых работ. Они призывают и учат нас незамедлительно, «до того как умрет природа», переходить от слов к делу, защищать природу (а стало быть, и самих себя) от «своей же собственной деятельности» (Ж. Дорст).

Р. БАЛАНДИН.



С МИРУ ПО НИТКЕ...

Виктор Шишов написал критико-биографический очерк «Михаил Алексеев». Приволжское книжное издательство в 1968 году опубликовало его, снабдив выразительной аннотацией: «Созданные М. Алексеевым произведения: «Солдаты», «Наследники», «Дивизионка», «Вншневый омут», «Хлеб — имя существительное», «Однополчане» и другие — находят в очерке В. Шишова всесторонний анализ... В очерке наглядно показано, как правда жизни, осмысленная с позиций современного художника, находит свое реалистическое воплощение в описываемых автором событиях и в образах созданных им героев».

Что ж, неплохое напутствие для читателя книги, решившего поближе познакомиться с творчеством М. Алексеева. И надо отдать должное: уже с первых страниц книжка захватывает, но... отнюдь не «всесторонним анализом», а совершенно непривычным методом, к которому автор прибегает.

Возьмем для иллюстрации хотя бы одну, например, четырнадцатую страницу.

«Тема солдата для Михаила Алексеева — тема мирного человека, прочно связанного с землей и лишь на время прервавшего свои основные занятия, чтобы вернуться к ним при первой возможности. Тема солдата — тема народа-труженика, взявшегося за оружие, чтобы отстоять прежде всего свое право на свободный труд. Тема солдата, следовательно, есть момент великой темы труда, и, как таковая, она является темой социальной. Мы присутствуем при появлении каких-то новых качеств советского военного романа и новых черт в психологии его героя. Автор «Солдат» глубоко лично воспринял трудовой характер военной темы и последовательно провел этот принцип в своем романе, что и определило многие его особенности».

Что ж, верные, на мой взгляд, мысли. И на взгляд В. Шишова. по-видимому, — тоже. Во всяком случае он настолько убеж-

ден в справедливости этих слов, что просто переписал их из предисловия В. Архипова к книге избранных произведений М. Алексеева, изданной «Молодой гвардией» в 1964 году. Больше того, увлекшись (а, может быть, боясь утратить приобретенный таким образом «критический уровень»), он на следующих страницах «Очерка» (15—16) поместил (и опять, конечно, без кавычек) еще один — и не маленький — абзац из того же предисловия (от слов: «Война и мирный труд живут у Алексеева не порознь и даже не рядом друг с другом...» — до слов: «Попробуйте установить, где в Пичуке кончается колхозник и начинается солдат»).

Однако при дальнейшем чтении стало ясно, что больше В. Шишов у В. Архипова (без ссылок на него) ничего не возьмет. Не возьмет, ибо обладает чувством меры и еще, видимо, потому, что знает о существовании других, не менее полезных для себя источников. Ну хотя бы таких, как статьи и рецензии об Алексееве Н. Асеева, Василия Федорова, Владимира Федорова, В. Цыбина, Е. Осетрова, В. Катинава, Г. Ермаковой, И. Дешисовой, опубликованные в разное время и в разных изданиях. Правда, целиком, в завершеном виде, они ему не подходят, но если их расчленишь на «кусочки» и «отрывочки», получится вполне пригодный материал для конструкции. Только не ленись, бери и монтируй, что В. Шишов и делает, руководствуясь мудрым принципом: «Когда от многого берут немножко, то это не кража, а просто дельжка».

Общезвестно, что всякое творчество — сложный процесс. Но мало кто знает, что творить, заимствуя из различных источников, еще сложнее. Влияние на результат оказывает и качество используемого материала и разнородность «индивидуальных почерков» авторов. Однако В. Шишов успешно преодолел грозный барьер «тканевой несовместимости». Он нашел свой, ши-

шовский стиль, свою, шишовскую манеру. Откроем хотя бы страницу 60-ю.

«Вокруг первых произведений М. Алексеева спорили потому, что книги эти были остры, потому, что за «военной темой» всегда ощущалось у М. Алексеева исследование современных человеческих характеров», — пишет В. Шишов. То есть, простите, не совсем В. Шишов. Это пишет В. Цыбин в статье «Поэзия родной земли», а В. Шишов лишь переносит процитированный нами отрывок из названной статьи в свою книжку. Переносит удивительно бережно, стараясь не потерять ни слова. Еще бы! Ведь это уже теперь его «собственный текст»! Выпадает лишь одно-единственное словечко, причем явно вспомогательное. Пожалуйста, убедитесь: «Вокруг первых произведений Алексеева спорили именно потому, что книги эти были острые, потому, что за «военной темой» всегда ощущалось у Алексеева исследование современных человеческих характеров» (В. Цыбин. «Знамя», № 10, 1962, стр. 219).

Итак, благополучно совершив первую пересадку, автор книжки приступает ко второй: подключает к добытому отрывку «кусочки» из статьи И. Денисовой «Порыв к красоте». И тоже удачно. Во всяком случае с такими незначительными потерями, что нам прибегать к дальнейшим сопоставлениям, пожалуй, и нет надобности.

«Вишневым омут» крепко берет за душу глубоким проникновенным в психологию трудового человека, посвятившего всю жизнь и силу рук своим украшению земли. Автор сильно и поэтично воплощает светлую идею, зародившуюся в недрах народной души и мудрую от векового опыта многих поколений: если добро и красота идут вместе, они непобедимы» (см. у В. Шишова на стр. 60, у И. Денисовой ищите в названной статье — «Октябрь», № 3, 1962, стр. 206). Однако в этом месте В. Шишов неожиданно прерывает И. Денисову и вновь обращается к В. Цыбину, так как находит у того более приемлемое продолжение. И тут же осуществляет новую операцию по пересадке, вполне уверенный, что отторжения не произойдет. «Вишневым омут» — роман эпический, рисующий жизнь русской деревни от начала века. Эпичность повествования потребовала новых выразительных средств. Если в ранних произведениях у него стиль бывал временами суховат, деловит, то «Вишневым

омут» ясно показывает нам, что перед нами писатель в новом его качестве» (В. Шишов, стр. 60, В. Цыбин, «Знамя», № 10, 1962, стр. 219).

В целом же получилось так, как, очевидно, и желал автор — гладко, солидно, несколько велеречиво, но, в общем, как говорится, не хуже, чем у других.

Листая книжку В. Шишова, можно найти множество соединений, подобных приведенным. Например, на странице 44-й отрывок из статьи Владимира Федорова «Поэма о душе народной» (см. от слов: «Подросший сад стал свидетелем многих памятных событий» — до слов: «Уже третий год шла война», «Литература и жизнь», 12 января 1962 года) настолько ловко сопряжен с тканью самого «Вишневого омута», что не знаешь, чему больше удивляться — литературному бесстрашию В. Шишова или его мастерству стыковщика. Впрочем, есть ли надобность выделять особо какое-то из этих качеств, если оба они (так сказать, в паре) позволили автору «по-своему» взглянуть на проблему использования текста анализируемого произведения? Так, например, перенеся в свой «Очерк» многие куски и сценки из романа «Вишневым омут» (стр. 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55), В. Шишов наглядно показал, что от застарелой литературоведческой моды (кавычки, сноски, ссылки и проч.) давно пора отказаться.

Следует заметить, что В. Шишов порою настолько проникает в мир чувств и мыслей как Алексеева, так и авторов облюбованных им критических статей, что в позаимствованные отрывки удивительно мастерски вносит собственные поправки. И хотя они, как правило, незначительны, сама попытка критика творчески переосмыслить написанное другими оказывается весьма плодотворной. Чтобы убедиться в этом, в качестве примера можно взять отрывок из статьи В. Катинова «Федоров, Лелюх, Ермаков и другие» и понаблюдать, как он трансформировался под пером В. Шишова.

«Тема «наследников» решена в повести с позиций двух поколений: молодежи, вступающей в жизнь, и людей, помогающих молодым бойцам освоить накопленный опыт... О воспитании молодых заботится и командир полка Лелюх со своим другом и помощником замполитом Климовым».

Это пишет В. Катинов («Знамя», № 3, 1958, стр. 204).

А вот В. Шишов: «Тема «Наследников» решена в повести с позиций двух поколений: молодежи, вступающей в армейскую жизнь, и людей, помогающих солдатам освоить накопленный опыт. О воспитании новобранцев по-отечески заботятся командиры полка Лелюх и замполит Климов» (стр. 30).

Как видим, В. Шишов не только заменил выражение «молодые бойцы» коротким и весомым словом «солдаты», не только употребил вместо понятия «молодые» точное, как озарение,— «новобранцы», но и произвел важные преобразования в последнем предложении,— короче говоря, вдохнул в В. Катинова свое, шишовское «я», чем, несомненно, улучшил оригинал.

Но выдерживать подобные творческие перегрузки автору, конечно же, не всегда под силу. И вот когда жребий сводит нашего автора с Николаем Асеевым, Василием Федоровым или Владимиром Федоровым, он не пытается их улучшать, а просто берет куски поувесистей и от слова до слова переносит в свою книжку.

У Василия Федорова: «Все, что потом произойдет в романе... будет связано с этим омутом, а потом — с веселым садом, который посадит здесь богатырь Михаил Харламов. Здесь все время будут сталкиваться две силы — темная, деспотически-грубая сила Савкиных и светлая, благородно-деятельная сила Харламовых. Они, эти две силы, будут переходить из поколения в поколение — от одной войны до второй, и даже третьей — Великой Отечественной...» («Трагедия любви», «Литературная Россия», 25 января 1963 года).

У В. Шишова: «Все, что потом произойдет в романе, будет связано с этим омутом, а потом — с веселым садом, который посадит здесь богатырь Михаил Харламов. Здесь все время будут сталкиваться две силы — темная, деспотически-грубая сила Савкиных и светлая, благородно-деятельная сила Харламовых. Они, эти две силы, будут переходить из поколения в поколение — от одной войны до второй, и даже третьей — Великой Отечественной...» (стр. 38—39).

Но довольно сопоставлений. Ведь так незаметно можно соорудить еще одну книжку. Тем более что, остановившись на положительных сторонах работы В. Ши-

шова, мы обязаны коснуться и некоторых (совсем небольших) ее погрешностей. Иногда автор, будто устав от поисков, опускает руки и начинает говорить скороговоркой и как-то маловразумительно. И это как раз там, где надо было бы приложить все усилия, но все же удержаться на избранной для себя высоте. К тому же возможности у В. Шишова для этого были. Ведь алексеевские книги «Бьют родники», «Однополчане», «Карюха» в свое время довольно полно освещались на страницах периодической печати, а В. Шишов касается их едва-едва. Этого досадного пробела могло бы не оказаться, если бы автор, ведя поиски, не ослабил присущего ему усердия.

Есть в книжке В. Шишова одна любопытная сентенция. Принадлежит она также не ему. Но не это важно. Важно, что автору она близка. Оказывается, В. Шишов прекрасно знает, что в литературе, кроме «высококвалифицированных мастеров, существуют авторы разнообразнейших видов скороспелой беллетристики». Посмотрите, как он бичует «книги развлекательного чтения». «Это — сезонные овощи,— гневно пишет В. Шишов на странице 34, дословно черпая свое возмущение из статьи Н. Асеева «Конец «Вишневого омута» («Известия», 12 июля 1962 года),— не выдерживающие длительного хранения; быстро бегущие и скоро мелеющие потоки, обязанные своим существованием не горным вершинам искусства и не полноводным притокам больших рек. Нет, это скорее бурлящие и шумящие струи дождевой воды, быть может и увлажняющие почву ненадолго, но не имеющие постоянных русел».

Не на шутку разошелся В. Шишов. Да это и естественно! Надоели, ох как надоели ему книжки, сделанные наскоро, недобросовестно, по принципу тят-ляп! Нигде не найдешь успокоения от этого «быстро бегущего и скоро мелеющего» книжного потока. Разве только в сознании, что твое собственное творение способно и «почву увлажнить» и «длительное хранение» выдержат.

Выдержать-то оно, пожалуй, выдержит, но не совсем в том качестве, на которое рассчитывал автор и какое обещало нам издательство,— не как наглядный образец «всестороннего анализа», а как поистине примечательный случай «всестороннего» плагиата...

В. КАНАШКИН,

Краснодар.

учитель.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

Л. И. ЛОПАТНИКОВ. Экономические эксперименты в промышленности. «Экономика». М. 1968. 103 стр.

Р. В. РЫВКИНА, А. В. ВИНОКУР. Социальный эксперимент. «Наука», Сибирское отделение. Новосибирск. 1968. 173 стр.

Эта тема долгое время не рассматривалась комплексно в нашей литературе. В течение многих лет считалось бесспорным, что социальные эксперименты вообще невозможны, — и до 1956 года они не проводились. И вот почти одновременно сразу две книги по существу на одну и ту же тему, ибо экономический эксперимент есть одна из самых важных и распространенных разновидностей эксперимента социального. Ныне практика таких экспериментов уже довольно богата, и она требует осмысления, требует разработки теории самого эксперимента. Потребность эта подтверждается и в организации и оценке ряда экспериментов в тех случаях, когда важные новшества вводились без достаточной экспериментальной проверки. В качестве примеров Р. В. Рывкина и А. В. Винокур приводят введение одиннадцатилетнего школьного образования и преждевременное массовое внедрение известных форм производственного обучения. Они напоминают и о просчетах в ходе реорганизации МТС.

В обеих книгах обстоятельно рассмотрен широкий круг все еще спорных вопросов о возможности и необходимости социального эксперимента, условиях и способах его проведения, об оценке результатов, опровергаются бытующие в этой области предрассудки. «Представим себе, — пишет Л. И. Лопатников, — что физикам после открытия ядерной реакции расщепления урана сказали, что время поисков прошло, теперь дело заключается только в усовершенствовании этой реакции... В этом случае человечество не открыло бы термоядерную реакцию, не открыло бы многого из того, что составляет крупнейшие достижения современной науки... Так и в экономической науке. Нельзя прекратить сегодня дальнейшие эксперименты поискового характера. В равной степени неправильно недооценивать значение научной разработки уже принятых решений по хозяйственным вопросам».

При всей полноте изложения и общности принципиальных позиций авторов, эти две книги кое в чем дополняют и уточняют одна другую. Л. И. Лопатников, пожалуй, слыш-

ком поспешно признал «совершенно правильным» данное в «Экономической энциклопедии» определение экономического эксперимента как научно поставленного опыта «с целью проверки правильности научных предположений». Проверка правильности нужна, но этого мало. Правы Р. В. Рывкина и А. В. Винокур, которые внимательно рассматривают и другую функцию эксперимента: получение количественного результата, измерение степени воздействия изучаемого фактора. Интересен в их книге и обзор истории социального эксперимента — от идей Лапласа, от знаменитых неудач Оуэна и Фурье до напрасно забытых экспериментов первых лет советской власти. Книга Л. И. Лопатникова ценна детальным анализом современного опыта постановки экономических экспериментов, четкими деловыми рекомендациями.

Эксперименты открыли путь экономической реформе, ее дальнейшее развертывание требует и новых экспериментов. Обе книги помогут лучше организовать эту работу.

Т. Смирнов.

★

В. А. ЖДАНОВ. От «Анны Карениной» к «Воскресению». М. «Книга». 1967. 280 стр.

Автор этой книги уже в течение многих лет исследует историю работы писателя над целым рядом произведений, начиная с «Анны Карениной». Им опубликована «Творческая история «Анны Карениной», а вслед за ней и «Творческая история «Воскресения». Однако задачи, которые решает в них В. Жданов, значительно шире данных им заглавий. Это не просто истории написания Толстым тех или иных произведений со всеми редакциями и вариантами, это и не узкотекстологические исследования. Автор рассматривает весь комплекс творческих размышлений и переживаний Толстого, определявших сложный ход создания произведения.

По такому же типу исследования написана В. А. Ждановым и только что вышедшая книга «От «Анны Карениной» к «Воскресению». Как видно уже из заглавия, она анализирует работы Толстого, относящиеся ко времени после публикации «Анны Карениной» вплоть до появления «Воскресения», то есть примерно за двадцать лет, в течение которых были созданы такие шедевры.

как «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы», «Крейцера соната», «Дьявол», «Плоды просвещения», «Отец Сергей».

В этой книге автор меньше пользуется текстологическим материалом, чем в предыдущих, но в нем, пожалуй, не было и столь острой нужды, как, например, при изучении истории текста «Анны Карениной». Исследуя с момента возникновения истории создания «Смерти Ивана Ильича», «Власти тьмы», «Крейцеровой сонаты», «Дьявола», «Плодов просвещения» и «Отца Сергия», В. Жданов стремится приблизиться к живому рассказу о самом процессе творчества. Толстой верен своему культу правды в изображении сложнейших переживаний героев, будь то течение тяжелой болезни (с точностью переданное Толстым в «Смерти Ивана Ильича»), или всевозможные перипетии спиритического сеанса (подробнейшие с сатирической окраской представленные в «Плодах просвещения»), или тончайше уловленные минуты страсти и ревности у героя «Крейцеровой сонаты» и т. д.

В. Жданов озабочен полнотой всех тех сведений о работе Толстого, которые хоть в малейшей степени помогают понять условия и характер труда писателя. При этом в книге В. Жданова читатель найдет немало свежего историко-литературного материала, не привлекавшегося ранее к изучению (например, отрывок «О суде», написанный Толстым в 1891 году, книжка Д. Карышева «Совесть» и т. п.). Точность же приводимых автором данных не вызывает никаких сомнений.

Новая книга В. Жданова столь же ценна для понимания всех путей творчества Толстого, как и его две предыдущие книги, посвященные истории создания выдающихся творений писателя.

Н. Арденс,

доктор филологических наук.

★

ЕВГ. ПЕТРЯЕВ. Вперед — огни. Очерк культурного прошлого Забайкалья. Восточно-Сибирское книжное издательство. 1968. 340 стр.

Пятнадцать лет назад вышла первая книга Е. Д. Петряева «Исследователи и литераторы старого Забайкалья». Затем одна за другой в Чите были изданы «Нерчинск», «Люди и судьбы», «Н. В. Кириллов — исследователь Забайкалья и Дальнего Востока». В 1966 году в Кирове увидела свет книга «Литературные находки. Очерки культурного прошлого Вятской земли». В предисловии к ней В. Лидин писал: «Книги Петряева не отнесешь к числу литературоведческих или краеведческих; они гораздо шире по своему назначению и по той роли, какую выполняют: это поистине книги искателя литературных кладов, нередко глубоко законпанных, а чаще всего просто заброшенных и беспризорных».

Материал, приводимый автором в своих книгах, в том числе в последней, касается не

только Сибири или Кировской области. В течение долгих лет Сибирь, как известно, была местом ссылки и каторги лучших представителей русского общества, включая декабристов, народников и марксистов, оказавших большое влияние на развитие культурной и политической жизни края. Местом ссылки являлась и Вятская губерния.

Литература о декабристах огромна. Но о связи их с сибиряками до сих пор еще известно слишком мало. В разделе «По следам декабристов» Евг. Петряев рассказывает о быте «пионеров свободы», их просветительской и научной деятельности в Забайкалье, о влиянии их на развитие местной литературы. К сожалению, многие реликвии не сохранились до нашего времени, а некоторые, что особенно обидно, были уничтожены по неведению в самые последние годы. Пропали безвозвратно библиотеки декабристов, архивные материалы, личные вещи, картины. «Кяхтинский собор, славившийся живописью лучших мастеров... превратили в технический склад, а потом в загог для овец. Погибла большая живописная работа Н. Бестужева... на наружной стене Успенской церкви... Уже после Отечественной войны церковь разобрали на дрова», — с горечью сообщает автор. В Иркутске в 1965 году при «реставрации» был полностью уничтожен дом декабриста Нарышкина.

Почти не сохранились рукописи забайкальского поэта Ф. И. Бальдауфа, знавшего Пушкина и декабристов. Творчество великих современников оказало влияние на его поэзию, некоторые стихи Бальдауфа, напечатанные анонимно, приписывались Рылееву. Одной из причин забвения этого несомненно талантливого поэта, как и многих других, была крайняя малочисленность периодических изданий в провинции и произвол властей, препятствовавших публикации антиправительственных сочинений.

В этой связи Евг. Петряев пишет о рукописных изданиях Сибири и Урала, которые, по словам П. А. Вяземского, «захватывали жизнь по горячим следам ее». Благодаря разысканиям Петряева и других исследователей теперь известно около семидесяти дореволюционных рукописных изданий Сибири и Урала, хотя сохранилось из них менее двадцати. Интересен рукописный сборник «Либералист», в который вошли статьи из «Колокола» и «Полярной звезды», стихи Огарева и Рылеева, «Ответ Белинского Гоголю» и другие ходившие по рукам материалы. Евг. Петряев подчеркивает, что, несмотря на ограниченные возможности рукописных изданий, они все же делали свое дело политического просвещения масс, будили народную мысль, звали к борьбе с деспотизмом.

С большим интересом читаются страницы книги, посвященные знаменитому следопыту и писателю В. К. Арсеневу. Евг. Петряеву удалось разыскать некоторые материалы из его архива, основная часть которого, и в том числе уникальные этнографические картины, была, к сожалению, уничтожена в тридцатые годы.

В заключение стоит отметить, что автор семи книг очерков о культурном прошлом Сибири, Урала, Вятского края не является профессиональным литературоведом: он военный врач, кандидат биологических наук, полковник медицинской службы в отставке. Любовь к истории родной страны, к ее культурному прошлому руководит Евгением Дмитриевичем Петряевым в его подвижнической работе.

И. Ярославцев.

★

М. БОБРОВА. Джеймс Фенимор Купер. Очерк жизни и творчества. Приволжское книжное издательство. Саратов. 1967. 211 стр.

Уже давно было замечено, что читателей многих великих классиков становятся вместо взрослых люди «от пяти до пятнадцати лет». «Робинзон», «Гулливер», сказки Андерсена были написаны не для детей, но стали любимым детским чтением.

Купер испытал такую же судьбу. Писатель, читая которого «рычал от восторга» Балзак, которым восхищались Белинский и Лермонтов, был провозглашен исключительно «детским» и издавался в сокращенных переводах.

Но — и это также закономерно, если перед нами настоящий художник — наступает нередко и «вторичное восхождение». Писатель остается другом детей, но в его творчестве раскрываются многие не замеченные ранее глубины и перспективы.

Почитайте обильную «куперьяну» последних лет. Как бы горюпясь заглянуть несправедливость длительного пренебрежения и недооценки, исследователи — главным образом американские и английские — один за другим обнаруживают в творчестве Купера ускользавшее раньше от внимания эстетическое, социальное, моральное и философское богатство. Образ писателя преобразуется. Не обходится и без издержек и перегибов. Иные авторы фрейдистско-метафизического толка подозрительно всматриваются в дружбу Кожаного Чулка и Чингачгуга, норовят обнаружить следы инцеста во взаимоотношениях куперовских героев и героинь. Но свежесть и чистота куперовского творчества противостоят подобным попыткам.

Хотя в России Купер стал хорошо известен начиная с двадцатых годов XIX века, на русском языке до сих пор не было ни одной книги о великом американском писателе. Поэтому можно приветствовать ини-

циативу Приволжского книжного издательства, выпустившего первую русскую книгу о Купере.

М. Боброва намечает основные этапы жизненного пути писателя, одного из величайших представителей американского романтизма, первым прославившего на весь мир американскую литературу и при жизни узнавшего и всемирную славу и травлю на родине, вызванную резкой критикой американской действительности в его романах тридцатых годов.

«Я разошелся со своей страной. Пропать между нами огромна. Кто кого опередил — покажет время».

Разумеется, значительная часть книги посвящена величайшему творению Купера — пятитомной эпопее о Кожаном Чулке — «первой американской эпопее», в центре которой самый замечательный из созданных Купером образов — Натти Бэмпе — «воплощение лучших свойств человеческого духа» (М. Горький).

Анализ М. Бобровой в целом убедителен и свеж. Ее общедоступный очерк биографии и творчества Купера проникнут любовью и увлечением, передающимися читателю. Это — хороший образец популярной литературоведческой книги.

К сожалению, книга М. Бобровой, выпущенная десятитысячным тиражом, так и не попала в Москву, очевидно, целиком разойдясь на месте. Если очерк М. Бобровой будет переиздан, хотелось бы порекомендовать автору устранить некоторые вкравшиеся в книгу ошибки. Нельзя называть Д. Лоуренса «одним из американских литературоведов расистской закваски» (стр. 4, а также 122) — он не был американцем и не был литературоведом. Это известный английский писатель, автор «Радуги» и «Любовника леди Чаттерлей». Также не следует именовать Джейн Остин, о которой на стр. 122 приводится резкое суждение М. Твена, «дамской» писательницей-расисткой, «ярким врагом Купера». Знаменитая английская романистка Д. Остин (1775—1817), автор недавно переведенного у нас романа «Гордость и предубеждение», действительно не пользовалась расположением М. Твена, чрезвычайно энергично формулировавшего свое неодобрение ее творчества. Но она умерла за два года до литературного дебюта Купера и не могла быть ни его ярким врагом, ни поклонницей.

Имеются в хорошей книге М. Бобровой и некоторые другие неточности.

А. Наркевич.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗАТ

В. И. Ленин. Об уставе партии (Сборник). 216 стр. Цена 26 к.

Документы внешней политики СССР. Том 14. 1 января — 31 декабря 1931 г. 872 стр. Цена 1 р. 75 к.

О. Обичкин. Краткий очерк истории устава КПСС. 112 стр. Цена 17 к.

Экономика стран мира. Справочник. 360 стр. Цена 87 к.

«МЫСЛЬ»

П. Гассенди. Сочинения. В 2-х томах. Перевод с латинского. Том 2. 836 стр. Цена 2 р. 84 к.

К. Попов. Развитие экономических связей стран социализма (Анализ практики и теоретических проблем). 276 стр. Цена 87 к.

Н. Решетников. Библия и современность. 302 стр. Цена 1 р. 24 к.

«ЭКОНОМИКА»

Е. Барский. Экономические интересы, материальное стимулирование, фонд поощрения. 96 стр. Цена 25 к.

Н. Митрофанова. Экономические рычаги в промышленности европейских социалистических стран. 120 стр. Цена 30 к.

А. Цернес. Производственное объединение на хозрасчете. 72 стр. Цена 19 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Ардов. Цветочки, ягодки и др. Юмористические рассказы и сценки. 511 стр. Цена 84 к.

С. Баруздин. Я люблю нашу улицу. Рассказы и повести. 367 стр. Цена 66 к.

А. Броделе. Тихий городок. Роман. Перевод с латышского Д. Глезера. 319 стр. Цена 59 к.

С. Городецкий. Северное сияние. Стихи. 248 стр. Цена 95 к.

А. Губницкий. Сила любви. Повести и рассказы. Перевод с еврейского. 287 стр. Цена 56 к.

В. Рудокас. Просека к солнцу. Стихи. Перевод с литовского В. Корнилова. 80 стр. Цена 81 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Крлежа. Возвращение Филиппа Латинича. Роман. Перевод с хорватскосербского. Предисловие Б. Сучкова. 224 стр. Цена 62 к.

Л. Первомайский. Дикий мед. Современная баллада. Перевод с украинского автора и А. Громовой. Послесловие В. Кардина. 544 стр. Цена 1 р. 11 к.

Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке. Рисунки художника Н. Жукова. 320 стр. Цена 75 к.

Э. Ромеро. С этой суровой гитарой. Стихи. Перевод с испанского. Составление и предисловие Л. Осповата. 208 стр. Цена 60 к.

Слово о полку Игореве. Вступительная статья Д. С. Лихачева. Редакция текста и прозаический перевод И. П. Еремина. Поэтический перевод В. А. Жуковского. Гравюры на дереве В. А. Фаворского. 64 стр. Цена 10 к.

Ф. Туглас. Золотой обруч. Новеллы. Перевод с эстонского. 288 стр. Цена 58 к.

А. Фигера. Жестокая красота. Стихи. Перевод с испанского. Составление и предисловие А. Манса. 104 стр. Цена 1 р. 10 к.

О. Шварцман. Стихи. Перевод с еврейского. 103 стр. Цена 24 к.

М. Эминеску. Лирика. Перевод с румынского. Предисловие И. Андроникова. Редактор переводов Д. Самойлов. 143 стр. Цена 32 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Данко. Альманах. Выпуск 1. 240 стр. Цена 51 к.

И. Дубинский. Примаков («Жизнь замечательных людей»). 174 стр. Цена 54 к.

Р. Уоррен. Вся королевская рать. Роман. Перевод с английского В. Гольшера. Послесловие М. Тугушевой. 544 стр. Цена 1 р. 71 к.

С. Хель. У подножия Вавилонской башни. Роман. Перевод с норвежского. Предисловие М. Кораллова. 304 стр. Цена 81 к.

С. Чиковани. Избранная лирика. Перевод с грузинского. 32 стр. Цена 12 к.

И. Яунзем. Человек идет за песней. Литературная запись Е. Петровой. 127 стр. Цена 42 к.

«ПРОГРЕСС»

С. Барстоу. Любовь... любовь? Роман и рассказы. Перевод с английского. 412 стр. Цена 1 р. 34 к.

Т. Голуй. Человек оттуда. Роман. Перевод с польского. 230 стр. Цена 63 к.

В. Мах. Агнешка, дочь Колумба. Роман. Перевод с польского. 334 стр. Цена 91 к.

А. Феррес. Победенные. Роман. Перевод с испанского. 256 стр. Цена 63 к.

В. Хайзе. В плену иллюзий. Критика буржуазной философии в Германии. Перевод с немецкого. 672 стр. Цена 2 р. 46 к.

«НАУКА»

Социология и идеология. Сборник. 468 стр. Цена 2 р.

К. Тацит. Сочинения в 2-х томах. Том 1. Анналы. Малые произведения. Том 2. История. 370 стр. Цена 2 р. 8 к. Переводы. 444 стр. Цена 2 р. 29 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Л. Ароцнер. Тактика и этика судебного допроса. 120 стр. Цена 41 к.

В. Каленский. Политическая наука в США (Критика буржуазных концепций власти). 104 стр. Цена 33 к.

В. Камышев. Издательский договор на литературные произведения. 144 стр. Цена 24 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

И. Катаев. Под чистыми звездами. Повести и рассказы. 512 стр. Цена 1 р. 5 к.

П. Лавут. Маяковский едет по Союзу. Воспоминания, 256 стр. Цена 54 к.

Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Альбом 96 стр. Цена 1 р. 1 к.

Д. Хренков. Мустай Карим. Литературный портрет. 104 стр. Цена 14 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Алексеев. Декабристы. Историческая повесть. 192 стр. Цена 42 к.

М. Булатов, В. Порудоминский. Собирает человек слова. Повесть о В. И. Дале. 224 стр. Цена 44 к.

З. Воскресенская. Секрет. Рассказы о семье Ульяновых. 32 стр. Цена 8 к.

«ИСКУССТВО»

М. Андроникова. Сколько лет кино? История движущейся камеры. Предыстория киноленты. Из кинопроектора в эфир. 99 стр. Цена 65 к.

В. Лазарев. Новгородская иконопись. 200 стр. Цена 7 р. 90 к.

М. Нестеров. Из писем. 451 стр. Цена 3 р. 60 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ф. Атянин. Серебряное озеро. Рассказы, сказки, легенды, повести. Саранск, Мордовское книжное издательство. 190 стр. Цена 62 к.

Р. Ахматова. Лунною тропкою. Стихи. Перевод с чеченского. Грозный. Чечено-Ингушское книжное издательство. 139 стр. Цена 37 к.

Ж. Грива. Антирассказы. Перевод с латышского. Рига. «Лиесма». 202 стр. Цена 28 к.

А. Жовтис. Стихи нужны... Статьи. Алмата. «Жазушы». 270 стр. Цена 1 р. 13 к.

М. Зорин. Жаркий уголь памяти. Воспоминания. Рига. «Лиесма». 319 стр. Цена 35 к.

М. Красавицкая. Фирменный уходит в рейс. Рига. «Лиесма». 264 стр. Цена 39 к.

Л. Мкртчян. Армянская поэзия и русские поэты XIX—XX вв. Ереван. «Айастан». 465 стр. Цена 1 р. 10 к.

Ю. Неводов. Всеволод Вишневецкий, прочитанный вчера и сегодня. Раннее творчество. Саратов. Издательство Саратовского университета. 119 стр. Цена 30 к.

Поиски и свершения (Литература, рожденная Октябрем). Сборник статей. Под редакцией Б. Друян и Е. Наумова. Лениздат. 344 стр. Цена 65 к.

Рожденные революцией. Статьи и очерки о писателях Поволжья. 240 стр. Цена 96 к.

В. Рымашевский. Голосует сердце. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 168 стр. Цена 57 к.

З. Скуинь. Когда приходит любовь. Рассказы. Перевод с латышского. Рига. «Лиесма». 227 стр. Цена 34 к.

Ф. Таурин. Путь к себе. Роман. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 204 стр. Цена 48 к.

Г. Федосеев. Злой дух Ямбуя. Предисловие К. Урманова. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 324 стр. Цена 72 к.

М. Чюрленис. Альбом репродукций. Вступительная статья А. Венцловы. Вильнюс. «Вага». 35 стр. + 32 л. иллюстраций. Цена 3 р. 50 к.

Б. Шмидт. Три дерева. Стихотворения и поэмы. Петрозаводск. Карельское книжное издательство. 143 стр. Цена 43 к.

В. Ян. К последнему морю (Путь Батыя). Нукус. «Каракалпакия». 325 стр. Цена 59 к.

П. Яшвили. Стихи. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Мерани». 136 стр. Цена 54 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д.1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 10/1 1969 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 7/IV 1969 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}, 27 уч.-изд. л. 9 бум. л. 25,2 (усл. печ. л.)
А 06040. Заказ 176. Тираж 127800

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636